О·Э. МАНДЕЛЬШТАМ

1

О·Э
МАНДЕЛЬШТАМ

1

О.Э. Мандельштам

Портрет работы Льва Бруни

О·Э
МАНДЕЛЬШТАМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

К 100-летию
со дня рождения
О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА

О·Э МАНДЕЛЬШТАМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Под редакцией
проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова

МОСКВА
«ТЕРРА» – «TERRA»
1991

О·Э МАНДЕЛЬШТАМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

МОСКВА
«ТЕРРА» – «TERRA»
1991

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРЕХ ТОМАХ

Под редакцией Проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова.

ТОМ ПЕРВЫЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Вступительные статьи
проф. Г. П. Струве и Э. М. Райса.

Издание второе, дополненное и пересмотренное.

Международное Литературное Содружество.

1967.

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ

Опыт биографии и критического комментария *

1

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?

. . . . . .

Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный, жалкий век...
(1923)

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей!
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...
(1931)

Одну из своих автобиографических зарисовок («Музыка в Павловске») в книге «Шум времени» Мандельштам начинает с того, что вызывает в памяти «глухие годы России» — девяностые годы:

---

* Настоящий очерк представляет собой дополненную и заново отредактированную в свете новых данных, полученных с тех пор, вступительную статью к первому изданию этого тома Собрания сочинений О. Э. Мандельштама. В основу первоначальной версии была положена моя статья в «Собрании сочинений» Мандельштама, выпущенном в одном томе издательством имени Чехова в Нью-Йорке в 1955 г.

их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм — тихую заводь: последнее прибежище умирающего века. За утренним чаем разговоры о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара, туманные споры о какой-то 'Крейцеровой сонате' и смену дирижеров за высоким пультом стеклянного Павловского вокзала, казавшуюся мне сменой династий. Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и, одно к одному, — девяностые годы слагаются в моем представлении из картин разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни.

В «Шуме времени», на фоне эпохи, чей вкус, цвет и запах — по выражению Аполлона Григорьева — Мандельштам так остро чувствует и так тонко воспроизводит, проходят перед нами и отдельные, разрозненные моменты жизни самого автора, хотя Мандельштам и говорит, что его память «враждебна всему личному» и что ему «хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени».

Осип Эмильевич Мандельштам родился в Варшаве 3/15 января 1891 г. — в самом начале этого «глухого» (чеховского!) десятилетия, которым завершился девятнадцатый век. Детство и юность свою он провел в Петербурге и Павловске. В уже цитированном автобиографическом этюде Павловск девяностых годов — «город дворцовых лакеев, действительных статских вдов, рыжих приставов, чахоточных педагогов (жить в Павловске считалось здоровее) — и взяточников, скопивших на дачу-особняк» — запечатлен как «некий Эли-

зий», куда стремился весь Петербург: «Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры двенадцатого года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и Рубинштейн». Тема Павловска и его музыкального вокзала нашла себе отражение и в поэзии Мандельштама — в прекрасном стихотворении 1921 г. «Концерт на вокзале», где Мандельштам перекликается с Лермонтовым: «И ни одна звезда не говорит» (перекличка с тем же стихотворением Лермонтова есть и в «Грифельной оде», одном из самых зашифрованных стихотворений Мандельштама — см. № 137 в нашем собрании).

Но в Павловск Мандельштамы ездили только летом, на дачу. Жили они в Петербурге, и Петербург еще более плотно и неразрывно вошел в самую ткань мандельштамовских стихов (см. такие стихотворения как «Петербургские строфы», «Адмиралтейство», «Мне холодно. Прозрачная весна...», «В Петрополе прозрачном мы умрем...», «На страшной высоте блуждающий огонь...», «В Петербурге мы сойдемся снова...», «С миром державным я был лишь ребячески связан...» и др., а из более поздних — замечательный «Ленинград» с его зловещими образами).

Мандельштам происходил из еврейской среднебуржуазной семьи. Семья, по его собственному признанию, была «трудная и запутанная». Отец — самоучка, коммерсант-неудачник, говоривший и писавший, видимо, одинаково плохо по-русски и по-немецки (Мандельштам говорит об его «косноязычии и безъязычии»). Четырнадцатилетним мальчиком, которого готовили в раввины и которому запрещали читать светские книги, он убежал из родного дома и попал в Берлине в высшую талмудическую школу. Но вместо Талмуда читал

Шиллера и философов XVIII века. По словам Мандельштама, отец переносил его в атмосферу, которая напоминала «чистейший восемнадцатый или даже семнадцатый век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге». А рядом мать, родом из Вильно, из еврейской интеллигентской семьи, родственница известного историка литературы и библиографа Семена Афанасьевича Венгерова, впитавшая русские интеллигентские и литературные традиции, владевшая чистой и ясной русской речью. И она и ее мать с гордостью произносили слово «интеллигент», любили и знали русскую литературу (о русском — материнском — «пласте» в книжном шкафу своего детства Мандельштам хорошо рассказал в «Шуме времени»). Другая же бабушка, жившая в Риге, откуда отец Мандельштама был родом, знала по-русски одно только слово: «покушали». В доме ее и дедушки, «голубоглазого старика в ермолке... с чертами важными и немного сановными, как бывает у очень почтенных евреев», царил «черно-желтый ритуал» (см. «Хаос иудейский» в «Шуме времени»; отметим попутно, что «черно-желтая» тема мелькает и в поэзии Мандельштама; иногда это — тема Иудеи; но интересно, что в уже упоминавшемся стихотворении «Ленинград» в черно-желтые цвета окрашен петербургский декабрьский денек, «Где к зловещему дегтю подмешан желток»). И тут же рядом — и царя надо всем этим — «блистательный Санкт-Петербург», нечто «священное и праздничное» (см. «Ребяческий империализм» в «Шуме времени»). Но Петербург, с его «желтизной правительственных зданий», с правоведами, садящимися в сани, с «посольствами полумира» над Невой, все это воплощение «жесткой порфиры» государства Российского — лишь мираж, лишь сон, лишь «блистательный покров, накинутый над бездной». В од-

ном из стихотворений начала 30-х годов поэт говорит, что с этим «миром державным» он был «лишь ребячески связан». Этот мир плохо вязался с бытовой реальностью, «с кухонным чадом средне-мещанской квартиры, с отцовским кабинетом, пропахшим кожами, лайками и опойками, с еврейскими деловыми разговорами». И еще более контрастировал он с простиравшимся кругом «хаосом иудейским», который был «не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал». Этот хаос «пробивался во все щели каменной петербургской квартиры, угрозой разруценья, шапкой в комнате провинциального гостя, крючками шрифта нечитаемых книг 'Бытия', заброшенных в пыль на книжную полку шкафа, ниже Гете и Шиллера, и клочками черно-желтого ритуала». Этот утробный иудейский хаос («невеселые странные праздники, терзавшие слух дикими именами: Рош Гашана и Иом-Кипур») был не менее призрачен, чем фантастический мираж Петербурга.* Это сочетание призрачного Петербурга и столь же призрачной — и притом немного зловещей — черно-желтой Иудеи, с ее черным солнцем, осиявшим колыбель поэта, может показаться странной питательной средой для поэта, который увлекался попеременно Бодлером и Верленом, Чаадаевым и Константином Леонтьевым, перед Первой мировой войной склонялся к католическому универсализму, а в начале революции провозглашал, что «теперь всякий культурный человек — христианин» (см. во втором томе нашего Собрания ста-

---

* Тема Петербурга в творчестве Мандельштама — и в его стихах, и в «Шуме времени», в «Египетской марке» — не менее назойлива, чем у многих других русских писателей, от Пушкина до Андрея Белого, но Петербург Мандельштама вполне свой, не похожий ни на чей другой.

тью «Слово и культура», а также уцелевшую лишь в виде фрагмента статью о Пушкине и Скрябине, где много говорится о христианском искусстве); который отстаивал эллинистическую природу русской речи и русской поэзии (см. «О природе слова» во втором томе настоящего издания) и обосновывал акмеистический культ средневековья (статья «Утро акмеизма» там же).

Из дореволюционной биографии Мандельштама мы знаем отдельные, сравнительно немногочисленные факты, разбросанные в «Шуме времени» и в воспоминаниях людей, знавших Мандельштама (С. К. Маковского, Георгия Иванова, В. А. Пяста, К. В. Мочульского, М. М. Карповича, Марины Цветаевой, Бенедикта Лившица, Всеволода Рождественского и др.), или же упоминаемые в кратких биографических справках (в советской «Литературной Энциклопедии», в био-библиографических справочниках Б. П. Козьмина и И. Владиславлева). Постоянные переезды с квартиры на квартиру, связанные, по всей вероятности, с коммерческими неудачами отца, с его периодическими «прогораниями», и придающие реальность петербургским миражам. Годы учения в Тенишевском коммерческом училище, одном из передовых тогдашних учебных заведений. О том, чем он был обязан двум директорам этого училища, А. Я. Острогорскому и В. В. Гиппиусу, особенно последнему, * Мандельштам сам рассказывал в «Шуме

---

* Влад. Вас. Гиппиус (1876—1941), старший брат известного впоследствии своими работами о Гоголе литературоведа Василия Гиппиуса (1892—1942), преподавал в Тенишевском училище русский язык и литературу. Был автором брошюры о Пушкине и христианстве. Оба брата Гиппиусы писали также стихи: Василий — под псевдонимом Вас. Галахова, Владимир — под псевдонимами Вл. Бестужева и Вл. Нелединского (один из его сборников стихов был издан Цехом Поэтов). Товарищ Блока по гимназии, Александр Вас. Гиппиус (ум. 1942), часто фигурирующий в переписке Блока, был, очевидно, их средним братом, хотя прямых указаний на это я не нашел.

времени» (его «Тенишевское училище» интересно сравнить с воспоминаниями о той же школе В. В. Набокова в «Других берегах» — следует только помнить, что Набоков учился там почти на десять лет позднее, вышел из совершенно другой среды и принадлежал к другому кругу). Повидимому, именно в старших классах Тенишевского училища Мандельштам начал писать стихи. В 1907 г. он едет в Париж, и с этой поездкой связано первое увлечение французскими символистами. Позднее (в 1910 г.) Мандельштам проводит два семестра в Гейдельбергском университете, занимаясь старофранцузским языком у Фрица Неймана. В 1911 г. он поступает на романо-германское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета. Но, вопреки справке в «Литературной Энциклопедии», университета Мандельштам не кончил: есть сведения из заслуживающего доверия источника о том, что он провалился на экзамене по греческой литературе. Это может показаться странным, поскольку «натаскивавший» его в греческом языке К. В. Мочульский свидетельствует об его увлечении именно греческим языком и поэзией (см. в настоящем томе стихотворение № 419 и примечания к нему, а также напечатанное в «Камне» стихотворение о Гомере, № 78).

Первые известные нам стихотворения Мандельштама написаны в 1908 году. Появление его в литературе связано, повидимому, с возникновением «Аполлона» в конце 1909 года. К этому времени относится, вероятно, знакомство Мандельштама с Н. С. Гумилевым, перешедшее в дружбу, не прекращавшуюся до смерти старшего поэта. О первом появлении Мандельштама в редакции «Аполлона» есть красочный, но, может быть, немного шаржированный рассказ С. К. Маковского, напечатанный первоначально в «Новом Русском Слове»

(Нью-Йорк), а потом в «Портретах современников». Мандельштам, которому тогда было 18 лет, явился в редакцию в сопровождении матери, к которой он конфузливо льнул, и та, сунув Маковскому тетрадку, стихов сына, потребовала, чтобы он тут же сказал, есть ли у него талант и стоит ли ему писать стихи, а не заниматься торговлей кожей. Надо сказать, что то, как Маковский изображает мать Мандельштама и передает ее слова, совсем не вяжется с нарисованным самим Мандельштамом портретом женщины, воспитанной в интеллигентско-литературных традициях. Маковский говорит, что написанные бисерным почерком стихи конфузливого юноши ничем не пленили его и он уже готов был «отделаться от мамаши и сынка неопределенно-поощрительной формулой редакторской вежливости», когда прочел во взгляде юноши «такую напряженную, упорно-страдальческую мольбу, что сразу как-то сдался и перешел на его сторону — за поэзию, против торговли кожей», и потому объявил матери («с убеждением, даже несколько торжественно», говорит он): «Да, сударыня, ваш сын — талант». Услышав это, пишет Маковский, «юноша вспыхнул, просиял, вскочил с места и начал бормотать что-то, потом вдруг засмеялся громким, задыхающимся смехом и опять сел. Мамаша удивленно примолкла; видимо, она не ждала такого 'приговора' с моей стороны. Но быстро нашлась: 'Отлично, я согласна. Значит — печатайте!' Делать было нечего, говорит Маковский, и, прощаясь с Мандельштамом, он попросил его «приносить еще». Однако, если Маковский не ошибся в хронологии, первые стихи Мандельштама появились в «Аполлоне» только около года спустя — среди них были и два прелестных стихотворения 1909 года (№№ 8 и 9 нашего собрания). Но были ли они в числе тех, которые принес тогда Маков-

скому Мандельштам и которые «не пленили» его, мы, конечно, не знаем.

О впечатлении, произведенном первыми напечатанными стихотворениями Мандельштама (в ноябрьской книжке «Аполлона» за 1910 год) так писал в «Петербургских зимах» Георгий Иванов: «Я прочел это и еще несколько таких же 'качающихся' туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце: 'Почему это не я написал!' Такая 'поэтическая зависть' — очень характерное чувство. Гумилев считал, что она безошибочнее всех рассуждений определяет 'вес' чужих стихов. Если шевельнулось 'зачем не я', значит стихи 'настоящие'. Стихи были удивительные. Они, прежде всего, у д и в л я л и».

К тому же времени относится и появление Мандельштама на «башне» у Вячеслава Иванова, чтение им там своих стихов, а затем участие в основанном Гумилевым и Сергеем Городецким Цехе Поэтов. В. А. Пяст в своей книге «Встречи» вспоминает как на лекцию Вячеслава Иванова о стихосложении — лекцию, происходившую на «башне» у Ивановых — поэт Виктор Гофман, вскоре после того покончивший с собой, пришел в сопровождении Мандельштама, которого Пяст описывает так: «Совсем молодой стройный юноша в штатском костюме задирал голову даже не вверх, а прямо назад: столько чувства собственного достоинства бурлило и просилось наружу из этого молодого тела». После лекции Мандельштаму предложили прочесть стихи. Вячеслав Иванов их похвалил («это было его всегдашним обыкновением», прибавляет Пяст); сам же Пяст нашел одно из прочитанных Мандельштамом стихотворений замечательным (см. об этом в примечании к стих. № 147; еще подробнее об этом стихотворении

как метрическом новшестве Пяст говорит в своей книге «Современное стиховедение. Ритмика»).

Начав печататься в «Аполлоне», подружившись с Гумилевым, войдя в Цех Поэтов, Мандельштам оказался в самой гуще тогдашней литературной борьбы. Он принял самое живое участие в боях за акмеизм, борясь и «направо» — с символистами, и «налево» — с футуристами. Акмеистического задора в нем, пожалуй, даже больше, чем в самом Гумилеве — об этом свидетельствует, например, его задористо-обиженное письмо Ф. К. Сологубу, которое читатель найдет во втором томе нашего издания. Статья Мандельштама «Утро акмеизма», напечатанная впервые в 1919 г. в альманахе «Сирена» в Воронеже (едва ли Мандельштам мог тогда предвидеть, какую роль сыграет этот город в его жизни!), носила характер манифеста и именно как манифест акмеизма была уже в советский период включена в сборник «Литературные манифесты. От символизма к Октябрю» (М., 1928). Советским литературоведом Н. К. Харджиевым как будто установлено, что статья эта написана еще в 1912 г. и должна была быть напечатана, вместе с двумя другими «манифестами» акмеизма, в № 1 «Аполлона» за 1913 год. В этой статье Мандельштам провозглашал родство акмеизма с «физиологически-гениальным средневековьем». А в более поздней статье, напечатанной в 1922 г., акмеизму приписывался переворот в литературных вкусах, и он провозглашался явлением не только литературным, но и общественным, возродившим в русской поэзии нравственную силу и положившим конец «убогому 'ничевочеству' декадентов-символистов». *

---

* Обе эти статьи читатель найдет во втором томе нашего издания.

В 1913 г. вышла первая книга стихов Мандельштама, «Камень». Изданная им на собственные деньги, она вышла под маркой издательства «Акмэ». Первоначально этот первый сборник должен был называться «Раковина» — так было озаглавлено одно стихотворение в книге (см. наш № 26). В 1916 г. в издательстве «Гиперборей», основанном при Цехе Поэтов, вышло второе, значительно дополненное, издание «Камня». В эти же предреволюционные годы Мандельштам напечатал в «Аполлоне» две интересных статьи — о Франсуа Вийоне и о Чаадаеве. Эти статьи, вместе с более поздними литературно-критическими опытами, дают Мандельштаму видное и прочное место в истории русской критики и эссеистики. *

На войну 1914 года Мандельштам откликнулся несколькими стихотворениями. Хотя некоторые из них и навеяны конкретными событиями, они носят по большей части отвлеченный характер, написаны в историософском плане (как раз в эти годы Мандельштам увлекался Чаадаевым и отчасти Константином Леонтьевым). Прямого отношения к войне Мандельштам не имел, на военную службу призван не был. В 1916 г. Мандельштам провел какое-то время в Крыму (куда снова попал уже во время гражданской войны и затем опять в начале 30-х годов), и Крымом навеяны некоторые из лучших стихотворений в его второй книге стихов — „Tristia".

Во вступительной статье к нью-йоркскому изданию сочинений Мандельштама я писал, что у него нет не-

---

* В 1914—1915 гг. аннонсировалась в «Аполлоне» еще одна статья —об Андрэ Шенье, но она так и не появилась. Возможно, что это та самая статья, которая под названием «Заметки о Шенье» вошла в книгу «О поэзии» (1928). См. ее в нашем втором томе.

посредственных откликов на революционные события 1917 года. Но это утверждение было не совсем правильно: прямым откликом на большевицкий переворот с упоминанием даже имени А. Ф. Керенского, является напечатанное в эсеровской газете и не вошедшее ни в один из сборников стихов поэта стихотворение (наш № 192). Как удалось установить уже после выхода нью-йоркского издания, политический смысл имело и стихотворение № 100, с которого при включении его в „Tristia" было снято многозначительное посвящение А. В. Карташеву. Отголоски революционных дней налицо и в некоторых других стихотворениях. Но в надреальном плане — а бóльшая часть стихотворений Мандельштама отмечена двухпланностью — темы революции (умирающий Петербург, «сумерки свободы») звучат в ряде стихотворений 1917—1922 гг. (ср., например, №№ 101, 103, 107 и 118).

О жизни Мандельштама в самые первые годы революции мы знаем мало. Мало у нас и прямых свидетельств об его отношении к революции. И Г. В. Иванов, и С. К. Маковский в своих воспоминаниях (причем последний, вероятно, по наслышке или на основании того, что писал Иванов, так как сам он уехал в Крым в самом начале революции) говорят о «приспособлении» Мандельштама к новому режиму. Иванов в «Петербургских зимах» писал, что после Октябрьской революции Мандельштам «оказался 'на той стороне' — у большевиков». Но сейчас же делал оговорку: «Точнее — около большевиков». Не приводя никаких фактов, Иванов говорил затем, что в партию (коммунистическую) Мандельштам не поступил («по робости, должно быть: придут белые — повесят»), «товарищем народного комиссара не пристроился». Но, писал дальше Иванов (и опять без всяких настоящих доказательств),

«терся где-то около, кому-то льстил, какие-то руки, которые не следовало пожимать, пожимал и какими-то благами за то пользовался». Впрочем, Иванов снисходительно готов был простить Мандельштаму эти прегрешения: «Это было, конечно, не совсем хорошо, но и не так уж страшно, если подумать, какой безответственной (притом голодной, беспомощной, одинокой) 'птицей Божьей' был Мандельштам. Да и не одному ему из 'литераторов российских' и отнюдь, при этом, не 'птицам' вроде Мандельштама, увы, придется элегически вздохнуть: Какие грязные не пожимал я руки, — Не соглашался с чем . . .»

С. К. Маковский вторил Иванову, говоря, что Мандельштам пробовал «сменить вехи», завязал дружбу с влиятельными литературными кругами: «в качестве писателя-плебея по происхождению и вольнодумца без политических предубеждений, Осип Эмильевич попытался у жизни взять то, в чем она ему отказывала прежде» («Портреты современников», стр. 393). Все это — очень туманно, неконкретно, бездоказательно. Есть, правда, указание (в показании Дзержинскго по делу об убийстве графа Мирбаха, о чем будет еще речь ниже) на то, что Мандельштам служил где-то под Луначарским, т. е. в одном из многочисленных литературно-художественных учреждений при Комиссариате Народного Просвещения. То же самое делали в то время и многие другие писатели и деятели искусства. И Иванов, и Маковский совершенно игнорируют (вероятно, по незнанию) факт сотрудничества Мандельштама в антибольшевицких газетах, и эсеровских и кадетских, не только в 1917, но и в 1918 году, и такие его стихотворения, как «Когда октябрьский нам готовил временщик . . .» и «А. В. Карташеву», равно как и его статью об акмеизме, далеко не свидетельствовавшую о приспособлении

к «влиятельным литературным кругам», каковыми в те годы были футуристы и имажинисты.

Об одном эпизоде в жизни Мандельштама в 1918 году Георгий Иванов рассказывал очень красочно, с большими подробностями. Хотя прямо Иванов этого не говорит, рассказ его как будто основан на рассказе самого Мандельштама (часть его дана в форме вопросов Иванова и ответов Мандельштама о том, как было дело — но, очевидно, по прошествии уже довольно продолжительного времени после описываемых событий). Эпизод этот — столкновение на одной «попойке» в каком-то большевицком особняке в Москве с левым эсером-чекистом Блюмкиным, который после того застрелил германского посла графа Мирбаха. * В рассказе Иванова — как вообще нередко в его «Петербургских зимах» — смешение фактов с вымыслом, несомненная хронологическая путаница и какой-то неприятный тон — тон насмешливо-снисходительного презрения ('«Божья птица', пристроившаяся к этой икре, к этим натопленным и освещенным комнатам, к 'ассигновке', которую Каменева завтра выпишет, если сегодня ей умело польстить»). ** Приведем все же рассказ Иванова о са-

---

* Оговариваясь, что «изобразить» такую попойку он не может по той простой причине, что никогда на таких попойках не бывал, Иванов пишет, что «вообразить» происходившее ему не трудно, и дает довольно подробное — но именно «воображаемое» — описание всей обстановки.

** О «Петербургских зимах» Г. Иванова очень отрицательно отзывалась А. А. Ахматова. Резкую отповедь Иванову — не называя его — дала в своих воспоминаниях о Мандельштаме, который гостил у нее в Тарусе летом 1916 г., Марина Цветаева. Воспоминания эти, написанные в 1931 г., но напечатанные лишь посмертно в 1964 г., были вызваны очерком Г. Иванова «Китайские тени», появившимися в газете «Последние Новости» (Париж) и не вошедшем в «Петербургские зимы» (см. «История одного посвящения. 'The History of a Dedication': Marina Tsvetaeva's Reminiscences of Osip Mandelstam», Oxford Slavonic Papers, vol. XI (1964), pp. 122—123. Воспоминания Цветаевой на-

мом эпизоде, поскольку рассказ этот все-таки несомненно основан на ретроспективном рассказе самого Мандельштама, а лежащий в основе его факт подтверждается другими источниками. «Воображенные» подробности оставляем на совести Г. В. Иванова:

> Все пьяны, Мандельштам тоже навеселе. Немного, потому что пить не любит. Он больше насчет пирожных, икры, «ветчинки»... «Коалиция» * пьет. Мандельштам ест икру и пирожные, Каменева на тонкую лесть мило улыбнулась и сказала: «Зайдите завтра к моему секретарю». «Пупсик» гремит. Тепло. Всё хорошо. Всё приятно. И... много пить не следует, но рюмку-другую... Но вдруг улыбка на лице Мандельштама как-то бледнеет, вянет, делается растерянной... Что такое? Выпил лишнее? Или пепел душистой хозяйской сигары прожег сукно только что с такими хлопотами сшитого костюма? **
>
> Или зубы, несчастные его зубы, которые вечно болят, потому что к дантисту, который начнет их сверлить, пойти не хватает храбрости, — зубы эти заныли от сахара и конфет?
>
> Нет, другое.
>
> С растерянной улыбкой, с недоеденным пирожным в руках, Мандельштам смотрит на молодого человека в кожаной куртке, сидящего поодаль. Мандельштам знает его. Это Блюмкин, левый эсер.

печатаны в этом английском издании в подлиннике с краткой вступительной заметкой М. Л. Слонима по-английски).

* Иванов изображает попойку как «коалиционную», имея в виду тогда еще существовавшую правительственную коалицию между большевиками и партией левых эсеров. — Г. С.

** Только что сшитый костюм и душистая хозяйская сигара едва ли не принадлежат к тем легко «воображаемым» подробностям обстановки, о которых говорит Иванов, начиная свой рассказ. — Г. С.

Знает и боится, как боится, впрочем, всех кто в кожаных куртках. Он решительно предпочитает мягко поблескивающие золотые очки Луначарского, или надушенные, отманикюренные ручки Каменевой. Кожаные куртки его пугают, этот же Блюмкин особенно. Это чекист, расстрельщик, страшный, ужасный человек... Обыкновенно Мандельштам старается держаться от него подальше, глазами боится встретиться. И вот, теперь смотрит на него, не сводя глаз, с таким странным, жалким, растерянным видом. В чем дело?

Блюмкин выпил очень много. Но нельзя сказать, чтобы он выглядел совершенно пьяным. Его движения тяжелы, но уверены. Вот он раскладывает перед собою на столе лист бумаги — какой-то список, разглаживает ладонью, медленно перечитывает, медленно водит по листу карандашом, делая какие-то отметки. Потом как-то тяжело, но уверенно, достает из кармана своей кожаной куртки пачку каких-то ордеров.

— Блюмкин, чем ты там занялся? Пей за революцию...

И голосом таким же тяжелым, с трудом поворачивающимся, но уверенным, тот отвечает:

— Погоди, выпишу ордера... контрреволюционеры... Сидоров? А, помню. В расход. Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно, в расх...

Вот на это-то смотрит, это и слушает Мандельштам. Бездомная птица Божья, залетевшая сюда погреться, поклевать икры, выпросить 'ассигновочку'.

Слышит и видит:

... Сидоров? А, помню, в расх...

XX

Ордера уже подписаны Дзержинским. Заранее. Печать приложена. «Золотое сердце» доверяет своим сотрудникам всецело. Остается только выписать фамилии и... И вот над пачкой таких ордеров тяжело, но уверенно поднимается карандаш пьяного чекиста.

...Петров? Какой такой Петров? Ну, все равно...

И Мандельштам, который перед машинкой дантиста дрожит, как перед гильотиной, вдруг вскакивает, подбегает к Блюмкину, выхватывает ордера, рвет их на куски.

Потом, пока еще ни Блюмкин, никто не успел опомниться — опрометью выбегает из комнаты, катится по лестнице и дальше, дальше, без шапки, без пальто, по ночным московским улицам, по снегу, по рельсам, с одной лишь мыслью: погиб, погиб...*

Дальше Иванов рассказывает, как, пробродив всю ночь по улицам Москвы, Мандельштам явился в Кремль к Каменевой, как та послала его тотчас же принять ванну, переодеться, почиститься, затем напоила чаем и повезла к «самому» Дзержинскому. Этот визит к главе Че-Ка, о котором Иванов мог слышать только от самого Мандельштама, и то, что последовало за ним, описаны у Иванова так:

Дзержинский принял сейчас же, выслушал внимательно Каменеву. Выслушал, потеребил бородку.

Встал. Протянул Мандельштаму руку.

— Благодарю вас, товарищ. Вы поступили так, как должен был поступить всякий честный гражданин на вашем месте.

---

* «Петербургские зимы» (Париж, 1928), стр. 119—121.

В телефон: — Немедленно арестовать тов. Блюмкина и через час собрать коллегию ВЧК для рассмотрения его дела.

И снова к дрожащему дрожью счастья и ужаса Мандельштаму:

— Сегодня же Блюмкин будет расстрелян.

— Тттоварищ... — начал Мандельштам, но язык не слушался, и Каменева уже тянула его за рукав из кабинета. Так и не выговорил того, что хотел выговорить: просьбу арестовать Блюмкина, сослать его куда-нибудь (о, еще бы, какая же, если Блюмкин останется в Москве, будет жизнь для Мандельштама!). Но... «если можно», не расстреливать.

Но Каменева увела его из кабинета, довела до дому, сунула в руку денег и велела сидеть два дня, никуда не показываясь — «пока вся эта история не уляжется»...

Выполнить этот совет Мандельштаму не пришлось. В 12 дня Блюмкина арестовали. В два — над ним свершился «строжайший революционный суд», а в пять какой-то доброжелатель позвонил Мандельштаму по телефону и сообщил: «Блюмкин на свободе и ищет вас по всему городу». *

Факты, приводимые Ивановым в последнем процитированном абзаце, как будто не соответствуют действительности (см. ниже). Дальше же, внося в свой рассказ полнейшую хронологическую путаницу, Иванов говорит, что Мандельштам «вздохнул свободно» только через несколько дней, «когда оказался в Грузии», прибавляя: «Как он добрался туда, одному Богу известно»; а о Блюмкине пишет, что он через несколько месяцев

---

* Там же, стр. 121—122.

«провинился 'посерьезнее', чем подписывание в пьяном виде ордеров на расстрел: он убил графа Мирбаха».

На самом деле, описанный Ивановым эпизод имел место совсем незадолго до убийства Мирбаха, которое произошло в три часа дня 6-го июля 1918 г. * Мандельштам же попал в Грузию только в 1920 г., перебравшись туда из врангелевского Крыма, где провел довольно долгое время, живя в Феодосии и у Максимилиана Волошина в Коктебеле. В Крым Мандельштам попал еще в 1919 г. из Киева. Но когда он выбрался из большевицкой России на юг, и бежал ли он так уж поспешно от «мести» Блюмкина, нам неизвестно.

Свой рассказ о Мандельштаме и Блюмкине Иванов заканчивает упоминанием о том, что, когда Мандельштам вернулся из Грузии, откуда ему друзья грузинские поэты «выхлопотали высылку», ** первым человеком, которого он встретил в Москве в Кафэ поэтов, был... Блюмкин. Эту встречу Иванов описывает не менее красочно, чем всё предшествующее:

> Мандельштам упал в обморок. Хозяева кафэ — имажинисты — уговорили Блюмкина спрятать маузер. Впрочем, гнев Блюмкина, повидимому, за два года поостыл: Мандельштама, бежавшего от него в Петербург чуть ли не в тот же вечер, он не преследовал. ***

---

* Пушущий эти строки, как и многие другие тогдашние москвичи, узнал об убийстве в антракте на концерте пианиста Николая Орлова.

** Это не соответствует рассказу о выезде Мандельштама из Грузии в воспоминаниях И. Эренбурга (см. ниже).

*** Факт этой встречи — но не в Кафэ Поэтов, а в Доме Печати — упоминает и Илья Эренбург, возвратившийся вместе с Мандельштамом из Грузии. Он тоже говорит, что хотя Блюмкин вытащил было револьвер и закричал «Застрелю!», преследовать Мандельштама он не стал. Об «обмороке» Мандельштама Эренбург не упоминает.

Единственный другой источник нашей информации об истории между Мандельштамом и Блюмкиным — показание Дзержинского по делу об убийстве гр. Мирбаха, напечатанное в официальном сборнике документов по истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией. Рассказав сначала о первых сведениях о готовящихся покушениях на чинов германского посольства в Москве — сведениях, которые Дзержинский и его сотрудники по проверке и в результате одного обыска сочли «шантажем» — Дзержинский перешел к роли своего заместителя Александровича и Блюмкина во всем деле. Вот что он заявил:

> Александрович был принят в комиссию в декабре прошлого года в качестве товарища председателя по категорическому требованию членов Совнаркома — левых с.-р. Права его были такие же как и мои, он имел право подписывать все бумаги и делать распоряжения вместо меня. У него хранилась большая печать, которая была приложена к подложному удостоверению от моего якобы имени, при помощи которого Блюмкин и Андреев (сообщник Блюмкина, явившийся вместе с ним к Мирбаху. — Г. С.) совершили убийство. Блюмкин был принят в комиссию по рекомендации ЦК левых с.-р, для организации в контр-революционном отделе контр-разведки по шпионажу. За несколько дней, может быть за неделю, до покушения я получил от Раскольникова и Мандельштама (в Петрограде работает у Луначарского) сведения, что этот тип позволяет себе говорить такие вещи: жизнь людей в моих руках, подпишу бумажку — через два часа нет человеческой жизни. Вот у меня сидит гр. Пусловский, поэт, большая культурная ценность, подпишу ему смертный приговор,

но, если собеседнику нужна эта жизнь, он ее оставит, и т. п. Когда Мандельштам возмущенно запротестовал, Блюмкин стал ему угрожать, что, если он кому-нибудь скажет о нем, он будет мстить всеми силами. Эти сведения я тотчас же передал Александровичу, чтобы он взял от ЦК объяснения и сведения о Блюмкине для того, чтобы предать его суду. В тот же день на собрании комиссии было решено по моему предложению нашу контрразведку распустить и Блюмкина пока оставить без должности. До получения объяснений от ЦК левых с.-р., я решил о данных против Блюмкина комиссии не докладывать. Блюмкина я ближе не знал и редко с ним виделся. *

Имя Мандельштама упоминается Дзержинским еще раз в его показании; рассказывая о том, как он узнал об убийстве Мирбаха по прямому проводу от Ленина и сейчас же поехал в германское посольство, где ему показали подложное удостоверение, подписанное его именем и дававшее Блюмкину и Андрееву полномочия просить по делу аудиенции у Мирбаха, Дзержинский сказал:

Мне сразу стало все ясно. Фигура Блюмкина ввиду разоблачения его Раскольниковым и Мандельштамом сразу выяснилась как провокатора. Партию левых с.-р. я не подозревал еще, думал, что Блюмкин обманул ее доверие. Я распорядился немедленно отыскать и арестовать его (кто такой Андреев, я не знал) . . . **

---

* «Из истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. 1917—1921 гг. Сборник документов». М., Гос. Изд-во политической литературы, 1958, стр. 154.

** Там же, стр. 155.

Показание Дзержинского было дано 10-го июля — через четыре дня после убийства Мирбаха (за два дня до этого Дзержинский просил освободить его от обязанностей председателя ВЧК именно ввиду необходимости давать показания по этому делу; он был восстановлен в должности в августе того же года). Это показание косвенно подтверждает рассказ Г. В. Иванова, более или менее приурочивает эпизод к концу июня 1918 г., но не дает никаких подробностей ни столкновения с Блюмкиным (кроме «возмущения» Мандельштама), ни того, как он, Дзержинский, получил сведения от Мандельштама. Фамилия Каменевой не упоминается вовсе (может быть, ее имя было просто «вычищено» из показания задним числом). Зато упоминается Раскольников. Правда, остается неясным, получил ли Дзержинский информацию от Раскольникова и Мандельштама по отдельности или от обоих совместно. Но более чем допустимо предположить, что Мандельштам явился к Дзержинскому в сопровождении Раскольникова, которого он должен был знать через его жену, поэтессу Ларису Рейснер: с последней Мандельштам был хорошо знаком по литературным кругам еще до революции (об одной более поздней встрече межлу ними мы расскажем ниже). Как Мандельштам познакомился с Блюмкиным, мы не знаем; может быть через тех же Раскольниковых. Похоже, что у Блюмкина было тяготение к поэтам, что он был знаком не только с Мандельштамом, но и с Гумилевым: не к Блюмкину ли относятся следующие строки в стихотворении Гумилева «Мои читатели» в «Огненном столпе» (хотя обстоятельства убийства Мирбаха изображены в них, пожалуй, и не совсем точно: «среди толпы народа»):

Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,

Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи?

Слова Дзержинского о том, что он велит расстрелять Блюмкина, были почти наверное присочинены, если не самим Мандельштамом в рассказе Иванову, то Ивановым: нет оснований не верить Дзержинскому, что он ограничился запросом о Блюмкине через Александровича и что только после убийства Мирбаха был отдан приказ об аресте Блюмкина. Загадочным представляется упоминаемый Дзержинским в рассказе о Блюмкине и Мандельштаме «гр. (граф? гражданин?) Пусловский»: о таком поэте как будто никто никогда не слыхал.

Куда и когда уехал Мандельштам после истории с Блюмкиным, остается неизвестным; может быть, никуда и не уезжал. Есть у него стихотворения, датированные «Москва, май 1918», т. е. предшествующие эпизоду с Блюмкиным. Другие стихотворения, носящие дату «1918» или «1919», не дают никакого ключа к месту написания. Но в какое-то время в 1919 г. Мандельштам был уже в Киеве и принимал участие в тамошней литературной жизни, сотрудничая, между прочим, в журнале «Гермес». В Киеве встречались с ним и об этих встречах рассказали И. Эренбург, Ю. К. Терапиано и Ю. П. Трубецкой. В том же году (в конце его?) Мандельштам уехал из Киева в Крым, где в Феодосии снова догнал его Эренбург, посвятивший ему в книге «Люди, годы, жизнь» много теплых страниц, хотя и оставивший много недоговоренного. О встречах с Мандельштамом в Феодосии были напечатаны также (в нью-йоркском «Новом Русском Слове») воспоминания И. Мабо-Азовского. В какой-то момент, при обстоятельствах никем в точности не рассказанных, хотя об этом упоминают и Эренбург, и другие, Мандельштам был аресто-

ван врангелевской полицией — вероятно, по какому-нибудь нелепому доносу. Во всяком случае он был вскоре освобожден — повидимому, в результате вмешательства М. А. Волошина, у которого он одно время жил в Коктебеле: Волошин, как известно, в те годы не раз спасал и красных от суда белых, и белых от суда красных. Должно быть, вскоре после своего освобождения (точными датами для биографии Мандельштама мы до сих пор не располагаем), еще при Врангеле, Мандельштам покинул Крым и перебрался в Грузию, в то время независимую и управлявшуюся меньшевицким правительством. Сначала он жил в Батуме, потом в Тифлисе (Тбилиси), где с ним снова съехался Эренбург. В Грузии Мандельштам тоже был арестован, причем, если верить Эренбургу, его обвиняли одновременно и в том, что он агент большевиков, и в том, что он подослан Врангелем. Повидимому, осенью 1920 года Мандельштам и его брат Александр возвратились из Тифлиса в Москву — «в свите» Эренбурга, которому советский представитель в Грузии предложил поехать в Москву в качестве советского дипломатического курьера. Эренбург устроил Мандельштама в свою «дипломатическоую миссию», в которую входили также один красный моряк и один молодой актер МХАТ'а. Об этом путешествии Эренбург рассказал в своей книге мемуаров.

Мандельштам, очевидно, недолго пробыл в Москве: в октябре 1920 г. он был уже в Петрограде, как об этом свидетельствует интересная запись в дневнике А. Блока под датой «22 октября 1920». В этой записи Блок рассказывает о вечере в клубе поэтов на Литейном, состоявшемся накануне:

> Верховодит Гумилев — довольно интересно и искусно. Акмеисты, чувствуется, в некотором заго-

воре, у них особое друг с другом обращение. Все под Гумилевым.

Гвоздь вечера — И.* Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос, сначала невыносимо слушать обще-гумилевское распевание. Постепенно привыкаешь... виден артист. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противуположность моему). Его «Венеция».** По Гумилеву — рационально все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое (В начале было Слово, из Слова возникли мысли, слова уже непохожие на Слово, но имеющие, однако, источником Его; и все кончится Словом — все исчезнет, останется одно Оно).***

Эта запись интересна, потому что в ней мы находим единственное сколько-нибудь распространенное — и притом положительное — суждение Блока о поэзии Мандельштама. В дореволюционных письмах и дневниках Блока имя Мандельштама упоминается вскользь — почти всегда в связи с Пястом: они встречаются или у Пяста или в компании с Пястом. В одной из дневниковых записей 1911 г. попадается слово (притом подчеркнутое) «Мандельштамье» — не совсем ясно, при-

---

* Так у Блока. Сам Мандельштам никогда себя Иосифом не называл. — Г. С.

** Речь идет, очевидно, о стихотворении, напечатанном в этом томе под № 110; по всей вероятности, Мандельштам читал его на вечере; оно помечено 1920 годом и написано, должно быть, в Крыму. — Г. С.

*** А. Блок. Сочинения в восьми томах. Т. VII (М., 1963), стр. 371.

лагательное это или существительное. Только раз до революции говорит Блок о Мандельштаме как поэте: критикуя в письме Белому альманах «Мусагета», Блок пишет: «Отчего Рубанович второго сорта, когда у нас есть Рубанович лучшего сорта (по имени Мандельштам)? * Видимо, только в 1920 г. Блок оценил по-настоящему Мандельштама-поэта.

В интересных воспоминаниях Е. М. Тагер, полученных мною из России и опубликованных в нью-йоркском «Новом Журнале» (№ 81, 1965), есть рассказ о встрече нового, 1921-го, года в Петрограде, в «Сумасшедшем Корабле», т. е. в Доме Искусств. Автор воспоминаний только что вернулся из постигнутого голодом Поволжья. Приводим его рассказ:

> ...Люди усердно старались казаться живыми, а я не могла отделаться от ощущения, что брожу среди призраков. Уж очень не совпадали мои поволжские впечатления с этими нарядами, с этими яркими губами, с этими псевдобеззаботными разговорами.
>
> У меня завязалась тихая беседа с Мандельштамом. Мы углубились в какие-то давние воспоминания, когда перед нами возникла блистательная Лариса Рейснер. В живописном платье из тяжелого зеленого шелка, соблазнительная и отлично это знающая, она стояла как воплощение жизненной удачи, вызывающего успеха, апломба. Какой контраст с тем, что я видела в глубине России! Какой невыносимый контраст.
>
> Я что-то сказала Мандельштаму относительно этого контраста, этого страшного разрыва между социальными группами, между теми неимоверны-

---

* Там же, т. VIII, стр. 344.

ми трудностями, с которыми борется русская провинция, русская деревня, и этим привилегированным, пресыщенным, беспечальным существованием.

Мандельштам из-под густых ресниц рассматривал великолепную Ларису и внушительно говорил:

— Совсем недавно еще она была в нашем положении. И надо сознаться, что она его переносила неплохо. А теперь . . .

— А теперь она блистает в вашем кругу.

— Мы приняли ее в наш круг не потому, что она занимает блестящее положение, а несмотря на то, что она его занимает . . .

Подошли Р., О.; наш разговор снова прервался — надолго, надолго . . .

С 1920 года Мандельштам снова поселяется в Петербурге. В 1922 г. выходит в издательстве «Петрополис», с пометой «Петербург—Берлин» и по старой орфографии, вторая книга его стихов — „Tristia" включающая около пятидесяти стихотворений, одно другого лучше (многие из них были написаны в Крыму). Одновременно стихи Мандельштама печатаются в многочисленных в первые годы Нэпа альманахах и журналах, иногда одно и то же стихотворение в двух-трех различных изданиях более или менее одновременно (в некоторых случаях это — перепечатка стихов, появившихся ранее в разных эфемерных публикациях). В 1923 г. переиздаются в России „Tristia", с добавлением некоторых новых стихотворений и под названием «Вторая книга» (первое издание этого сборника было в сущности заграничным). Для хлеба насущного Мандельштам занимается в годы Нэпа переводами — с французского, немец-

кого и английского (см. Библиографию в третьем томе нашего издания).

В 1922 г. Мандельштам женится на Надежде Яковлевне Хазиной, сестре поэта Евгения Хазина. * Знакомство их относится еще к 1919 году. О пребывании «Нади Хазиной» в Киеве в 1919 г. упоминает Эренбург, прибавляя, что она позднее стала женой Мандельштама. Факт женитьбы Мандельштама долго оставался неизвестен многим заграницей. Едва ли не первым упоминанием его в печати была довольно странная фраза в воспоминаниях С. К. Маковского о Мандельштаме: говоря о том, что после прихода большевиков к власти Мандельштам старался брать от жизни что́ мог (см. выше, стр. 39), Маковский прибавлял: «Даже — как это ни покажется невероятным — женился на молодой актрисе». ** Позднее Георгий Иванов в рецензии на нью-йоркское издание сочинений Мандельштама в «Новом Журнале» отмечал, что редакторам его (т. е. Б. А. Филиппову и мне) факт женитьбы Мандельштама остался неизвестен. Сам он при этом не называл имени жены Мандельштама и не указывал года женитьбы, но прибавлял, что у Мандельштама была дочь и что к ней относится одно его стихотворение 1923 г. (№ 196 настоящего издания). Из того, что стало известно с тех пор о жизни Мандельштама, мы можем заключить, что брак его был счастливым и что он не мог представить себе жизни без своей «нежняночки», как он называл жену (есть, впрочем, сведения о том, что в самом начале 30-х годов он пережил большое увлечение одной молодой

---

* В опубликованных в «Воздушных Путях» воспоминаниях о Мандельштаме А. А. Ахматовой есть такая фраза: «Летом 1924 года О. М. привел ко мне (Фонтанка, 2) свою молодую жену».

** Н. Я. Хазина не была актрисой.

поэтессой, нашедшее себе отражение и в его поэзии). Н. Я. сопровождала его дважды в ссылку, и только в последнее роковое изгнание он должен был отправиться один. Будь с ним Н. Я., она, может быть, дала бы ему силы и возможность пережить все выпавшие на его долю испытания. Н. Я. до сих пор жива. Она преподавала еще в начале 1960-х годов английский язык в одном из провинциальных городов Советского Союза, а теперь вышла на пенсию и живет в Москве. Что же касается дочери Мандельштамов, то она оказалась «игрой воображения» Георгия Иванова.

В 1925 г. вышла первая книга прозы Мандельштама — «Шум времени». * В 1928 г. она была переиздана под названием «Египетская марка», с присоединением одноименной повести, напечатанной в промежутке в одном из советских журналов. В том же 1928 г. появилось и первое собрание стихотворений Мандельштама, в которое вошли стихи из первых двух его книг, а также стихи, написанные между 1921 и 1925 гг. В том же году увидел свет и сборник литературно-критических статей Мандельштама «О поэзии». 1928 год таким образом — вершина литературного пути Мандельштама. Советская критика, отмечая по обязанности несозвучность Мандельштама советской эпохе, отзывалась вместе с тем о всех трех книгах, как о значительных литературных явлениях. Так, по поводу «Стихотворений» Н. Л. Степанов в «Звезде» писал: «Современная поэзия идет путями в значительной мере иными, чем те, которые утверждены Мандельштамом, но тем не менее пройти мимо него она не может ... Высоким мастерством, совершенством словесной работы радуют стихи

* Несколько прозаических очерков Мандельштама было напечатано еще в 1923 г. в журнале «Огонек». Они не вошли в «Шум времени».

О. Мандельштама. Мандельштам, вероятно, один из наиболее 'взыскательных художников' ... Стихи его стоят вне злободневных споров, а являются образцом большой поэтической культуры, тесно примыкающей к современной поэзии». В другом советском журнале, в «Новом Мире», М. Рудерман характеризовал стихи Мандельштама как «интересное, значительное, но уже минувшее явление русской поэзии», и писал, что «в его торжественных и медлительных строфах, в конкретных и смелых эпитетах, в зрительных образах, в тонкой мелодической инструментовке — та сложная простота, о которой мечтают многие современные эпигоны классиков». Необходимо отметить, что в эти же годы зарубежные русские поэты и критики склонны были видеть в поэзии Мандельштама признаки упадка; это относится и к обычно не сходившимся ни в чем Ходасевичу и Георгию Иванову, и к Н. Оцупу, хотя последний и делал исключение для некоторых стихотворений.

Не прошла незамеченной и проза Мандельштама. В интересном анализе «Египетской марки» и «Шума времени» (первоначально в «Звезде», потом — в распространенном виде — в книге «Текущая литература») Н. Берковский писал: «В советскую прозу несут сейчас лучшие вклады поэты. Отличный писатель Бабель временно выписался из литературы, и поэтический триумвират Мандельштам—Пастернак—Тихонов в мастерстве прозаической речи идут, быть может, первыми; маленькая книга Мандельштама может требовать напряженного к себе внимания».

Книга «О поэзии», в виду своего теоретического характера и отказа от всякой попытки подладиться к партийным требованиям от литературы, хотя бы во фра-

зеологии, вызвала, разумеется, гораздо более отрицательное отношение. Но и с ней советские критики не могли не считаться. В журнале «Печать и Революция» ей посвятил более трех двухстолбцовых страниц мелкого шрифта небезызвестный О. Бескин. От него Мандельштаму досталось за его антиматериализм и за отказ «ревизовать свои старые позиции». Отстаивание акмеистических теорий через десять с лишним лет после Октябрьской революции было объявлено «мракобесием и реакционностью».

После 1928 г. Мандельштам новых книг уже не выпускал. Именно с этого года учащаются нападки на него. Против него выдвигаются обвинения в плагиате — в связи с переводом «Тиля Уленшпигеля», в котором он якобы использовал более ранний перевод известного и весьма почтенного критика и литературоведа А. Г. Горнфельда (1867—1941), ученика Потебни и до революции главного критика народнического «Русского Богатства». Имел ли сам Горнфельд какое-нибудь отношение к этим обвинениям, остается неясным, хотя Мандельштам во впервые печатаемой в нашем издании автобиографической «Четвертой прозе» (см. во втором томе) и ополчается довольно грубо против него. Главным застрельщиком в кампании против Мандельштама был известный перевертень Давид Заславский, бывший меньшевик, сотрудник дореволюционного «Дня», занимавший в 1917 году очень решительную антибольшевицкую позицию, но потом быстро перекрасившийся. Мандельштам протестовал против травли со стороны Заславского в письме в редакцию «Литературной Газеты». Протест его был поддержан одиннадцатью видными советскими писателями и критиками, в числе которых были не только Пильняк, Пастернак, Фе-

дин, Леонов, Зощенко, Олеша и другие «попутчики», но и такие заядлые рапповцы как Фадеев и Авербах. *

Несмотря на эту кампанию против него и на то, что Мандельштам все больше чувствовал себя гонимым, стихи его продолжали печататься в конце 20-х и начале 30-х годов в ряде советских изданий: в «Звезде», в «Новом Мире», в «Литературной Газете». В 1930 г. Мандельштам совершил путешествие в Армению и тогда же написал цикл стихов об Армении (см. №№ 203—215 в настоящем томе). В 1933 г. он напечатал в «Звезде» путевые очерки об этом путешествии. Последними стихотворениями Мандельштама, появившимися при его жизни в печати, были, насколько нам удалось установить, три стихотворения в номере «Литературной Газеты» от 23 ноября 1932 г. (№№ 221, 260 и 266 настоящего издания). После 1933 года и до совсем недавнего времени мы уже не находим подписи Мандельштама в советских изданиях. О нем, правда, еще пишут во второй половине тридцатых годов и даже позже, но почти всегда в контексте прошлого русской поэзии, как о дореволюционном поэте, в обзорных статьях и книгах, например в книгах А. Волкова «Поэзия русского империализма» (1935) и «Очерки русской литературы конца XIX и начала XX веков» (1938) и Б. Михайловского «Русская литература XX века» (1939), а также в книге О. Цехновицера о литературе первой мировой войны (1938). Но уже в первой из названных книг Волкова появилась явная тенденция отрицать у Мандельштама хотя бы те качества, которые более или менее единодушно признавала за ним предшествующая кри-

---

* См. это письмо и комментарии к нему во втором томе нашего издания. Этот же самый Заславский 35 лет спустя еще раз выступил в роли гасителя литературы в связи с «делом» Б. Л. Пастернака.

тика — его «конкретность» и его «высокую поэтическую культуру». В «Литературной Энциклопедии», соответствующий том которой вышел в 1932 г., Мандельштам еще был удостоен довольно пространной статьи А. Тарасенкова, который потом, в период ждановщины, в подхалимском усердии каялся, бия себя в грудь, в том, что слишком положительно оценивал Пастернака. Но в Большой Советской Энциклопедии статьи о Мандельштаме уже нет, хотя имя его и упоминается в статье «Акмеизм» (в Малой Советской Энциклопедии, вышедшей еще в 1929 г., имеется малозначущая анонимная справка). Не попал Мандельштам и в новое издание Большой Энциклопедии, том которой на букву «М» вышел уже после смерти Сталина. Есть все основания думать, что Мандельштам никогда не был членом Союза Советских Писателей. Имя его совершенно не упоминалось в связи с первым писательским съездом в 1934 г., даже в докладе Бухарина, в котором была дана более или менее объективная оценка нескольких «несозвучных» поэтов. Впрочем, как теперь стало известно, ко времени писательского съезда Мандельштам уже находился в ссылке, и писатели, очевидно, не решались вспоминать его имя.

Для характеристики обстановки и атмосферы, в которых жил Мандельштам в начале 30-х годов, приведем еще выдержки из воспоминаний Е. М. Тагер о нем. Характеризуя тогдашнюю общую литературную обстановку, автор пишет:

> Люди большой литературной культуры (Стенич) * говорили о Мандельштаме, не боясь слова

---

* Валентин Стенич, друг Юрия Олеши. Стенича под фамилией Стэнч вывел еще Блок в своем очерке «Русский дэнди». Советский переводчик Джойса; он был расстрелян в 1938 г. — Г. С.

«гениальность»; называли Осипа Эмильевича в ряду лучших русских поэтов. Литературные прихлебатели, которых в Доме Печати было хоть пруд пруди, — повторяли анекдотцы насчет его заносчивости, неуживчивости и даже невменяемости. Повидимому, друзей у него было немного.

Тон в литературных организациях задавали вожаки РАПП'а... Возникли высочайшие салоны, династически и идеологически связанные с органами госбезопасности. На этой почве культивировалась литература — в небольших количествах, и авантюра — в количествах чрезвычайных. Возникли убийственные методы литературной полемики. Судя по всему, в одном из таких высоких московских салонов зародилась формулировка «внутренний эмигрант» применительно к Мандельштаму. Спущенная сверху, формулировка эта вскоре докатилась до литературных коридоров. В условиях культа личности писатель с таким штампом мог смело считать себя обреченным.

Та же Е. М. Тагер рассказывает, как после ликвидации РАПП'а в 1932 г. Ленинградский Дом Печати предоставил свою трибуну для творческого выступления Мандельштама. Выступление это состоялось в начале 1933 года:

Не было ни анонсов, ни афиш, — никакой рекламы. Но довольно вместительный зал оказался набит битком. Молодежь стояла в проходах, толпилась в дверях.

Мандельштам читал, не снижая пафоса; как всегда, он стоял с закинутой головой, весь вытягиваясь, — как будто налетевший вихрь сейчас оторвет его от земли. Волосы, сильно уже поредевшие, все так же непреклонно вздымались над

крутым и высоким лбом. Но складки усталости и печали легли уже на этот чистый лоб мечтателя.

«Он постарел!» — говорили в толпе. — «Облезлый какой-то стал! А ведь должен быть еще молод...»

Мандельштам читал о своем путешествии по Армении — и Армения возникала перед нами, рожденная в музыке и в свете. Читал о своей юности: «И над лимонной Невою, под хруст сторублевой, мне никогда не плясала цыганка», — и казалось, что не слова сердечных признаний, а сгустки сердечной боли падают с его губ. Его слушали, затаив дыхание, — и всё росли, всё усиливались аплодисменты.

Но по залу шныряли какие-то недовольные люди. Они иронически шептались, они морщились, они пожимали плечами. Один из них подал на эстраду записку. Мандельштам огласил ее: записка была явно провокационного характера. Осипу Эмильевичу предлагалось высказаться о современной советской поэзии. И определить значение старших поэтов, дошедших до нас от предреволюционной поры.

Тысячи глаз видели, как Мандельштам побледнел. Его пальцы сжимали и комкали записку... Поэт подвергался публичному допросу — и не имел возможности от него уклониться. В зале возникла тревожная тишина. Большинство присутствующих, конечно, слушало, с безразличным любопытством. Но были такие, которые и сами побледнели. Мандельштам шагнул на край эстрады; как всегда — закинул голову, глаза его засверкали...

XXXIX

— Чего вы ждете от меня? Какого ответа? (Непреклонным певучим голосом): — Я — друг моих друзей!

Полсекунды паузы. Победным восторженным криком:

— Я — современник Ахматовой!

И — гром, шквал, буря рукоплесканий.

Этот рассказ не нуждается в комментариях. Мандельштама — робкого, якобы легко приспособляющегося, якобы за себя боящегося — он рисует в самом привлекательном свете.

Тот же автор рассказывает еще один эпизод из жизни Мандельштама, относящийся уже к 1933—1934 году — эпизод довольно тяжелый. Мандельштам в эти годы жил в Москве (Москвой помечена бóльшая часть стихотворений 1931—1934 гг.; но часть лета 1933 г. Мандельштам, очевидно, провел в Старом Крыму — это видно из помет под стихотворениями №№ 267—271; до этого, в 1928 г., Мандельштам жил в Ялте — повидимому, ради здоровья жены). Отношение к нему в московских литературных кругах было недружелюбное. Из одного случайно известного в отрывках письма его видно, что с целым рядом писателей, в том числе с Асеевым, Лидиным, Бенедиктом Лившицем, он порвал личные отношения. До его знакомых в Ленинграде все чаще доходили слухи о каких-то недоразумениях вокруг Мандельштама, о постоянных ссорах из-за пустяков, о преувеличенно болезненной раздражительности с его стороны. Он производил впечатление человека с глубоко пораженной психикой. Материальные дела его в начале 30-х годов тоже были плохи (одно время он, правда, работал в газете «Вечерняя Москва», ведя занятия с рабкорами). В какой-то момент до его друзей в Ленинграде дошел слух, что писатель Саркис Амир-

джанов (он же Сергей Бородин, когда-то член группы «Перевал», а впоследствии автор популярного романа о Дмитрии Донском) учинил дебош в квартире Мандельштама и оскорбил его жену. Историей этой занялся товарищеский суд под председательством А. Н. Толстого. Суд этот вынес какую-то двусмысленную резолюцию, которую можно было истолковать так, что, мол, Мандельштамы сами виноваты. Рассказываемый Е. М. Тагер эпизод имеет отношение к этой истории. Она предваряет свой рассказ словами: «Не все хочется вспоминать. Но из песни слова не выкинешь». Мандельштамы приехали в Ленинград (это было, повидимому, весной 1934 года), и Е. М. должна была встретиться с ними в Ленинградском издательстве писателей. Когда она подходила туда, дверь издательства внезапно распахнулась, из нее выбежал Мандельштам, чуть не сбив Е. М. с ног, а за ним его жена. Они сейчас же скрылись из виду. Когда ошарашенная этим Е. М. вошла в издательство, она окончательно оторопела:

> То, что я увидела, — напомнило последнюю сцену «Ревизора» по неиспорченному замыслу Гоголя. Среди комнаты высилась мощная фигура А. Н. Толстого; он стоял расставив руки и слегка приоткрыв рот; неописуемое изумление выражалось во всем его существе. В глубине, за своим директорским столом застыл И. В. Хаскин с видом человека, пораженного громом. К нему обратился всем корпусом Гриша Сорокин, как будто хотел выскочить из-за стола, и замер, не докончив движения, с губами, сложенными, чтобы присвистнуть. За ним Стенич, как повторение принца Гамлета в момент встречи с тенью отца. И еще несколько писателей, в различной степени и в

разных формах изумления, были расставлены по комнате. Общее молчание, неподвижность, общее выражение беспримерного удивления, — все это действовало гипнотически.

На вопрос Е. М., что́ случилось, ей ответили, что Мандельштам ударил по лицу А. Н. Толстого. Войдя и увидев Толстого, он подошел к нему с протянутой рукой. Намерения его были до того неясны, что Толстой даже не отстранился. Подойдя к нему и дотянувшись до него (те, кто видел и знал обоих писателей, могут представить себе эту картину), Мандельштам «шлепнул слегка, будто потрепал его по щеке, и произнес в своей патетической манере: 'Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены'». Очевидно, сразу после этого Мандельштам выбежал вон. Настроение большей части собравшихся в издательстве писателей было явно не в пользу Мандельштама, они хотели суда над ним, просили Толстого дать им доверенность на ведение дела. Один из писателей поднял даже вопрос о подаче жалобы в народный суд. Толстой подавать в суд отказался. Но, как пишет Е. М., «Все жаждали крови, всем не терпелось как можно скорее, как можно строже засудить Мандельштама. Никто не вспомнил о его больных нервах, о его трудной жизни, о его беспримерном творчестве». Суд над Мандельштамом, по-видимому, всё-же не состоялся или кончился ничем. Но совсем скоро поэта ожидали другие и куда более серьезные испытания.

Заграницей давно уже ходили слухи, что совершенно исчезнувший с литературной сцены Мандельштам был в 1934 г. арестован. Арест этот сначала связывался с какими-то неосторожными словами по поводу убийства Кирова, потом — с эпиграммой, которую Мандельштам якобы написал на Сталина и которая стала

ходить по рукам (в связи с этим в разных вариантах рассказывалось о таинственном звонке из Кремля, от самого Сталина, Б. Л. Пастернаку с запросом о Мандельштаме). О дальнейшей судьбе Мандельштама толком ничего не было известно. Советские справочники молчали о нем, из истории литературы имя его было вычеркнуто. Распространился было слух, что его, как еврея, расстреляли во время войны немцы в одном из захваченных ими «исправительно-трудовых» лагерей. Назывался даже в этой связи Елец. Потом стали говорить, что он умер где-то по дороге в ссылку на Дальний Восток. Только с конца 50-х годов разными путями стали проникать на Запад более или менее достоверные сведения о Мандельштаме, а также рукописные и машинописные списки его стихов, ходивших по рукам в России (с другой стороны с Запада в Россию проникло нью-йоркское издание сочинений Мандельштама, давно недоступных советскому читателю, вызвав большой интерес среди всё еще многочисленных поклонников поэта). Сейчас картина судьбы Мандельштама, если и не стала известна во всех подробностях, более или менее прояснилась. *

Еще до происшествия с Толстым, описанного выше, Мандельштамы получили в Москве квартиру в Нащокинском переулке. Впрочем, почти наверное это была не целая квартира, а только жилплощадь в квартире, в которой жили и другие — и, может быть, сомнительные — жильцы: недаром в стихотворении, написанном

---

* В рассказе, который следует, о последней, трагической, фазе жизни Мандельштама мы использовали и уже появившийся в печати материал, и кой-какую полученную с тех пор информацию. Для некоторых опускаемых нами подробностей отсылаем читателя к двум наиболее обстоятельным публикациям на эту тему — статье Г. Стукова «Новое о судьбе О. Мандельштама» («Мосты», № 10, Мюнхен, 1963) и его же заметке в «Русской Мысли» (Париж) от 5 февраля 1963 г.

в ноябре 1933 года (см. № 272 в настоящем собрании), Мандельштам «воспел» это « московское злое жилье», в котором «стены проклятые тонки»:

И вместо ключа Ипокрены
Домашнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

И друзьям Мандельштама, да и самим Мандельштамам могло казаться, что бродячая жизнь кончилась. Из уже упоминавшихся, дошедших до заграницы в отрывках воспоминаний А. А. Ахматовой мы узнаем, что у О. Э. в это время завелись книги — главным образом старинные издания итальянских поэтов (он тогда переводил Петрарку, изучал Данте; несколько его переводов из Петрарки сохранилось среди стихотворений последних лет его жизни). Но как будто бы обретенное временное благополучие было лишь видимым. Как говорит Ахматова, «тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме». Злое московское жилье вскоре оправдало свою «зловещесть», и в его «халтурные стены» ворвалась струя даже не домашнего страха, а настоящего ужаса — предвестника еще худших ужасов тех черных лет, которые так замечательно «воспела» та же Ахматова в своем «Реквиеме». 13-го мая 1934 года на квартиру в Нащокинском переулке явился наряд ГПУ с ордером, подписанным самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихов. Нашли, между прочим, стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков» — Мандельштам не отрицал своего авторства. В семь часов утра Мандельштама увели — вероятно, на Лубянку. Из разных источников известно, что Б. Л. Пастернак тогда же ходил просить за Мандельштама к Бухарину, а А. А. Ахматова — к Енукидзе, который в то время был управляющим делами Совнарко-

ма, а впоследствии сам оказался, как и Бухарин, одной из жертв сталинских чисток. Может быть, эти хлопоты возымели частичный результат. Вскоре стало известно, что Мандельштам «приговорен» к трем годам ссылки в Чердынь, небольшой городок к северу от Соликамска, недалеко от верховья Камы. «Приговор» по сравнению с тем, что ожидало многих писателей в последующие годы, был довольно снисходительный. Среди стихотворений Мандельштама, написанных в Воронеже, из которых некоторые печатаются в нашем собрании впервые, есть несколько с упоминаниями Камы, Урала и другими отголосками этой первой ссылки. В одном из них есть строки:

Упиралась волна в сто четыре весла,
Вверх и вниз, на Казань и на Чердынь несла.

Известно, что в Чердыни Мандельштам покушался на самоубийство, выбросившись из окна больницы, где он тогда содержался, и сломал себе при этом руку. Жена его, сопровождавшая его в ссылку, послала телеграмму в ЦК, после чего якобы сам Сталин велел пересмотреть дело Мандельштама и разрешил ему выбрать другое место ссылки (именно с этим как будто был связан телефонный звонок Сталина Б. Л. Пастернаку). Мандельштам, очевидно, сам выбрал Воронеж. Чем он руководился в этом выборе — и мог ли он выбирать любой город — мы не знаем. Может быть, историко-литературными ассоциациями Воронежа (Кольцов, Никитин, Станкевич). А может быть тем, что в Воронеже выходил когда-то журнал «Сирена», в котором была напечатана его статья «Утро акмеизма».

Когда именно Мандельштам попал в Воронеж, мы тоже не знаем. Среди дошедших до Запада стихотворений последнего периода первые, помеченные Воронежем, датированы «Апрель 1935». Перед этим в да-

тах — большой пробел: стихотворениям, помеченным апрелем 1935 г., непосредственно предшествуют стихотворения, написанные в Москве и помеченные февралем 1934 г. Трудно представить, однако, чтобы Мандельштам больше года не писал стихов. Возможно, что при обыске в мае 1934 г. у него были отобраны все недавно написаные стихотворения, и потому они не сохранились, а что после ареста и ссылки в Чердынь он либо не писал стихов, либо же их у него отбирали.

В декабре 1935 г. Мандельштам провел несколько недель в Тамбове. У него открылось сердечное заболевание, и его отправили туда на осмотр и лечение. Пребывание в Тамбове отразилось в его стихах.

Есть основания полагать, что трехгодичный срок ссылки был в случае Мандельштама довольно строго соблюден и что в мае 1937 г. он и его жена возвратились в Москву в то же самое «злое жилье». Подробностей жизни Мандельшта́ма в период трехлетней ссылки в Воронеже мы не знаем. Хотя в стихах воронежского периода многое явно навеяно личными переживаниями, ни одно из них не является беспримесно автобиографичным. Повидимому, бо́льшую часть времени — если даже не все время — Мандельштам жил на вольной квартире. Под конец ссылки его даже имели возможность навестить некоторые старые друзья. Имел он и возможность переписываться. Но полный свет на этот период жизни Мандельштама будет пролит только тогда, когда его вдова получит возможность опубликовать свои воспоминания и когда станут известны его письма из Воронежа. До нас случайно дошло одно такое письмо, обращенное к покойному Ю. Н. Тынянову. Письмо всего в несколько строк, но строки эти весьма многозначительны. Вот что писал Мандельштам из Воронежа в январе 1937 года:

Пожалуйста не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе...

По одним сведениям — летом, по другим — осенью (а может быть и дважды), Мандельштамам удалось съездить в Ленинград и повидать старых друзей. Вот как об этом приезде (она приурочивает его к лету) рассказывает Е. М. Тагер:

Мандельштам приехал с тетрадкой стихов «Воронежского цикла», покорил друзей их взволнованной музыкой. По инициативе Стенича была сделана небольшая складчина, — друзья собрали немного денег, белья, вещей, ибо Мандельштам был без копейки, он обносился, ходил чуть ли не босиком.

Настала минута прощанья. Несколько близких собрались на Московском вокзале. Мандельштам со своей «нежняночкой» спешили навстречу лишениям, навстречу, может быть, гибели. Имущество Осипа Эмильевича было увязано в неказистый узелок. В ожидальном зале возвышалась искусственная пальма трактирного типа. На ветвь этой пальмы Мандельштам повесил свой скудный узелок и, обратившись к Стеничу, сказал: «Странник в пустыне!» Друзья смеялись и плакали. Бедный узелок на пальме — в этом образе вдруг сконцентрировалась судьба поэта, его странническая неумолимая судьба. И как было тут не вспомнить вещие слова другого великого русского поэта:

Странником в мире ты будешь.
В этом твое назначенье,
Радость-Страданье твое...

Е. М. Тагер прибавляет:

> В скором времени в Ленинграде узнали, что Мандельштам находится в заключении. И вот, слухи о нем прекратились.

Мандельштам был арестован во второй раз почти ровно через четыре года после первого ареста — 2-го мая 1938 года. Он находился в то время в санатории для нервно-больных на ст. Черусти (недалеко от Москвы?). Точные обстоятельства, при которых произошел этот второй арест, нам неизвестны. Вероятно, и в России их знают только самые близкие к поэту люди. В напечатаных в СССР воспоминаниях о последних годах жизни Мандельштама (например, в воспоминаниях Николая Чуковского в журнале «Москва») много неточного и просто неправильного. Е. М. Тагер об этом последнем этапе жизни Мандельштама рассказывает очень кратко и с чужих слов. В полученном Г. Стуковым из России рассказе о последних днях Мандельштама, воспроизведенном им в упомянутой уже статье в «Мостах», содержится несомненная ошибка, поскольку там говорится, что Мандельштам был арестован вместе с другими ссыльными в Воронеже, осужден на пять лет и «этапирован» во Владивосток. Имеющиеся у нас сведения о том, что из воронежской ссылки Мандельштам вернулся и что он был вновь арестован спустя почти год, не подлежат сомнению. Но в остальном приведенный Г. Стуковым рассказ, судя по всему, заслуживает доверия и подтверждается из других источников. Согласно этому рассказу, во Владивостоке Мандельштам застрял — в ожидания открытия навигации — очевидно, для отправки в Магадан или другой ка-

кой-нибудь лагерь, для которого Владивосток служил транзитным пунктом. Остальной рассказ основанный на сведениях, полученных от лиц, бывших в то время во Владивостоке, процитируем по статье Г. Стукова:

> Еще в этапе он стал обнаруживать признаки помешательства. Подозревая, что начальство (этапный караул) получило из Москвы приказ отравить его, он отказался принимать пищу, которая состояла из хлеба, селедки, щей из сушеных овощей и иногда пшена. Соседи уличили его в хищении хлебного пайка и стали подвергать зверскому избиению, пока не убедились в его безумии. На владивостокской транзитке сумасшествие О. Э. приняло еще более острые формы. Он боялся отравления, похищал продукты у соседей по бараку (он считал, что их пайки не были отравлены), его стали снова зверски избивать. Кончилось тем, что его выбросили из барака, он жил около сорных ям, питался отбросами. Грязный, заросший седыми волосами, длиннобородый, в лохмотьях, безумный, он превратился в лагерное пугало. Изредка его подкармливали врачи из лагерного медпункта, среди которых был один известный воронежский врач, любитель стихов, хорошо знавший Мандельштама.

Сведения эти были сообщены лицом, получившим их из вторых рук. Может быть, и не все в них точно. Лицу, сообщившему эти сведения, не было известно, например, когда именно умер Мандельштам. Смерть Мандельштама он приурочивал к весне 1938 г. С другой стороны Илья Эренбург, едва ли не первый заговоривший в советской печати о Мандельштаме после многих лет заговора молчания вокруг его имени, в первой версии своих мемуаров, напечатанной в «Новом

Мире», со слов какого-то советского агронома, бывшего во Владивостоке в те годы (тоже в ссылке?), называл датой смерти Мандельштама 1940 год. В отдельном издании мемуаров Эренбурга дата эта была исправлена на 1938 год. Сейчас известно, что Мандельштам скончался во Владивостоке 27 декабря 1938 года. *

Точные обстоятельства, при которых он умер, до сих пор неизестны, а, может быть, никогда и не станут известны (большинства свидетелей его смерти наверное нет в живых, а те, кто еще жив — например, из лагерного начальства — едва ли расскажут то, что им известно). Но даже если рассказ, преданный огласке Г. Стуковым, не во всех деталях точен, в основном он несомненно соответствует действительности. Замечательный, большой русский поэт кончил жизнь как «лагерное пугало», а может быть и как помешанный.

Заграницей стало известно одно письмо Мандельштама из лагеря во Владивостоке. ** Оно адресовано брату Александру и жене. Даты на нем нет. При напечатании было сказано, что оно датируется двадцатыми числами октября 1938 г. Из письма мы узнаем некоторые точные факты, относящиеся к самой последней фазе жизни поэта. В Москве он сидел в Бутырках. Приговорен был, по решению ОСО (Особого Совещания при Народном Комиссариате Внутренних Дел) к пяти годам (лагеря) «за контрреволюционную деятельность». Москву Мандельштам покинул по этапу 9 сентября, во Владивосток прибыл 12 октября. О себе Мандельштам пишет в письме (в котором нет никаких признаков помешательства) следующее:

---

* И дата, и место указаны теперь в составленном К. Д. Муратовой «Библиографическом указателе русской литературы конца XIX — начала XX в.» (М., 1963) Заграницей эти данные стали известны еще раньше (см. статью Г. Стукова).

** См. «Русская Мысль», 21 февраля 1963 г.

Здоровье очень слабое, истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги — не знаю, есть ли смысл. Попробуйте всё-таки. Очень мерзну без вещей...

Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка...

Последние дни ходили на работу. Это подняло настроение. Из лагеря нашего, как из транзитного, отправляют в постоянные. Я очевидно попал в «отсев» и надо готовиться к зимовке...

Как писал Г. Стуков в уже цитировавшейся статье, «После смерти Блока и Гумилева Максимилиан Волошин написал известное стихотворение о трагической судьбе русских поэтов. Но никакое самое необузданное воображение не могло ему нарисовать страшную судьбу его друга — столь ценимого им, как поэта — Осипа Эмильевича Мандельштама, который незадолго до написания этого стихотворения гостил у него в Коктебеле!» И которому — прибавим от себя — он без труда выхлопотал освобождение от арестовавшей его врангелевской полиции или контрразведки.

Мы не знаем, продолжал ли Мандельштам писать стихи в тех условиях поистине звериной жизни и в том состоянии умственного и душевного расстройства, в которых он оказался во Владивостоке. Последние по датам его стихи, печатаемые нами в этом издании, относятся к маю 1937 года, т. е. ко времени до второго ареста. Это и — последние стихи известные нам; если были более поздние, они до нас не дошли.

В Советском Союзе, где жизнь Мандельштама окончилась смертью, которую почти можно назвать насильственной, над ним учинили и литературную казнь. Правда, у него было много поклонников, особенно среди молодого поколения, и стихи его давно ходят по ру-

кам, часто в дефектных списках, чем объясняется и ряд ошибок, допущенных нами в первом издании этого тома: ошибки эти восходят к таким ходившим по рукам спискам.

Только с начала шестидесятых годов Мандельштама, как поэта, начали понемногу «воскрешать» и печатать.

Но если не считать журнальных публикаций, сочинения Мандельштама до сих пор остаются не собранными на родине. В 1959 году был объявлен однотомник его стихов в большой серии «Библиотеки поэта», но это издание так и не осуществилось. Только с 1962 года, когда несколько его стихотворений было напечатано в «Дне поэзии», имя его стало снова появляться в печати, и по мере того, как шло время, все чаще и чаще. Целые циклы его стихов были напечатаны в периферийных изданиях — в воронежском «Подъеме», в выходящем в Алма-Ате «Просторе», в «Литературной Армении». Недавно отдельным изданием вышел раньше никогда даже не упоминавшийся и впервые напечатанный за рубежом в английском переводе «Разговор о Данте».

В 1959 году имени Мандельштама еще нельзя было упоминать. Оно отсутствовало в вышедшем тогда томе на «М» нового издания «Малой Советской Энциклопедии». Его не мог назвать и вывел анонимно, хотя и достаточно прозрачно, в своих напечатанных в конце 1958 года воспоминаниях в «Звезде» поэт Всеволод Рождественский, позднее, когда воспоминания эти вышли отдельной книгой, раскрывший анонимат. Еще до того очень тепло рассказал о Мандельштаме в своих мемуарах Илья Эренбург. Стали появляться упоминания о нем, как поэте, заслуживающем внимания и особенно привлекающем литературную молодежь, в лите-

ратурно-критических статьях (В. Перцова, Л. Озерова и др.). В 60-х годах начали появляться и воспоминания людей, лично знавших Мандельштама. Но во всех этих воспоминаниях о последних годах его жизни говорилось уклончиво и глухо (исключением были воспоминания Е. М. Тагер и отчасти А. А. Ахматовой, но ни те ни другие пока в Советском Союзе не напечатаны). Официальная «реабилитация» Мандельштама завершилась напечатанием в вышедшем весной 1967 года четвертом томе «Краткой Литературной Энциклопедии» статьи о нем, в которой сказано, что он был «незаконно репрессирован» и «посмертно реабилитирован», но ничего не рассказано об обстоятельствах его жизни в последние годы и его смерти. Интересно, что в библиографии к этой статье есть ссылка на первый том нашего издания, а также на нью-йоркское издание 1955 года, так что советский читатель узнает, что в то время как на родине ни стихи, ни проза Мандельштама не собирались с 1928 года, за рубежом уже есть два собрания его сочинений.

И в своем поэтическом творчестве, и в своих литературно-критических суждениях Мандельштам, этот — по описанию Эренбурга — «щуплый, маленький, с закинутой назад головкой, на которой волосы встают хохолком» (таким он помнится и мне в 1915 году) человек, который (говорит тот же Эренбург) боялся пить сырую воду и тщательно обходил участки и комиссариаты, проявил после революции изумительную духовную смелость и стойкость.

Среди собранных им в книгу в 1928 г. статей было много таких, которые не только звучали анахронизмом, но были и прямым вызовом официальной идеологии. В 1924 г., в статье под названием «Выпад», говоря о самых различных требованиях, предъявляемых к поэзии,

Мандельштам писал, что предъявление подобных требований всегда легко, произвольно, ни к чему не обязывает и «избавляет от очень неприятной вещи, а именно — благодарности к тому, что есть, самой обыкновенной благодарности к тому, что в данное время является поэзией». И он перечислял поэтов, к которым его современники проявляют «чудовищную неблагодарность». В этот список избранных современников у Мандельштама попали: Кузмин, Маяковский, Хлебников, Асеев, Вячеслав Иванов, Сологуб, Ахматова, Пастернак, Гумилев и Ходасевич. «Уж на что они не похожи друг на друга, из разной глины», писал Мандельштам, «но это всё русские поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда». *

Список этот очень интересен сам по себе. Помимо того, что в нем явно преобладают поэты «несозвучные» советской эпохе, он показывает большую широту подхода и дает пищу для интересных литературно-исторических домыслов. Названные в нем поэты поистине слеплены из очень разной глины! И все-таки всех их что-то объединяет. Почти каждое имя в этом списке у того или иного любителя русской поэзии вызовет, с той или иной точки зрения, реакцию удивления или даже протеста. Тем, для кого бесспорны в нем Вячеслав Иванов и Сологуб, может показаться странным соседство с ними Маяковского и Асеева — и наоборот. Но для беспристрастного ценителя русской поэзии, и для историка литературы почти все имена в этом списке будут бесспорны (наибольшие сомнения и споры может вызвать Асеев; включение его в 1924 г. в список поэтов «навсегда» во всяком случае должно было по-

---

* При перепечатке этой статьи в книге в 1928 г. из этого списка выпали имена М. А. Кузмина и В. Ф. Ходасевича — едва ли по вине самого Мандельштама.

казаться странным). Может показаться странным также отсутствие в этом списке Блока, Есенина и Марины Цветаевой. Но не надо забывать, что Мандельштам перечислял поэтов, к которым современники проявляли «чудовищную неблагодарность», а ни о Блоке, ни о Есенине этого сказать нельзя было.* Сам Мандельштам высоко ценил Блока как поэта, но считал его человеком XIX века, а поэзию его — завершенной главой в истории русской поэзии. К Есенину у него такого отношения не было: в одной из своих статей он «народничество» Есенина, его «подслащенный фольклор», противопоставлял подлинной народности Хлебникова и Маяковского.** Отсутствие в списке Цветаевой объяснить труднее, тем более, что их связывала личная дружба; разве что до Мандельштама еще не дошли к тому времени ее лучшие и наиболее зрелые вещи.

К поэтам, перечисленным Мандельштамом, его старшим и младшим современникам, мы должны прибавить имя самого Мандельштама. Он тоже — «не на вчера, не на сегодня, а навсегда», сколько бы неблагодарные современники ни выбрасывали его имя из энциклопедий и ни вычеркивали его фактически из истории литературы: в Советском Союзе, где в угоду партийной линии бывшее так легко превращается в небывшее, а небывшее становится бывшим, такой «чудовищной неблагодарностью» никого не удивишь.

---

* То же самое относится и к Маяковскому. Но возможно, что Мандельштам имел в виду то обстоятельство, что Маяковского ценили не за то, за что он заслуживал признания.

** В статье «Буря и натиск» (1923 г.), где Мандельштам интересно развивает мысли об отдельных поэтах в том списке, особенно о Сологубе, Хлебникове, Пастернаке и Ходасевиче. Хлебникову здесь дана особенно высокая оценка. Тут же интересные соображения о месте Иннокентия Анненского в русской поэзии.

Хорошо известно, что Мандельштам начал свою поэтическую деятельность как соратник Гумилева по акмеизму. В предреволюционные годы у него было больше акмеистического «задора», чем у самого maitre d'école. Свою концепцию акмеизма он формулировал, в статье «Утро акмеизма», напечатанной много позднее, в 1919 г. Здесь он отметал привычное представление об акмеизме, как простом возврате к реализму, к воспеванию действительности. Художник, утверждал он, «знает бесконечно более убедительную действительность искусства». Единственно реальное в искусстве — само произведение искусства. Реальность в поэзии — не предметы внешнего мира, а «слово как таковое». И Мандельштам пояснял: «Медленно рождалось 'слово как таковое'. Постепенно, один за другим, все элементы слова втягивались в понятие формы, только сознательный смысл, Логос, до сих пор ошибочно и произвольно почитается содержанием. От этого ненужного почета Логос только проигрывает; Логос требует только равноправия с другими элементами слова... Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов». Так наново формулированный, акмеизм оказывается далек от ходячего представления о нем, как о поэзии по преимуществу изобразительной, как о переносе принципов живописи и пластики в поэзию.* Устанавливая тождество формы и содержания, Мандельштам подошел очень близко к концепции формалистов, которые свое понимание поэзии, как искусства слова, видели иногда наилучше воплощенным в поэзии футуристов. Сам Мандельштам, однако, в той же статье по-

* См., например, интересную, но во многом очень спорную статью В. Маркова «Мысли о русском футуризме» («Новый Журнал», XXXVIII, 1954).

лемизировал с футуристами и писал: «Футурист, не справившись с сознательным смыслом, как с материалом творчества, легкомысленно выбросил его за борт и, по существу, повторил грубую ошибку своих предшественников» (т. е., очевидно, символистов). И дальше: «... если у футуристов слово как таковое еще ползает на четвереньках, в акмеизме оно впервые принимает более достойное вертикальное положение и вступает в каменный век своего существования». *

В более поздних статьях «О природе слова» и «Слово и культура» Мандельштам развивал сходные мысли. В статье «О природе слова» провозглашалась эллинистическая природа русского языка, который, как ни один, «противился ... назывательному и прикладному назначению». «Русский номинализм, то есть представление о реальности слова как такового, животворит дух нашего языка и связывает его с эллинской филологической культурой не этимологически и не литературно, а через принцип внутренней свободы, одинаково присущей им обоим». Всяческий утилитаризм Мандельштам объявлял смертным грехом против эллинистической природы русского языка. В статье «Слово и культура» (1921) Мандельштам призывал не требовать от поэзии «сугубой вещности, конкретности, материальности». «Зачем», говорил он, «отождествлять слово с вещью, с предметом, который оно обозначает? Разве вещь — хозяин слова? Слово — Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность,

---

* В свете этих формулировок Мандельштама было бы очень желательно и интересно установить, когда же именно была написана эта статья Мандельштама, напечатанная в 1919 году, и если она была написана раньше, то подверглась ли она переделке перед напечатанием (см. об этом выше стр. XXXVIII).

милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела». И дальше: «Стихотворение живо внутречним образом, тем слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ, это его осязает слух поэта».

В этих словах — ключ ко многому в стихах и раннего и позднего Мандельштама. Как ни непохож на первый взгляд поэт «Камня» на автора «Грифельной оды» или на поэта «Воронежских тетрадей», объединяет их вот это именно отношение к слову.

Останься пеной, Афродита,
И слово в музыку вернись! —

восклицал Мандельштам в одном из самых ранних своих напечатанных стихотворений.

А в стихотворении 1920 года о революционном Петрограде, о «черном бархате советской ночи» он обещает произнести в первый раз — «блаженное бессмысленное слово».

У зрелого Мандельштама очень бросается в глаза один прием: упорное, настойчивое повторение некоторых слов-образов. Как часто, например, в зрелых стихах Мандельштама встречаются в самых неожиданных сочетаниях, в самом непредвиденном контексте некоторые излюбленные слова-образы — «ласточки», «звезды», «соль». Это и есть те слова-Психеи, о которых он говорит, что они блуждают свободно вокруг вещи, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела. Эти блуждающие, упорно возвращающиеся слова играют роль своего рода сигнальных звоночков, через них не связанные как будто одно с другим стихотворения друг с другом перекликаются. В стихах самого позднего, во-

ронежского, периода — часто лихорадочно-нервных, неуравновешенных, но и потрясающих по своей внутренней силе — слова начинают звучать как шаманские заклинания. Ср., например, такие строки в нашем стихотворении № 360 (февраль 1937 г.):

И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы,
И прячутся поспешно в уголки,
И выбегают из углов угланы.

Или — четверостишие о Воронеже (наш № 301), городе Кольцова, в котором Мандельштам, как он говорит в другом стихотворении, оказался «закольцован».

Стихи Мандельштама воронежского периода, вероятно, будут долго еще вызывать споры. Многие увидят в них первые признаки того умственного расстройства, которое постигло Мандельштама под конец жизни. Многие будут предпочитать им стихи раннего и среднего периода (такие голоса, как читатель увидит из комментариев к этому тому, уже раздавались в зарубежной русской критике). Конечно, в этих воронежских стихах много недоделанного, «чернового», часто это варианты одного и того же стихотворения, и какие-то из этих вариантов наверное были бы отброшены поэтом. Но именно теперь, когда мы знаем его воронежские стихи — в которых с такой силой отразились и его личная трагедия, и трагедия русской литературы этого времени — Мандельшатм встал перед нами во весь свой поэтический рост. Повторяя его собственные слова, он — поэт «не на вчера, не на сегодня, а навсегда». Может быть, он был бы таковым и без воронежских стихов, но в этих стихах он повернулся к нам какой-то новой стороной, его поэзия обогатилась новыми звуками. Без этих стихов Мандельштам для нас уже больше не Мандельштам. И его придется по-новому

изучать. В историко-литературной перспективе этот «поэт для немногих», как его часто называли (см. на эту тему интересные соображения проф. К. Брауна во вступительной английской статье к этому тому), поэт, с таким задором воевавший накануне революции и против символистов, и против футуристов, предстанет, может быть, как наиболее полно синтезировавший три главных течения новейшей русской поэзии — символизм, акмеизм и футуризм.

ГЛЕБ СТРУВЕ

Лондон, июль 1964 г.—август 1967 г.

ТВОРЧЕСТВО ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

1.

Недавно мне случилось говорить о новой русской поэзии перед аудиторией, состоящей в основном из французских литераторов, многие из которых бывали в Москве, а иные и неплохо знали русский язык. После доклада один из слушателей спросил, кто по-моему наилучший из упомянутых мною поэтов. Услыхав имя Мандельштама, хотя и известное многим из них по наслышке, слушатели мои немало удивились.

— Как? А Маяковский (пропаганда выдвинула его на первое место в сознании многих иностранцев, не только коммунистов)? А Есенин? А Пастернак?

Возможно, что моя оценка удивила бы не менее сильно и неискушенную в поэзии широкую русскую публику. Но специалисты уже сознают исключительность поэтического излучения Мандельштама. Приблизительно с конца войны, за ним все более укрепляется место первого русского поэта нашего столетия, выдерживающего соседство с тремя корифеями золотого века: с Пушкиным, Тютчевым и Лермонтовым.

Наиболее серьезные и ответственные критики нашей эпохи, любого лагеря — В. В. Вейдле, К. В. Мочульский, Г. В. Адамович, Илья Эренбург, Д. П. Святополк-Мирский и многие другие писали о Мандельштаме в самых восторженных выражениях. Цитатами их высоких оценок легко было бы заполнить и не одну

страницу. Но ограничусь приведением слов Ахматовой, сказанных Адамовичу: «Сидит человек десять-двенадцать, читают стихи, то хорошие, то заурядные, внимание рассеивается, слушаешь по обязанности, и вдруг будто какой-то лебедь взлетает над всеми — читает Осип Эмилиевич . . . »

Помню, еще несколько лет тому назад мы сидели с группой русских литераторов и журналистов в ресторане мюнхенского аэродрома и читали посмертные стихи Мандельштама в как раз тогда полученном втором сборнике «Воздушных Путей». Все мы были так взволнованы, что и не заметили неодобрительного внимания степенных немцев и выхолощенных международных снобов, недоумевающих — какой это коктейль, какой ликер мог так подействовать на российских «дикарей»?

Он безносой канителью
Правит, душу веселя,
Чтоб крутилась каруселью
Кислосладкая земля . . .

Живущий в Париже немецкий поэт Пауль Целан — один из виднейших представителей поколения, выдвинувшегося в Германии после войны, знает русский язык. Он родом из Буковины, которая во время последней войны была оккупирована и гитлеровцами, и большевиками. Сколько ему пришлось от них перетерпеть видно хотя бы из того, что до сих пор его стихи носят след вынесенных им тогда испытаний. Но русский язык он изучил и, к счастью, разобрав что к чему, не возненавидел Россию.

Среди многих новых русских поэтов, которых я ему показывал (Цветаева, Хлебников, Г. Иванов, Заболоцкий), он сразу выделил Мандельштама и перевел на немецкий язык целый сборник его стихов, весьма удачно. Таким образом Мандельштам приобрел право гражданства в руководящих кругах немецкой литературы, о чем

неоднократно свидетельствовали мне многие ее представители.

Был в Париже до войны старый ученый аббат Анри Бремон, автор многотомной „Histoire littéraire du sentiment religieux en France", открывающий новую, неведомую Францию, о существовании которой до него знали только специалисты, не имеющую ничего общего с распространенным заграницей трафаретом поверхностного легкомыслия. Рядом с элегантной светской болтовней XVII и с наивно-рациональным бунтарством XVIII столетия, Бремон воскрешает богатейшую, разнообразнейшую мистически-религиозную литературу, полную углубленной мысли и красочной образности.

Но сравнительно лишь немногие сумели преодолеть эти одиннадцать объемистых томов. Более широкой публике Бремон известен теорией «чистой поэзии» (poésie pure). Он находит, что глубокая суть поэзии — неуловимая рассудочными средствами аксиома — «то», что остается после отсеивания и музыки, и образности, и смысла, но без чего — грош им цена. Примером он приводит следующие строки поэта Малерба:

Toute sorte de biens comblera nos familles,
La moisson de nos champs lassera les faucilles
Et les fruits passeront la promesse des fleurs...

Стихи, бесспорно, замечательные. И Бремон спрашивает: в чем их смысл? — Что урожай будет хорошим? Но ведь в прозе можно это сказать и короче и вразумительнее. «Чистая поэзия» — и есть неуловимая разница между этими строками в том виде, в котором они вышли из-под пера автора, и их смыслом.

Не знаю, было ли известно учение Бремона Мандельштаму. Внешние условия для этого были, во всяком случае, крайне неблагоприятны: не легко было тогда проникнуть в Россию учению человека, заклейменного принадлежностью к католическому духовенству и вовсе не склонного идти на демагогические компромиссы с

сильными мира сего. Тем не менее, задолго до появления статей Бремона о чистой поэзии, как раз стихи Мандельштама воплотили его теорию с яркостью, может быть еще небывалой в мировой литературе:

Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот...

Если бы Бремон знал русский язык, он бы наверное пришел от этих стихов в не меньший восторг, чем немецкий поэт Целан, чем все мы.

Рассеян утренник тяжелый,
На босу ногу день пришел,
А на дворе военной школы
Играют мальчики в футбол.

Казалось бы, ничего и не произошло — еще меньше, чем в вышеприведенных стихах Малерба. Но мы потрясены. Воистину «творчество из ничего».

Бремон, пожалуй, преувеличивает, сводя поэзию исключительно к словесной магии. Поэзия многообразна как жизнь, и ей свойственно б ы т ь вопреки любым априорным о ней представлениям. Часто она и состоит именно в этом «вопреки». Корявость Кюхельбекера или Коневского, тяжелокаменность Баратынского, вульгарность Маяковского не только не понижают высокую ценность их поэзии, но составляют самую ее суть. Неизвестно, перевесит ли в глазах будущих поколений несказанная легкость Есенина изощренную насыщенность Клюева.

С некоторых пор в поэзии появилось даже стремление к подчеркнуто обезмагничивающему прозаизму, как, например, у Бориса Слуцкого по-русски, или у таких иностранных поэтов, как Готфрид Бенн, Марианна Мур, Анри Мишо или Филипп Ларкин, обновляющих современную поэзию давно ей нехватавшей свежестью

и открывающих для нее новые, весьма плодотворные возможности. Тем не менее, отрицать высокую ценность и редкость словесной магии мы не собираемся. В русской поэзии она — секрет Пушкина, Лермонтова, Блока.

У Мандельштама она, пожалуй, достигает наивысшей степени и растворяет все остальные свойства его творчества, определяя собою все извилины его стихотворной речи. В ней, думаю, может быть суть того, что Д. П. Святополк-Мирскому казалось «перебойным мельканием ряда реторических планов, напоминающего кубистическую картину». Мандельштаму не свойственен медиумизм Блока, обвиняющего «творческий разум» в убийстве певчей птицы дарованного свыше вдохновения. Разница между ними в том, что Блок довольствуется ролью пассивного вместилища получаемого свыше подарка, тогда как Мандельштам «вырывает клещами» весть из другого мира, настоятельно требует всего, «именно того, что надо». Он весь — «там», полностью мобилизован для завоевания небесного дара. Стихи его — плод предельного волевого усилия, крайнего напряжения всех его жизненных возможностей, порождение сокровеннейших глубин его существа, не поддающихся вмешательству сознания, независимых от каких бы то ни было внешних логических или иных схем.

Он целиком погружен в слух, для уловления где-то в дебрях мироздания звучащей гармонии, не подлежащей никакой поверке человеческой алгеброй. Такое напряжение внимания имеет мало общего с романтическим «восторгом», при котором стихи автоматически сами изливаются на бумагу. Это — долгий и мучительный процесс складывания целого из отдельных обрывков, поглощающий все ресурсы человеческого существа. Поэтому ему неведомы условности. Его стихи — непрерывное изумление, неожиданность.

И влагой напоен, восстал песчаник честный,
И средь ремесленного города-сверчка

LXV

Мальчишка-океан встает из речки пресной
И чашками воды швыряет в облака.

Хотя струя его заклинательных слов льется вне какой бы то ни было смысловой или сюжетной связи, логическое строение его фразы всегда может быть восстановлено, хотя порою и не без усилия, как например, у Гонгоры, у Маллармэ или даже у Горация. Как и они — Мандельштам поэт не для легкого чтения.

2.

Его статья «Слово и культура» заканчивается фразой: «Классическая поэзия — поэзия революции».

Как известно, большевикам с политической поэзией не повезло. Не потому, чтобы политическая поэзия была вообще невозможной. От Лукана и Данте до таких наших современников, как Константин Кавафис или Юлиан Тувим, ее всегда творили величайшие из поэтов. Больше того, она даже совместима с некоторой долей конформизма. Взять хотя бы Ломоносова или Державина.

За границей, из прекрасного далека, под защитой презренных «буржуазных» правительств от поползновений партий нарушить их внешний и внутренний комфорт, всякие попутчики (талант, как известно, прекрасно уживается и с подлостью и со злодейством) создали немало художественных произведений во славу компартии. Взять хотя бы французского вельможу Луи Арагона или турецкого аристократа Назыма Хикмета. Бывают среди них и искренне ошибающиеся, как,пожалуй, немецкий драматург Бертольд Брехт, замолчавший после своего переселения в восточную зону Германии, до самой своей смерти. Даже его рукописи, накопившиеся за эти последние годы, до сих пор не опубликованы, не-

смотря на нетерпение многих просоветски настроенных интеллигентов.

Конечно, не всем дано быть такими ловчилами, как Арагон или А. Н. Толстой. В общем, даже если политическая поэзия и выносит некоторое насилие автора над собою, искренность его общей душевной настроенности — непременное условие ее существования. Даже если, например, стихи Державина Екатерине не лишены местами тонкой лести, вряд ли бывшей у него «криком сердца», его горячая преданность великой императрице и ее делу не подлежит сомнению.

Если же поэт вынужден утверждать в стихах о б р а т н о е тому, что он на самом деле знает и думает, то политическая поэзия «не вытанцовывается». С этим явлением большевики за свои скоро 50 лет безраздельного владычества ничего поделать не смогли. Не говоря уже о заведомых бездарностях типа Демьяна Бедного или Грибачева, даже самые даровитые из подсоветских поэтов, немедленно впадают в непроходимую пошлость, как только принимаются воспевать партийное начальство. Так было не только с оппозиционно настроенными Есениным и Пастернаком, но даже с Маяковским и с Тихоновым, если не считать у последнего баллад, насыщенных революционной романтикой первых лет военного коммунизма.

Единственная политическая поэзия в СССР, достойная этого имени, создана противниками режима, против воли и несмотря на запрет партии. Это стихи Мандельштама, Клюева . . .

Политическая тема звучала в поэзии Мандельштама еще до революции. Она была плодом историософского раздумья:

> Европа цезарей! С тех пор как в Бонапарта
> Гусиное перо направил Меттерних —
> Впервые за сто лет и на глазах моих
> Меняется твоя таинственная карта!

или же восторженного преклонения перед величием Петербурга и императорской России:

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Увлечение красотой и силой империи Российской распространяется у него на имперский принцип вообще, как на совершенную форму человеческого бытия:

Здесь, Капитолия и Форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу Августа и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы.

Недаром после революции раздался его горестный возглас: «Твой брат Петрополь умирает». Для поэта гибель любимого города принимает размеры космической катастрофы, когда «воск бессмертья тает», когда «весна... сломалась». Наступает хаос, подлинное «смешение планов». Стало уместным возвращение к псевдоклассической оде и к „beau désordre" Буало. Перед лицом безудержно-стихийного роста России екатерининской, как и перед лицом не менее стихийного крушения России в октябре 1917 года — то же смятение перед грандиозностью происходящего, не укладывающееся в рамки обычной поэтической архитектоники:

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.

Только сила духа поэта остается непреклонной: даже «в черном бархате советской ночи» «всё цветут бессмертные цветы».

Если «В Петербурге мы сойдемся снова» и особенно «На страшной высоте блуждающий огонь» — вопли

отчаяния, то «Сумерки свободы» — победное усилие поэта возвыситься над событиями. Отчаянием он не довольствуется, а гнев ему не свойствен. Он чует гибель своего мира: «В ком сердце есть, тот должен слышать, время, как твой корабль ко дну идет». Принимая события во всей их грандиозности, поэт сумел подняться над житейскими невзгодами и над близорукими препирательствами современников на высоты безличного суда над происходящим. Он готов добровольно присоединиться к усилиям тех, кто пытается двинуть человечество в новом, неведомом направлении: «Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля . . . » Но он знает, что наступили «сумерки свободы» и «мы будем помнить и в летейской стуже, что десяти небес нам стоила земля!» В этой оде — явная готовность принять революцию, при полном сознании размеров уплаты.

Но разочарование не замедлило наступить. Сложность его словесной музыки и своеобразие логического преломления его фразы послужили ему в дальнейшем для маскировки его подлинных настроений от недреманного ока. Наряду с косноязычием пифии о предметах с трудом укладывающихся в рамки людской речи, в его новых одах господствует тайнопись, зашифровывающая суровое осуждение происходящего непривычностью поэтических формул. Герметизм из самоцели стал ширмой от цензуры, панцырем его неустрашимой совести. Так, например, под словом «век», в оде того же названия, повидимому скрывается «революция». Только при такой подстановке, ода эта поддается хоть частичной расшифровке.

Поэт по-прежнему далек от малодушия перед лицом испытаний «Захребетник лишь трепещет на пороге новых дней», но он уже знает, что отплытие в моря неведомого будущего не состоялось и не состоится, потому что «разбит твой позвоночник, мой прекрасный, жалкий век», и что «снова в жертву, как ягненка, темя

жизни принесли». Насилие и жестокость погубили революцию — она стала реакцией, а ее жестокость — признаком бессилия:

И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

Назад, вспять к XIX веку, к наивной вере шестидесятников во всемогущество материалистической науки.

Тем не менее, поэт видит выход из создавшегося положения — в мужестве того «кто сумеет заглянуть в твои [века] зрачки» — в лицо страшной правды банкротства революции, стоившей «десяти небес». Выход этот также в жертвенности того, кто «своею кровью склеит двух столетий позвонки». Только тогда будет достигнута всеумиряющая гармония:

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать...

В сущности, Мандельштам великолепно понимал тщетность аллегорической рационализации на таких высотах историософского и метафизического прозрения. Главная сила этих стихов в словесном запечатлении воздуха эпохи, того, что он сам называл «шумом времени». Ода «1 января 1924» — потрясающая попытка регистрации такого шума. Она построена симфонически — на повторении одних и тех же мотивов в постоянно обновляющемся контексте.

Тут, впервые в своих политических одах, автор заговорил о себе самом, о своем блуждании в ночи Москвы и истории — в плену «времен обманных и глухих». Возвращается тема болезни и даже умирания века. И все-таки он страшен: «некуда бежать от века-властелина». Сомнение, борьба, отчаяние звучат в голосе поэ-

та: «Кого еще убьешь? Кого еще прославишь? Какую выдумаешь ложь?»

С темой гибели века сплетается тема потерянности поэта в чужом мире, в бесконечной поездке зимней ночью на извозчике, когда он силится запахнуть ветхую полость саней:

Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.

Тут судьбы мира рядом с отзвуками из личной жизни, но на одинаковой высоте поэтического претворения: «известковый слой в крови больного сына твердеет . . .» Из этих, как бы случайных переживаний складывается страшная музыка эпохи, все-таки кончающаяся на мажорной ноте:

И известковый слой в крови больного сына
Растает, и блаженный брызнет смех . . .
Но пищущих машин простая сонатина —
Лишь тень сонат могучих тех.

Мужество и сознание ответственности совместно со всеми современниками его не покидают: «Ну что-же, если нам не выковать другого, давайте с веком вековать».

Это — не безропотная покорность судьбе, не сдача на милость противнику. Этот призыв к ковке иного, лучшего — алмазная твердость, о которую земные властители изрежут себе руки до крови, но ее не преодолеют. Поэт и говорит о них с презрительным негодованием:

А вам, в безвременьи летающим
Под хлыст войны за власть немногих —
Хотя бы честь млекопитающих,
Хотя бы совесть ластоногих . . .

Незадолго до своего ареста поэт написал загадочное на первый взгляд стихотворение «Ламарк» — вершину его поэтической тайнописи. При первом чтении оно кажется безобидным щеголянием естественно-научной терминологией, похвальным с точки зрения партии, картиной низших ступеней животного царства, полной сочных подробностей, вроде «насекомых с наливными рюмочками глаз». Вот, казалось бы, наконец, первый росток пресловутой «научной» поэзии, по которой стосковался советский режим. Конечно, и с этой точки зрения стихотворение превосходно. Но для начальства за розами наукообразия тут запрятана ядовитая змея твердой веры в бессмертие, действующее на советскую власть как красное сукно на быка. А «кольчецы с усоногими» — только прикрытие. Ключ к подлинному смыслу кроется во второй строфе:

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

«Все живое лишь помарка за короткий выморочный день» — это credo материализма. Е с л и оно соответствует действительности, т о [частица, подразумевающаяся между словами «день» и «на»] поэт предпочитает отказаться от превосходства человека над животными, даже над самыми примитивными:

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Если жизнь на самом деле только ничтожная «помарка», то н е т р а з н и ц ы между любящим Моцарта и умеющим смеяться человеком и завитком с присосками, лишенным зрения и слуха; но ведь превосход-

ство высших форм биологии — исключительно духовного порядка.

Отрывок в прозе, озаглавленный «Вокруг натуралистов», дополняет и подтверждает данные стихотворения. Выбор Ламарка указывает на неприятие поэтом дарвинского трансформизма: «Никто, даже отъявленные механисты, не рассматривают рост организма, как результат изменчивости внешней среды. Среда лишь приглашает организм к росту».

За несколько лет до ареста у поэта стали возникать предчувствия угроз судьбы и даже прямое ее ожидание: «И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных». Или же менее определенные, но более волнующие:

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страха, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. —
Душно, но все-таки до смерти хочется жить.

Политические ноты его стихов последних лет пребывания на свободе проникаются растущим ощущением ужаса: «Мне на плечи кидается век-волкодав», его взгляд отворачивается от «кровавых костей в колесе», ему видится «честный предатель, проваренный в чистках, как соль». В это же время появляются и такие знаменательные фразы, как «Держу пари, что я еще не умер», «И в сапожках мягких ката выступают облака».

3.

Как ни велико значение политической поэзии Мандельштама, она далеко не исчерпывает его творческие возможности. В приведенном выше четырехстишии об Европе — не только глубина философско-исторической проблематики, но и стилистическая меткость «гусиного пера» Меттерниха. В его замечательной прозе, обычно

менее ценимой чем стихи, как никогда оживают и его еврейское происхождение и неувядаемая красота Петербурга, и впечатления от поездок в Крым и в Армению. Особенным блеском выделяется глава о французских живописцах («Французы»). В немногих словах облики творчества Сезанна, Матисса, Ван Гога и др. возникают перед нами с небывалой отчетливостью и меткостью.

И в стихах всюду рассыпаны крупицы ярчайших культурно-исторических формулировок. Так, в Царском Селе «карета с мощами фрейлины седой», а на протестантских похоронах «был взор слезой приличной затуманен и сдержанно колокола звонили»; в константинопольской святой Софии «серафимов гулкое рыданье не покоробит темных позолот», а картины Рембрандта достигли «блеска кордованской кожи». Разве мыслимо воскресить Баха живее, чем в знаменитой строфе:

Разноголосица какая
В трактирах буйных и церквах,
А ты ликуешь как Исайя,
О рассудительнейший Бах.

Американская туристка, «прекрасная как тополь», — «чтоб мрамор сахарный толочь влезает белкой на Акрополь». Как глубоко надо было пропитаться атмосферой диккенсовских романов, чтобы создать «Домби и сын», который мы не цитируем только потому, что его пришлось бы приводить целиком. А Московского «Кремля... фисташковые... голубятни», а Франция «карликовых виноградарей в их разгородках марлевых», а «буквы — кузнечные клещи» армянского алфавита! Ему хватило только трех слов для воскрешения всей эпохи декабристов: «Россия, Лета, Лорелея». Или гениальное ви́дение Черноморского порта, впрочем выходящее далеко за пределы пластического изображения:

Идем туда, где разные науки
И ремесло — шашлык и чебуреки,

Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятье нам о человеке.
Мужской сюртук — без головы стремленье,
Цирюльника летающая скрипка . . .

Особенно остро он чувствовал античный мир: «Бежит весна топтать луга Эллады, обула Сафо пестрый сапожок . . .»

Но это не изощренность пресыщенного культурой начетчика. Его стихотворение об Илиаде звучит почти экстатически:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся . . .

А в таких строках, как:

Мы в драгоценный лен Субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия . . . —

трудно сказать, где кончается тончайшее и точнейшее ощущение стиля и где начинается подлинное религиозное чувство.

Эта интуитивная близость к самым корням тайны стиля не заглохла даже в тягчайшие годы жизни поэта, когда черный бархат советской ночи его окончательно поглотил. Стихотворения «Новеллино» и «Ариост» — из лучших и самых зрелых его созданий, густо насыщены культурным наследием веков. Роскошь миниатюрной окраски здесь достигает предела:

По темнобархатным лугам
В сафьяновых сапожках
Они пестрели по холмам,
Как маки на дорожках.

Но эти стихи населены теми же чудовищами, что и кошмарнейшие из его политических галлюцинаций.

Художественная яркость лишь усиливает остроту окаянности его «бегунов»,

Что пересиливали срам
И чумную заразу,
И всевозможным господам
Прислуживали сразу..., —

жены которых «в порочных длинных платьях —

Топили воск, мотали шелк,
Учили попугаев
И в спальню, видя в этом толк,
Пускали негодяев.

Не таится ли в этом стихотворении ощущение непонятного родства зла с красотой и с полнотой жизненной силы?

«Ариост» — мягче, менее зловещ, в нем сильнее ощущение «суеты сует», хотя и тут: «В Европе холодно, в Италии темно, власть отвратительна, как руки брадобрея» — причем понятно, что речь идет не только о временах Ариоста!

Думаю, что эта тема так близка Мандельштаму из-за свойственного ему духовного эпикурейства. Холодным человеком он не был. По свидетельству Г. В. Иванова он в молодости покушался на самоубийство из-за неразделенной любви. Его жена позднее последовала за ним в ссылку, в слабой надежде облегчить его участь. Имеются сведения и о других его встречах с женщинами. Но соблазн духовный был для него сильнее всех соблазнов земных. Для него стиль культуры — ее духовная сущность. Радость бытия как бы сублимировалась для него в области искусства и умозрения, которые обладают для него остротой и живостью физических ощущений: «только стихов виноградное мясо мне освежило случайно язык». Ради музыки он был способен забыть все на свете:

Не прелюды он и не вальсы
И не Листа листал листы, —

В нем росли и переливались
Волны внутренней правоты.

То, что для большинства людей — только абстракция, было для него источником подлинной, живой радости. Отсюда и захватывающая новизна его формулировок и их ни с чем не сравнимая убедительность.

4.

С первых же шагов его творчества тема о смерти стала одной из доминирующих нот в его поэзии. Проблема вечности, с такой остротой поставленная в «Ламарке», занимала его уже в начале поприща, когда поэту еще не было и двадцати лет, с редкой для его возраста зрелостью:

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Немногими годами позже, в одном из своих изумительнейших созданий, поэт противопоставляет вечности ночную суету большого города:

На рынке возятся собаки,
Менялы щелкает замок.
У вечности ворует всякий,
А вечность — как морской песок:
Он осыпается с телеги —
Не хватит на мешки рогож... —

в котором вечность становится той «первоосновой жизни», из которой рождается и Афродита и слово поэта в стихотворении „Silentium". Тут близок первозданный хаос Тютчева:

Ночь, из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой...

Но полноты голоса достигает эта тема лишь во втором сборнике "Tristia", где Прозерпина проникает в пораженный революцией Петербург: «Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем и каждый час нам смертная година». Теперь смерть соприкасается, не только с вечной первоосновой бытия, но и с земной любовью. Поэт говорит любимой женщине [по словам М. И. Цветаевой это стихотворение посвящено ей]:

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
— Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы...

В другом стихотворении он даже отдает смерти предпочтение перед любовью:

Пусть говорят: любовь крылата,
Смерть окрыленнее стократ;
Еще душа борьбой объята,
А наши губы к ней летят.

Прекрасное стихотворение о Венеции — сплошной гимн смерти:

Тонкий воздух. Кожи синие прожилки.
Белый снег. Зеленая парча.
Всех кладут на кипарисные носилки,
Сонных, теплых вынимают из плаща...

И — подтверждая выше нами сделанное предположение — нигде так ярко, как здесь, не выступает образ стиля культуры — в тесном сплетении с темой смерти:

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой граненый. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла.

С неменьшей силой тема эта выявляется в античных контурах, почти неосязаемой легкости:

Неслышно птиц. Бессмертник не цветет.
Прозрачны гривы табуна ночного.
В сухой реке пустой челнок плывет,
Среди кузнечиков беспамятствует слово.

В начале 20-х годов появилась у Мандельштама тема, прежде ему совсем несвойственная: о чрезвычайно тяжелой, мрачной и грубой жизни. Такой и была повидимому его собственная жизнь в ту пору: «Тихонько гладить шерсть и ворошить солому, как яблоня зимой в рогоже голодать . . . » или же:

Того что было, не вернешь,
Дубовый стол, в солонке нож,
И вместо хлеба еж брюхатый;
Хотели петь и не смогли,
Хотели встать, дугой пошли
Через окно на двор горбатый.

или еще:

Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда
И земля правдивей и страшнее.

Настоятельность этой темы и постоянное к ней возвращение указывает на крайнюю скудность и жестокость тогдашних жизненных условий, если даже такой далекий от повседневности человек, как Мандельштам, мог до такой степени быть ею захваченным.

5.

Общеизвестны обстоятельства его гибели в угоду низколобому деспоту. Надо сказать, что роковые строки, его погубившие — намного лучшее из всего того, что было написано о Сталине, не только своей правдивостью, но и художественностью: «Кремлевский горец», «тол-

стые пальцы» которого «как черви жирны», «играет услугами полулюдей» — достойный для него ярлык для входа во всемирную историю. Можно надеяться, что он за ним и останется.

В стихах Мандельштама, написанных после ареста, чувствуется дальнейшее его созревание. Его поэзия стала обнаженно-простой и предельно сжатой:

А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,
Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

Его словесная магия лишь стала еще неотразимей. Немало в этих стихах незабываемых выражений, вроде «козырь — дуб», «чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз« (про Ариосто и Тассо), Москва — «нежнее моря, путанней салата — из дерева, стекла и молока», «несется земля — меблированный шар», «на лапы из воды поднялся материк» и многие другие.

Зато тема одиночества в неласковой, суровой, «чужой» жизни достигла степеней ужаса, перед которыми бледнеют изощреннейшие находки наших сюрреалистов, как в потрясающем стихотворении, где «шестипалая неправда» потчует поэта отваром из ребячьих пупков, или в других местах, где его дар словесной магии бессознательно обращался в сторону ужаса: «глаз превращался в хвойное мясо», «Нет, не мигрень, но холод пространства бесполого, свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой . . . », «Песнь одноглазая», «клятвопреступная зелень», или в судорожности предсмертного кошмара:

И в яму, в бородавчатую темь,
Скольжу к обледеневшей водокачке,
И спотыкаясь мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке . . .

LXXX

Как известно, изображение ужаса в советской литературе запрещено. Зато уже если он прорывается (за исключением, разумеется, «дозволенных» зверств гитлеровцев во время войны), то вымышленные ужасы западных писателей бледнеют перед бездной зла, на миг раскрывающейся перед нами. Этим объясняется многое в происхождении и в природе соцреализма. Становится понятным, почему советская власть продолжает упорно за него цепляться, несмотря на его явный неуспех и удручающее бесплодие!

В конечном итоге в поэзии Мандельштама мысль о смерти только оттеняет и усиливает упоение красотой и радостью мира — как в средневековой мексиканской скульптуре. И здесь корень его влюбленности в культуру. Она для него неистощимый источник жизненного разнообразия. Зачарованность красотой мира живет даже в самых трагических его произведениях: «И в траве гадюка дышит мерой века золотой» или «Зима-красавица и в звездах небо козье рассыпалось и молоком горит...»

Даже в последние, самые страшные годы его жизни, чувство это его не оставляет:

Земля бежит наверх. Приятно
Глядеть на чистые пласты
И быть хозяином объятной,
Семипалатной простоты.

Буквально на краю могилы он оставался верен себе:

Сосновой рощицы закон —
Виол и арф семейный звон:
Стволы извилисты и голы,
Но все же арфы и виолы
Растут, как будто каждый ствол
На арфу начал гнуть Эол
И бросил, о корнях жалея...

Угнетатели России смогли потушить чистое горение этого жизнеутверждающего пламени только вместе с дыханием поэта. Но их злоба бессильна против его бессмертия.

Эммануил Райс
Декабрь 1963

ОТ РЕДАКТОРОВ

Настоящее трехтомное собрание сочинений Осипа Эмильевича Мандельштама (том первый — стихотворения, том второй и третий — проза и переписка) не претендует на исчерпывающую полноту. Нам недоступны многие произведения Мандельштама, оставшиеся неопубликованными, нам не удалось разыскать и ряд альманахов, журналов и газет, в которых были опубликованы стихи и проза Мандельштама. Вполне возможно, что некоторые из опубликованных в них произведений никогда больше не перепечатывались и не вошли в сборники поэта. Следует, однако, сказать, что количество неразысканных нами альманахов, сборников, журналов и газет с публикациями Мандельштама — невелико, и что Мандельштам очень часто перепечатывал в более распространенных изданиях те свои произведения, которые впервые были опубликованы в редких и мало распространенных изданиях, в частности, провинциальных. И мы можем смело утверждать, что бóльшая и наиболее значительная часть произведений Мандельштама, появившихся в печати, вошла в наше собрание. Вошло в него и все то из неопубликованных произведений поэта, что ходило и ходит по рукам в списках и машинописных копиях, но, конечно, в

этом случае мы никак не можем притязать ни на полноту, ни на полную исправность текстов: правда, мы имели возможность пользоваться в нашей работе немалым количеством весьма авторитетных списков — и — сличая их — стремиться к установлению наиболее «мандельштамовского» текста, но все-таки утверждать, что наш текст является нигде и ни в чем неискаженным переписчиками, — мы никак не можем. Однако во втором издании первого тома мы имели возможность установить подлинный текст ряда стихотворений. Имели возможность и сильно дополнить наше собрание стихотворений О. Э. Мандельштама. При этом, для большей стройности в самом расположении произведений по томам, мы перенесли стихотворения и переводы из уже опубликованного нами второго тома в том первый. Во втором издании второго тома, если таковое будет осуществлено, стихотворения и переводы будут, конечно, исключены.

Принципы, положенные в основу распределения по разделам и порядка следования друг за другом текстов Мандельштама, принципы редактирования и выбора «канонической» редакции — изложены нами в разделе «Примечания». Добавим здесь только, что в случае отсутствия авторской датировки произведения, предположительная дата его написания давалась нами в квадратных скобках, причем определялась — чаще всего — на основании даты первой публикации.

Нелегкая работа по собиранию и редактированию произведений поэта, по корректированию настоящего издания осуществлялась нами при деятельном участии и помощи ряда библиотек, научных учреждений и отдельных лиц.

Редакторы приносят глубокую благодарность всем участникам этой работы, в частности Л. А. Алексеевой-

Иванниковой, А. С. Беляеву, проф. Кларенсу Брауну, Р. Н. Гринбергу, Хелен Диксон, Д. И. Кленовскому, о. Аркадию Моисееву, И. В. Одоевцевой, А. К. Ранниту, А. П. Струве, Н. А. Струве, В. А. Сумбатову, Ю. К. Терапиано, Д. Томсону, Т. О. Федоровой и З. И. Юрьевой. Редакторы благодарят художника С. Л. Голлербаха за большую помощь в художественном оформлении книги и за портрет Мандельштама.

Большое спасибо за помощь!

Глеб Струве

Борис Филиппов

КАМЕНЬ

1.

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной . . . . 1908.

2.

Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки;
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.

О вещая моя печаль,
О тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь! 1908.

3.

Из полутемной залы, вдруг,
Ты выскользнула в легкой шали —
Мы никому не помешали,
Мы не будили спящих слуг . . . 1908.

4.

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,

Все большое далеко развеять,
Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду. 1908.

5.

Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И все твое —
От неизбежного.

От неизбежного
Твоя печаль
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей. 1909.

6.

На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко,

Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти. 1909.

7.

Есть целомудренные чары —
Высокий лад, глубокий мир,
Далеко от эфирных лир
Мной установленные лары.

У тщательно обмытых ниш
В часы внимательных закатов
Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь.

Какой игрушечный удел,
Какие робкие законы
Приказывает торс точеный
И холод этих хрупких тел!

Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить. 1909.

8.

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить,
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть —
Узора милого не зачеркнуть. 1909.

9.

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена
Истомой — сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.

Немного красного вина,
Немного солнечного мая —
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна. 1909.

10.

На перламутровый челнок
Натягивая шелка нити,
О пальцы гибкие, начните
Очаровательный урок!

Приливы и отливы рук —
Однообразные движенья,
Ты заклинаешь, без сомненья,
Какой-то солнечный испуг,

Когда широкая ладонь,
Как раковина пламенея,
То гаснет, к теням тяготея,
То в розовый уйдет огонь!

11.

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым. 1909.

12.

Когда удар с ударами встречается
И надо мною роковой,
Неутомимый маятник качается
И хочет быть моей судьбой,

Торопится и грубо остановится,
И упадет веретено —
И невозможно встретиться, условиться,
И уклониться не дано.

Узоры острые переплетаются,
И все быстрее и быстрей
Отравленные дротики взвиваются
В руках отважных дикарей... 1910.

13.

Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна хрусталь,
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.

Ткань, опьяненная собой,
Изнеженная лаской света,
Она испытывает лето,
Как бы не тронута зимой;

И, если в ледяных алмазах
Струится вечности мороз,
Здесь — трепетание стрекоз
Быстроживущих, синеглазых. 1910.

14. SILENTIUM

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В мутно-лазоревом сосуде.

Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,
И слово в музыку вернись,
И сердце сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито! 1910.

15.

Слух чуткий парус напрягает,
Расширенный пустеет взор
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден как природа
И так же прост как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенней холста;
Твой мир болезненный и странный
Я принимаю, пустота! 1910.

16.

Как тень внезапных облаков,
Морская гостья налетела
И, проскользнув, прошелестела
Смущенных мимо берегов.

Огромный парус строго реет;
Смертельно-бледная волна
Отпрянула — и вновь она
Коснуться берега не смеет;

И лодка, волнами шурша,
Как листьями . . . 1910.

17.

Из омута злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша,
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен. 1910.

18.

В огромном омуте прозрачно и темно,
И томное окно белеет;
А сердце — отчего так медленно оно
И так упорно тяжелеет?

То всею тяжестью оно идет ко дну,
Соскучившись по милом иле,
То, как соломинка, минуя глубину,
Наверх всплывает без усилий.

С притворной нежностью у изголовья стой
И сам себя всю жизнь баюкай,
Как небылицею, своей томись тоской
И ласков будь с надменной скукой. 1910.

19.

Душный сумрак кроет ложе,
Напряженно дышет грудь...
Может, мне всего дороже
Тонкий крест и тайный путь. 1910.

20.

Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня!
Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня.

А я вверяюсь их заботе,
Мне холодно, я спать хочу;
Подбросило на повороте
Навстречу звездному лучу.

Горячей головы качанье
И нежный лед руки чужой,
И темных елей очертанья,
Еще невиданные мной. 1911.

21.

Скудный луч холодной мерою
Сеет свет в сыром лесу.
Я печаль, как птицу серую,
В сердце медленно несу.

Что мне делать с птицей раненой?
Твердь умолкла, умерла.
С колокольни отуманенной
Кто-то снял колокола,

И стоит осиротелая
И немая вышина,
Как пустая башня белая,
Где туман и тишина.

Утро, нежностью бездонное,
Полуявь и полусон —
Забытье неутолённое —
Дум туманный перезвон . . . 1911.

22.

Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и не страшно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.

И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовьется упрек, —
Я участвую в сумрачной жизни
И невинен, что я одинок!

Выстрел грянул. Над озером сонным
Крылья уток теперь тяжелы,
И двойным бытием отраженным
Одурманены сосен стволы.

Небо тусклое с отсветом странным —
Мировая туманная боль —
О позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь. 1911.

23.

Сегодня дурной день,
Кузнечиков хор спит
И сумрачных скал сень
Мрачней гробовых плит.

Мелькающих стрел звон
И вещих ворон крик...
Я вижу дурной сон,
За мигом летит миг.

Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть,
И яростный гимн грянь,
Бунтующих тайн медь!

О, маятник душ строг,
Качается, глух, прям,
И страстно стучит рок
В запретную дверь к нам... 1911.

24.

Смутно-дышащими листьями
Черный ветер шелестит
И трепещущая ласточка
В темном небе круг чертит.

Тихо спорят в сердце ласковом,
Умирающем моем
Наступающие сумерки
С догорающим лучем.

И над лесом вечереющим
Стала медная луна.
Отчего так мало музыки
И такая тишина? 1911.

25.

Отчего душа так певуча
И так мало милых имен,
И мгновенный ритм — только случай,
Неожиданный Аквилон?

Он подымет облако пыли,
Зашумит бумажной листвой
И совсем не вернется — или
Он вернется совсем другой.

О широкий ветер Орфея,
Ты уйдешь в морские края,
И, несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное «я».

Я блуждал в игрушечной чаще
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий,
И действительно смерть придет? 1911.

26. РАКОВИНА

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.

Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь;
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.

Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своей,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей;

И хрупкой раковины стены,
Как нежилого сердца дом,
Наполнишь шопотами пены,
Туманом, ветром и дождем... 1911.

27.

О небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла! 1911.

28.

Я вздрагиваю от холода —
Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото —
Приказывает мне петь.

Томись, музыкант встревоженный,
Люби, вспоминай и плачь,
И, с тусклой планеты брошенный,
Подхватывай легкий мяч!

Так вот она — настоящая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!

Что, если, над модной лавкою
Мерцающая всегда,
Мне в сердце длинной булавкою
Опустится вдруг звезда? 1912.

29.

Я ненавижу свет
Однообразных звезд.
Здравствуй, мой давний бред —
Башни стрельчатой рост!

Кружевом, камень, будь,
И паутиной стань:
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань.

Будет и мой черед —
Чую размах крыла.
Так — но куда уйдет
Мысли живой стрела?

Или, свой путь и срок
Я, исчерпав, вернусь:
Там — я любить не мог,
Здесь — я любить боюсь . . . 1912.

30.

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади. 1912.

31.

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:
«Который час?» его спросили здесь,
А он ответил любопытным: «вечность». 1912.

32. ПЕШЕХОД

Я чувствую непобедимый страх
В присутствии таинственных высот,
Я ласточкой доволен в небесах
И колокольни я люблю полет!

И, кажется, старинный пешеход,
Над пропастью, на гнущихся мостках
Я слушаю, как снежный ком растет
И вечность бьет на каменных часах.

Когда бы так! Но я не путник тот,
Мелькающий на выцветших листвах,
И подлинно во мне печаль поет;

Действительно, лавина есть в горах!
И вся моя душа — в колоколах,
Но музыка от бездны не спасет! 1912.

33. КАЗИНО

Я не поклонник радости предвзятой,
Подчас природа — серое пятно.
Мне, в опьяненьи легком, суждено
Изведать краски жизни небогатой.

Играет ветер тучею косматой,
Ложится якорь на морское дно,
И бездыханная, как полотно,
Душа висит над бездною проклятой.

Но я люблю на дюнах казино,
Широкий вид в туманное окно
И тонкий луч на скатерти измятой;

И, окружен водой зеленоватой,
Когда, как роза, в хрустале вино —
Люблю следить за чайкою крылатой! 1912.

34.

Паденье — неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Кто камни к нам бросает с высоты —
И камень отрицает иго праха?

И деревянной поступью монаха
Мощеный двор когда-то мерил ты,
Булыжники и грубые мечты —
В них жажда смерти и тоска размаха...

Так проклят будь готический приют,
Где потолком входящий обморочен
И в очаге веселых дров не жгут!

Немногие для вечности живут,
Но если ты мгновенным озабочен —
Твой жребий страшен и твой дом непрочен! 1912.

35. ЦАРСКОЕ СЕЛО

Георгию Иванову.

Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло...
Поедем в Царское Село!

Казармы, парки и дворцы,
А на деревьях — клочья ваты,
И грянут «здравия» раскаты
На крик — «здорово, молодцы!»
Казармы, парки и дворцы...

Одноэтажные дома,
Где однодумы-генералы
Свой коротают век усталый,
Читая «Ниву» и Дюма...
Особняки — а не дома!

Свист паровоза . . . Едет князь.
В стеклянном павильоне свита! . .
И, саблю волоча сердито,
Выходит офицер, кичась:
Не сомневаюсь — это князь . . .

И возвращается домой —
Конечно, в царство этикета —
Внушая тайный страх, карета
С мощами фрейлины седой,
Что возвращается домой . . . 1912.

36. ЗОЛОТОЙ

Целый день сырой осенний воздух
Я вдыхал в смятенье и тоске;
Я хочу поужинать, и звезды
Золотые в темном кошельке!

И дрожа от желтого тумана,
Я спустился в маленький подвал;
Я нигде такого ресторана,
И такого сброда не видал!

Мелкие чиновники, японцы,
Теоретики чужой казны . . .
За прилавком щупает червонцы
Человек — и все они пьяны.

Будьте так любезны, разменяйте —
Убедительно его прошу —
Только мне бумажек не давайте, —
Трехрублевок я не выношу!

Что мне делать с пьяною оравой?
Как попал сюда я, Боже мой?
Если я на то имею право —
Разменяйте мне мой золотой! 1912.

37. ЛЮТЕРАНИН

Я на прогулке похороны встретил
Близ протестантской кирки, в воскресенье.
Рассеянный прохожий, я заметил
Тех прихожан суровое волненье.

Чужая речь не достигала слуха,
И только упряжь тонкая сияла,
Да мостовая праздничная глухо
Ленивые подковы отражала.

А в эластичном сумраке кареты,
Куда печаль забилась, лицемерка,
Без слов, без слез, скупая на приветы,
Осенних роз мелькнула бутоньерка.

Тянулись иностранцы лентой черной,
И шли пешком заплаканные дамы,
Румянец под вуалью, и упорно
Над ними кучер правил в даль, упрямый.

Кто б ни был ты, покойный лютеранин, —
Тебя легко и просто хоронили.
Был взор слезой приличной затуманен,
И сдержанно колокола звонили.

И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим, как свечи. 1912.

38. АЙЯ-СОФИЯ

Айя-София — здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи подвешен к небесам.

И всем векам — пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила Эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.

Но что же думал твой строитель щедрый,
Когда, душой и помыслом высок,
Расположил апсиды и экседры,
Им указав на запад и восток?

Прекрасен храм, купающийся в мире,
И сорок окон — света торжество;
На парусах, под куполом, четыре
Архангела прекраснее всего.

И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот. 1912.

39. NOTRE DAME

Где римский судия судил чужой народ —
Стоит базилика, и радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь — отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам. 1912.

40.

Мы напряженного молчанья не выносим —
Несовершенство душ обидно, наконец!
И в замешательстве уж объявился чтец,
И радостно его приветствовали: просим!

Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо:
Кошмарный человек читает Улялюм.
Значенье — суета, и слово — только шум,
Когда фонетика — служанка серафима.

О доме Эшеров Эдгара пела арфа,
Безумный воду пил, очнулся и умолк.
Я был на улице. Свистел осенний шелк, —
И горло греет шелк щекочущего шарфа . . . 1912

41. СТАРИК

Уже светло, поет сирена
В седьмом часу утра.
Старик, похожий на Верлена, —
Теперь твоя пора!

В глазах лукавый или детский
Зеленый огонек;
На шею нацепил турецкий
Узорчатый платок.

Он богохульствует, бормочет
Несвязные слова;
Он исповедоваться хочет —
Но согрешить сперва.

Разочарованный рабочий
Иль огорченный мот —
А глаз, подбитый в недрах ночи,
Как радуга цветет.

Так, соблюдая день субботний,
Плетется он, когда
Глядит из каждой подворотни
Веселая беда;

А дома — руганью крылатой,
От ярости бледна,
Встречает пьяного Сократа
Суровая жена! 1913.

Н. Гумилеву.

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, как броненосец в доке,
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка . . .

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет! 1913.

43.

„Hier stehe ich — ich kann nicht anders„

«Здесь я стою — я не могу иначе»,
Не просветлеет темная гора —
И кряжистого Лютера незрячий
Витает дух над куполом Петра. 1913.

44.

От легкой жизни мы сошли с ума.
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?

В пожатьи рук мучительный обряд,
На улицах ночные поцелуи,
Когда речные тяжелеют струи,
И фонари как факелы горят.

Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка. 1913, ноябрь.

45.

. . . Дев полуночных отвага
И безумных звезд разбег,
Да привяжется бродяга,
Вымогая на ночлег.

Кто, скажите, мне сознанье
Виноградом замутит,
Если явь — Петра созданье,
Медный Всадник и гранит?

Слышу с крепости сигналы,
Замечаю, как тепло.
Выстрел пушечный в подвалы,
Вероятно, донесло.

И гораздо глубже бреда
Воспаленной головы
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы. 1913.

46. БАХ

Здесь прихожане дети праха
И доски вместо образов,
Где мелом Себастьяна Баха
Лишь цифры значатся псалмов.

Разноголосица какая
В трактирах буйных и церквах,
А ты ликуешь, как Исайя,
О рассудительнейший Бах!

Высокий спорщик, неужели,
Играя внукам свой хорал,
Опору духа в самом деле
Ты в доказательстве искал?

Что звук? Шестнадцатые доли,
Органа многосложный крик,
Лишь воркотня твоя, не боле,
О несговорчивый старик!

И лютеранский проповедник
На черной кафедре своей
С твоими, гневный собеседник,
Мешает звук своих речей. 1913.

47

В спокойных пригородах снег
Сгребают дворники лопатами;
Я с мужиками бородатыми
Иду, прохожий человек.

Мелькают женщины в платках
И тявкают дворняжки шалые,
И самоваров розы алые
Горят в трактирах и домах. 1913.

48. АДМИРАЛТЕЙСТВО

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырех стихий приязненно господство;
Но создал пятую свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря —
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря. 1913.

49.

В таверне воровская шайка
Всю ночь играла в домино.
Пришла с яичницей хозяйка;
Монахи выпили вино.

На башне спорили химеры —
Которая из них урод?
А утром проповедник серый
В палатки призывал народ.

На рынке возятся собаки,
Менялы щелкает замок.
У вечности ворует всякий,
А вечность — как морской песок:

Он осыпается с телеги —
Не хватит на мешки рогож,
И недовольный, о ночлеге
Монах рассказывает ложь! 1913.

50. КИНЕМАТОГРАФ

Кинематограф. Три скамейки.
Сентиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки.

Не удержать любви полета:
Она ни в чем не виновата!
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.

А он скитается в пустыне —
Седого графа сын побочный.
Так начинается лубочный
Роман красавицы-графини.

И в исступленьи, как гитана,
Она заламывает руки.
Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.

В груди доверчивой и слабой
Еще достаточно отваги
Похитить важные бумаги
Для неприятельского штаба.

И по каштановой аллее
Чудовищный мотор несется,
Стрекочет лента, сердце бьется
Тревожнее и веселее.

В дорожном платье, с саквояжем,
В автомобиле и в вагоне,
Она боится лишь погони,
Сухим измучена миражем.

Какая горькая нелепость:
Цель не оправдывает средства!
Ему — отцовское наследство,
А ей — пожизненная крепость. 1913.

51. ТЕННИС

Средь аляповатых дач,
Где шатается шарманка,
Сам собой летает мяч,
Как волшебная приманка.

Кто, смиривший грубый пыл,
Облеченный в снег альпийский,

С резвой девушкой вступил
В поединок олимпийский?

Слишком дряхлы струны лир:
Золотой ракеты струны
Укрепил и бросил в мир
Англичанин вечно-юный!

Он творит игры обряд,
Так легко вооруженный,
Как аттический солдат,
В своего врага влюбленный!

Май. Грозовых туч клочки.
Неживая зелень чахнет.
Всё моторы и гудки —
И сирень бензином пахнет.

Ключевую воду пьет
Из ковша спортсмен веселый;
И опять война идет,
И мелькает локоть голый! 1913.

52. АМЕРИКАНКА

Американка в двадцать лет
Должна добраться до Египта,
Забыв «Титаника» совет,
Что спит на дне мрачнее крипта.

В Америке гудки поют,
И красных небоскребов трубы
Холодным тучам отдают
Свои прокопченные губы.

И в Лувре океана дочь
Стоит, прекрасная как тополь;
Чтоб мрамор сахарный толочь,
Влезает белкой на Акрополь.

Не понимая ничего,
Читает «Фауста» в вагоне
И сожалеет, отчего
Людовик больше не на троне. 1913.

53. ДОМБИ И СЫН

Когда, пронзительнее свиста,
Я слышу английский язык —
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг.

У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода.

Дожди и слезы. Белокурый
И нежный мальчик Домби-сын;
Веселых клерков каламбуры
Не понимает он один.

В конторе сломанные стулья,
На шиллинги и пенсы счет;
Как пчелы, вылетев из улья,
Роятся цифры круглый год.

А грязных адвокатов жало
Работает в табачной мгле —
И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.

На стороне врагов законы:
Ему ничем нельзя помочь!
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь. 1913.

54.

Отравлен хлеб и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!

Под звездным небом бедуины,
Закрыв глаза и на коне,
Слагают вольные былины
О смутно пережитом дне.

Немного нужно для наитий:
Кто потерял в песке колчан,
Кто выменял коня — событий
Рассеивается туман;

И если подлинно поется
И полной грудью — наконец
Всё исчезает: остается
Пространство, звезды и певец! 1913.

55.

Летают Валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.

Уж занавес наглухо упасть готов;
Еще рукоплещет в райке глупец;

Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец. 1913.

56.

Поговорим о Риме — дивный град!
Он утвердился купола победой.
Послушаем апостольское credo:
Несется пыль и радуги висят.

На Авентине вечно ждут царя —
Двунадесятых праздников кануны —
И строго-канонические луны
Не могут изменить календаря.

На дольный мир бросает пепел бурый
Над форумом огромная луна,
И голова моя обнажена —
О холод католической тонзуры! 1913.

57. 1913

Ни триумфа, ни войны!
О железные, доколе
Безопасный Капитолий
Мы хранить осуждены?

Или римские перуны —
Гнев народа — обманув,
Отдыхает острый клюв
Той ораторской трибуны;

Или возит кирпичи
Солнца дряхлая повозка,
И в руках у недоноска
Рима ржавые ключи? 1914.

58.

. . . На луне не растет
Ни одной былинки;
На луне весь народ
Делает корзинки —
Из соломы плетет
Легкие корзинки.

На луне — полутьма,
И дома опрятней;
На луне не дома —
Просто голубятни.
Голубые дома —
Чудо-голубятни . . . 1914.

58а. [*Вариант*]

Это все о луне только небылица,
В этот вздор о луне верить не годится,
Это все о луне только небылица . . .

На луне не растет
Ни одной былинки,
На луне весь народ
Делает корзинки,
Из соломы плетет
Легкие корзинки.

На луне полутьма
И дома опрятней,
На луне не дома —
Просто голубятни,
Голубые дома,
Чудо-голубятни.

На луне нет дорог
И везде скамейки,

Поливают песок
Из высокой лейки —
Что ни шаг, то прыжок
Через три скамейки.

У меня на луне
Голубые рыбы,
Но они на луне
Плавать не могли бы,
Нет воды на луне,
И летают рыбы... 1914—1927.

59. АХМАТОВА

В пол-оборота, о печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложно-классическая шаль.

Зловещий голос — горький хмель —
Душа расковывает недра:
Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель. 1914.

60.

О временах простых и грубых
Копыта конские твердят.
И дворники в тяжелых шубах
На деревянных лавках спят.

На стук в железные ворота
Привратник, царственно-ленив,

Встал, и звериная зевота
Напомнила твой образ, скиф!

Когда, с дряхлеющей любовью
Мешая в песнях Рим и снег,
Овидий пел арбу воловью
В походе варварских телег. 1914.

61.

На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг —
И распластался храм Господень,
Как легкий крестовик-паук.

А зодчий не был итальянец,
Но русский в Риме; ну так что ж!
Ты каждый раз как иностранец
Сквозь рощу портиков идешь;

И храма маленькое тело
Одушевленнее стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле беспомощно прижат! 1914.

62.

Есть иволги в лесах, и гласных долгота
В тонических стихах единственная мера.
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.

Как бы цезурою зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты;
Волы на пастбище, и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты. 1914.

63.

«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.

Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть,
Чтоб в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь...

Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка —
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.

И боги не ведают — что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед. 1914.

64.

Есть ценностей незыблемая скáла
Над скучными ошибками веков.
Неправильно наложена опала
На автора возвышенных стихов.

И вслед за тем, как жалкий Сумароков
Пролепетал заученную роль,
Как царский посох в скинии пророков,
У нас цвела торжественная боль.

Что делать вам в театре полуслова
И полумаск, герои и цари?
И для меня явленье Озерова —
Последний луч трагической зари. 1914.

65.

Природа — тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.

Природа — тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить:
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить! 1914.

66.

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной.
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной.

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.

67.

Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина —
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?

И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине,
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!

Я получил блаженное наследство —
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.

И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет. 1914.

68. ЕВРОПА

Как средиземный краб или звезда морская,
Был выброшен водой последний материк.
К широкой Азии, к Америке привык,
Слабеет океан, Европу омывая.

Изрезаны ее живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья;
Немного женственны заливов очертанья:
Бискайи, Генуи ленивая дуга.

Завоевателей исконная земля,
Европа в рубище Священного Союза —
Пята Испании, Италии медуза
И Польша нежная, где нету короля.

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних —
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта! 1914.

69. ПОСОХ

Посох мой, моя свобода,
Сердцевина бытия —
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?

Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел;
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел.

Пусть снега на черных пашнях
Не растают никогда,
Но печаль моих домашних
Мне попрежнему чужда.

Снег растает на утесах,
Солнцем истины палим.
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим! 1914.

70. 1914

Собирались эллины войною
На прелестный остров Саламин, —
Он, отторгнут вражеской рукою,
Виден был из гавани Афин.

А теперь друзья-островитяне
Снаряжают наши корабли.
Не любили раньше англичане
Европейской сладостной земли.

О Европа, новая Эллада,
Охраняй Акрополь и Пирей!
Нам подарков с острова не надо —
Целый лес незваных кораблей. 1914.

71. К ЭНЦИКЛИКЕ ПАПЫ БЕНЕДИКТА XV

Есть обитаемая духом
Свобода — избранных удел.
Орлиным зреньем, дивным слухом
Священник римский уцелел.

И голубь не боится грома,
Которым церковь говорит;
В апостольском созвучьи: Roma!
Он только сердце веселит.

Я повторяю это имя
Под вечным куполом небес,
Хоть говоривший мне о Риме
В священном сумраке исчез! 1914, сентябрь.

72. ОДА БЕТХОВЕНУ

Бывает сердце так сурово,
Что и любя его не тронь!
И в темной комнате глухого
Бетховена горит огонь.
И я не мог твоей, мучитель,
Чрезмерной радости понять.
Уже бросает исполнитель
Испепеленную тетрадь.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Кто этот дивный пешеход?
Он так стремительно ступает
С зеленой шляпою в руке,

. . . . . .
. . . . . .

С кем можно глубже и полнее
Всю чашу нежности испить,
Кто может ярче пламенея
Усилье воли освятить?
Кто по-крестьянски, сын фламандца,
Мир пригласил на ритурнель
И до тех пор не кончил танца,
Пока не вышел буйный хмель?

О Дионис, как муж наивный
И благодарный как дитя!
Ты перенес свой жребий дивный
То негодуя, то шутя!

С каким глухим негодованьем
Ты собирал с князей оброк
Или с рассеянным вниманьем
На фортепьянный шел урок!

Тебе монашеские кельи —
Всемирной радости приют,
Тебе в пророческом весельи
Огнепоклонники поют;
Огонь пылает в человеке,
Его унять никто не мог.
Тебя назвать не смели греки,
Но чтили, неизвестный бог!

О величавой жертвы пламя!
Полнеба охватил костер —
И царской скинии над нами
Разодран шелковый шатер.
И в промежутке воспаленном,
Где мы не видим ничего, —
Ты указал в чертоге тронном
На белой славы торжество! 1914.

73.

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
А дерево пою.

Оно легко и грубо,
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном раe,
Где вещи так легки. 1914.

74. АББАТ

О спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя —
От зноя рыжая сутана
И шляпы круглые поля;
Он всё еще проходит мимо,
В тумане полдня, вдоль межи,
Влача остаток власти Рима
Среди колосьев спелой ржи.

Храня молчанье и приличье,
Он должен с нами пить и есть
И прятать в светское обличье
Сияющей тонзуры честь.
Он Цицерона, на перине,
Читает, отходя ко сну:
Так птицы на своей латыни
Молились Богу в старину.

Я поклонился, он ответил
Кивком учтивым головы,
И, говоря со мной, заметил:
«Католиком умрете вы!»
Потом вздохнул: «Как нынче жарко!»
И, разговором утомлен,
Направился к каштанам парка,
В тот замок, где обедал он. 1914.

75.

И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.

В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово — чистое веселье,
Исцеленье от тоски!

Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены;
Но от ереси прекрасной
Мы спасаться не должны.

Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь. 1915.

76.

От вторника и до субботы
Одна пустыня пролегла.
О длительные перелеты!
Семь тысяч верст — одна стрела.

И ласточки, когда летели
В Египет водяным путем,
Четыре дня они висели,
Не зачерпнув воды крылом. 1915.

77.

О свободе небывалой
Сладко думать у свечи.
— Ты побудь со мной сначала, —
Верность плакала в ночи.

— Только я мою корону
Возлагаю на тебя,
Чтоб свободе, как закону,
Подчинился ты, любя...

— Я свободе, как закону,
Обручен, и потому
Эту легкую корону
Никогда я не сниму.

Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть! 1915.

78.

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи —
На головах царей божественная пена —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью. 1915.

79.

Обиженно уходят на холмы,
Как Римом недовольные плебеи,
Старухи-овцы — черные халдеи,
Исчадье ночи в капюшонах тьмы.

Их тысячи — передвигают все,
Как жердочки, мохнатые колени,
Трясутся и бегут в курчавой пене,
Как жеребья в огромном колесе.

Им нужен царь и черный Авентин,
Овечий Рим с его семью холмами,
Собачий лай, костер под небесами
И горький дым жилища и овин.

На них кустарник двинулся стеной,
И побежали воинов палатки,
Они идут в священном беспорядке.
Висит руно тяжелою волной.

80.

С веселым ржанием пасутся табуны,
И римской ржавчиной окрасилась долина;
Сухое золото классической весны
Уносит времени прозрачная стремнина.

Топча по осени дубовые листы,
Что густо стелются пустынною тропинкой,
Я вспомню Цезаря прекрасные черты —
Сей профиль женственный с коварною горбинкой!

Здесь, Капитолия и Форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу Августа и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы.

Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была
И — месяц цезарей — мне август улыбнулся. 1915.

81.

Я не увижу знаменитой «Федры»,
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу обращенный к рампе
Двойною рифмой оперенный стих:

— Как эти покрывала мне постылы . . .

Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит.

Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданьем крепнет голос
И достигает скорбного закала
Негодованьем раскаленный слог...

Я опоздал на празднество Расина!

Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсинной коркой,
И словно из столетней летаргии —
Очнувшийся сосед мне говорит:
— Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!

Когда бы грек увидел наши игры... 1915.

TRISTIA

82.

— Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела средь моего позора!

— Будет в каменной Трезене
Знаменитая беда,
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда,

. . . . . .
. . . . . .

И для матери влюбленной
Солнце черное взойдет.

— О если б ненависть в груди моей кипела —
Но видите — само признанье с уст слетело.

— Черным пламенем Федра горит
Среди белого дня.
Погребальный факел чадит
Среди белого дня.
Бойся матери ты, Ипполит:
Федра — ночь — тебя сторожит
Среди белого дня.

— Любовью черною я солнце запятнала . . .
. . . . . .

— Мы боимся, мы не смеем
Горю царскому помочь.
Уязвленная Тезеем
На него напала ночь.
Мы же, песнью похоронной

Провожая мертвых в дом,
Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уймем. 1916.

83. ЗВЕРИНЕЦ

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран — эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом опять
Поют косматые свирели.

Пока ягнята и волы
На тучных пастбищах водились
И дружелюбные садились
На плечи сонных скал орлы, —
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И галльский гребень появился
Из петушиного хохла.

А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь.
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье!

Петух, и лев, и темнобурый
Орел, и ласковый медведь —
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры,
А я пою вино времен —
Источник речи италийской —
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лён!

Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?
И ты, соседка, не взыщи:
Орел топорщится и злится.
Что, если для твоей пращи
Тяжелый камень не годится?

В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей —
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек. Январь 1916.

84.

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.

И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное — Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой. 1916.

85.

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки,
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.

Не три свечи горели, а три встречи —
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече, —
И никогда он Рима не любил.

Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.

Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело —
И рыжую солому подожгли. 1916.

86. СОЛОМИНКА

I.

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок
Спокойной тяжестью — что может быть печальней —
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей.

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их — такая тишина —
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не Соломинка, — Лигейя, умиранье —
Я научился вам, блаженные слова.

II.

Я научился вам, блаженные слова —
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.

Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не Соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный, томительный покой.

В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь,
А та соломинка, быть может Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь. 1916.

87.

— Я потеряла нежную камею,
Не знаю где, на берегу Невы.
Я римлянку прекрасную жалею —
Чуть не в слезах мне говорили вы.

Но для чего, прекрасная грузинка,
Тревожить прах божественных гробниц?
Еще одна пушистая снежинка
Растаяла на веере ресниц.

И кроткую вы наклонили шею.
Камеи нет — нет римлянки, увы!
Я Тинотину смуглую жалею —
Девичий Рим на берегу Невы. 1916.

88.

Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,
Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской волны тяжелый изумруд. 1916.

89.

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.
Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где царствуешь не ты, а Прозерпина. 1916.

90.

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
— Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы
. . . . . .
. . . . . .
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.

От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелося на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться — значит быть беде.

Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю — он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
Целую кисть, где от браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды пламенное лето
Творит такие чудеса.

Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была.
Нам остается только имя —

Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок. 1916.

91.

Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.

Солнце желтое страшнее —
Баю баюшки баю —
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.

Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудеи
Отпевали прах жены.

И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян. 1916.

92.

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем — и через плечо поглядела.

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки — идешь, никого не заметишь —
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни:
Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.

После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы на окнах опущены темные шторы,
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

Я сказал: виноград как старинная битва живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке.
В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

Ну, а в комнате белой как прялка стоит тишина.
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена —
Не Елена — другая — как долго она вышивала?

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

1917.

93.

Еще далеко асфоделей
Прозрачно-серая весна.
Пока еще на самом деле
Шуршит песок, кипит волна.
Но здесь душа моя вступает,

Как Персефона, в легкий круг,
И в царстве мертвых не бывает
Прелестных загорелых рук.

Зачем же лодке доверяем
Мы тяжесть урны гробовой,
И праздник черных роз свершаем
Над аметистовой водой?
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон!

Как быстро тучи пробегают
Неосвещенною грядой,
И хлопья черных роз летают
Под этой ветряной луной.
И, птица смерти и рыданья,
Влачится траурной каймой
Огромный флаг воспоминанья
За кипарисною кормой.

И раскрывается с шуршаньем
Печальный веер прошлых лет,
Туда, где с темным содроганьем
В песок зарылся амулет;
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон! 1917.

94. ДЕКАБРИСТ

—Тому свидетельство языческий сенат —
Сии дела не умирают!
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.

Шумели в первый раз германские дубы,
Европа плакала в тенетах.
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит.
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.

— Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.

Всё перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Всё перепуталось и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея. 1917.

95. КАССАНДРЕ

Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре — торжественное бденье —
Воспоминанье мучит нас!

И в декабре семнадцатого года
Всё потеряли мы, любя:
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...

Но, если эта жизнь — необходимость бреда,
И корабельный лес — высокие дома —
Лети, безрукая победа —
Гиперборейская чума!

На площади с броневиками
Я вижу человека: он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон!

Касатка, милая Кассандра,
Ты стонешь, ты горишь — зачем
Стояло солнце Александра
Сто лет назад, сияло всем?

Когда-нибудь в столице шалой,
На скифском празднике, на берегу Невы,
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы... Декабрь 1917.

96.

В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа.
Нам пели Шуберта — родная колыбель.

Шумела мельница, и в песнях урагана
Смеялся музыки голубоглазый хмель.

Старинной песни мир — коричневый, зеленый,
Но только вечно-молодой,
Где соловьиных лип рокочущие кроны
С безумной яростью качает царь лесной.

И сила страшная ночного возвращенья
Та песня дикая, как черное вино:
Это двойник, пустое привиденье
Бессмысленно глядит в холодное окно! 1917.

97.

Твое чудесное произношенье —
Горячий посвист хищных птиц;
Скажу ль: живое впечатленье
Каких-то шелковых зарниц.

«Что» — голова отяжелела.
«Цо» — это я тебя зову!
И далеко прошелестело:
Я тоже на земле живу.

Пусть говорят: любовь крылата,
Смерть окрыленнее стократ;
Еще душа борьбой объята,
А наши губы к ней летят.

И столько воздуха и шелка
И ветра в шопоте твоем,
И как слепые ночью долгой
Мы смесь бессолнечную пьем. 1917.

98.

Что поют часы-кузнечик,
Лихорадка шелестит,
И шуршит сухая печка —
Это красный шелк горит.

Что зубами мыши точат
Жизни тоненькое дно,
Это ласточка и дочка
Отвязала мой челнок.

Что на крыше дождь бормочет, —
Это черный шелк горит,
Но черемуха услышит
И на дне морском: прости.

Потому что смерть невинна,
И ничем нельзя помочь,
Что в горячке соловьиной
Сердце теплое еще. 1917.

99.

Когда на площадях и в тишине келейной
Мы сходим медленно с ума,
Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам жестокая зима.

В серебряном ведре нам предлагает стужа
Валгаллы белое вино,
И светлый образ северного мужа
Напоминает нам оно.

Но северные скальды грубы,
Не знают радостей игры,
И северным дружинам любы
Янтарь, пожары и пиры.

Им только снится воздух юга,
Чужого неба волшебство —
— И все-таки упрямая подруга
Откажется попробовать его. 1917.

100.

А. В. Карташеву

Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.
Ночь иудейская сгущалася над ним
И храм разрушенный угрюмо созидался.

Он говорил: небес тревожна желтизна.
Уж над Ефратом ночь, бегите, иереи!
А старцы думали: не наша в том вина;
Се черножелтый свет, се радость Иудеи.

Он с нами был, когда на берегу ручья
Мы в драгоценный лен Субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия. 1917.

101.

На страшной высоте блуждающий огонь,
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает.

На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда мерцает.
О если ты звезда — воды и неба брат,
Твой брат, Петрополь, умирает.

Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет —
Зеленая звезда, в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает,
О если ты, звезда — Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает. 1918.

102.

Когда в темной ночи замирает
Лихорадочный форум Москвы,
И театров широкие зевы
Возвращают толпу площадям,

Протекает по улицам пышным
Оживленье ночных похорон,
Льются мрачно-веселые толпы
Из каких-то божественных недр.

Это солнце ночное хоронит
Возбужденная играми чернь,
Возвращаясь с полночного пира
Под глухие удары копыт.

И как новый встает Геркуланум,
Спящий город в сияньи луны,

И убогого рынка лачуги,
И могучий дорический ствол.

103. СУМЕРКИ СВОБОДЫ

Прославим, братья, сумерки свободы, —
Великий сумеречный год.
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы,
О солнце, судия, народ.

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые
Связали ласточек — и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети — сумерки густые —
Не видно солнца и земля плывет.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом, океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

Москва, май 1918.

104. TRISTIA

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье,
Последний час вигилий городских,
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели вдаль заплаканные очи,
И женский плач мешался с пеньем муз.

Кто может знать при слове — расставанье,
Какая нам разлука предстоит,
Что нам сулит петушье восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит,
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сенях лениво вол жует,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьет?

И я люблю обыкновенье пряжи:
Снует челнок, веретено жужжит,
Смотри, навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Делия летит!
О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Всё было встарь, всё повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.

Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
Не нам гадать о греческом Эребе,

Для женщин воск, что для мужчины медь.
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано гадая умереть. 1918.

105.

На каменных отрогах Пиерии
Водили музы первый хоровод,
Чтобы, как пчелы, лирники слепые
Нам подарили ионийский мед.
И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба,
Чтобы раскрылись правнукам далеким
Архипелага нежные гроба.

Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пестрый сапожок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поется, перстенек.
Высокий дом построил плотник дюжий,
На свадьбу всех передушили кур,
И растянул сапожник неуклюжий
На башмаки все пять воловьих шкур.

Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну, кто ее такую приласкает,
Кто спящую ее перевернет —
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет.

Поит дубы холодная криница,
Простоволосая шумит трава,
На радость осам пахнет медуница.
О где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба,
И колесо вращается легко. 1919.

106.

В хрустальном омуте какая крутизна!
За нас сиенские предстательствуют горы,
И сумасшедших скал колючие соборы
Повисли в воздухе, где шерсть и тишина.

С висячей лестницы пророков и царей
Спускается орган, Святого Духа крепость,
Овчарок бодрый лай и добрая свирепость,
Овчины пастухов и посохи судей.

Вот неподвижная земля, и вместе с ней
Я христианства пью холодный горный воздух,
Крутое Верую и псалмопевца роздых,
Ключи и рубища апостольских церквей.

Какая линия могла бы передать
Хрусталь высоких нот в эфире укрепленном,
И с христианских гор в пространстве изумленном,
Как Палестины песнь, нисходит благодать. 1919.

107.

О этот воздух, смутой пьяный
На черной площади Кремля!
Качают шаткий «мир» смутьяны,
Тревожно пахнут тополя.

Соборов восковые лики,
Колоколов дремучий лес,
Как бы разбойник безъязыкий
В стропилах каменных исчез.

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.

Успенский, дивно округленный,
Весь удивленье райских дуг,
И Благовещенский, зеленый,
И, мнится, заворкует вдруг.

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают как ладонь —
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь...

108.

Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы.
Медуницы и осы тяжелую розу сосут.
Человек умирает, песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Ах, тяжелые соты и нежные сети,
Легче камень поднять, чем имя твое повторить!
У меня остается одна забота на свете:
Золотая забота, как времени бремя избыть.

Словно темную воду я пью помутившийся воздух.
Время вспахано плугом, и роза землею была.
В медленном водовороте тяжелые нежные розы,
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела.

Коктебель, март 1920.

109.

Вернись в смесительное лоно,
Откуда, Лия, ты пришла,
За то, что солнцу Илиона
Ты желтый сумрак предпочла.

Иди, никто тебя не тронет,
На грудь отца в глухую ночь
Пускай главу свою уронит
Кровосмесительница-дочь.

Но роковая перемена
В тебе исполниться должна:
Ты будешь Лия — не Елена, —
Не потому наречена,

Что царской крови тяжелее
Струиться в жилах, чем другой —
Нет, ты полюбишь иудея,
Исчезнешь в нем — и Бог с тобой. 1920.

110.

Веницейской жизни мрачной и бесплодной
Для меня значение светло.
Вот она глядит с улыбкою холодной
В голубое дряхлое стекло.

Тонкий воздух кожи. Синие прожилки.
Белый снег. Зеленая парча.
Всех кладут на кипарисные носилки,
Сонных, теплых вынимают из плаща.

И горят, горят в корзинах свечи,
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече
Умирает человек.

Ибо нет спасенья от любви и страха:
Тяжелее платины Сатурново кольцо!
Черным бархатом завешанная плаха
И прекрасное лицо.

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой граненый. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла.

Только в пальцах роза или склянка —
Адриатика зеленая, прости!
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?

Черный Веспер в зеркале мерцает.
Всё проходит. Истина темна.

Человек родится. Жемчуг умирает.
И Сусанна старцев ждать должна. 1920.

111. ФЕОДОСИЯ

Окружена высокими холмами,
Овечьим стадом ты с горы сбегаешь,
И розовыми, белыми камнями
В сухом прозрачном воздухе сверкаешь.
Качаются разбойничьи фелюги,
Горят в порту турецких флагов маки,
Тростинки мачт, хрусталь волны упругий
И на канатах лодочки-гамаки.

На все лады, оплаканное всеми,
С утра до ночи «яблочко» поется.
Уносит ветер золотое семя —
Оно пропало — больше не вернется.
А в переулочках, чуть свечерело,
Пиликают, согнувшись, музыканты,
По-двое и по-трое, неумело,
Невероятные свои варьянты.

О горбоносых странников фигурки!
О средиземный радостный зверинец!
Расхаживают в полотенцах турки,
Как петухи у маленьких гостиниц.
Везут собак в тюрьмоподобной фуре,
Сухая пыль по улицам несется,
И хладнокровен средь базарных фурий
Монументальный повар с броненосца.

Идем туда, где разные науки,
И ремесло — шашлык и чебуреки,

Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятье нам о человеке.
Мужской сюртук — без головы стремленье,
Цирюльника летающая скрипка
И месмерический утюг — явленье
Небесных прачек — тяжести улыбка.

Здесь девушки стареющие в челках
Обдумывают странные наряды,
И адмиралы в твердых треуголках
Припоминают сон Шехеразады.
Прозрачна даль. Немного винограда.
И неизменно дует ветер свежий.
Недалеко от Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же. 1920.

112.

Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

Навстречу беженке спешит толпа теней,
Товарку новую встречая причитаньем,
И руки слабые ломают перед ней
С недоумением и робким упованьем.

Кто держит зеркало, кто баночку духов —
Душа ведь женщина, — ей нравятся безделки,
И лес безлиственный прозрачных голосов
Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий.

И в нежной сутолке не зная, что начать,
Душа не узнает прозрачные дубравы;
Дохнет на зеркало, и медлит передать
Лепешку медную с туманной переправы. 1920.

113.

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется,
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.

Не слышно птиц. Бессмертник не цветет.
Прозрачны гривы табуна ночного.
В сухой реке пустой челнок плывет.
Среди кузнечиков беспамятствует слово.

И медленно растет, как бы шатер иль храм,
То вдруг прокинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

О если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья.

А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Всё не о том прозрачная твердит,
Всё ласточка, подружка, Антигона...
А на губах как черный лед горит
Стигийского воспоминанье звона. Ноябрь 1920.

114.

Чуть мерцает призрачная сцена,
Хоры слабые теней,
Захлестнула шелком Мельпомена
Окна храмины своей.
Черным табором стоят кареты,
На дворе мороз трещит,
Всё космато — люди и предметы,
И горячий снег хрустит.

Понемногу челядь разбирает
Шуб медвежьих вороха.
В суматохе бабочка летает,
Розу кутают в меха.
Модной пестряди кружки и мошки,
Театральный легкий жар,
А на улице мигают плошки
И тяжелый валит пар.

Кучера измаялись от крика,
И храпит и дышит тьма.
Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас студеная зима.
Слаще пенья итальянской речи
Для меня родной язык,
Ибо в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник.

Пахнет дымом бедная овчина,
От сугроба улица черна,
Из блаженного певучего притина
К нам летит бессмертная весна,
Чтобы вечно ария звучала:
— Ты вернешься на зеленые луга,
И живая ласточка упала
На горячие снега. 1920.

115.

Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарий стон звенит,
На мосту народ толпится,
Вся ковровая столица,
А внизу Кура шумит.

Над Курою есть духаны,
Где вино и милый плов,
И духанщик там румяный
Подает гостям стаканы
И служить тебе готов.

Кахетинское густое
Хорошо в подвале пить, —
Там в прохладе, там в покое
Пейте вдоволь, пейте двое,
Одному не надо пить.

В самом маленьком духане
Ты товарища найдешь,
Если спросишь Телиани.

Поплывет Тифлис в тумане,
Ты в духане поплывешь.

Человек бывает старым,
А барашек молодым,
И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым... 1920.

116.

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.

Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услыхать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.

Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина — дремучий лес Тайгета,
Их пища — время, медуница, мята.

Возьми ж на радость дикий мой подарок,
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

Ноябрь 1920.

117.

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе — великолепный миг,
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взять в руки целый мир, как яблоко простое.

Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.

И Евхаристия как вечный полдень длится —
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

118.

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Всё поют блаженных жен родные очи,
Всё цветут бессмертные цветы.

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:

За блаженное бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах» —
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.

Где-то грядки красные партера,
Пышно взбиты шифоньерки лож;
Заводная кукла офицера;
Не для черных душ и низменных святош . . .
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи
В черном бархате всемирной пустоты,
Всё поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

25 ноября 1920.

119.

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать.
Как я ненавижу плакучие древние срубы.

Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко,
Никак не уляжется крови сухая возня,
И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.

Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел!
Зачем преждевременно я от тебя оторвался!
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.

Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные ребра,
Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла,
И трижды приснился мужам соблазнительный образ.

Где милая Троя? где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.

Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серою ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся вол
На стогнах шершавых от долгого сна шевелится.

Декабрь 1920.

120.

Мне жалко, что теперь зима
И комаров не слышно в доме.
Но ты напомнила сама
О легкомысленной соломе.

Стрекозы вьются в синеве,
И ласточкой кружится мода;
Корзиночка на голове
Или напыщенная ода?

Советовать я не берусь,
И бесполезны оттоворки,

Но взбитых сливок вечен вкус
И запах апельсинной корки.

Ты всё толкуешь наобум,
От этого ничуть не хуже,
Что делать, самый нежный ум
Весь помещается снаружи.

И ты пытаешься желток
Взбивать рассерженною ложкой.
Он побелел, он изнемог.
И все-таки еще немножко.

И, право, не твоя вина,
Зачем оценки и изнанки?
Ты так нарочно создана
Для комедийной перебранки.

В тебе всё дразнит, всё поет,
Как итальянская рулада.
И маленький вишневый рот
Сухого просит винограда.

Так не старайся быть умней,
В тебе всё прихоть, всё минута,
И тень от шапочки твоей —
Венецианская баута. Декабрь 1920.

121.

Когда городская выходит на стогны луна,
И медленно ей озаряется город дремучий,
И ночь нарастает, унынья и меди полна,
И грубому времени воск уступает певучий;

И плачет кукушка на каменной башне своей,
И бледная жница, сходящая в мир бездыханный,
Тихонько шевелит огромные спицы теней,
И желтой соломой бросает на пол деревянный . . . 1920.

122.

Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.

Я больше не ревную,
Но я тебя хочу,
И сам себя несу я
Как жертву палачу.
Тебя не назову я
Ни радость, ни любовь;
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.

Еще одно мгновенье,
И я скажу тебе:
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный, в смятеньи,
Вишневый нежный рот.

Вернись ко мне скорее:
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя,
И всё, чего хочу я,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову. 1920.

123.

Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,
С певучим именем вмешался,
Но всё растаяло, и только слабый звук
В туманной памяти остался.

Сначала думал я, что имя — серафим,
И тела легкого дичился,
Немного дней прошло, и я смешался с ним
И в милой тени растворился.

И снова яблоня теряет дикий плод,
И тайный образ мне мелькает,
И богохульствует, и сам себя клянет,
И угли ревности глотает.

А счастье катится, как обруч золотой,
Чужую волю исполняя,
И ты гоняешься за легкою весной,
Ладонью воздух рассекая.

И так устроено, что не выходим мы
Из заколдованного круга.

Земли девической упругие холмы
Лежат спеленутые туго. 1920.

124.

Люблю под сводами седыя тишины
Молебнов, панихид блужданье,
И трогательный чин, ему же все должны —
У Исаака отпеванье.

Люблю священника неторопливый шаг,
Широкий вынос плащаницы
И в ветхом неводе Генисаретский мрак
Великопостныя седмицы.

Ветхозаветный дым на теплых алтарях
И иерея возглас сирый,
Смиренник царственный: снег чистый на плечах
И одичалые порфиры.

Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового Завета.

Не к вам влечется дух в годины тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему вовеки не изменим:

Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры. 1921.

СТИХОТВОРЕНИЯ

КНИГА 1928 Г.

РАЗДЕЛ «1921—1925»

125. КОНЦЕРТ НА ВОКЗАЛЕ

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами,
Дрожит вокзал от пенья аонид
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.

Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заворожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.
Павлиний крик и рокот фортепьянный —
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятеньи и слезах.
Ночного хора дикое начало,
И запах роз в гниющих парниках,
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах.

И мнится мне: весь в музыке и пене
Железный мир так нищенски дрожит,
В стеклянные я упираюсь сени;
Горячий пар зрачки смычков слепит.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит. 1921.

126.

Умывался ночью на дворе —
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч, как соль на топоре,
Стынет бочка с полными краями.

На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова, —
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.

Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда,
И земля правдивей и страшнее. 1921.

127.

Кому зима, арак и пунш голубоглазый,
Кому душистое с корицею вино,
Кому жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано.

Немного теплого куриного помета
И бестолкового овечьего тепла;
Я всё отдам за жизнь — мне так нужна забота —
И спичка серная меня б согреть могла.

Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка,
И верещанье звезд щекочет слабый слух,
Но желтизну травы и теплоту суглинка
Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух.

Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,
Как яблоня зимой в рогоже голодать,
Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому
И шарить в пустоте, и терпеливо ждать.

Пусть заговорщики торопятся по снегу
Отарою овец, и хрупкий наст скрипит,
Кому зима — полынь и горький дым — к ночлегу,
Кому — крутая соль торжественных обид.

О если бы поднять фонарь на длинной палке,
С собакой впереди идти под солью звезд,
И с петухом в горшке придти на двор к гадалке.
А белый, белый снег до боли очи ест. 1922.

128.

С розовой пеной усталости у мягких губ
Яростно волны зеленые роет бык,
Фыркает, гребли не любит — женолюб,
Ноша хребту непривычна, и труд велик.

Изредка выскочит дельфина колесо
Да повстречается морской колючий еж,
Нежные руки Европы — берите всё,
Где ты для выи желанней ярмо найдешь.

Горько внимает Европа могучий плеск,
Тучное море кругом закипает в ключ,
Видно, страшит ее вод маслянистых блеск,
И соскользнуть бы хотелось с шершавых круч.

О, сколько раз ей милее уключин скрип,
Лоном широкая палуба, гурт овец,

И за высокой кормою мельканье рыб —
С нею безвесельный дальше плывет гребец! 1922.

129.

Холодок щекочет темя
И нельзя признаться вдруг, —
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Жизнь себя перемогает,
Понемногу тает звук,
Всё чего-то нехватает,
Что-то вспомнить недосуг.

А ведь раньше лучше было,
И пожалуй не сравнишь,
Как ты прежде шелестила,
Кровь, как нынче шелестишь.

Видно. даром не проходит
Шевеленье этих губ,
И вершина колобродит,
Обреченная на сруб. 1922.

130.

Как растет хлебов опара,
По началу хороша,
И беснуется от жару
Домовитая душа, —

Словно хлебные Софии
С херувимского стола
Круглым жаром налитые
Подымают купола.

Чтобы силой или лаской
Чудный выманить припек,
Время — царственный подпасок —
Ловит слово-колобок.

И свое находит место
Черствый пасынок веков —
Усыхающий довесок
Прежде вынутых хлебов. 1922.

131.

Я не знаю, с каких пор
Эта песенка началась —
Не по ней ли шуршит вор,
Комариный звенит князь?

Я хотел бы ни о чем
Еще раз поговорить,
Прошуршать спичкой, плечом
Растолкать ночь — разбудить.

Приподнять, как душный стог,
Воздух, что шапкой томит.
Перетряхнуть мешок,
В котором тмин зашит,

Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,

Уворованная нашлась
Через век, сеновал, сон. 1922.

132.

Я по лесенке приставной
Лез на всклокоченный сеновал, —
Я дышал звезд млечных трухой,
Колтуном пространства дышал.

И подумал: зачем будить
Удлиненных звучаний рой,
В этой вечной склоке ловить
Эолийский чудесный строй?

Звезд в ковше Медведицы семь.
Добрых чувств на земле пять.
Набухает, звенит темь,
И растет и звенит опять.

Распряженный огромный воз
Поперек вселенной торчит,
Сеновала древний хаос
Защекочет, запорошит.

Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поём.
Лиру строим, словно спешим
Обрасти косматым руном.

Из гнезда упавших щеглов
Косари приносят назад, —
Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд,

Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон
Распростились: одна скрепясь,
А другая — в заумный сон. 1922.

133.

Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.

И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
Слюдяной перепончатый лес.

Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившейся ночи намек,
Роковая трепещет звезда.

И с трудом пробиваясь вперед
В чешуе искалеченных крыл,
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил. 1922.

134. МОСКОВСКИЙ ДОЖДИК

. . . Он подает, куда как скупо,
Свой воробьиный холодок
Немного нам, немного купам,
Немного вишням на лоток.

И в темноте растет кипенье —
Чаинок легкая возня,
Как бы воздушный муравейник
Пирует в темных зеленях;

Из свежих капель виноградник
Зашевелился в мураве.
Как будто холода рассадник
Открылся в лапчатой Москве. 1922.

135. ВЕК

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка —
Век младенческой земли,
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну колышит
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век.
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап. 1923.

136. НАШЕДШИЙ ПОДКОВУ

Глядим на лес и говорим:
Вот лес корабельный, мачтовый,
Розовые сосны
До самой верхушки свободные от мохнатой ноши,
Им бы поскрипывать в бурю
Одинокими пиниями
В разъяренном безлесном воздухе;
Под соленою пятою ветра устоит отвес, пригнанный к пляшущей палубе.

И мореплаватель,
В необузданной жажде пространства,
Влача через влажные рытвины хрупкий прибор геометра,
Сличит с притяженьем земного лона
Шероховатую поверхность морей.

А вдыхая запах
Смолистых слез, проступивших сквозь обшивку корабля,
Любуясь на доски
Заклепанные, слаженные в переборки

Не вифлеемским мирным плотником, а другим —
Отцом путешествий, другом морехода, —
Говорим:
И они стояли на земле,
Неудобной, как хребет осла,
Забывая верхушками о корнях,
На знаменитом горном кряже,
И шумели под пресным ливнем,
Безуспешно предлагая небу выменять на щепотку
соли
Свой благородный груз.

С чего начать?
Всё трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой,
И легкие двуколки,
В броской упряжи густых от натуги птичьих стай,
Разрываются на части,
Соперничая с храпящими любимцами ристалищ.

Трижды блажен, кто введет в песнь имя;
Украшенная названьем песнь
Дольше живет среди других —
Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,
Исцеляющей от беспамятства, слишком сильного
одуряющего запаха —
Будь то близость мужчины,
Или запах шерсти сильного зверя,
Или просто дух чобра, растертого между ладоней.
Воздух бывает темным как вода, и всё живое в нем
плавает как рыба,

Плавниками расталкивая сферу,
Плотную, упругую, чуть нагретую, —
Хрусталь, в котором движутся колеса и шарахаются
лошади,
Влажный чернозем Нееры, каждую ночь распаханный заново
Вилами, трезубцами, мотыгами, плугами.
Воздух замешан так же густо, как земля, —
Из него нельзя выйти, а в него трудно войти.
Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой;
Дети играют в бабки позвонками умерших животных.
Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к
концу.
Спасибо за то, что было:
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.
Эра звенела, как шар золотой,
Полая, литая, никем не поддерживаемая,
На всякое прикосновение отвечала «да» и «нет».
Так ребенок отвечает:
«Я дам тебе яблоко», или: «Я не дам тебе яблока».
И лицо его точный слепок с голоса, который произносит эти слова.

Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными
ногами —
Когда их было не четыре,
А по числу камней дороги,
Обновляемых в четыре смены
По числу отталкиваний от земли пышущего жаром
иноходца.

Так,
Нашедший подкову
Сдувает с нее пыль
И растирает ее шерстью, пока она не заблестит,
Тогда
Он вешает ее на пороге,
Чтобы она отдохнула,
И больше уж ей не придется высекать искры из кремня.

Человеческие губы,
которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова,
И в руке остается ощущение тяжести,
Хотя кувшин
наполовину расплескался,
пока его несли домой.

То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы.
Одни
на монетах изображают льва,
Другие —
голову;
Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки
С одинаковой почестью лежат в земле.
Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои зубы.
Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого.

Москва, 1923.

137. ГРИФЕЛЬНАЯ ОДА

Звезда с звездой — могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень,
На мягком сланце облаков
Молочный грифельный рисунок —
Не ученичество миров,
А бред овечьих полусонок.

Мы стоя спим в густой ночи
Под теплой шапкою овечьей.
Обратно в крепь родник журчит
Цепочкой, пеночкой и речью.
Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной,
Здесь созревает черновик
Учеников воды проточной.

Крутые козьи города;
Кремней могучее слоенье:
И все-таки еще гряда —
Овечьи церкви и селенья!
Им проповедует отвес,
Вода их учит, точит время,
И воздуха прозрачный лес
Уже давно пресыщен всеми.

Как мертвый шершень, возле сот,
День пестрый выметен с позором.
И ночь-коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски

Стереть дневные впечатленья,
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!

Плод нарывал. Зрел виноград.
День бушевал, как день бушует.
И в бабки нежная игра,
И в полдень злых овчарок шубы;
Как мусор с ледяных высот —
Изнанка образов зеленых —
Вода голодная течет,
Крутясь, играя, как звереныш,

И как паук ползет ко мне,
Где каждый стык луной обрызган,
На изумленной крутизне
Я слышу грифельные визги.
Твои ли, память, голоса
Учительствуют, ночь ломая,
Бросая грифели лесам,
Из птичьих клювов вырывая?

Мы только с голоса поймем,
Что там царапалось, боролось,
И черствый грифель поведем
Туда, куда укажет голос.
Ломаю ночь, горящий мел,
Для твердой записи мгновенной.
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный.

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик:
Двурушник я, с двойной душой.

Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной.
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твердой почве.

И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык
С прослойкой тьмы, с прослойкой света,
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая в стык
Кремень с водой, с подковой перстень. 1923.

138.

Язык булыжника мне голубя понятней,
Здесь камни — голуби, дома как голубятни,
И светлым ручейком течет рассказ подков
По звучным мостовым прабабки городов.
Здесь толпы детские, событий попрошайки,
Парижских воробьев испуганные стайки
Клевали наскоро крупу свинцовых крох,
Фригийской бабушкой рассыпанный горох,
И в воздухе плывет забытая коринка,
И в памяти живет плетеная корзинка,
И тесные дома — зубов молочных ряд —
На деснах старческих как близнецы стоят.

Здесь клички месяцам давали как котятам,
И молоко и кровь давали нежным львятам,
А подрастут они — то разве года два

Держалась на плечах большая голова.
Большеголовые — там руки поднимали
И клятвой на песке как яблоком играли.
Мне трудно говорить: не видел ничего,
Но все-таки скажу: я помню одного,
Он лапу поднимал, как огненную розу,
И как ребенок всем показывал занозу,
Его не слушали; смеялись кучера,
И грызла яблоки, с шарманкой, детвора,
Афиши клеили, и ставили капканы,
И пели песенки, и жарили каштаны,
И светлой улицей, как просекой прямой,
Летели лошади из зелени густой. 1923.

139.

Как тельце маленькое крылышком
По солнцу всклянь перевернулась,
И зажигательное стеклышко
На эмпиреи загорелось.

Как комариная безделица
В зените ныла и звенела
И под сурдинку пеньем жужелиц
В лазури мучилась заноза:

Не забывай меня, казни меня,
Но дай мне имя, дай мне имя:
Мне будет легче с ним — пойми меня,
В беременной глубокой сини. 1923.

140. 1 ЯНВАРЯ 1924

Кто время целовал в измученное темя —
С сыновьей нежностью потом
Он будет вспоминать, как спать ложилось время
В сугроб пшеничный за окном.
Кто веку поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших —
Он слышит вечно шум, когда взревели реки
Времен обманных и глухих.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного, — оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

О глиняная жизнь! О умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомóщная улыбка человека,
Который потерял себя.
Какая боль — искать потерянное слово,
Больные веки поднимать
И с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать.

Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина...
Снег пахнет яблоком, как встарь.

Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.

По переулочкам, скворешням и застрехам,
Недалеко собравшись как-нибудь,
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,
Всё силюсь полость застегнуть.
Мелькает улица, другая,
И яблоком хрустит саней морозных звук,
Не поддается петелька тугая,
Всё время валится из рук.

Каким железным, скобяным товаром
Ночь зимняя гремит по улицам Москвы.
То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром
Из чайных розовых — как серебром плотвы.
Москва — опять Москва. Я говорю ей: «здравствуй!
Не обессудь, теперь уж не беда,
По старине я уважаю братство
Мороза крепкого и щучьего суда».

Пылает на снегу аптечная малина
И где-то щелкнул ундервуд;
Спина извозчика и снег на пол-аршина:
Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.
Зима-красавица и в звездах небо козье
Рассыпалось и молоком горит,
И конским волосом о мерзлые полозья
Вся полость трется и звенит.

А переулочки коптили керосинкой,
Глотали снег, малину, лед,

Всё шелушится им советской сонатинкой,
Двадцатый вспоминая год.
Ужели я предам позорному злословью —
Вновь пахнет яблоком мороз —
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумаешь ложь?
То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш —
И щучью косточку найдешь;
И известковый слой в крови больного сына
Растает, и блаженный брызнет смех...
Но пишущих машин простая сонатина —
Лишь тень сонат могучих тех. 1924.

141.

Нет, никогда ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.

Я с веком поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших,
И мне гремучие рассказывали реки
Ход воспаленных тяжб людских.

Сто лет тому назад подушками белела
Складная легкая постель,
И странно вытянулось глиняное тело, —
Кончался века первый хмель.

Среди скрипучего похода мирового
Какая легкая кровать.
Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.

И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
Век умирает — а потом
Два сонных яблока на роговой облатке
Сияют перистым огнем. 1924.

142.

Вы, с квадратными окошками невысокие дома —
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима.

И торчат, как щуки ребрами, незамерзшие катки,
И еще в прихожих слепеньких валяются коньки.

А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар,
Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар.

Ходят боты, ходят серые у гостиного двора,
И сама собой сдирается с мандаринов кожура.

И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду домой,
Электрическою мельницей смолот мокко золотой.

Шоколадные, кирпичные, невысокие дома.
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима.

И приемные с роялями, где по креслам рассадив,
Доктора кого-то потчуют ворохами старых «Нив».

После бани, после оперы, все равно, куда ни шло.
Бестолковое последнее трамвайное тепло. 1925.

143.

Сегодня ночью, не солгу,
По пояс в тающем снегу
Я шел с чужого полустанка.
Гляжу — изба: вошел в сенцы,
Чай с солью пили чернецы,
И с ними балует цыганка.

У изголовья вновь и вновь
Цыганка вскидывает бровь,
И разговор ее был жалок:
Она сидела до зари
И говорила: подари
Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок.

Того, что было, не вернешь,
Дубовый стол, в солонке нож,
И вместо хлеба ёж брюхатый;
Хотели петь — и не смогли,
Хотели встать — дугой пошли
Через окно на двор горбатый.

И вот проходит полчаса,
И гарнцы черного овса
Жуют, похрустывая, кони;
Скрипят ворота на заре,

И запрягают на дворе;
Теплеют медленно ладони.

Холщевый сумрак поредел.
С водою разведенный мел,
Хоть даром, скука разливает,
И сквозь прозрачное рядно
Молочный день глядит в окно,
И золотушный грач мелькает. 1925

144.

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным, за мельничным шумом...

Я только запомнил каштановых прядей осечки,
Придымленных горечью, нет — с муравьиной кислинкой;
От них на губах остается янтарная сухость

В такие минуты и воздух мне кажется карим,
И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой,
И то, что я знаю о яблочной, розовой коже...

Но всё же скрипели извозчичьих санок полозья,
В плетенку рогожи глядели колючие звезды,
И били в разрядку копыта по клавишам мерзлым.

И только и свету — что в звездной колючей неправде,
А жизнь проплывет театрального капора пеной,
И некому молвить: «из табора улицы темной»... 1925.

СТИХОТВОРЕНИЯ
НЕ СОБРАННЫЕ В КНИГИ СТИХОВ АВТОРА
И НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ

145.

Мой тихий сон, мой сон ежеминутный,
Невидимый завороженный лес,
Где носится какой-то шорох смутный,
Как дивный шелест шелковых завес.

В туманных встречах и безумных спорах,
На перекрестке удивленных глаз
Невидимый и непонятный шорох
Как пепел вспыхнул и уже погас.

И как туманность одевает лица
И слово замирает на устах,
И кажется: испуганная птица
Метнулась в вечереющих кустах. 1908.

146.

Здесь отвратительные жабы
В густую прыгают траву.
Когда б не смерть, так никогда бы
Мне не узнать, что я живу.

Вам до меня какое дело,
Земная жизнь и красота,
А та напомнить мне сумела,
Кто я и кто моя мечта. 1909.

147.

Истончается тонкий тлен.
Фиолетовый гобелен.

К нам на воды и на леса
Опускаются небеса.

Нерешительная рука
Эти вывела облака,

И печальный встречает взор
Отуманенный их узор.

Недоволен стою и тих,
Я — создатель миров моих,

Где искусственны небеса
И хрустальная спит роса. 1909.

148.

Под грозовыми облаками
Несется клекот хищных птиц:
Довольно огненных страниц
Уж перевернуто веками.

В священном страхе тварь живет,
И каждый совершит душою,
Как ласточка перед грозою,
Неописуемый полет.

Когда же солнце вас расплавит,
Серебряные облака,
И будет вышина легка,
И крылья тишина расправит?

149.

Где вырывается из плена
Потока шумное стекло,
Клубящаяся стынет пена
Как лебединое крыло.

О, время, завистью не мучай
Того, кто во время застыл.
Нас пеною воздвигнул случай
И кружевом соединил.

150.

Над алтарем дымящихся зыбей
Приносит жертву кроткий бог морей.

Глухое море как вино кипит,
Над морем солнце как орел дрожит.

И только стелется морской туман,
И раздается тишины тимпан,

И только небо сердцем голубым
Усыновляет моря белый дым.

И шире океан, когда уснул,
И сдержанней величественный гул.

И в небесах — торжествен и тяжел —
Как из металла вылитый орел.

151.

Анне Ахматовой

Как Черный ангел на снегу,
Ты показалась мне сегодня,
И утаить я не могу,
Есть на тебе печать Господня.
Такая странная печать —
Как бы дарованная свыше —
Что, кажется, в церковной нише
Тебе назначено стоять.
Пускай нездешняя любовь
С любовью здешней будут слиты,
Пускай бушующая кровь
Не перейдет в твои ланиты
И пышный мрамор оттенит
Всю призрачность твоих лохмотий,
Всю наготу нежнейшей плоти,
Но не краснеющих ланит. 1910.

152.

Когда мозаик никнут травы
И церковь гулкая пуста,
Я в темноте, как змей лукавый,
Влачусь к подножию Креста.

И пью монашескую нежность
В сосредоточенных сердцах,
Как кипариса безнадежность
В неумолимых высотах.

Люблю изогнутые брови
И краску на лице святых,
И пятна золота и крови
На теле статуй восковых.

Быть может, только призрак плоти
Обманывает нас в мечтах,
Просвечивает меж лохмотий
И дышит в роковых страстях.

Лугано, 1910.

153.

Анне Ахматовой

Вы хотите быть игрушечной,
Но испорчен ваш завод,
К вам никто на выстрел пушечный
Без стихов не подойдет. 1911.

154.

Я давно полюбил нищету,
Одиночество, бедный художник.
Чтобы кофе сварить на спирту,
Я купил себе легкий треножник.

155.

В лазури месяц новый
Ясен и высок.
Пробуют подковы
Громкий грунт дорог.

Глубоко вздохнул я —
В небе голубом,
Словно зачерпнул я
Серебряным ковшом.

Счастия тяжелый
Я надел венец,
В кузнице веселой
Работает кузнец. 1911.

156.

Душу от внешних условий
Освободить я умею,
Пенье-кипенье крови
Слышу и быстро хмелею.

И вещества мне родного
Где-то на грани томленья
В цепь сочетаются снова
Первоначальные звенья.

Там в беспристрастном эфире
Взвешены сущности наши —
Брошены звездные гири
На задрожавшие чаши.

И в ликованьи предела
Есть упоение жизни —
Воспоминание тела
О неизменной отчизне. 1911.

157.

Тысячеструйный поток —
Журчала весенняя ласка.
Скользнула — мелькнула коляска,
Легкая, как мотылек.

Я улыбнулся весне,
Я оглянулся украдкой —
Женщина гладкой перчаткой
Правила — точно во сне.

В путь убегала она,
В траурный шелк одета,
Тонкая вуалета —
Тоже была черна... 1911.

158.

Темных уз земного заточенья
Я ничем преодолеть не мог,
И тяжелым панцырем презренья
Я окован с головы до ног.

Иногда со мной бывает нежен
И меня преследует двойник;
Как и я — он так же неизбежен
И ко мне внимательно приник.

И, глухую затаив развязку,
Сам себя я вызвал на турнир;
С самого себя срываю маску
И презрительно лелею мир.

Я своей печали недостоин,
И моя последняя мечта —
Роковой и краткий гул пробоин
Моего узорного щита. [1911]

159. ШАРМАНКА

Шарманка — жалобное пенье,
Тягучих арий дребедень —
Как безобразное виденье
Осеннюю тревожит сень.

Чтоб всколыхнула на мгновенье
Та песня вод стоячих лень,
Сентиментальное волненье
Туманной музыкой одень.

Какой обыкновенный день!
Как невозможно вдохновенье —
В мозгу игла, брожу как тень.

Я бы приветствовал кремень
Точильщика, как избавленье —
Бродяга — я люблю движенье. Июнь 1912

160.

Когда показывают восемь
Часы собора исполина,
Мы в полусне твой образ носим,
Чужого города картина.

В руках плетеные корзинки,
Служанки спорят с продавцами,
Воркуют голуби на рынке
И плещут сизыми крылами.

Хлеба, серебряные рыбы,
Плоды и овощи простые,
Крестьяне — каменные глыбы
И краски темные, живые.

А в сетке пестрого тумана
Сгрудилась ласковая стая,
Как будто площадь утром рано —
Торговли скиния живая. 1912.

161.

Осенний сумрак — ржавое железо —
Скрипит, поет и разъедает плоть...
Что весь соблазн и все богатства Креза
Пред лезвием Твоей тоски, Господь?

Я, как змеей танцующей, измучен
И перед ней, тоскуя, трепещу.
Я не хочу души своей излучин,
И разума, и Музы не хочу.

Достаточно лукавых отрицаний
Распутывать извилистый клубок;
Нет стройных слов для жалоб и признаний,
И кубок мой тяжел и неглубок.

К чему дышать? На жестких камнях пляшет
Больной удав, свиваясь и клубясь;
Качается и стан свой опояшет
И падает, внезапно утомясь.

И, бесполезно, накануне казни,
Видением и пеньем потрясен,
Я слушаю, как узник, без боязни
Железа визг и ветра темный стон. [1912].

162.

В самом себе, как змей, таясь,
Вокруг себя, как плющ, виясь,
Я подымаюсь над собою, —

Себя хочу, к себе лечу,
Крылами темными плещу,
Расширенными над водою;

И, как испуганный орел,
Вернувшись, больше не нашел
Гнезда, сорвавшегося в бездну, —

Омоюсь молнии огнем,
И, заклиная тяжкий гром,
В холодном облаке исчезну! [1912].

163.

Заснула чернь. Зияет площадь аркой.
Луной облита бронзовая дверь.
Здесь арлекин вздыхал о славе яркой,
И Александра здесь замучил зверь.

Курантов бой, и тени государей...
Россия, ты на камне и крови,
Участвовать в своей последней каре
Хоть тяжестью меня благослови! 1913.

164. АВТОПОРТРЕТ

В поднятьи головы крылатый
Намек. Но мешковат сюртук.
В закрытьи глаз, в покое рук
Тайник движенья непочатый.

Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость,
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть. 1913.

165.

Заманили охотники в капкан:
По тебе будут плакать леса, олень!

Солнце, возьми мой черный плащ,
Но сохрани живую мощь!

166. СПОРТ

Румяный шкипер бросил мяч тяжелый,
И черни он понравился вполне.
Потомки толстокожего футбола:
Крокет на льду и поло на коне.

Средь юношей теперь по старине
Цветет прыжок и выпад дискобола,
Когда сойдутся в легком полотне
Оксфорд и Кэмбридж — две приречных школы!

Но только тот, действительно, спортсмен —
Кто разорвет печальный жизни плен:
Он знает мир, где дышит радость, пенясь...

И детского крокета молотки,
И северные наши городки,
И дар богов — великолепный теннис! [1913].

167. ФУТБОЛ ВТОРОЙ

Рассеян утренник тяжелый,
На босу ногу день пришел,
А на дворе военной школы
Играют мальчики в футбол.

Телохранитель был отравлен...
В неравной битве изнемог,
Обезображен, обезглавлен
Футбола толстокожий бог.

И с легкостью тяжеловеса
Удары отбивал боксер...
О беззащитная завеса,
Неохраняемый шатер!..

Должно быть так толпа сгрудилась,
Когда, мучительно-жива,
Не допив кубка, покатилась
К ногам тупая голова?

Неизъяснимо лицемерно —
Не так ли кончиком ноги
Над теплым трупом Олоферна,
Юдифь, глумились и враги? 1913.

168.

Веселая скороговорка:
О будни — пляска дикарей!
Я с невысокого пригорка
Опять присматриваюсь к ней.

Бывают искренние вкусы,
И предприимчивый моряк
С собой захватывает бусы,
Цветные стекла и табак.

Люблю обмен. Мелькают перья,
Наивных восклицаний дождь.

Лоснящийся от лицемерья
Косится на бочонок вождь.

Скорей подбросить кольца, трубки
За мех и золото и яд
И с чистой совестью на шлюпке
Вернуться на родной фрегат. Июнь 1913.

169.

У меня немного денег,
В кабаках меня не любят,
И служанки вяжут веник
И сердито щепки рубят.

Я запачкал руки в саже,
На моих ресницах копоть,
Создаю свои миражи
И мешаю всем работать.

Голубые судомойки,
Добродетельная челядь!
И на самой жесткой койке
Ваша честность рай вам стелет.

Тяжела с бельем корзина,
И мясник острит там плотски,
Тем краснее льются вина
До утра в хрусталь господский. Июнь 1913.

170.

В аллее колокольчик медный,
Французский говор, нежный взгляд —
И за решеткой заповедной
Пустеет постепенно сад.

Что делать в городе в июне?
Не зажигают фонарей...
На яхте, на чухонской шхуне
Уехать хочется скорей.

Нева — как вздувшаяся вена...
До утренних румяных роз,
Везя всклокоченное сено,
Плетется на асфальте воз.

А там рабочая землянка,
Трещит и варится смола —
Ломовика судьба-цыганка
Обратно в степи привела...

И с бесконечной челобитной
О справедливости людской
Чернеет на скамье гранитной
Самоубийца молодой. Июнь 1913.

171. ЕГИПТЯНИН

Надпись на камне 18—19 династии

Я избежал суровой пени
И почестей достиг;
От радости мои колени
Дрожали как тростник.

И прямо в полы балахона,
Большие как луна,
На двор с высокого балкона
Бросали ордена.

То, что я сделал, превосходно —
И это сделал я!
И место новое доходно
И прочно для житья.

И, предвкушая счастья глянец,
Я танцевал не зря
Изящный и отличный танец
В присутствии царя.

По воздуху летает птица.
Бедняк идет пешком.
Вельможе ехать не годится
Дрянным сухим путем.

И, захватив с собой подарки
И с орденами тюк,
Как подобает мне, на барке
Я поплыву на юг. [1913].

172. ЕГИПТЯНИН

Я выстроил себе благополучья дом,
Он весь из дерева, и ни куска гранита,
И царская его осматривала свита,
В нем виноградники, цветы и водоем.

Чтоб воздух проникал в удобное жилье,
Я вынул три стены в преддверьи легкой клети,
И безошибочно я выбрал пальмы эти
Краеугольные, прямые, как копье.

Кто может описать чиновника доход!
Бессмертны высокопоставленные лица!

(Где управляющий? Готова ли гробница?)
В хозяйстве письменный я слушаю отчет.

Тяжелым жерновом мучнистое зерно
Приказано смолоть служанке низкорослой, —
Священникам налог исправно будет послан,
Составлен протокол на хлеб и полотно.

В столовой на полу пес растянувшись лег,
И кресло прочное стоит на львиных лапах.
Я жареных гусей вдыхаю сладкий запах —
Загробных радостей вещественный залог. 1913.

173.

Пусть в душной комнате, где клочья серой ваты
И склянки с кислотой, часы хрипят и бьют, —
Гигантские шаги, с которых петли сняты, —
В туманной памяти виденья оживут.

И лихорадочный больной, тоской распятый,
Худыми пальцами свивая тонкий жгут,
Сжимает свой платок, как талисман крылатый,
И с отвращением глядит на круг минут . . .

То было в сентябре, вертелись флюгера,
И ставни хлопали — но буйная игра
Гигантов и детей пророческой казалась,
И тело нежное — то плавно подымалось,
То грузно падало: средь пестрого двора
Живая карусель без музыки вращалась! [1913].

174. АМЕРИКАН БАР

Еще девиц не видно в баре,
Лакей невежлив и угрюм;
И в крепкой чудится сигаре
Американца едкий ум.

Сияет стойка красным лаком,
И дразнит сода-виски форт:
Кто незнаком с буфетным знаком
И в ярлыках не слишком тверд?

Бананов груда золотая
На всякий случай подана.
И продавщица восковая
Невозмутима — как луна.

Сначала нам слегка взгрустнется,
Мы спросим кофе с кюрасо.
В пол-оборота обернется
Фортуны нашей колесо!

Потом, беседуя негромко,
Я на вращающийся стул
Влезаю в шляпе и, соломкой
Мешая лед, внимаю гул...

Хозяйский глаз желтей червонца
Мечтателей не оскорбит...
Мы недовольны светом солнца,
Теченьем медленных орбит! [1913].

175.

Ты прошла сквозь облако тумана.
На ланитах нежные румяна.
Светит день холодный и недужный.
Я брожу свободный и ненужный . . .
Злая осень ворожит над нами,
Угрожает спелыми плодами,
Говорит вершинами с вершиной
И в глаза целует паутиной.
Как застыл тревожной жизни танец!
Как на всем играет твой румянец!
Как сквозит и в облаке тумана
Ярких дней зияющая рана. [1914].

176. POLACY!

Поляки! Я не вижу смысла
В безумном подвиге стрелков!
Иль ворон заклюет орлов?
Иль потечет обратно Висла?
Или снега не будут больше
Зимою покрывать ковыль?
Или о Габсбургов костыль
Пристало опираться Польше?
И ты, славянская комета,
В своем блужданьи вековом,
Рассыпалась чужим огнем,
Сообщница чужого света! 1914.

177.

Развеселился наконец,
Изведал духа совершенство,
Испробовал свое блаженство
И успокоился как царь,

Почуяв славу за плечами,
Когда первосвященник в храме
И голубь залетел в алтарь...

178.

Как овцы, жалкою толпой
Бежали старцы Еврипида.
Иду змеиною тропой
И в сердце темная обида.

Но этот час уж недалек:
Я отряхну мои печали,
Как мальчик вечером песок
Вытряхивает из сандалий. 1914.

179.

Немецкая каска — священный трофей —
Лежит на камине в гостиной твоей,
Дотронься, она как мерлушка легка,
Пронизана воздухом медь шишака.

В Познани и Польше не всем воевать —
Своими глазами врага увидать
И, слушая ядер губительный хор,
Сорвать с неприятеля гордый убор. 1914.

180. ОТРЫВОК

Какая вещая Кассандра
Тебе пророчила беду?
О будь, Россия Александра,
Благословенна и в аду!

Рукопожатье роковое
На шатком неманском плоту
. . . . . 1915.

181. РЕЙМС И КЕЛЬН

... Но в старом Кельне тоже есть собор,
Неконченный и все-таки прекрасный,
И хоть один священник беспристрастный,
И в дивной целости стрельчатый бор;

Он потрясен чудовищным набатом,
И в грозный час, когда густеет мгла,
Немецкие поют колокола:
«Что сотворили вы над Реймским братом!» [1915].

182.

Неутолимые слова ...
Окаменела Иудея,
И, с каждым мигом тяжелея,
Его поникла голова.
Стояли воины кругом
На страже стынущего тела;
Как венчик, голова висела
На стебле тонком и чужом.
И царствовал и никнул Он,
Как лилия, в родимый омут,
И глубина, где стебли тонут,
Торжествовала свой закон. 1915.

183.

В морозном воздухе растаял легкий дым,
И я, печальною свободою томим,
Хотел бы вознестись в холодном, тихом гимне,
Исчезнуть навсегда, но суждено идти мне
По снежной улице в вечерний этот час.
Собачий слышен лай, и запад не погас,
И попадаются прохожие навстречу.
Не говори со мной! Что я тебе отвечу? 1915.

184.

Негодованье старческой кифары...
Еще жива несправедливость Рима,
И воют псы, и бедные татары
В глухих деревнях каменного Крыма...

О Цезарь, Цезарь! Слышишь ли блеянье
Бараньих стад, и смутных волн движенье?
Что понапрасну льешь свое сиянье,
Луна, без Рима жалкое явленье?

Не та, что ночью смотрит Капитолий
И озаряет лес столпов холодных,
А деревенская луна — не боле —
Луна, возлюбленная псов голодных! 1915, октябрь.

185.

Анне Ахматовой

Черты лица искажены
Какой-то старческой улыбкой.
Ужели и гитане гибкой
Все муки Данта суждены? 1915.

186.

Посоветовала кормилица
Ипполита извести —
Горьким дымом горе стелется
Разъедает очи гарь.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Знаменитая беззаконница —
Федра солнце погребла —
В очаге средь зала царского
Злится скучная зола!
Но светило златокудрое
Выздоравливает вновь.
Злая ложь и правда мудрая
Пред тобой равны, любовь. 1915 или 1916.

187. МАДРИГАЛ

Нет, не поднять волшебного фрегата:
Вся комната в табачной синеве —
И пред людьми русалка виновата —
Зеленоглазая, в морской траве!

Она курить, конечно, не умеет,
Горячим пеплом губы обожгла;
И не заметила, что платье тлеет,
Зеленый шелк, и на полу зола...

Так моряки в прохладе изумрудной
Ни чубуков, ни трубок не нашли;
Ведь и дышать им научиться трудно
Сухим и горьким воздухом земли! [1916].

188.

Не фонари сияли нам, а свечи
Александрийских стройных тополей.
Вы сняли черный мех с груди своей
И на мои переложили плечи.
Смущенная величием Невы,
Ваш чудный мех мне подарили вы. 1916.

189. ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Императорский виссон
И моторов колесницы, —
В черном омуте столицы
Столпник-ангел вознесен.
В темной арке, как пловцы,
Исчезают пешеходы,
И на площади, как воды,
Глухо плещутся торцы.
Только там, где твердь светла,
Черно-желтый лоскут злится,
Словно в воздухе струится
Желчь двуглавого орла. Март 1917.

190.

О государстве слишком раннем
Еще печалится земля —
Мы в черной очереди станем
На черной площади Кремля.

191.

Как пахнут тополя! Мы пьяны,
Когда кончается земля —
Не ради смуты мы смутьяны
На черной площади Кремля.

Соборов восковые лики
Спят, и разбойничать привык
Без голоса Иван Великий,
Как виселица прям и дик. 1917

192.

Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы,
И ощетинился убийца-броневик
И пулеметчик низколобый, —

— Керенского распять! — потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала:
Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
И сердце биться перестало!

И укоризненно мелькает эта тень,
Где зданий красная подкова;
Как будто слышу я в октябрьский тусклый день:
Вязать его, щенка Петрова!

Среди гражданских бурь и яростных личин,
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея.

И если для других восторженный народ
Венки свивает золотые —
Благословить тебя в далекий ад сойдет
Стопами легкими Россия. [Ноябрь 1917].

193.

Кто знает, может быть, не хватит мне свечи,
И среди бела дня останусь я в ночи,
И, зернами дыша рассыпанного мака,
На голову мою надену митру мрака:

Как поздний патриарх в разрушенной Москве,
Неосвященный мир неся на голове,
Чреватый слепотой и муками раздора,
Как Тихон, — ставленник последнего собора. 1918.

194. ТЕЛЕФОН

На этом диком страшном свете
Ты, друг полночный похорон,
В высоком строгом кабинете
Самоубийцы — телефон!

Асфальта черные озера
Изрыты яростью копыт
И скоро будет солнце: скоро
Безумный петел прокричит.

А там дубовая Валгалла
И старый пиршественный сон;
Судьба велела, ночь решала,
Когда проснулся телефон.

Весь воздух выпили тяжелые портьеры,
На театральной площади темно.
Звонок — и закружились сферы:
Самоубийство решено.

Куда бежать от жизни гулкой,
От этой каменной уйти?
Молчи, проклятая шкатулка!
На дне морском цветет: прости!

И только голос, голос-птица
Летит на пиршественный сон.
Ты — избавленье и зарница
Самоубийства — телефон! [1918].

195. АКТЕР И РАБОЧИЙ

Здесь, на твердой площадке яхт-клуба,
Где высокая мачта и спасательный круг,
У Южного моря, под сенью Юга
Деревянный пахучий строился сруб!

Это игра воздвигает здесь стены!
Разве работать не значит играть?
По свежим доскам широкой сцены
Какая радость впервые шагать!

Актер-корабельщик на палубе мира!
И дом актера стоит на волнах!
Никогда, никогда не боялась лира
Тяжелого молота в братских руках!

Что сказал художник, сказал и работник:
— Воистину, правда у нас одна!
Единым духом жив и плотник,
И поэт, вкусивший святого вина!

А вам спасибо! И дни, и ночи
Мы строили вместе, и наш дом готов!
Под маской суровости скрывает рабочий
Высокую нежность грядущих веков!

Веселые стружки пахнут морем,
Корабль оснащен — в добрый путь!
Плывите же вместе к грядущим зорям,
Актер и рабочий, вам нельзя отдохнуть! [1922].

196.

Пылает за окном звезда,
Мигает огоньком лампада.
Так значит суждено и надо,
Чтоб стала горечью отрада,
Нивесть ушедшая куда.
Над колыбелью тихий свет
И как не твой напев баюнный.
И снег и звезды, лисий след,
И месяц золотой и юный,
Ни дней не знающий, ни лет.

И жаль и больно мне спугнуть
С бровей знакомую излуку,
И взять, как прежде, в руки руку.
Прости ты мне земную муку,
Земную ж радость не забудь.
В окне звезда, в углу лампада
И колыбели тихий след.
Поутру стол и табурет.
Так значит суждено, и нет
Иного счастья и не надо. [1923].

197. А НЕБО БУДУЩИМ БЕРЕМЕННО...

Опять войны разноголосица
На древних плоскогорьях мира,
И лопастью пропеллер лоснится,
Как кость точеная тапира.
Крыла и смерти уравнение,

С алгебраических пирушек
Слетев, он помнит измерение
Других эбеновых игрушек,
Врагиню-ночь, рассадник вражеский
Существ коротких ластоногих
И молодую силу тяжести:
Так начиналась власть немногих...

Итак, готовьтесь жить во времени,
Где нет ни волка, ни тапира,
А небо будущим беременно,
Пшеницей сытого эфира.
А то сегодня победители
Кладбища лета обходили,
Ломали крылья стрекозиные
И молоточками казнили.

Давайте слушать грома проповедь,
Как внуки Себастьяна Баха,
И на востоке и на западе
Органные наставим крылья!
Давайте, бросим бури яблоко
На стол пирующим землянам
И на стеклянном блюде облако
Поставим яств посередине.

Давайте всё покроем заново
Камчатной скатертью пространства,
Переговариваясь, радуясь,
Друг другу подавая брашна.
На круговом, на мирном судьбище
Зарею кровь оледенится.
В беременном глубоком будущем
Жужжит большая медуница.

А вам, в безвременьи летающим
Под хлыст войны за власть немногих —
Хотя бы честь млекопитающих,
Хотя бы совесть ластоногих.
И тем печальнее, тем горше нам,
Что люди-птицы хуже зверя,
И что стервятникам и коршунам
Мы поневоле больше верим.
Как шапка холода альпийского,
Из году в год, в жару и лето,
На лбу высоком человечества
Войны холодные ладони.
А ты, глубокое и сытое,
Забременевшее лазурью,
Как чешуя многоочитое,
И альфа и омега бури, —
Тебе, чужое и безбровое,
Из поколенья в поколение,
Всегда высокое и новое
Передается удивление. 1923.

198.

Жизнь упала как зарница,
Как в стакан воды ресница,
Изолгавшись на корню —
Никого я не виню...

Хочешь яблока ночного,
Сбитню свежего, крутого,
Хочешь, валенки сниму,
Как пушинку, подниму?

Ангел в светлой паутине
В золотой стоит овчине,

Свет фонарного луча
До высокого плеча.

Разве кошка, встрепенувшись,
Диким зайцем обернувшись,
Вдруг простегивает путь,
Исчезает где-нибудь . . .

Как дрожала губ малина,
Как поила чаем сына,
Говорила наугад,
Ни к чему и невпопад . . .

Как нечаянно запнулась,
Изолгалась, улыбнулась
Так, что вспыхнули черты
Неуклюжей красоты.

Есть за куколем дворцовым
И за кипенем садовым
Заресничная страна —
Там ты будешь мне жена.

Выбрав валенки сухие
И тулупы золотые,
Взявшись за руки вдвоем,
Той же улицей пойдем.

Без оглядки, без помехи
На сияющие вехи —
От зари и до зари
Налитые фонари.

Январь 1925

199.

Куда как тетушка моя была богата.
Фарфора, серебра изрядная палата,
Безделки разные и мебель *акажу,*
Людовик, рококо — всего не расскажу.
Среди других вещей стоял в гостином зале
Бетховен гипсовый на бронзовом рояле.
У тетушки он был в особенной чести.
Однажды довелось мне в гости к ней придти,
И гордая собой упрямая старуха
Перед Бетховеном проговорила глухо:
— Вот, душечка, Марат; работы Мирабо!
— Да что вы, тетенька, не может быть того!
Но старость черствая к поправкам глуховата:
— Вот, — говорит, — портрет известного Марата
Работы, ежели припомню, Мирабо.

Читатель, согласись, не может быть того! [1926].

200.

Анне Ахматовой

Привыкают к пчеловоду пчелы,
Такова пчелиная порода,
Только я Ахматовой уколы
Двадцать три уже считаю года. 1930.

201.

Не говори никому,
Все, что ты видел, забудь —
Птицу, старуху, тюрьму
Или еще что-нибудь...

Или охватит тебя,
Только уста разомкнешь,

При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь.

Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал,
Или чернику в лесу,
Что никогда не сбирал.

Октябрь 1930. Тифлис.

202.

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!

Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом . . .

Да видно нельзя никак.

Октябрь 1930. Тифлис.

203—215. АРМЕНИЯ

I

Как бык шестикрылый и грозный,
Здесь людям является труд,
И кровью набухнув венозной,
Предзимние розы цветут.

II

Ты розу Гафиза колышешь
И няньчишь зверушек-детей,
Плечьми осьмигранными дышишь
Мужицких бычачьих церквей.

Окрашена охрою хриплой,
Ты вся далеко за горой,
А здесь лишь картинка налипла
Из чайного блюдца с водой.

III

Ты красок себе пожелала —
И выхватил лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И крови моей не волнуя,
Как детский рисунок просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы — кузнечные клещи,
И каждое слово — скоба...

26 окт.—16 ноября 1930.

IV

Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло,
Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая
охра.

И почему-то мне начало утро армянское сниться,
Думал — возьму посмотрю, как живет в Эривани
синица,

Как нагибается булочник, с хлебом играющий в жмурки,
Из очага вынимает лавашные влажные шкурки...

Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?

Ах, Эривань, Эривань! Не город — орешек каленый,
Улиц твоих большеротых кривые люблю вавилоны.

Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил,
Время свое заморозил и крови горячей не пролил.

Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо,
Я не хочу твоего замороженного винограда! 21 окт. 1930.

V

Закутав рот, как влажную розу,
Держа в руках осьмигранные соты,
Все утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слезы.

И отвернулась со стыдом и скорбью
От городов бородатых востока;
И вот лежишь на москательном ложе
И с тебя снимают посмертную маску. 25 окт. 1930.

VI

Руку платком обмотай и в венценосный шиповник,
В самую гущу его целлулоидных терний

Смело, до хруста, ее погрузи.
Добудем розу без ножниц.
Но смотри, чтобы он не осыпался сразу —
Розовый мусор — муслин — лепесток соломоновый —
И для шербета негодный дичок,
Не дающий ни масла, ни запаха.

VII

Орущих камней государство —
Армения, Армения!
Хриплые горы к оружью зовущая —
Армения, Армения!

К трубам серебряным Азии вечно летящая —
Армения, Армения!
Солнца персидские деньги щедро раздаривающая —
Армения, Армения!

VIII

Не развалины — нет — но порубка могучего циркульного леса,
Якорные пни поваленных дубов звериного и басенного христианства,
Рулоны каменного сукна на капителях, как товар из языческой разграбленной лавки,
Виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих рогов
И нахохленные орлы с совиными крыльями, еще не оскверненные Византией.

IX

Холодно розе в снегу:
На Севане снег в три аршина...
Вытащил горный рыбак расписные лазурные сани,
Сытых форелей усатые морды
Несут полицейскую службу
На известковом дне.

А в Эривани и в Эчмиадзине
Весь воздух выпила огромная гора,
Ее бы приманить какой-то окариной
Иль дудкой приручить,
чтоб таял снег во рту.

Снега, снега, снега на рисовой бумаге,
Гора плывет к губам.
Мне холодно. Я рад...

X

О порфирные цокая граниты,
Спотыкается крестьянская лошадка,
Забираясь на лысый цоколь
Государственного звонкого камня.

А за нею с узелками сыра,
Еле дух переводя, бегут курдины,
Примирившие дьявола и Бога,
Каждому воздавши половину...

24/X 1930. Тифлис.

XI

Какая роскошь в нищенском селенье, —
Волосяная музыка воды!
Что это? пряжа? звук? предупрежденье?
Чур-чур меня! Далеко ль до беды!
И в лабиринте влажного распева
Такая душная стрекочет мгла,
Как будто в гости водяная дева
К часовщику подземному пришла.

24 ноября 1930. Тифлис.

XII

Я тебя никогда не увижу,
Близорукое армянское небо,
И уже не взгляну прищурясь
На дорожный шатер Арарата,
И уже никогда не раскрою
В библиотеке авторов гончарных
Прекрасной земли пустотелую книгу,
По которой учились первые люди.

XIII

Лазурь да глина, глина да лазурь,
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым,
Над книгой звонких глин, над книжною землей,
Над гнойной книгою, над глиной дорогой,
Которой мучимся как музыкой и словом.

16 сент.—5 ноября 1930 г.
Тифлис.

216.

Колючая речь араратской долины —
Дикая кошка — армянская речь —
Хищный язык городов глинобитных —
Речь голодающих кирпичей!

А близорукое шахское небо —
Слепорожденная бирюза —
Все не прочтет пустотелую книгу
Черною кровью запекшихся глин.

Октябрь 1930. Тифлис.

217.

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

Твое пограничное ухо —
Все звуки ему хороши —
Желтуха, желтуха, желтуха!
В проклятой горчичной глуши!

Октябрь 1930. Тифлис.

218.

Дикая кошка — армянская речь —
Мучит меня и царапает ухо —
Хоть на постели горбатой прилечь —
О лихорадка, о злая моруха!

Падают вниз с потолка светляки,
Ползают мухи по липкой простыне,
И маршируют повзводно полки
Птиц голенастых по желтой равнине.

Страшен чиновник — лицо, как тюфяк, —
Нету его ни жалчей, ни нелепей, —
Командированный — мать твою так! —
Без подорожной в армянские степи.

Пропадом ты пропади, говорят,
Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу, —
Старый повытчик, награбив деньжат,
Бывший гвардеец, замыв оплеуху.

Грянет ли в двери знакомое — ба!
Ты ли, дружище? Какая издевка!
Долго ль еще нам ходить по гроба,
Как по грибы деревенская девка!..

Были мы люди, а стали людьё,
И суждено — по какому разряду? —
Нам роковое в груди колотье,
Да эрзерумская кисть винограду.

Ноябрь 1930. Тифлис.

219.

На полицейской бумаге верже —
Ночь наглоталась колючих ершей —
Звезды поют — канцелярские птички
Пишут и пишут свои рапортички.

Сколько бы им ни хотелось мигать,
Могут они заявленье подать —
И на мерцанье, писанье и тленье
Возобновляют всегда разрешенье.

Октябрь 1930.

220.

И по-звериному воет людьё
И по-людски куралесит зверьё... —
Чудный чиновник без подорожной,
Командированный к тачке острожной —
Он Черномора пригубил питье
В кислой корчме на пути к Эрзеруму...

Ноябрь 1930. Тифлис.

221. ЛЕНИНГРАД

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда — так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей!

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930. Ленинград.

222.

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья —
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка
И над лимонной Невою под хруст сторублевой
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, — от тех европеянок
нежных —
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!

Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее,
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый!

Не потому ль, что я видел на детской картинке
Лэди Годиву с распущенной рыжею гривой,

Я повторяю еще про себя под сурдинку:
Лэди Годива, прощай . . . Я не помню, Годива . . .

Январь 1931.

223.

Помоги, Господь, эту ночь прожить:
Я за жизнь боюсь — за Твою рабу —
В Петербурге жить — словно спать в гробу.

Январь 1931.

224.

Мы с тобой на кухне посидим.
Сладко пахнет белый керосин.

Острый нож, да хлеба каравай . . .
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

Январь 1931, Ленинград.

225.

После полуночи сердце ворует
Прямо из рук запрещенную тишь,
Тихо живет, хорошо озорует —
Любишь — не любишь — ни с чем не сравнишь.

Любишь — не любишь, поймешь — не поймаешь . . .
Так почему ж как подкидыш дрожишь?
После полуночи сердце пирует,
Взяв на прикус серебристую мышь.

Март 1931, Москва.

226.

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой!

Там где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.

Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну, а мне соленой пеной
По губам!

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет —
Нищета.

Ой-ли, так ли, — дуй ли, вей ли, —
Все равно —
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино!

Я скажу тебе с последней
Прямотой —
Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой!

Март 1931, Москва,
Зоологич. Музей.

227.

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей, —

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

17—28 марта 1931.

228.

Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант.

Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,
Заученную вхруст
Одну сонату вечную
Твердил он наизусть.

Что, Александр Герцович,
На улице темно...
Брось, Александр Скерцович,
Чего там, все равно...

Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит.

Нам с музыкой-голу́бою
Не страшно умереть,
А там — вороньей шубою
На вешалке висеть.

Все, Александр Сердцевич,
Заверчено давно...
Брось, Александр Скерцевич,
Чего там, все равно... 27 марта 1931.

229.

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страха, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. —
Душно, и все-таки до смерти хочется жить.

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.

Март 1931. Москва.

230.

Ночь на дворе. Барская лжа!
После меня — хоть потоп.
Что же потом? — храп горожан
И толкотня в гардероб.

Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж на зубок:
С шапкой в руках, шапку в рукав —
И да хранит тебя Бог! Март 1931. Москва.

231.

Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
Дай-ка я на тебя погляжу —
Ведь лежать мне в сосновом гробу!

А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.

— Захочу, — говорит, — дам еще...
Ну, а я не дышу, — сам не рад.
Шасть к порогу — куда там! — в плечо
Уцепилась и тащит назад.

Тишь да глушь у нее, вошь да мша,
Полуспаленка, полутюрьма.
— Ничего, хороша, хороша!
Я и сам ведь такой же, кума.

4 апр. 1931. Москва

232.

Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину-Москву —
Я трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю — зачем я живу.

Мы с тобою поедем на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет.
А она — то сжимается как воробей,
То растет, как воздушный пирог,

И едва успевает грозить из дупла —
Ты — как хочешь, а я не рискну,
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объехать всю курву-Москву. Апрель 1931

233.

Я пью за военные астры, за все, чем корили меня:
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня,

За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,
За розы в кабине ролс-ройса, за масло парижских картин.

Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин,

Я пью, но еще не придумал, из двух выбираю одно:
Веселое асти-спуманте иль папского замка вино...

11 апреля 1931

234 РОЯЛЬ

Как парламент, жующий фронду,
Вяло дышит огромный зал —
Не идет Гора на Жиронду
И не крепнет сословий вал.

Оскорбленный и оскорбитель,
Не звучит рояль-Голиаф,
Звуколюбец, душемутитель,
Мирабо фортепьянных прав.

Разве руки мои — кувалды?
Десять пальцев — мой табунок!
И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих — конек-горбунок.

Не прелюды он и не вальсы
И не Листа листал листы —
В нем лились и переливались
Волны внутренней правоты.

Чтобы в мире стало просторней,
Ради сложности мировой,
Не втирайте в клавиши корень
Сладковатой груши земной.

Чтоб смолою соната джина
Проступила из позвонков,
Нюренбергская есть пружина,
Выпрямляющая мертвецов.

16 апреля 1931.

235.

А. А. А [хматовой]

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
Так вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье —
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти древние плахи!
Как нацелясь на смерть городки зашибают в саду,
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесу топорище найду.

3 мая 1931. Хмельницкая.

236. КАНЦОНА

Неужели я увижу завтра —
Слева сердце бьется, слава лейся —
Вас, банкиры горного ландшафта,
Вас, держатели могучих акций гнейса.

То зрачок профессорский, орлиный —
Египтологи и нумизматы —
Эти птицы, сумрачно-хохлатые,
С жестким мясом и широкою грудиной.

То Зевес подкручивает с толком
Золотыми пальцами краснодеревца
Замечательные луковицы-стекла —
Прозорливцу дар от псалмопевца.

Он глядит в бинокль прекрасный Цейса —
Дорогой подарок Царь-Давида, —
Замечает все морщины гнейса,
Где сосна иль деревушка-гнида.

Я покину край гипербореев,
Чтобы зреньем напитать судьбы развязку,
Я скажу «селям» начальнику евреев
За его малиновую ласку.

Край небритых гор еще неясен.
Мелколесья колется щетина.
И свежа, как вымытая басня,
До оскомины зеленая долина.

Я люблю военные бинокли
С ростовщическою силой зренья —
Две лишь краски в мире не поблекли:
В желтой — зависть, в красной — нетерпенье.

26 мая 1931

237—246. ОТРЫВКИ ИЗ УНИЧТОЖЕННЫХ СТИХОВ

I

В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет — читай: насильно
Был возвращен в буддийскую Москву,
А перед тем я все-таки увидел

Библейской скатертью богатый Арарат
И двести дней провел в стране субботней,
Которую Арменией зовут.
Захочешь пить — там есть вода такая
Из курдского источника Арзни —
Хорошая, колючая, сухая
И самая правдивая вода.

II

Уж я люблю московские законы,
Уж не скучаю по воде Арзни —
В Москве черемуха да телефоны
И . . . . . .

III

Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой
На молоко с буддийской синевой,
Проводишь взглядом барабан турецкий,
Когда обратно он на красных дрогах
Несется вскачь с гражданских похорон,
И встретишь воз с поклажей из подушек
И скажешь: гуси-лебеди, домой!

IV

Я больше не ребенок.
Ты, могила,
Не смей учить горбатого — молчи!
Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб нёбо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.

6 июня 1931. Москва

V

Язык-медведь ворочается глухо
В пещере рта. И так от псалмопевца
До Ленина: чтоб нёбо стало небом,
Чтоб губы перетрескались, как розовая глина,
Еще, еще . . .

VI

Не табачною кровью заката пишу,
Не костяшками дева стучит —
Человеческий жаркий искривленный рот
Негодует и «нет» говорит . . .

VII

Золотилась черешня московских торцов
И пыхтел грузовик у ворот,
И по улицам шел на дворцы и морцы
Самопишущий черный народ . . .

VIII

. . . шли труда чернецы,
Как шкодливые дети, вперед.
Голубые песцы и дворцы и морцы —
Лишь один кто-то властный поет . . .

. . . Но услышав тот голос, пойду в топоры,
Да и сам за него доскажу . . .

IX

Замолчи! Ни о чем, никогда, никому —
Там в пожарище время поет . . .

X

Замолчи! Я не верю уже ничему —
Я такой же как ты пешеход,
Но меня возвращает к стыду моему
Твой грозящий искривленный рот.

247.

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.

Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви,
И вся Москва на яликах плывет.

Не волноваться. Нетерпенье — роскошь,
Я постепенно скорость разовью —
Холодным шагом выйдем на дорожку —
Я сохранил дистанцию мою.

7 июня 1931. Москва.

248. ФАЭТОНЩИК

На высоком перевале,
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали —
Было страшно, как во сне.

Нам попался фаэтонщик,
Пропеченный, как изюм,
Словно дьявола поденщик,
Односложен и угрюм.

То гортанный крик араба,
То бессмысленное «цо»,
Словно розу или жабу,
Он берег свое лицо.

Под кожевенною маской
Скрыв ужасные черты,
Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты.

И пошли толчки-разгоны,
И не слезть было с горы —
Закружились фаэтоны,
Постоялые дворы...

Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил, чорт возьми, —
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми.

Он безносой канителью
Правит, душу веселя,
Чтоб крутилась каруселью
Кислосладкая земля.

Так в нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там глядят со всех сторон,
И труда бездушный кокон
На горе похоронен.

И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темносиняя чума. Июнь 1931.

249.

Как народная громада,
Прошибая землю в пот,
Многоярусное стадо
Пропыленной армадой
Ровно в голову плывет.
Телки с нежными боками
И бычки-баловники,
А за ними — кораблями —
Буйволицы с буйволами
И священники-быки.

Июнь 1931. Москва

250.

Какое лето! Молодых рабочих
Татарские сверкающие спины
С девической повязкой на хребтах,
Таинственные узкие лопатки
И детские ключицы. Здравствуй, здравствуй,
Могучий некрещенный позвоночник,
С которым проживем не век, не два!

Июль-август 1931. Москва

251.

Еще далеко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
— Такой, сякой! — Ну чтож, я извиняюсь,
Но в глубине ничуть не изменяюсь...

Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда.
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильмы воровской...

Я, как щенок, бросаюсь к телефону
На каждый истерический звонок, —
В нем слышно польское: «Дзенкуе, пане!», —
Иногородний ласковый упрек
Иль неисполненное обещанье.

Все думаешь: к чему бы приохотиться
Посереди хлопушек и шутих —
Перекипишь, — а там, гляди, останется —
Одна сумятица да безработица —
Пожалуйста, прикуривай у них!

То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белокурой тростью выхожу —
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех лотков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях
И не живу, но все-таки живу.

Я к воробьям пойду и к репортерам,
Я к уличным фотографам пойду,
И в пять минут, лопатой из ведерка,
Я получу свое изображенье
Под конусом лиловой Шах-горы.

Или еще пущусь на побегушки
В распаренные душные подвалы,
Где чистые и честные китайцы
Хватают палочками шарики из теста,
Играют в узкие нарезанные карты
И водку пьют, как ласточки с Ян-Цзы.

Люблю разъезды скворчащих трамваев
И астраханскую икру асфальта,
Накрытого соломенной рогожей,
Напоминающей корзинку асти,
И страусовые перья арматуры
В начале стройки ленинских домов.

Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кащеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи;
Дивлюсь рогатым митрам Тициана
И Тинторетто пестрому дивлюсь
За тысячу крикливых попугаев . . .

И до чего хочу я разыграться,
Разговориться, выговорить правду,
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду,
Взять за руку кого-нибудь: — будь ласков, —
Сказать ему, — нам по пути с тобой . . .

Июль-сентябрь 1931. Москва.

252.

[С. А. К.]

Там, где купальни-бумагопрядильни
И широчайшие зеленые сады,
На реке-Москве есть светоговорильня
С гребешками отдыха, культуры и воды.

Эта слабогрудая речная волокита,
Скучные-нескучные, как халва, холмы,
Эти судоходные марки и открытки,
На которых носимся и несемся мы.

У реки Оки вывернуто веко,
Оттого-то и на Москве ветерок.
У сестрицы Клязьмы загнулась ресница,
Оттого на Яузе утка плывет.

На Москве-реке почтовым пахнет клеем,
Там играют Шуберта в раструбы рупоров.
Вода на булавках и воздух нежнее
Лягушиной кожи воздушных шаров.

Апрель 1932.

253.

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
О том, что в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Еще обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя,

А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях.

Линяет зверь, играет рыба
В глубоком обмороке вод —
И не глядеть бы на изгибы
Людских страстей, людских забот.

Апрель 1932.

254. ЛАМАРК

Был старик, застенчивый как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх...
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну, конечно, пламенный Ламарк.

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.

Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья, —
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила —
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех . . .

7—9 мая 1932.

255.

Когда в далекую Корею
Катился русский золотой,
Я убегал в оранжерею,
Держа ириску за щекой.

Была пора смешливой бульбы
И щитовидной железы,
Была пора Тараса Бульбы
И подступающей грозы.

Самоуправство, своевольство,
Поход Троянского коня,

А над поленницей посольство
Эфира, солнца и огня.

Был от поленьев воздух жирен,
Как гусеница, на дворе,
И Петропавловску, Цусиме
Ура на дровяной горе.

К царевичу младому Хлору
И — Господи благослови! —
Как мы в высоких голенищах
За хлороформом в гору шли . . .

Я пережил того подростка
И широка моя стезя —
Иные сны, другие гнезда,
Но не разбойничать нельзя.

11—13 мая 1932.

256. НОВЕЛЛИНО

Вы помните, как бегуны
У Данта Алигьери
Соревновались в честь весны
В своей зеленой вере?

По темнобархатным лугам
В сафьяновых сапожках
Они пестрели по холмам,
Как маки на дорожках.

Уж эти мне говоруны,
Бродяги-флорентийцы:

Отъявленные все лгуны,
Наемные убийцы.

Они, под звон колоколов,
Молились Богу спьяну,
Они дарили соколов
Турецкому султану.

Увы, растаяла свеча
Молодчиков каленых,
Что хаживали вполплеча
В камзольчиках зеленых,

Что пересиливали срам
И чумную заразу,
И всевозможным господам
Прислуживали сразу.

И нет рассказчика для жен
В порочных длинных платьях,
Что проводили дни, как сон,
В пленительных занятьях:

Топили воск, мотали шелк,
Учили попугаев
И в спальню, видя в этом толк,
Пускали негодяев.

22 мая 1932. Москва.

257. *[Вариант]*

Вы помните, как бегуны
В окрестностях Вероны
Уже разматывать должны
Кусок сукна зеленый?

Но всех других опередит
Тот самый, тот — который
Из книги Данта убежит,
Ведя по кругу споры.

Москва, май 1932 —
Воронеж, сентябрь 1935

258. ИМПРЕССИОНИЗМ

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени,
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.

Он понял масла густоту —
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.

А тень-то, тень все лиловей —
Смычек иль хлыст, как спичка,
тухнет, —
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.

Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом солнечном развале
Уже хозяйничает шмель.

23 мая 1932. Москва.

259.

Дайте Тютчеву стрекозу —
Догадайтесь, почему —
Веневитинову — розу,
Ну, а перстень? Никому!

Баратынского подошвы
Раздражают прах веков,
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.

А еще над нами волен
Лермонтов — мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.

А еще богохранима
На гвозде торчит всегда
У ворот Ерусалима
Хомякова борода.

Май 1932. Москва.

260. ПОЛНОЧЬ В МОСКВЕ

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах
узких железных.

В черной оспе блаженствуют кольца бульваров,
Нет на Москву и ночью угомону.

Когда покой бежит из-под копыт,
Ты скажешь — где-то там, на полигоне,
Два клоуна засели — Бим и Бом,
И в ход пошли гребенки, молоточки.
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино —
До-ре-ми- фа
И соль-фа-ми-ре-до . . .

Бывало я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки в подоле
бьются длинном,
Где арестованный медведь гуляет —
Самой природы вечный меньшевик.
И пахло до отказу лавровишней . . .
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен . . .

Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных, крупноскачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить:
Ведь в беге собственном оно не виновато,
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато.

Чур! Не просить, не жаловаться! Цыц!
Не хныкать!
Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их пре-
дал?
Мы умрем, как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи!

Есть у нас паутинка шотландского старого пледа, —
Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру.
Выпьем, дружок, за наше ячменное горе, —
Выпьем до дна!..

Из густо отработавших кино,
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы. До чего они венозны,
И до чего им нужен кислород!

Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать! —
Ручаюсь вам, себе свернете шею!

Я говорю с эпохою, но разве
Душа у ней пеньковая и разве
Она у нас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверек в тибетском храме, —
Почешется и в цинковую ванну —
Изобрази еще нам, Марь Иванна!

Пусть это оскорбительно — поймите:
Есть блуд труда, и он у нас в крови.

Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом.
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чает —
За карий глаз, за воробьиный хмель.

И словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студенты-шелапуты...

Май — 4 июня 1932

261. БАТЮШКОВ

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет —
По переулкам шагает в Замостье,
Нюхает розу и Зафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.

Он усмехнулся. Я молвил — спасибо, —
И не нашел от смущения слов:
Ни у кого — этих звуков изгибы,
И никогда — этот говор валов...

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес —
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:
— Я к величаньям еще не привык;
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык.

Что ж, поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан, —
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан...

18 июня 1932. Москва

262—264. СТИХИ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ

I

Сядь Державин, развалися —
Ты у нас хитрее лиса,
И татарского кумыса
Твой початок не прокис.
Дай Языкову бутылку
И подвинь ему бокал —
Я люблю его ухмылку,
Хмеля бьющуюся жилку
И стихов его накал.

II

Гром живет своим накатом —
Что ему до наших бед?
И глотками по раскатам
Наслаждается мускатом
На язык, на вкус, на цвет...
Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой...
Пахнет городом, потопом,
Нет — жасмином, нет — укропом,
Нет — дубовою корой.

Зашумела, задрожала,
Как смоковницы листва,
До корней затрепетала
С подмосковными Москва.
Катит гром свою тележку
По торцовой мостовой
И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевой.

И угодливо-поката
Кажется земля пока,
И в сапожках мягких ката
Выступают облака.

Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой
С рабским потом, конским топом
И древесною молвой.

III

С. А. К.

Полюбил я лес прекрасный,
Смешанный, где козырь — дуб,
В листьях клена — перец красный,
В иглах — ёж — черноголуб.

Там фисташковые молкнут
Голоса на молоке,
И когда захочешь щелкнуть,
Правды нет на языке.

Там живет народец мелкий —
В желудевых шапках все —
И белок кровавый белки
Крутят в страшном колесе.

Там щавель, там вымя птичье,
Хвой павлинья кутерьма, —
Ротозейство и величье
И скорлупчатая тьма.

Тычут шпагами шишиги,
В треуголках носачи,
На углях читают книги
С самоваром палачи.

А еще грибы волнушки
В сбруе тонкого дождя
Вдруг подымутся с опушки
Так... немного погодя...

Там без выгоды уроды
Режутся в девятый вал, —

Храп коня и крап колоды —
Кто кого? Пошел развал...

И деревья — брат на брата —
Восстают: понять спеши:
До чего аляповаты,
До чего как хороши...

3—7 июля 1932. Москва.

265.

Сегодня можно снять декалькомани,
Мизинец окунув в Москву-реку,
С разбойника-Кремля. Какая прелесть
Фисташковые эти голубятни —
Хоть проса им насыпать, хоть овса!
А в недорослях кто? Иван Великий —
Великовозрастная колокольня,
Стоит себе еще болван-болваном
Который век. Его бы заграницу,
Чтоб доучился. Да куда там!.. Стыдно.

Река-Москва в четырехтрубном дыме,
И перед нами весь раскрытый город —
Купальщики-заводы и сады
Замоскворецкие. Не так ли,
Откинув палисандровую крышку
Огромного концертного рояля,
Мы проникаем в звучное нутро?
Белогвардейцы, вы его видали?
Рояль Москвы слыхали? Гули-гули!

Мне кажется, как всякое другое,
Ты — время, незаконно... Как мальчишка,
За взрослыми в морщинистую воду,
Я, кажется, в грядущее вхожу
И, кажется, его я не увижу.

Уж я не выйду в ногу с молодежью
На разлинованные стадионы.
Разбуженный повесткой мотоцикла,
Я на рассвете не вскочу с постели,
В стеклянные дворцы на курьих ножках
Я даже тенью легкой не войду.

Мне с каждым днем дышать все тяжелее,
А между тем нельзя повременить —
Ведь рождены для наслажденья бегом
Лишь сердце человека и коня...

А Фауста бес — сухой и моложавый —
Вновь старику кидается в ребро,
И подбивает взять почасно ялик,
Или махнуть на Воробьевы горы,
Иль на трамвае охлестнуть Москву...
Ей некогда: она сегодня в няньках —
Все мечется на сорок тысяч люлек,
Она одна и пряжа на руках. Лето 1932

266. К НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ

Б. С. Кузину.

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор без фарисейства —
Поучимся ж серьезности и чести
На западе у чуждого семейства.

Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера,
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера.

Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой мы располагали,
Какие вы поставили мне вехи.

И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб — ступеньками без страха, —
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой.
Я книгой был, которая вам снится.

Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Бог-Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык — он мне не нужен.

Бог-Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

8—12 августа 1932.

267. АРИОСТ

Во всей Италии приятнейший, умнейший,
Любезный Ариост немножечко охрип.
Он наслаждается перечисленьем рыб
И перчит все моря нелепицею злейшей.

И, словно музыкант на десяти цимбалах,
Не уставая рвать повествований нить,
Ведет туда-сюда, не зная сам, как быть,
Запутанный рассказ о рыцарских скандалах.

На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси.
Он завирается, с Орландом куролеся,
И содрогается, преображаясь весь.

И морю говорит: — Шуми без всяких дум.
И деве на скале: — Лежи без покрывала . . .
Рассказывай еще — тебя нам слишком мало,
Покуда в жилах кровь, в ушах покуда шум . . .

О город ящериц, в котором нет души!
Когда бы чаще ты таких мужей рожала,
Феррара черствая . . . Который раз сначала,
Покуда в жилах кровь, рассказывай, спеши . . .

В Европе холодно, в Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
А он вельможится все лучше, все хитрее
И улыбается в открытое окно

Ягненку на горе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И в сетке синих мух уснувшему дитяти.

А я люблю его неистовый досуг —
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки,
Боюсь раскрыть ножом двухстворчатый жемчуг.

Любезный Ариост, быть может, век пройдет —
В одно широкое и братское лазорье
Сольем твою лазурь и наше черноморье.
И мы бывали там. И мы там пили мед.

4—6 мая 1933. Старый Крым.

268. АРИОСТ *[Вариант]*

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
На Адриатику широкое окно.

Над розой мускусной жужжание пчелы,
В степи полуденной — кузнечик мускулистый,
Крылатой лошади подковы тяжелы,
Часы песочные желты и золотисты.

На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси,

Как плющ назойливый, цепляющийся весь,
Он мужественно врет, с Орландом куролеся.

Часы песочные желты и золотисты,
В степи полуденной кузнечик мускулистый,
И прямо на луну взлетает враль плечистый...

Любезный Ариост, посольская лиса,
Цветущий папоротник, парусник, столетник,
Ты слушал на луне овсянок голоса,
А на дворе у рыб ученый был советник.

О город ящериц, в котором нет души!
От ведьмы и судьи таких сынов рожала
Феррара черствая и на цепи держала —
И солнце рыжего ума взошло в глуши!

Мы удивляемся лавчонке мясника,
Под сеткой синих мух уснувшему дитяти,
Ягненку на горе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И свежей, как заря, удивлены утрате.

Старый Крым, 4—6 мая 1933. — Воронеж — 1936

269. *[Вариант]*

Друг Ариоста, друг Петрарки, Тассо друг —
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки, —
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг!

Старый Крым, май 1933.

270.

Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть —
Ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить!

Ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный рот
В последний раз перед разлукой чужое имя не спасет.

О, как мучительно дается чужого клекота почет —
За беззаконные восторги лихая плата стережет.

Что если Ариост и Тассо, обворожающие нас,
Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз.

И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб,
Получишь уксусную губку ты для изменнических губ.

Старый Крым, май 1933.

271.

Холодная весна. Голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле — такой же виноватый.
Овчарки на дворе, на рубищах заплаты,
Такой же серенький, кусающийся дым.

Всё так же хороша рассеянная даль,
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят как пришлые, и вызывает жалость
Вчерашней глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,
А тени страшные — Украины, Кубани...
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.

Старый Крым, май 1933

272.

Квартира тиха, как бумага —
Пустая без всяких затей —
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.

Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать —
А я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть . . .

Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни наглей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю,
И грозное баюшки-баю
Кулацкому паю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель —
Такую ухлопает моль . . .

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет, начинать —
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

Ноябрь 1933
Москва, Фурманов переулок

273.

Татары, узбеки и ненцы
И весь украинский народ,
И даже приволжские немцы
К себе переводчиков ждут.

И может быть в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И в самую душу проник.

274.

У нашей святой молодежи
Хорошие песни в крови:
На баюшки-баю похожи,
И баю борьбу объяви.

И я за собой примечаю
И что-то такое пою:
Колхозного бая качаю,
Кулацкого пая пою.

275—285. ВОСЬМИСТИШИЯ

I

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох —
И дугами парусных гонок
Открытые формы чертя,
Играет пространство спросонок —
Не знавшее люльки дитя.

Ноябрь 1933, Москва.
Июль 1935, Воронеж.

II. *[Вариант]*

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох —
И так хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг —
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.

Ноябрь 1933, Москва.

III

О, бабочка, о, мусульманка,
В разрезанном саване вся —
Жизняночка и умиранка,
Такая большая, сия!

С большими усами кусава
Ушла с головою в бурнус.
О, флагом развернутый саван, —
Сложи свои крылья — боюсь!

Ноябрь 1933, Москва.

IV

Шестого чувства крохотный придаток
Иль ящерицы теменной глазок,
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок.
Недостижимое, как это близко!
Ни развязать нельзя, ни посмотреть, —
Как будто в руку вложена записка
И на нее немедленно ответь.

Май 1932, Москва.

V

Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон,
В земной коре юродствуют породы,
И как руда из груди рвется стон.
И тянется глухой недоразвиток,
Как бы дорогой, согнутою в рог, —
Понять пространства внутренний избыток
И лепестка и купола залог.

Январь 1934, Москва.

VI

Когда, уничтожив набросок,
Ты держишь прилежно в уме
Период без тягостных сносок,
Единый во внутренней тьме, —
И он лишь на собственной тяге,

Зажмурившись, держится сам —
Он так же отнесся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.

Ноябрь 1933, Москва.

VII

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гёте, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шопот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

Январь 1934, Москва.

VIII

И клена зубчатая лапа
Купается в круглых углах,
И можно из бабочек крапа
Рисунки слагать на стенах.
Бывают мечети живые,
И я догадался сейчас:
Быть может, мы — Айя-София
С бесчисленным множеством глаз.

Ноябрь 1933—январь 1934, Москва

IX

Скажи мне, чертежник пустыни,
Сыпучих песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветр?
— Меня не касается трепет
Его иудейских забот —
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.

Ноябрь 1933, Москва.

X

В игольчатых, чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин.
И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит —
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.

Ноябрь 1933, Москва.

XI

И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин,
И мнимое рву постоянство
И самосознанье причин.

И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей —
Безлиственный, дикий лечебник, —
Задачник огромных корней.

Ноябрь 1933, Москва.

286.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца, —
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.

Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подковы кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него, — то малина
И широкая грудь осетина.

[Ноябрь 1933]

287.

Как из одной высокогорной щели
Течет вода, на вкус разноречива,
Полужестка, полусладка, двулична, —

Так, чтобы умереть на самом деле,
Тысячу раз на дню лишусь обычной
Свободы вздоха и сознанья цели.

Декабрь 1933, Москва

288.

Памяти Андрея Белого.

Голубые глаза и горящая лобная кость —
Мировая манила тебя молодящая злость.

И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть.

На тебя надевали тиару — юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак.

Как снежок на Москве заводил кавардак гоголёк,
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легóк.

Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...

Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей
Под морозную пыль образуемых вновь падежей.

Часто пишется — казнь, а читается правильно — песнь:
Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь?

Прямизна нашей мысли не только пугач для детей:
Не бумажные дести, а вести спасают людей.

Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши.

На коленях держали для славных потомков листы —
Рисовали, просили прощенья у каждой черты.

Меж тобой и страной ледяная рождается связь —
Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.

Да не спросят тебя молодые, грядущие — те —
Каково тебе там — в пустоте, в чистоте, — сироте!

10 января 1934, Москва

289. 10 ЯНВАРЯ 1934.

Меня преследуют две-три случайных фразы —
Весь день твержу: печаль моя жирна,
О Боже, как черны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна!

Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавный ястребок на самом дне очей?
Где вежество? Где горькая украдка?
Где ясный стан? Где прямизна речей,

Запутанных, как честные зигзаги?
У конькобежца в пламень голубой —
Железный пух в морозной крутят тяге,
С голуботвердой чокаясь рекой?

Ему солей трехъярусных растворы
И мудрецов германских голоса,

И русских первенцев блистательные споры
Представились полвека в полчаса.

И вдруг открылась музыка в засаде,
Уже не хищницей лиясь из-под смычков,
Не ради слуха или неги ради —
Лиясь для мышц и бьющихся висков,

Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

Дышали шуб меха. Плечо к плечу теснилось,
Кипела киноварь здоровья — кровь и пот —
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед.

А посреди толпы стоял гравировальщик,
Готовясь перенесть на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.

Как будто я повис на собственных ресницах
И, созревающий и тянущийся весь,
Покуда не сорвусь, разыгрываю в лицах
Единственное, что мы знаем днесь.

Январь, 1934.

290. *[Вариант]*

Фаворскому.

А посреди толпы — задумчивый, брадатый
Уже стоял гравер — друг меднохвойных доск,
Трехъярой окисью облитых в лоск покатый,
Накатом истины сияющих сквозь воск.

Как будто я повис на собственных ресницах
В толпокрылатом воздухе картин
Тех мастеров, что насаждают в лицах
Порядок зрения и многолюдства чин.

Январь 1934, Москва.

291. *[Вариант]*

А. Белому.

Когда душе и торопкой и робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой,
Но смерти ей тропина не ясна.

Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка
Иль звука-первенца в блистательном собраньи,
Что льется внутрь — в продольный лес смычка,

И льется вспять, еще ленясь и мерясь
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой — сам себе не верясь —
Из ничего, из нити, из темна, —

Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки,
Крупнозернистого покоя и добра.

Январь 1934. Москва.

292.

А. Белому

Ему кавказские кричали горы
И нежных Альп стесненная толпа —
На звуковых громад крутые всхоры
Его вступала зрячая стопа.

И европейской мысли разветвленье
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль глядела в зеркало явлений,
И Лия пела и плела венок.

Январь 1934. Москва.

293. *[Вариант]*

А. Белому.

Он дирижировал кавказскими горами
И машучи вступал на тесных Альп тропы,
И озираючись, пугливыми шагами
Шел через разговор бесчисленной толпы, —

Толпы умов, событий, впечатлений...
И европейской мысли разветвленье
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль глядела в зеркало явлений,
И Лия пела и плела венок.

Январь 1934. Москва

294.

А. Белому

Откуда привезли? Кого? Который умер?
Где [именно]? * Мне что-то невдомек...
Скажите, говорят какой-то Гоголь умер?
Не Гоголь, так себе, писатель... гоголёк.

Тот самый, что тогда невнятицу устроил,
Чего-то шустрился, довольно уж легок,
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил,
Затеял кавардак, перекрутил снежок,

* Слова утеряны.

Молчит, как устрица — на полтора аршина
К нему не подойти — почетный караул.
Тут что-то кроется — должно быть есть причина:
. . . . . .* напутал и уснул.

10 января 1934. Москва

295.

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч, —
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры. На, возьми
Их — бесшумно окающих ртами, —
Полухлебом плоти накорми.

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Взмахом бровки мечен путь опасный.
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ?

Не серчай, турчанка дорогая,
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

---

* Слова утеряны.

Ты, Мария — гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить, уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи. Уйди. Еще побудь...

Февраль 1934. Москва

296.

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.

Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да веревки вязать.

Твоим нежным ногам по стеклу босиком,
По стеклу босиком да кровавым песком.

Ну а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

1934.

297.

Нереиды мои, нереиды,
Вам рыданья, еда и питье —
Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно мое.

Март [1935?]

298. СКРИПАЧКА

За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой —
Кто с чохом чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской чемчурой.

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей —
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.

Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом — нет, постой, —
Парижем, мощно одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой —

Вертлявой, в дирижерских фрачках,
В дунайских фейерверках, скачках,
Иль вальс, из гроба в колыбель
Переливающий, как хмель.

Играй же, на разрыв аорты,
С кошачьей головой во рту, —
Три черта было, — ты четвертый:
Последний, чудный черт в цвету!

Апрель—июнь 1935. Воронеж

299. ЧЕРНОЗЕМ

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор —
Комочки влажные моей земли и воли!

В дни ранней пахоты — черна до синевы,
И безоружная в ней зиждится работа —
Тысячехолмия распаханной молвы —
Знать, безокружное в окружности есть что-то!

И все-таки земля — проруха и обух —
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай:
Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним зазябливает ухо.

Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь молчит в апрельском провороте...
Ну, здравствуй, чернозем, будь мужествен,
глазаст —
Черноречивое молчание в работе.

Апрель 1935, Воронеж.

300.

Наушники, наушнички мои,
Попомню я воронежские ночки:
Недопитого голоса Аи
И в полночь с Красной площади гудочки...

Ну, как метро? Молчи, в себе таи,
Не спрашивай, как набухают почки...
А вы, часов кремлевские бои —
Язык пространства, сжатого до точки.

Апрель 1935, Воронеж.

301.

Пусти меня, отдай меня, Воронеж, —
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь —
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож!

Апрель 1935, Воронеж.

302. СТРИЖКА ДЕТЕЙ

Еще мы жизнью полны в высшей мере,
Еще гуляют в городах Союза
Из мотыльковых, лапчатых материй
Китайчатые платьица и блузы,

Еще машинка номер первый едко
Каштановые собирает взятки,
И падают на чистую салфетку
Разумные, густеющие прядки,

Еще стрижей довольно и касаток,
Еще комета нас не очумила
И пишут звездоносно и хвостато
Толковые лиловые чернила.

Апрель 1935, Воронеж.

303.

Эта, какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова! —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного.
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма —

Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

Апрель 1935, Воронеж.

304.

Я живу на важных огородах —
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.
Ветер служит даром на заводах,
И далеко убегает гать.

Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит, бродит в русских сапогах.

И богато искривилась половица —
Этой палубы гробовая доска —
У чужих людей мне плохо спится
И своя-то жизнь мне не близка.

Апрель 1935, Воронеж

305.

Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел.

Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,

Как степь молчит в апрельском повороте —
А небо, небо — твой Буонаротти!

306.

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:

На Красной площади всего круглей земля
И скат ее твердеет добровольный,

На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно раздольный,

Откидываясь вниз до рисовых полей,
Покуда на земле последний жив невольник.

Май 1935, Воронеж.

307.

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Воронеж.

308—310. КАМА

I.

Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь — борода к бороде —
Жгучий ельник бежит, молодея, в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла,
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Там я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.

И со мною жена — пять ночей не спала,
Пять ночей не спала — трех конвойных везла.

Воронеж, май, 1935

II. *[Вариант]*

Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде —
Жгучий ельник бежит, молодея, в воде.

Упиралась волна в сто четыре весла,
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Чернолюдьем велик, мелколесьем сожжен,
Пулеметно-бревенчатой стаи разгон.

На Тоболе кричат: Обь стоит на плоту! —
И речная верста поднялась в высоту.

Воронеж, май, 1935

III.

Я смотрел, отдаляясь на хвойный восток —
Полноводная Кама неслась на буек.

И хотелось бы гору с костром отслоить,
Да едва успеваешь леса посадить,

И хотелось бы тут же вселиться — пойми —
В долговечный Урал, населенный людьми,

И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели — беречь, охранять.

Воронеж, май 1935

311.

От сырой простыни говорящая, —
Знать, нашелся на рыб звукопас —
Надвигалась картина звучащая
На меня и на всех, и на вас.

Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах
Офицеры последнейшей выточки
На равнины зияющий пах.

Было слышно гудение низкое
Самолетов, сгоревших до тла,
Лошадиная бритва английская
Адмиральские щеки скребла.

Измеряй меня, край, перекраивай, —
Чуден жар прикрепленной земли! —
Захлестнулась винтовка Чапаева —
Помоги, развяжи, раздели!

Май—июнь 1935, Воронеж

312. СТАНСЫ

(1)

Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу, и люди хороши.

(2)

Люблю шинель красноармейской складки,
Длину до пят, рукав простой и гладкий,
И волжской туче родственный покрой,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.

(3)

Проклятый шов, нелепая затея
Нас разлучили. А теперь пойми —
Я должен жить, дыша и большевея,
И перед смертью хорошея
Еще побыть и поиграть с людьми.

(4)

Подумаешь, как в Чердыни-голу́бе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме —
Клевещущих козлов не досмотрел я драки —
Как петушок в прозрачной летней тьме —
Харчи да харк, да что-нибудь, да враки —
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок — и я
в уме.

(5)

И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка —
Нежнее моря, путанней салата —
Из дерева, стекла и молока.

(6)

Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила — и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла.

(7)

Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь, сам-друг,
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню все — немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.

(8)

И не ограблен я и не надломлен,
Но только что всего переогромлен —
Как Слово о полку, струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля — последнее оружье —
Сухая влажность черноземных га.

Май—июнь 1935. Воронеж.

313.

День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток
Я, сжимаясь, гордился пространством за то,
что росло на дрожжах.
Сон был старше, чем слух, слух был старше, чем
сон — слитен, чуток...
А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах...

День стоял о пяти головах и, чумея от пляса,
Ехала конная, пешая, шла черноверхая масса:
Расширеньем аорты могущества в белых ночах, —
нет, в ножах —
Глаз превращался в хвойное мясо.

На вершок бы мне синего моря, на игольное
только ушко,
Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась
хорошо.
Сухомятная русская сказка! Деревянная ложка — ау!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?

Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам
дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов —
Молодые любители белозубых стишков,
На вершок бы мне синего моря, на игольное только
ушко!

Поезд шел на Урал. В открытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой —
За бревенчатым тыном, на ленте простынной
Умереть и вскочить на коня своего!

Июнь 1935, Воронеж.

314.

Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчужденьи и силе...
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле.

И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели.

И прадеда скрипкой гордился твой род,
От шейки её хорошея,
И ты раскрывала свой маленький рот,
Смеясь, итальянясь, русея...

Я тяжкую память твою берегу —
Дичок, медвежонок, Миньона —
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.

3 июня 1935—14 декабря 1936, Воронеж

315.

На мертвых ресницах Исакий замерз
И барские улицы сини —
Шарманщика смерть и медведицы ворс
И чужие поленья в камине.

Уже выгоняет выжлятник товар —
Линеек раскидистых стайку, —
Несется земля — меблированный шар, —
И зеркало корчит всезнайку.

Площадками лестниц разлад и туман —
Дыханье, дыханье и пенье —
И Шуберта в шубе застыл талисман —
Движенье, движенье, движенье...

Июнь 1935, Воронеж

316.

Римских ночей полновесные слитки,
Юношу Гете манившее лоно,

Пусть я в ответе, но не в убытке —
Есть многодонная жизнь вне закона.

Июнь 1935. Воронеж.

317.

— Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый —
Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого . . .

Жизнь начиналась в корыте картавою мокрою шепотью
И продолжалась она керосиновой мягкою копотью.

Где-то на даче потом, в лесном переплете шагреневом,
Вдруг разгорелась она почему-то огромным пожаром сиреневым.

— Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый —
Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого.

Дальше, сквозь стекла цветные, сощурясь, мучительно вижу я:
Небо как палица грозное, земля словно плешина рыжая . . .

Дальше еще не припомню — и дальше как будто оборвано,
Пахнет немного смолою да, кажется, тухлою ворванью . . .

— Нет, не мигрень, но холод пространства бесполого,
Свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой . . .

23 апр.—июль 1935. Воронеж.

318.

Исполню дымчатый обряд:
В опале предо мной лежат
Морского лета земляники —
Двуискренние сердолики
И муравьиный брат — агат,
Но мне милей простой солдат
Морской пучины — серый, дикий,
Которому никто не рад.

Июль 1935. Воронеж.

319.

Бежит волна — волной волне хребет ломая,
Кидаясь на луну в невольничьей тоске,
И янычарская пучина молодая —
Неусыпленная столица волновая —
Кривеет, мечется и роет ров в песке.

А через воздух сумрачно-хлопчатый
Неначатой стены мерещатся зубцы,
И с пенных лестниц падают солдаты
Султанов мнительных — разбрызганы, разъяты, —
И яд разносят хладные скопцы.

Июль 1935. Воронеж.

320.

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну.
Я хочу, чтоб мыслящее тело

Превратилось в улицу, в страну —
Позвоночное, обугленное тело,
Осознавшее свою длину.

Возгласы темнозеленой хвои —
С глубиной колодезной венки —
Тянут жизнь и время дорогое,
Опершись на смертные станки,
Обручи краснознаменной хвои —
Азбучные, круглые венки.

Шли товарищи последнего призыва
По работе в жестких небесах,
Пронесла пехота молчаливо
Восклицанья ружей на плечах.

И зенитных тысячи орудий —
Карих то зрачков иль голубых —
Шли нестройно — люди, люди, люди —
Кто же будет продолжать за них?

21 июля 1935. Воронеж.

321.

Улыбнись, ягненок гневный, с рафаэлева холста —
На холсте уста вселенной, но она уже не та...

В легком воздухе свирели растворили жемчужин боль.
В синий, синий цвет синели океана въелась соль...

Цвет воздушного разбоя и пещерной густоты,
Складки бурного покоя на коленях разлиты.

На скале, черствее хлеба, молодых тростинки рощ,
И плывет углами неба восхитительная мощь.

9 января 1936, Воронеж

322.

Из-за домов, из-за лесов,
Длинней товарных поездов,
Гуди, помощник и моих трудов,
Садко заводов и садов.

Гуди, старик, дыши сладкó,
Как новгородский гость Садко,
Под синим морем глубоко —
Гуди протяжно вглубь веков,
Гудок советских городов.

6—8 декабря 1936. Воронеж

323.

Подивлюсь на мир еще немного,
На детей и на снега
Но улыбка неподкупна, как дорога,
Непослушна, не слуга.

10—13 декабря 1936. Воронеж

324.

Мой щегол, я голову закину —
Поглядим на мир вдвоем:
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоем?

Хвостик лодкой, перья — черно-желты,
Ниже клюва в краску влит —

Сознаешь ли, до чего, щегол, ты,
До чего ты щегловит?

Что за воздух у него в надлобье:
Черн и красен, желт и бел! —
В обе стороны он в оба смотрит — в обе!
Не посмотрит, улетел.

Декабрь 1936. Воронеж

325. *[Вариант]*

Детский рот жует свою мякину,
Улыбается, жуя,
Словно щёголь голову закину
И щегла увижу я.

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
И нагрудник красным шит.
Черно-желтый, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит!

1936. Воронеж

326. *[Вариант]*

Детский рот жует свою мякину,
Улыбается, жуя,
Словно щёголь, голову закину,
И щегла увижу я —
Он распрыгался черничной дробью,
Мечет бусинками глаз —
Я откликнусь моему подобью:
Жить щеглу — вот мой указ!

1936

327.

Когда щегол в воздушной сдобе
Вдруг затрясется, сердцевит,
Ученый плащик перчит злоба,
А чепчик черным красовит.

Клевещет жердочка и планка,
Клевещет клетка сотней спиц —
И все на свете наизнанку,
И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц!

Декабрь 1936. Воронеж

328.

Не у меня, не у тебя — у них
Вся сила окончаний родовых:
Их воздухом поющ тростник и скважист,
И с благодарностью улитки губ людских
Потянут на себя их дышащую тяжесть.

Нет имени у них. Войди в их хрящ,
И будешь ты наследником их княжеств.
И для людей, для их сердец живых,
Блуждая в их развилинах, извивах,
Изобразишь и наслажденья их,
И то, что мучит их в приливах и отливах.

9—27 декабря 1936. Воронеж

329.

Нынче день какой-то желторотый:
Не могу его понять —

И глядят приморские ворота
В якорях, в туманах на меня.

Тихий, тихий по воде линялой
Ход военных кораблей,
И каналов узкие пеналы
Подо льдом еще черней.

9—28 декабря 1936. Воронеж

330.

Внутри горы бездействует кумир
В покоях бережных, безбрежных и хранимых,
А с шеи каплет ожерелий жир,
Оберегая сна приливы и отливы.

Когда он мальчик был и с ним играл павлин,
Его индийской радугой кормили.
Давали молока из розоватых глин
И не жалели кошенили.

Кость усыпленная завязана узлом,
Очеловечены колени, руки, плечи —
Он улыбается своим широким ртом,
Он мыслит костию и чувствует челом
И вспомнить силится свой облик человечий.

Декабрь 1936. Воронеж

331. *[Вариант]*

Внутри горы бездействует кумир
С улыбкою дитяти в черных сливах,
И с шеи каплет ожерелий жир,
Оберегая сна приливы и отливы.

Когда он мальчик был и с ним играл павлин,
Его индийской радугой кормили,
Давали молока из розоватых глин
И не жалели кошенили.

И странно скрещенный, завязанный узлом
Стыда и нежности, бесчувствия и кости,
Он улыбается своим широким ртом
И начинает жить, когда приходят гости.

1936. Воронеж

332.

Я в сердце века — путь неясен,
А время отдаляет цель —
И посоха усталый ясень,
И меди нищенскую цвель.

Зима 1936. Воронеж

333.

А мастер пушечного цеха,
Кузнечных памятников швец
Мне скажет: ничего, отец,
Уж мы сошьем тебе такое . . .

1936. Воронеж

334.

Пластинкой тоненькой жиллета
Легко щетину спячки снять —
Полуукраинское лето
Давай с тобою вспоминать.

Вы — именитые вершины,
Дубов косматых именины,
Честь рюисдалевых картин; —
А на почин — лишь куст один
В янтарь и мясо красных глин!

Земля бежит наверх. Приятно
Глядеть на чистые пласты
И быть хозяином объятной,
Семипалатной простоты.

Его холмы к далекой цели
Стогами легкими летели,
Его дорог степной бульвар,
Как цепь шатров в тенистый жар!
И на пожар рванулась ива,
А тополь встал самолюбиво!
Над желтым лагерем жнивья
Морозных дымов колея.

А Дон еще, как полукровка,
Сребрясь и мелко и неловко,
Воды набравши с полковша,
Терялся, что моя душа,
Когда на жесткие постели
Ложилось бремя вечеров,
И, выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели.

15—27 декабря 1936. Воронеж

335.

Сосновой рощицы закон —
Виол и арф семейный звон:
Стволы извилисты и голы,
Но все же арфы и виолы
Растут, как будто каждый ствол
На арфу начал гнуть Эол
И бросил, о корнях жалея,
Жалея ствол, жалея сил,
Виолу с арфой пробудил
Звучать в коре, коричневея.

16—18 декабря 1936.
Воронеж

336.

Как подарок запоздалый,
Ощутима мной зима:
Я люблю ее сначала
Неуверенный размах.

Хороша она испугом,
Как начало грозных дел:
Перед всем безлесным кругом
Даже ворон оробел.

Но сильней всего непрочно —
Выпуклых голубизна:
Полукруглый лед височный
Речек, бающих без сна . . .

20—30 декабря 1936. Воронеж

337.

Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий —
Внук он зелени стоячей
И купец травы морской.

Там, где огненными щами
Угощается Кащей, —
С говорящими камнями
Он на счастье ждет гостей, —
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.

У него в покоях спящих
Кот живет не для игры —
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы.
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих
Шароватых искр пиры.

20—30 декабря 1936. Воронеж

338.

Эта область в темноводье —
Хляби хлеба, гроз ведро —
Не дворянское угодье —
Океанское ядро...
Я люблю ее рисунок —
Он на Африку похож —
Дайте свет: прозрачных лунок

На фанере не сочтешь...
Анна, Россошь и Гремячье —
Я твержу их имена —
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна.

Я кружил в полях совхозных,
Полон воздуха был рот,
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот.
Въехал ночью в рукавичный
Снегом пышущий Тамбов,
Видел Цны — реки обычной —
Белый, белый, бел покров.
Трудодень страны знакомой
Я запомню навсегда —
Воробьевского райкома
Не забуду никогда.

Где я? Что со мной дурного?
Степь беззимняя гола:
Это мачеха Кольцова —
— Шутишь, родина щегла. —
Только города немого
В гололедицу обзор,
Только чайника ночного
Сам с собою разговор,
В гуще воздуха степного
Перекличка поездов —
Да украинская мова
Их растянутых гудков.

Декабрь 1936. Воронеж

339. *[Вариант]*

Шло цепочкой в темноводье
Протяженных гроз ведро
Из дворянского угодья
В океанское ядро.

Шло, само себя колыша,
Осторожно, грозно шло.
Смотришь: небо стало выше —
Новоселье, дом и крыша —
И на улице светло!..

26 декабря 1936.
Воронеж

340.

Вехи дальнего обоза
Сквозь стекло особняка...
От тепла и от мороза
Близкой кажется река.
И какой там лес — еловый?

— Не еловый, а лиловый! —
И какая там береза —
Не скажу наверняка:
Лишь чернил воздушных проза
Неразборчива, легка...

26 декабря 1936. Воронеж

341.

Уходят вдаль людских голов бугры,
Я уменьшаюсь там — меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит.

[1936—1937?]

342. РОЖДЕНИЕ УЛЫБКИ

Когда заулыбается дитя
С развилинкой и горести и сласти,
Концы его улыбки, не шутя,
Уходят в океанское безвластье.

Ему невыразимо хорошо,
Углами губ оно играет в славе —
И радужный уже строчится шов
Для бесконечного познанья яви.

На лапы из воды поднялся материк —
Улитки рта наплыв и приближенье —
И бьет в глаза один атлантов миг:
Явленья явного в число чудес вселенья.

И цвет и вкус пространство потеряло,
Хребтом и аркою поднялся материк,
Улитка выползла, улыбка просияла,
Как два конца их радуга связала,
И в оба глаза бьет атлантов миг.

9—11 декабря 1936 — 11 января 1937.
Воронеж

343.

Я около Кольцова,
Как сокол закольцован,
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца.

К ноге моей привязан
Сосновый синий бор,
Как вестник без указа,
Распахнут кругозор.

В степи кочуют кочки —
И все идут, идут
Ночлеги, ночи, ночки —
Как бы слепых везут...
1—9 января 1937. Воронеж

344.

Когда в ветвях понурых
Заводит чародей
Гнедых или каурых
Шушуканье мастей, —

Не хочет петь линючий,
Ленивый богатырь —
И малый и могучий
Зимующий снегирь.

Под неба нависанье,
Под свод его бровей
В сиреневые сани
Усядусь поскорей.
6—10 января 1937 Воронеж

345.

Твой зрачок в небесной корке,
Обращенной вдаль и ниц,
Защищают оговорки
Слабых, чующих ресниц.

Будет он, обожествленный,
Долго жить в родной стране —
Омут ока удивленный,
Кинь его вдогонку мне!

Он глядит уже охотно
В мимолетные века —
Светлый, радужный, бесплотный,
Умоляющий пока...

9 января 1937. Воронеж

346.

Дрожжи мира дорогие —
Звуки, слезы и труды —
Словно вмятины, впервые
Певчей полные воды,
Подкопытные наперстки —
Бега сжатого следы —
Раздают не по разверстке:
На столетья — без слюды...

Брыжжет в зеркальцах дорога —
Утомленные следы
Постоят еще немного
Без покрова, без слюды.
И уже мое родное
Отлегло, как будто вкось
По нему прошло другое
И на нем отозвалось...

12 января 1937. Воронеж

347. *[Вариант]*

Дрожжи мира дорогие —
Звуки, слезы и труды —
Ударенья дождевые
Закипающей беды
И потери звуковые
Из какой вернуть руды?

В нищей памяти впервые
Чуешь вмятины сырые,
Медной полные воды —
И идешь за ними следом,
Сам себе не мил, неведом —
И слепой и поводырь.

12—18 января 1937. Воронеж

348. *[Вариант]*

Влез бесенок в мокрой шёрстке —
Ну, куда ему? куды?
В подкопытные наперстки,
В торопливые следы —
По копейкам воздух верстский
Обирает с слободы.

Брыжжет в зеркальцах дорога —
Торопливые следы
Постоят еще немного
Без покрова, без слюды.
Колесо стучит отлого —
Улеглось — и полбеды!

Скучно мне — мое прямое
Дело тараторит вкось:
По нему прошлось другое,
Надсмеялось, сбило ось!

12—18 января 1937. Воронеж

349.

В лицо морозу я гляжу один:
Он — никуда, я — ниоткуда,
И все утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете —
Его прищур спокоен и утешен...
Десятизначные леса почти что те...
А снег хрустит в глазах, как чистый хлеб
безгрешен.

16 января 1937. Воронеж

350.

Что делать нам с убитостью равнин,
С протяжным голодом их чуда?
Ведь то, что мы открытостью в них мним,
Мы сами видим, засыпая, зрим, —
И все растет вопрос — куда они? откуда? —
И не ползет ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим, —
Народов будущих Иуда?

16 января 1937. Воронеж

351.

О, этот медленный, одышливый простор —
Я им пресыщен до отказа! —
И отдышавшийся распахнут кругозор —
Повязку бы на оба глаза!

Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав
На берегах зубчатых Камы,
Я б удержал ее застенчивый рукав,
Ее круги, края и ямы.

Я б с ней сработался — на век, на миг один —
Стремнин осадистых завистник —
Я б слушал под корой текущих древесин
Ход кольцеванья волокнистый.

16 января 1937. Воронеж

352.

Не сравнивай: живущий несравним.
С каким-то ласковым испугом
Я соглашался с равенством равнин,
И неба круг мне был недугом.

Я обращался к воздуху-слуге,
Ждал от него услуги или вести
И собирался в путь, и плавал по дуге
Неначинающихся путешествий.

Где больше неба мне — там я бродить готов —
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим — яснеющим в Тоскане.

18 января 1937. Воронеж

353.

Как женственное серебро горит,
Что с окисью и примесью боролось,
И тихая работа серебрит
Железный плуг и стихотворца голос.

[1937] Воронеж

354.

Еще не умер я, еще я не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Я наслаждаюся величием равнин
И мглой, и голодом, и вьюгой.

В прекрасной бедности, в роскошной нищете
Живу один — спокоен и утешен —
Благословенны дни и ночи те,
И сладкозвучный труд безгрешен.

Несчастен тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.

Январь 1937. Воронеж

355.

Я нынче в паутине световой —
Черноволосой, светлорусой —
Народу нужен свет и воздух голубой,
И нужен хлеб и снег Эльбруса.

И не с кем посоветоваться мне,
А сам найду его едва ли —
Таких прозрачных плачущих камней
Нет ни в Крыму, ни на Урале.

Народу нужен стих таинственно-родной,
Чтоб от него он вечно просыпался
И льнянокудрою каштановой волной —
Его дыханьем умывался.

19 января 1937. Воронеж

356.

Где связанный и пригвожденный стон,
Где Прометей — скалы подспорье и пособье?
А коршун где — и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?

Тому не быть — трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы,
Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.

Он — эхо и привет, он — веха, нет — лемех.
Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги — и все хотят увидеть всех:
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.

19 января—14 февраля 1937. Воронеж

357.

Как землю где-нибудь небесный камень будит, —
Упал опальный стих, не знающий отца;
Неумолимое — находка для творца —
Не может быть иным — никто его не судит.

20 января 1937. Воронеж

358.

Слышу, слышу ранний лед,
Шелестящий под мостами,
Вспоминаю, как плывет
Светлый хмель над головами.

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами,
Видит ночью ряд колод,
Днем казавшихся домами.

Или тень баклуши бьет
И позевывает с нами,

Иль шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,

И несладким кормит хлебом
Неотвязных лебедей...

21—22 января 1937. Воронеж

359.

Люблю морозное дыханье
И пара зимнего признанье:
Я — это я, явь — это явь!

И мальчик, красный как фонарик,
Своих салазок государик
И заправила, мчится вплавь.

И я — в размолвке с миром, с волей —
Заразе саночек мирволю
В сребристых скобках, в бахромах, —

И век бы падал векши легче,
И легче векши к мягкой речке, —
Полнеба в валенках, в ногах!

24 января 1937. Воронеж

360.

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок...
От замкнутых я что ли пьян дверей? —
И хочется мычать от всех замков и скрепок.

И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы,

И прячутся поспешно в уголки,
И выбегают из углов угланы.

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке,
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке.

А я за ними ахаю, стуча
В какой-то мерзлый деревянный короб:
— Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей — разговора б!

Конец января—февраль 1937. Воронеж

361.

Средь народного шума и спеха
На вокзалах и площадях
Смотрит века могучая веха,
И бровей начинается взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала —
А теперь куда хочешь влеки:
В говорливые дебри вокзала,
В ожиданье у мощной реки.

Далеко теперь та стоянка,
Тот с водой кипяченой бак —
На цепочке кружка-жестянка
И глаза застилавший мрак.

Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба,
И ласкала меня и сверлила
От стены этих глаз журьба.

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах.

Не припомнить того, что было —
Губы жарки, слова черствы —
Занавеску белую било,
Несся шум железной листвы.

А на деле-то было тихо —
Только шел пароход по реке,
Да за кедром цвела гречиха,
Рыба шла на речном говорке.

И к нему — в его сердцевину —
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел.

Февраль 1937. Воронеж

362. СТИХИ О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ

(1)

Этот воздух пусть будет свидетелем —
Дальнобойное сердце его —
И в землянках всеядный и деятельный —
Океан, без окна вещество.

До чего эти звезды изветливы:
Все им нужно глядеть — для чего? —
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан, без окна вещество.

Помнит дождь, неприветливый сеятель,
Безымянная манна его,
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.

Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать,
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилою
Без руля и крыла совладать?

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет.

3 марта [1937, Воронеж]

(2)

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами —
Ядовитого холода ягодами —
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий жиры.

(3)

Сквозь эфир десятичноозначенный
Свет размолотых в луч скоростей

Начинает число, опрозраченный
Светлой болью и молью нулей.

А за полем полей поле новое
Треугольным летит журавлем —
Весть летит светопыльной дорогою —
И от битвы вчерашней светло.

Весть летит светопыльной дорогою —
Я не Лейпциг, не Ватерлоо,
Я не Битва Народов. Я — новое, —
От меня будет свету светло.

В глубине черномраморной устрицы
Аустерлица погас огонек —
Средиземная ласточка щурится,
Вязнет чумный Египта песок.

(4)

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей —
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.

Миллионы убитых задешево
Притоптали тропу в пустоте,
Доброй ночи, всего им хорошего
От лица земляных крепостей.

Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оптовых смертей,
За тобой — от тебя — целокупное —
Я губами несусь в темноте.

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил,
Развороченных — пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил.

(5)

Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружит с человеком калека:
Им обоим найдется работа.
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка —
Эй, товарищество — шар земной!

(6)

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска, —
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска, —
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится —
Чаша чаш и отчизна отчизне —
Звездным рубчиком шитый чепец —
Чепчик счастья — Шекспира отец.

(7)

Ясность ясеневая и зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Словно обмороками заговаривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди — не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный —
Это слава другим не в пример.

Для того ль заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Чтобы белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчались в свой дом! —

И сознанье свое заговаривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем!

Чуешь, мачеха звездного табора —
Ночь, что будет сейчас и потом?

(8)

Наливаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом,
Я рожден в девяносто втором . . .
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье

Января в девяносто одном
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.

Февраль—март 1937. Воронеж

363.

Еще он помнит башмаков износ —
Моих подметок стертое величье,
А я — его: как он разноголос,
Черноволос, с Давид-горой гранича.

Подновлены мелком или белком
Фисташковые улицы-пролазы,
Балкон-наклон, подкова, конь-балкон,
Дубки, чинары, медленные вязы.

А букв кудрявых женственная цепь
Хмельней для глаза в оболочке света,
А город так горазд и так уходит в крепь
И в моложавое, стареющее лето.

7—11 февраля 1937. Воронеж

364.

Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время,
Но резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозою спят.

Простишь ли ты меня, великолепный брат,
И мастер, и отец чернозеленой теми,
Но око соколиного пера
И жаркие ларцы у полночи в гареме

Смущают не к добру, смущают без добра
Мехами сумрака взволнованное племя.

8 февраля 1937. Воронеж

365.

Пою, когда гортань сыра, душа суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознанье.
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?
А грудь стесняется, без языка тиха:
Уже не я пою, — поет мое дыханье —
И в горных ножнах слух и голова глуха.

Песнь бескорыстная сама себе хвала,
Утеха для друзей и для врагов смола.

Песнь одноглазая, растущая из мха,
Одноголосый дар охотничьего быта,
Которую поют верхом и на верхах,
Держа дыханье вольно и открыто,
Заботясь лишь о том, чтоб честно и сердито
На свадьбу молодых доставить без греха...

8 февраля 1937. Воронеж

366.

Разрывы круглых бухт и хрящ и синева,
И парус медленный, что облаком продолжен —
Я с вами разлучен, вас оценив едва:
Длинней органных фуг — горька морей трава
Ложноволосая — и пахнет долгой ложью.
Железной нежностью хмелеет голова,
И ржавчина чуть-чуть отлогий берег гложет...
Что ж мне под голову другой песок подложен?
Ты — горловой Урал, плечистое Поволжье

Иль этот ровный край — вот все мои права, —
И полной грудью их вдыхать еще я должен.

8 февраля 1937. Воронеж

367.

Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую все, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе.

И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черноголосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить, сон и смерть минуя,
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную...

8 февраля 1937. Воронеж

368.

Были очи острее точимой косы —
По зегзице в зенице и по капле росы, —

И едва научились они во весь рост
Различать одинокое множество звезд.

8—9 февраля 1937. Воронеж

369.

Как дерево и медь — Фаворского полет,
В дощатом воздухе мы с временем соседи,
И вместе нас ведет слоистый флот
Распиленных дубов и яворовой меди.

А в кольцах сердится еще смола, сочась —
Но разве сердце — лишь испуганное мясо?
Я сердцем виноват — и сердцевины часть
До бесконечности расширенного часа.

Час насыщающий бесчисленных друзей,
Час грозных площадей с счастливыми глазами —
Я обведу еще глазами площадь всей —
Всей этой площади с ее знамен лесами.

9—11 февраля 1937. Воронеж

370.

Я в львиный ров и в крепость погружен
И опускаюсь ниже, ниже, ниже
Под этих звуков ливень дрожжевой —
Сильнее льва, мощнее Пятикнижья.

Как близко-близко твой подходит зов —
До заповедей роды и первины —
Океанийских низка жемчугов
И таитянок кроткие корзины.

Карающего пенья материк,
Густого голоса низинами надвинься!
Всех наших дочерей дикарско-сладкий лик
Не стоит твоего — праматери — мизинца.

Неограничена еще моя пора,
И я сопровождал восторг вселенский
Как вполголосная органная игра
Сопровождает голос женский.

12 февраля 1937. Воронеж

371.

Обороняет сон мою донскую сонь
И разворачиваются черепах маневры,
Их быстроходная взволнованная бронь
И любопытные ковры людского говора.
И в бой меня ведут понятные слова
За оборону жизни, оборону
Страны — земли, где смерть уснет, как днем сова,
Стекло Москвы горит меж ребрами граненьми.
Необоримые кремлевские слова;
В них оборона обороны
И брони боевой, и бровь, и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны.
И слушает земля — другие страны — бой,
Из хорового падающий короба:
— Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой!
И хор поет с часами рука об руку.

13 февраля 1937. Воронеж

372.

Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди;
Если б лишили меня всего в мире —
Права дышать и открывать двери
И утверждать, что бытие будет,
И что народ, как судия, судит;
Если б меня смели держать зверем,

Пищу мою на пол кидать стали б, —
Я не смолчу, не заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен,
И раскачав в колокол стан голый,
И разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом,
И, в океан братских очей сжатый,
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы,
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут земли очи,
И промелькнет пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой — Ленин,
Но на земле, что избежит тленья,
Будет губить разум и жизнь — Сталин.

Воронеж, 1937

373.

Я прошу, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости.

Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых.

В легком декабре твой воздух стриженный
Индевеет денежный, обиженный,

Но фиалка и в тюрьме — с ума сойти в безбрежности! —
Свищет песенка-насмешница, небрежница —

Где бурлила, королей смывая,
Улица июльская кривая.

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли —

В океанском котелке с рассеянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницей.

*

Там, где с розой на груди, в двухбашенной испарине
Паутины каменеет шаль,
Жаль, что карусель воздушно-благодарная
Оборачивается, городом дыша, —

Наклони свою шею, безбожница,
С золотыми глазами козы,
И кривыми картавыми ножницами
Купы скаредных роз раздразни.

3—7 марта 1937. Воронеж

374.

Я видел озеро, стоящее отвесно,
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный,
Лиса и лев боролись в челноке.

Глазели внутрь трех лающих порталов
Недуги — недруги других невскрытых дуг,
Фиалковый пролет газель перебежала,
И башнями скала вздохнула вдруг.

И влагой напоен, восстал песчаник честный,
И средь ремесленного города-сверчка
Мальчишка-океан встает из речки пресной
И чашками воды швыряет в облака.

4—7 марта 1937. Воронеж

375.

На доске малиновой, червонной,
На кону горы Крутопоклонной,
Втридорога снегом занесенной
Высоко занесся санный, сонный
Полугород, полуберег конный,
В сбрую красных углей запряженный,
Желтою мастикой утепленный
И перегоревший в сахар жженный.

Не ищи в нем зимних масел рая,
Конькобежного фламандского уклона,
Не раскаркается здесь веселая кривая
Карличья в ушастых шапках стая! —
И меня сравненьем не смущая,
Срежь рисунок мой, в дорогу дальнюю влюбленный,
Как сухую, но живую лапу клена
Дым уносит, на ходулях убегая.

6 марта 1937. Воронеж

376.

Я скажу это начерно — шёпотом,
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра.

И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище —
Раздвижной и пожизненный дом.

9 марта 1937. Воронеж

377. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Небо вечери в стену влюбилось —
Все изранено светом рубцов —
Провалилось в нее, осветилось,
Превратилось в тринадцать голов.

Вот оно, мое небо ночное,
Пред которым как мальчик стою, —
Холодеет спина, очи ноют,
Стенобитную твердь я ловлю.

И под каждым ударом тарана
Осыпаются звезды без глаз, —
Той же вечери новые раны,
Неоконченной росписи мгла.

9 марта 1937. Воронеж

378.

Заблудился я в небе . . . Что делать?
Тот, кому оно близко, ответь.
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.

Не разнять меня с жизнью — ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, глаза и глазницы
Флорентийская била тоска.

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски —
Лучше сердце мое расколите
Вы на синего звона куски.

И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире и выше
Отклик неба во всю мою грудь.

9—19 марта 1937. Воронеж

379. *[Вариант]*

Заблудился я в небе... Что делать?
Тот, кому оно близко, ответь.
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть,
Задыхаться, чернеть, голубеть.

Если ты не вчерашний, не зряшный,
Ты, который стоишь надо мной,
Если ты виночерпий и чашник,
Дай мне силу без пены пустой
Выпить здравье кружащейся башни
Рукопашной лазури шальной.

Голубятни, черноты, скворешни,
Самых синих тонов образцы,
Лед вчерашний, лед выше! — лед вешний,
Облака — обаянья борцы —
Тише! Тучу ведут под уздцы.

9—19 марта 1937. Воронеж

380.

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя:
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.

Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный луч-паучок,
Распуская на ребра, их сызнова
Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные,
Собираемы тонким лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом.

Только здесь на земле, а не на́ небе,
Как в наполненный музыкой дом. —
Только их не спугнуть, не изранить бы —
Хорошо, если мы доживем.

То, что я говорю, мне прости,
Тихо, тихо его мне прочти.

15 марта 1937. Воронеж

381. РИМ

Где лягушки фонтанов, раскваkавшись
И разбрызгавшись, больше не спят,
И, однажды проснувшись, расплакавшись
Во всю мочь своих глоток и раковин,
Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят.

Древность летняя, легкая, наглая,
С хищным взглядом и плоской ступней, —
Словно мост ненарушенный Ангела
В плоскоступьи над желтой водой . . .

Голубой, онелепенный, пепельный
В безобразном наросте домов,
Город, ласточкой купола лепленный
Из проулков и из сквозняков —
Превратили в убийства питомник —
Вы, коричневой крови наемники,
Италийские чернорубашечники,
Мертвых цезарей злые щенки.

*

Все твои, Микель-Анджело, сироты,
Облаченные в камень и стыд:
Ночь, сырая от слез, и невинный
Молодой, легконогий Давид.
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит, —
Мощь свободная и мера львиная
В усыпленьи и рабстве молчит.

И морщинистых лестниц уступки
В площадь льющихся лестничных рек —
Чтоб звучали шаги, как поступки,
Поднял медленный Рим-человек.
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.

Ямы Форума заново вырыты
И раскрыты ворота для Ирода,
И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.

16 марта 1937. Воронеж

382.

Чтоб приятель и ветра и капель
Сохранил их песчаник внутри,
Нацарапали множество цапель
И бутылок в бутылках зари.

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд —
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.

То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец —
Еще слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного права истец . . .

Размотавший на два завещанья
Слабовольных имуществ клубок
И в прощанье отдав, в верещанье
Мир, который как череп глубок:

Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.

Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним незазорно сидеть:
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть . . .

18 марта 1937. Воронеж

383. КУВШИН

Длинной жажды должник виноватый,
Мудрый сводник вина и воды —
На боках твоих пляшут козлята
И под музыку зреют плоды.

Флейты свищут, клевещут и злятся,
Что беда на твоем ободу
Черно-красном — и некому взяться
За тебя, чтоб поправить беду.

21 марта 1937. Воронеж

384.

О, как же я хочу —
Нечуемый никем —
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.

А ты в кругу лучись —
Другого счастья нет —
И у звезды учись
Тому, что значит свет.

А я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шёпотом лучу
Тебя, дитя, вручу.

Он только тем и луч,
Он только тем и свет,
Что шёпотом могуч
И лепетом согрет.

23 марта 1937. Воронеж

385.

Гончарами велик остров синий —
Крит веселый, запекся их дар
В землю звонкую. Слышишь дельфиний
Плавников их подземный удар?

Это море легко на помине
В осчастливленной обжигом глине,
И сосуда студеная власть
Раскололась на море и глаз.

Ты отдай мне мое, остров синий,
Крит летучий, отдай мне мой труд,
И сосцами текучей богини
Напои обожженный сосуд.

Это было и пелось, синея,
Много задолго до Одиссея,
До того, как еду и питье
Называли «моя» и «мое».

Выздоравливай же, излучайся,
Волоокого неба звезда,
И летучая рыба — случайность,
И вода, говорящая «да».

Март [1937], Воронеж

386.

Чарли Чаплин
Вышел из кино,
Две подметки,
Заячья губа,
Две гляделки,
Полные чернил

И прекрасных
Удивленных сил.
Чарли Чаплин —
Заячья губа,
Две подметки —
Жалкая судьба.
Как-то мы живем неладно все —
Чужие, чужие.
Оловянный
Ужас на лице,
Голова не
Держится совсем,
Ходит сажа,
Вакса семенит,
И тихонько
Чаплин говорит:
Для чего я славен и любим
И даже знаменит,
И ведет его шоссе большое
К чужим, к чужим.
Чарли Чаплин,
Нажимай педаль,
Чаплин, кролик,
Пробивайся в роль.
Чисти корольки,
Ролики надень,
А твоя жена —
Слепая тень, —
И чудит, чудит чужая даль.

Отчего
У Чаплина тюльпан,
Почему
Так ласкова толпа?

Потому —
Что это ведь Москва.
Чарли, Чарли, —
Надо рисковать,
Ты совсем не вовремя раскис.
Котелок твой — тот же океан,
А Москва так близко, хоть влюбись
В дорогую дорогу.

1937. Москва

387.

Флейты греческой тэта и йота —
Словно ей нехватало молвы —
Неизваянная, без отчета,
Зрела, маялась, шла через рвы.

И ее невозможно покинуть,
Стиснув зубы ее не унять,
И в слова языком не продвинуть,
И губами ее не размять.

А флейтист не узнает покоя —
Ему кажется, что он один,
Что когда-то он море родное
Из сиреневых вылепил глин.

Звонким шепотом честолюбивым,
Вспоминающим топотом губ
Он торопится быть бережливым,
Емлет звуки, опрятен и скуп.

Вслед за ним мы его не повторим,
Комья глины в ладонях моря,
И когда я наполнился морем,
Мором стала мне мера моя.

И свои-то мне губы не любы,
И убийство на том же корню.
И невольно на убыль, на убыль
Равнодействия флейты клоню.

7 апреля 1937. Воронеж

388.

Я к губам подношу эту зелень,
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвопреступную землю —
Мать подснежников, кленов, дубков.

Погляди, как я слепну и крепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?

А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочною выдумкой — пар.

30 апреля [1937, Воронеж]

389.

Клейкой клятвой пахнут почки,
Вот звезда скатилась —
Это мать сказала дочке,
Чтоб не торопилась.

— Подожди, — шепнула внятно
Неба половина,
И ответил шелест скатный:
— Мне бы только сына!

Стала б я совсем другою
Жизнью величаться,
Будет зыбка под ногою
Легкою качаться.

Будет муж прямой и дикий
Кротким и послушным —
Без него, как в черной книге,
Страшно в мире душном.

Подмигнув на полуслове,
Запнулась зарница,
Старший брат нахмурил брови,
Жалится сестрица.

Ветер бархатный крыластый
Дует в дудку тоже,
Чтобы мальчик был лобастый,
На двоих похожий.

Спросит гром своих знакомых:
— Вы, грома, слыхали,
Чтобы грушу до черемух
Замуж выдавали?

Да из свежих одиночеств
Леса — крики пташьи, —
Свахи-птицы свищут почесть
Льстивую Наташе.

И к губам такие липнут
Клятвы, что, по чести,
В конском топоте погибнуть
Мчатся очи вместе.

Все ее торопят часто:
— Ясная Наташа,
Выходи за наше счастье,
За здоровье наше.

2 мая 1937. Воронеж

390 — 392. ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ ВО 2-Й ВОРОНЕЖСКОЙ ТЕТРАДИ:

I.

Пришла Наташа. Где была?
Небось, не ела, не пила . . .
И чует мать, черна как ночь:
Вином и луком пахнет дочь . . .

II.

— Наташа, как писать — балда?
— Когда идут на бал, то — да.
— А полдень? — Если день, то вместе
А если ночь, то не скажу, по чести.

III.

О, эта Лена, эта Нора,
О, эта бездна ИТР . . .
Эфир, зефир, Элеонора —
Дух кислосладкий двух мегер.

393.

На меня нацелилась груша, да черемуха —
Силою рассыпчатой бьет меня без промаха.

Кисти вместе с звездами, звезды вместе с
листьями —
Что за двоевластье там? в чьем соцветьи истина?

С цвету ли, с размаху ли — бьет воздушно-
белыми
В воздух, убиваемый кистенями целыми.

И двойного запаха сладость неуживчива —
Борется и тянется, смешана, обрывчива.

4 мая 1937. Воронеж

394.

К пустой земле невольно припадая
Неравномерной сладостной походкой,
Она идет, чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И кажется, что ясная догадка
В ее походке хочет задержаться —
О том, что эта вешняя погода
Для нас праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.

Есть женщины сырой земле родные,
И каждый шаг их — гулкое рыданье,
Сопровождать умерших и впервые
Приветствовать воскресших — их призванье.
И ласки требовать у них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня — ангел, завтра — червь могильный,
А послезавтра — только очертанье.
Что было — поступь, — станет недоступно,

Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И то, что будет — только обещанье.

4 мая 1937. Воронеж

395.

Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.

Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.

Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
— Мы вернемся еще, разумейте!..

Май 1937. Воронеж

КНИГИ СТИХОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

1925—1926

396—405. ПРИМУС

I.

Курицы-красавицы пришли к спесивым павам:
— Дайте нам хоть перышко, на радостях: кудах!
— Вот еще!
Куда вы там?
Подумайте: куда вам?
Мы вам не товарищи: подумаешь! кудах!

II.

Сахарная голова
Ни жива ни мертва —
Заварили свежий чай:
К нему сахар подавай!

III.

Чтобы вылечить и вымыть
Старый примус золотой,
У него головку снимут
И нальют его водой.

Медник, доктор примусиный,
Примус вылечит больной:
Кормит свежим керосином,
Чистит тонкою иглой.

IV.

Очень люблю я белье,
С белой рубашкой дружу;
Как погляжу на нее—
Глажу, утюжу, скольжу:
— Если б вы знали, как мне
Больно стоять на огне!

V.

—Мне сырому, неученому
Простоквашей стать легко,
Говорило кипяченому
Сырое молоко.

А кипяченое
Отвечает нежненько:
— Я совсем не неженка:
У меня есть пенка!

VI.

— В самоваре и в стакане
И в кувшине и в графине
Вся вода из крана.
— Не разбей стакана.

— А водопровод
Где
воду
берет?

VII.

Плачет телефон в квартире,
Две минуты, три, четыре.
Замолчал и очень зол:
Ах, никто не подошел.

— Значит, я совсем не нужен,
Я обижен, я простужен:
Телефоны-старики —
Те поймут мои звонки!

VIII.

— Если хочешь, тронь —
Чуть тепла ладонь:
Я электричество — холодный огонь.

Тонок уголек,
Волоском завит:
Лампочка стеклянная не греет, а горит.

IX.

Что ты прячешься, фотограф,
Что завесился платком?

Вылезей, снимай скорее:
Будешь прятаться потом.

Только страусы в пустыне
Прячут голову в крыло.

Эй, фотограф! Неприлично
Спать, когда совсем светло!

X.

Покупали скрипачи
На базаре калачи,
И достались в перебранке
Трубачам одни баранки.

1924.

406. ДВА ТРАМВАЯ
КЛИК И ТРАМ

Жили в парке два трамвая:
Клик и Трам.
Выходили они вместе
По утрам.

Улица-красавица, всем трамваям мать,
Любит электричеством весело моргать.
Улица-красавица, всем трамваям мать,
Выслала метельщиков рельсы подметать.

От стука и звона у каждого стыка
На рельсах болела площадка у Клика.

*

Под вечер слипались его фонари:
Забыл он свой номер; не пятый, не третий . . .
Смеются над Кликом извозчик и дети:
— Вот сонный трамвай, посмотри!

«Скажи мне, кондуктор, скажи мне, вожатый,
Где брат мой двоюродный Трам?
Его я всегда узнаю по глазам,
По красной площадке и спинке горбатой».

Начиналась улица у пяти углов,
А кончалась улица у больших садов.
Вся она истоптана крепко лошадьми,
Вся она исхожена до-черна людьми.
Рельсы серебристые выслала вперед.
Клика долго не было: что он не идет?

Кто там смотрит фонарями в темноту?
Это Клик остановился на мосту,
И слезятся разноцветные огни:
— Эй, вожатый, я устал, домой гони!

А Трам швырк-шварк —
Рассыпает фейерверк;
А Трам не хочет в парк,
Громыхает громче всех.

На вокзальной башне светят
Круглолицые часы,
Ходят стрелки по тарелке
Словно черные усы.

Здесь трамваи словно гуси
Поворачиваются.
Трам с товарищами вместе
Околачивается.

— Вот летит автомобиль-грузовик —
Мне не страшно. Я трамвай. Я привык.

Но скажите, где мой брат, где мой Клик?
— Мы не знаем ничего,
Не видали мы его.

— Ты скажи, семиэтажный
Каменный глазастый дом,
Всеми окнами ты видишь
На три улицы кругом,
Не слыхал ли ты о Клике,
О трамвае молодом?
Дом ответил очень зло:
— Много здесь таких прошло.

Вы, друзья-автомобили,
Очень вежливый народ
И всегда, всегда трамваи
Пропускаете вперед,
Расскажите мне о Клике,
О трамвае-горемыке,
О двоюродном моем
С бледно-розовым огнем.

— Видели, видели и не обидели.
Стоит на площади — и всех глупей:
Один глаз розовый, другой темней.

— Возьми мою руку, вожатый, возьми,
Поедем к нему поскорее;
С чужими он там говорит лошадьми,
Моложе он всех и глупее.
Поедем к нему и найдем его там.

И Клика находит на площади Трам.

И сказал трамвай трамваю:
По тебе я, Клик, скучаю,
Я услышать очень рад,
Как звонки твои звенят.
Где же розовый твой глаз? Он ослеп.
Я возьму тебя сейчас на прицеп:
Ты моложе — так ступай на прицеп!

[1925]

407. ШАРЫ

Дутые-надутые шары-пустомели
Разноцветным облаком на ниточке висели,
Баловали-плавали, друг друга толкали,
Своего меньшого брата затирали.

— Беда мне, зеленому, от шара буяна,
От страшного красного шара-голована.
Я шар-недоумок, я шар-несмышленыш,
Приемыш зеленый, глупый найденыш.

— А нитка моя
Тоньше паутинки,
И на коже у меня
Ни одной морщинки.

Увидела шар
Шарманка-хрипучка:
— Пойдем на бульвар
За белою тучкой:
И мне веселей
И вам будет лучше.

На вербе черно
От разной забавы.
Гуляют шары —
Надутые павы.
На всех продавцов
Не хватит копеек:
Пять тысяч скворцов,
Пятьсот канареек.
Идет голован
Рядами, рядами.
Ныряет буян
Ларями, ларями.

— Эх, голуби-шары
На белой нитке,
Распродам я вас, шары,
Буду не в убытке!

Говорят шары лиловые:
— Мы не пряники медовые,
Мы на ниточке дрожим,
Захотим и улетим.

А мальчик пришел,
Свистульку купил,
Он пряники ест,
Другим раздает.

Пришел, поглядел.
Приманка какая:
На нитке дрожит
Сварливая стая.
У него у самого
Голова большая!

Топорщатся, пыжатся шары наливные —
Лиловые, красные и голубые:
— Возьми нас, пожалуйста, если не жалко,
Мы ходим не попросту, а в перевалку.

Вот плавает шар
С огнем горделивым,
Вот балует шар
С павлиньим отливом,
А это вот найденыш,
Зеленый несмышленыш!

— Снимайте зеленый,
Давайте мне с ниткой.
Чего тебе, глупому,
Ползать улиткой.
— Лети на здоровье
С белою ниткой!

На вербе черно
От разной забавы.
Гуляют шары,
Надутые павы.
Идет голован
Рядами, рядами,
Ныряет буян
Ларями, ларями.

[1926].

408. ЧИСТИЛЬЩИК

Подойди ко мне поближе,
Крепче ногу ставь сюда,
У тебя ботинок рыжий,
Не годится никуда.

Я его почищу кремом,
Черной бархаткой натру,
Чтобы желтым стал совсем он,
Словно солнце поутру.

[1926].

409. АВТОМОБИЛИЩЕ

—Мне, автомобилищу, чего бы не забыть еще?
Вычистили, вымыли, бензином напоили.
Хочется мешки возить. Хочется пыхтеть еще.
Шины мои толстые — я слон автомобилий.

Что-то мне не терпится —
Накопилась силища,
Накопилась силища —
Я автомобилище.

— Ну-ка покатаю я охапку пионеров!

[1926].

410. ПОЛОТЕРЫ

Полотер руками машет,
Будто он вприсядку пляшет.
Говорит, что он пришел
Натереть мастикой пол.

Будет шаркать, будет прыгать,
Лить мастику, мебель двигать.
И всегда плясать должны
Полотеры-шаркуны.

[1926].

411. КАЛОША

Для резиновой калоши
Настоящая беда,
Если день — сухой, хороший,
Если высохла вода.
Ей всего на свете хуже
В чистой комнате стоять:
То ли дело шлепать в луже,
Через улицу шагать!

[1926].

412. РОЯЛЬ

Мы сегодня увидали
Городок внутри рояля.
Целый город костяной,
Молотки стоят горой.

Блещут струны жаром солнца,
Всюду мягкие суконца,
Что ни улица — струна
В этом городе видна.

[1926].

413. КООПЕРАТИВ

В нашем кооперативе
Яблоки всего красивей:
Что ни яблоко — налив,
Очень вкусный чернослив,
Кадки с белою сметаной,
Мед прозрачный и густой,
И привозят утром рано
С молоком бидон большой.

[1926].

414. МУХА

— Ты куда попала, муха?
— В молоко, в молоко.

— Хорошо тебе, старуха?
— Не легко, не легко.

— Ты бы вылезла немножко.
— Не могу, не могу.

— Я тебе столовой ложкой
Помогу, помогу.

— Лучше ты меня, бедняжку,
Пожалей, пожалей,

Молоко в другую чашку
Перелей, перелей.

[1926]

415. КУХНЯ

Гудит и пляшет розовый
Сухой огонь березовый
На кухне! На кухне!
Пекутся утром солнечным
На масле на подсолнечном
Оладьи! Оладьи!

Горят огни янтарные,
Сияют, как пожарные,
Кастрюли! Кастрюли!
Шумовки и кофейники
И терки, и сотейники
На полках! На полках!

И варится стирка
В котле великане,
Как белые рыбы
В воде океане:
Топорщится скатерть
Большим осетром,
Плывет белорыбицей,
Вздулась шаром.

А куда поставить студень?
На окно! На окно!
На большом, на белом блюде —
И кисель с ним заодно.

С подоконника обидно
Воробьям, воробьям:
— И кисель, и студень видно —
Да не нам! Да не нам!

Хлебные, столовые, гибкие, стальные,
Все ножи зубчатые, все ножи кривые.
Нож не булавка:
Нужна ему правка!
И точильный камень льется
Журчеём.
Нож и ластится, и вьется
Червяком

— Вы ножи мои, ножи!
Серебристые ужи!

У точильщика, у Клима,
Замечательный нажим,
И от каждого нажима
Нож виляет, как налим.

Трудно с кухонным ножом,
С непослушным косарем;
А с мизинцем перочинным
Мы управимся потом!
Вы ножи мои, ножи!
Серебристые ужи!

У Тимофеевны
Руки проворные —
Зерна кофейные
Черные-черные:
Лезут, толкаются
В узкое горло
И пробираются
В темное жерло.

Тонко измолото каждое зернышко,
Падает в ящик на темное донышко!

На столе лежат баранки,
Самовар уже кипит.
Черный чай в сухой жестянке
Словно гвоздики звенит:

— Приходите чаевать
Поскорее, гости,

И душистого опять
Чаю в чайник бросьте!

Мы, чаинки-шелестинки,
Словно гвоздики звеним.
Хватит нас на сто заварок,
На четыреста приварок:
— Быть сухими не хотим!

Весело на противне
Масло зашипело —
То-то поработает
Сливочное, белое.
Все желтки яичные
Опрокинем сразу,
Сделаем яичницу
На четыре глаза.

Крупно ходит маятник —
Раз-два-три-четыре.
И к часам подвешены
Золотые гири.

Чтобы маятник с бородкой
Бегал крупною походкой,
Нужно гирю подтянуть —
ВОТ ТАК — НЕ ЗАБУДЬ!

[1926].

ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

416—418.

«Из неизвестного поэта Кайюса Стультициуса»

I

Катится по небу Феб в своей золотой колеснице,
Завтра тем же путем он возвратится назад.

II

Ветер с высоких дерев срывает желтые листья,
Делия, посмотри, фиговых сколько листов.

III

Делия, где ты была? — Я лежала в объятьях Морфея.
Женщина, ты солгала, — в них я покоился сам.

1911. Петербург.

419.

. . . . . .

И глагольных окончаний колокол
Мне вдали указывает путь,
Чтобы в келье скромного филолога
От моих печалей отдохнуть.

Забываешь тягости и горести,
И меня преследует вопрос:
Приращенье нужно ли в аористе
И какой залог «пепайдевкос«?

1912. Петербург.

420.

Ах! матовый ангел на льду голубом,
Ахматовой Анне пишу я в альбом.

[1910-е гг.]

421.

В девятьсот тринадцатом, как яблоко румян,
Был канонизирован святой Мустамиан,
И к вечному блаженству приобщен,
Кто от чудовищных родителей рожден.

Серебро закладывал, одежды продавал.
И тысячу динариев менялам задолжал.
Гонят слуги палками того, кто худ и нищ,
Охраняют граждане добро своих жилищ.

Ноябрь-декабрь 1913. Петербург.

422.

Строки Мандельштама из коллективного послания А. А. БЛОКУ

Блок — король
И маг порока;
Рок и боль
Венчают Блока.

1913, Петербург

423.

Не унывай,
Садись в трамвай,

Такой пустой,
Такой восьмой...

(Около 1915) Петербург.

424.

Вуйажор арбуз украл
Из сундука тамбур-мажора, —
— Обжора! закричал капрал:
— Ужо расправа будет скоро.

1915. Петербург.

425. Из коллективной трагикомедии «КОФЕЙНЯ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ»

В 1917 г. в Крыму [в Алуште?] по случаю именин С. Н. Андрониковой была поставлена коллективно написанная пьеса под названием «Кофейня разбитых сердец, или Савонарола в Тавриде. Трагикомедия в трех действиях». Мандельштам фигурировал в пьесе под именем «Дон Хозе делла Тиж д'Аманд, поэт». Вот строки его, которые С. Н. запомнила:

Мне дан желудок, что мне делать с ним,
Таким голодным и таким моим?

И еще [но тут она не уверена, что это Мандельштама]:

Маятник душ — строг,
Качается глух, прям.
Если б любить мог...

И дальше:

(Входят Леонидопуло (педагог) [Слонимский] и Тиж д'Аманд, с книжкой под мышкой, на лице физическое и нравственное страдание!)

Т и ж : «Камень» в витринах есть, но есть и в печени камень:
Знай, рассосаться, мой друг, трудно обоим камням.

426.

Художнику Натану Альтману.

Это есть художник Альтман,
Очень старый человек.
По-немецки значит Альтман —
Очень старый человек.

Он художник старой школы,
Целый свой трудился век,
Оттого он невеселый,
Очень старый человек.

427. ГАЗЕЛЛА

Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек?
Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек.

1920. Феодосия.

428.

Ассириологу и поэту Шилейко.

Путник, откуда идешь? Я был в гостях у Шилейки.
Дивно живет человек, смотришь — не веришь очам.
В бархатном кресле сидит, за обедом кушает гуся.
Кнопки коснется рукой — сам зажигается свет.
Если такие живут на Четвертой Рождественской люди,
Путник, молю, расскажи, кто же живет на Второй?

429—431.

Эпиграммы на поэта Михаила Леонидовича Лозинского

I

Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей принимая:
«Скифам любезно вино, мне же любезны друзья».

II

Сын Леонида был скуп, и когда он с гостем прощался,
Редко он гостю совал в руку полтинник иль рубль;
Если же скромен был гость и просил лишь тридцать
копеек,
Сын Леонида ему тотчас, ликуя, вручал...

III

Ванну хозяин прими, но принимай и гостей.

Петербург [1921].

432.

В альбом спекулянтке Розе, еврейке лет 80-ти, которая сидела во „Всемирной Литературе", продавая в кредит.

Если грустишь, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч,
Помни, что двадцать одну мог я тебе задолжать.

[1920 гг., Петербург].

433.

Ей же

Печален мир. Все суета и проза.
Лишь женщины нас тешат да цветы.
Но двух чудес соединенье ты:
Ты женщина! Ты Роза!

[1920 гг., Петербург].

434—435. МАРГУЛИСУ

I

Маргулис — он из Наркомпроса,
Он не турист и не естественник,
К истокам Тигра и Эфроса
Он знаменитый путешественник.

II

Старик Маргулис зачастую
Ест яйца всмятку и вкрутую,
Его враги нахально врут,
Что сам Маргулис тоже крут.

[1920—1930 гг.?].

436.

Однажды, некогда какой-то подполковник,
Белогвардеец и любовник,
Постился, выводя глисту.
Дня три или четыре
Росинки маковой он не имел во рту.

Но величайший постник в мире
Лишь тот, кто натощак читает «На Посту».

[Около 1923]

437.

Один еврей, должно быть комсомолец,
Живописать решил дворянский старый быт:
На закладной под звуки колоколец
Помещик в подорожную спешит.

438. ПИСАТЕЛЮ

Как некий исполин с Синая до Фавора,
От договора ты бредешь до договора.

439. ПАВЛУ ВАСИЛЬЕВУ

Мяукнул конь и кот заржал —
Казак еврею подражал.

[Конец 1920-х гг.]

440.

Подшипник с шариком
Решил соревноваться.
Подшипник стал шипеть,
А шарик стал вращаться.

[Конец 1920-х гг.]

441. СОНЕТ

Мне вспомнился старинный апокриф —
Марию лев преследовал в пустыне
По той простой, по той святой причине,
Что был Иосиф долготерпелив.

Сей патриарх, немного почудив,
Марииной доверился гордыне —
Затем, что ей людей не надо ныне,
А лев — дитя — небесной манной жив.

А между тем Мария так нежна,
Ее любовь так, Боже мой, блаженна,
Ее пустыня так бедна песками,

Что с рыжими смешались волосками
Янтарные, а кожа — мягче льна —
Кривыми оцарапана когтями.

[Около 1930-х гг.]

442. *В. Пясту*

Слышу на лестнице шум быстро идущего Пяста.
Вижу: торчит на пальто семьдесят пятый отрыв.
Чую смущенной душой запах голландского сыра
И вожделею отнять около ста папирос.

443. *В. Пясту*

Плещут волны Флегетона,
Стены Тартара дрожат,
Съеден торт определенно —
Пястом пестуемый яд.

444. *М. С. Петровых*

Разве подумать я мог, что так легковерна Мария —
Пяста в Бруссоны возьми,Франс без халата сбежит.

445. *Марии Сергеевне Петровых*

Марья Сергеевна, мне ужасно хочется
Увидеть вас старушкой-переводчицей,
Неутомимо с головой трясущейся
К народам СССР влекущейся.
И чтобы вы без всякого предстательства
Вошли к Шенгели в кабинет издательства
И вышли, нагруженная гостинцами —
Полурифмованными украинцами.

[Около 1933—1934]

446.

Зевес всех должностей лишил Гефеста —
В кузнечном деле ни бельмеса,
Оказывается, он не понимал...
Но, громовержец, ты ведь это знал!

447.

Искусств веселых хоровода
Вадим Покровский не спугнет.
Под руководством куровода
За [нрзбр.] год от года
Отважнее кролиководь.

448.

Если бы услышал Бог,
Что Наташа педагог,
Он сказал бы: Ради Бога,
Уберите педагога.

449.

Девочку в деве щадя, с объясненьями юноша медлил
И через семьдесят лет молвил старухе — люблю.

Мальчика в муже щадя, негодуя, медлила дева
И через семьдесят лет плюнула старцу в лицо.

[Вторая Воронежская Тетрадь, 1936].

450.

Какой-то гражданин, наверное попович,
Наевшися коммерческих хлебов,
— Благодарю, — воскликнул, — Каганович!
И был таков.

451.

Помпоныч, римский гражданин,
Наскучив жить в развратном изобильи,
На то имея множество причин,
Включая старческое слабосилье,
К себе гостей однажды пригласил
И сам себе разрезал скукожилья,
Скукожился и дух по ванне испустил.

452.

Однажды из далекого кишлака
Пришел дехканин в кооператив,
Чтобы купить себе презерватив.
Откуда ни возьмись, мулла-собака,
Его нахально вдруг опередив,
Купил товар и был таков. Однако!

453.

Там, где край был дик,
Там шумит арык,
Где шумел арык,
Там пасется бык,
А где пасся бык,
Там поет старик.

454.

Звенигородский князь в четырнадцатом веке
В один присест съел семьдесят блинов,
А бедный князь Андрей и ныне нездоров.
Нам не уйти от пращуров опеки!

455.

Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович,
Ах, на Покровку она худого впустила жильца.
— Бабушка, шубе не быть! — вскричал запыхавшийся внучек:
— Как на духу, Мандельштам плюет на нашу доху!

456. РЕШЕНЬЕ

Когда б женился я на египтянке
И обратился в пирамид закон,
Я б для моей жены, для иностранки,
Для донны покупал пирамидон —
Купаясь в Ниле с ней и в храм идя,
Иль ужиная летом в пирамиде,
Для донны пирамид: пирамидон.

1937. Воронеж

457.

На берегу Эгейских вод
Живут аргивяне. Народ
Довольно древний. Всем на диво
Поганый промысел его:
Продажа личного архива.
Священным трепетом листвы
И гнусным шелестом бумаги
Они питаются — увы! —
Неутешаемы и наги...

КОЛЛЕКТИВНЫЕ И ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

написанные с участием Мандельштама

458.

После вечера поэз Игоря Северянина.

Кушает сено корова,
А герцогиня желе,
И половина второго —
Граф ошалел в шалэ.

[Около 1913. Петербург].

459. ПОЭМА ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

На Надеждинской улице
Жил один
Издатель стихов
По прозванию
Господин
Блох.
Всем хорош —
Лишь одним
Он был плох:
Фронтисписы очень любил
Блох.
Фронтиспис его и сгубил,
Ох!

Труден издателя путь и тернист,
А тут еще титул, шмутцтитул и титульный лист.
Лист за листом и книгу за книгою Блох посылает в печать,

Выпустил сотню и стал он безумно скучать.
Добужинский и Радлов не радуют взора его,
На Митрохина смотрит, и сердце как камень мертво.
И сказал ему Дьявол, когда он ложился в постель:
— Яков Ноевич! Ведь есть еще Врубель, Веласкез,
Серов, Рафаэль...

Всю ночь
Блох
Плохо спал,
Всю ночь
Блох
Фронтисписы рвал.
Утром рано
Звонит в телефон —
На обед созывает поэтов он.

И когда пришел
За поэтом поэт,
И когда собрались они на обед,
Поднял Блох руку одну —
Нож вонзил в грудь Кузмину,
Дал Мандельштаму яда стакан —
Выпил поэт и упал на диван.
Дорого продал жизнь Гумилев.
Умер, не пикнув, Жорж Иванов.
И когда всех поэтов прикончил Блох,
Из груди его вырвался радостный вздох:

Теперь я исполнил мечту мою —
Книгоиздательство открою в раю:
Там Врубель, Серов, Рембрандт и Бердслей, —
Никто не посмеет соперничать с фирмой моей!

[Около 1921, Петербург].

ПЕРЕВОДЫ
И
ПОДРАЖАНИЯ

ЖАН РАСИН
(1639—1699)

460. НАЧАЛО «ФЕДРЫ»

— Решенье принято, час перемены пробил!
Узор Трезенских стен всегда меня коробил,
В смертельной праздности на медленном огне
Я до корней волос краснею в тишине:
Шесть месяцев терплю отцовское безвестье,
И дальше для меня тревога и бесчестье
Не знать урочища, где он окончил путь.
— Куда же, государь, намерены взглянуть?
Я первый поспешил унять ваш страх законный
И переплыл залив, Коринфом рассеченный.
Тезея требовал у жителей холмов,
Где глохнет Ахерон в жилище мертвецов.
Эвлиду посетил, не мешкал на Тенаре,
Мне рассказала зыбь о рухнувшем Икаре.
Надежды ль новой луч укажет нам тропы
В блаженный край, куда направил он стопы?
Быть может, государь свое решенье взвесил
И с умыслом уход свой тайной занавесил,
И между тем как мы следим его побег,
Сей хладнокровный муж, искатель новых нег.
Ждет лишь любовницы, что, тая и робея . . .

— Довольно, Терамен, не оскорбляй Тезея . . .

461. СЫНОВЬЯ АЙМОНА *

Пришли четыре брата, несхожие лицом,
В большой дворец-скворешник с высоким потолком.
Так сухи и поджары, что ворон им каркнет «брысь».
От удивленья брови у дамы поднялись.
«Вы, господа-бароны, рыцари-друзья,
Из кающейся братьи, предполагаю я.
Возьмите. что хотите, из наших кладовых —
Из мяса или рыбы, иль платьев шерстяных.
На радостях устрою для вас большой прием:
Мы милостыню Богу, не людям подаем.
Да хранит Он детей моих от капканов и ям,
В феврале будет десять лет, как я томлюсь по сыновьям».
«Как это могло случиться?» сказал Ричард с крутым лбом.
«Я сама не знаю, сударь, как я затмилась умом.
Я отправила их в Париж, где льется вежливая молвь,
Им обрадовался Карл, почуяв рыцарскую кровь.
Королевский племянник сам по себе хорош,
Но бледнеет от злости, когда хвалят молодежь.
Должно быть, просто зависть к нему закралась в грудь,
Затеял с ними в шахматы нечистую игру.
Они погорячились и беда стряслась —
Учили его, учили, пока не умер князь.
Потом коней пришпорили и скрылись в зеленях,
И с ними семьсот рыцарей, что толпились в сенях.
Спаслись через Меузу в Арденнской земле;

* В основу положен отрывок из старо-французского эпоса geste de „Doon de Mayence".

Выстроили замок укрепленный на скале.
На все четыре стороны их выгнал из Франции Карл,
Аймон от них отрекся, сам себя обкарнал.
Он присягнул так твердо, как алмаз режет стекло,
Что у него останется одно ремесло —
Пока дням его жизни Господь позволит течь, —
Четырем негодяям головы отсечь».
Когда Рено услышал, он вздрогнул и поник,
Княгиня прикусила свой розовый язык,
И вся в лицо ей бросилась, как муравейник — кровь.
Княгиня слышит крови старинный переплеск —
Лицо Рено меняется, как растопленный воск.
Тавро, что им получено в потешный турнир,
Ребяческая метка от молодых рапир.
У матери от радости в боку колотье:
«Ты — Рено, если не обманывает меня чутье.
Заклинаю тебя Искупителем по числу гвоздильных ран,
Если ты Рено — не скрывай от меня иль продлить дай обман».
Когда Рено услышал, он стал совсем горбат,
Княгиня его узнала от головы до пят.
Узнала его голос, как пенье соловья, —
И остальные трое с ним тоже сыновья.
Ждут, словно три березки, чтоб ветер поднялся,
Она заговорила, забормотала вся:
«Дети, вы обнищали, — до рубища дошли,
Вряд ли есть у вас слуги, чтоб вам помогли».
«У нас четыре друга, горячие в делах, —
Все в яблоках железных на четырех ногах».
Княгиня понимает по своему чутью
И зовет к себе конюха мальчика Илью:
«Там стреножена лошадь Рено и других,
Поставьте их в конюшнях светлых и больших
И дайте им отборных овсов золотых».

Илья почуял лошадь, кубарем летит,
Мигом срезал лестницы зеленый малахит.
Не жалеет горла, как в трубле Роланд,
И кричит баронам маленький горлан:
«Делать вам тут нечего, бароны, вчетвером,
Для ваших лошадей у нас найдется корм».
Как ласковая лайка на слепых щенят,
Глядит княгиня Айя на четырех княжат.
Хрустит душистый рябчик и голубиный хрящ —
Рвут крылышки на части, так что трещит в ушах:
Пьют мед душистых пасек и яблочный кларет
И темное густое вино — ублюдок старых лет.
Тем временем Аймона надвинулась гроза
И связанных ремнями борзых ведут назад.
Прокушенных оленей на кухню снесли
И слезящихся лосей в крови и пыли.
Гремя дубовой палкой, Аймон вернулся в дом
И видит у себя своих детей за столом.
Плоть нищих золотится, как золото святых,
Бог выдубил их кожу и в мир пустил нагих.
Каленые орехи не так смуглы на вид.
Сукно, как паутина, на плечах у них висит,
Где пятнышко, где родинка, мережит и сквозит.

[1923].

462. ЖИЗНЬ СВЯТОГО АЛЕКСЕЯ

Как прочел письмо родитель, он света не взвидел,
От великого от горя бороду теребит.
«Сын мой, чадо мое родное, что за горестные пришли вести,
А я думал, ты вернешься, мы еще побудем вместе.
Укрепишь мой слабый век, утешишь мою старость».
Громко кричит родитель — обуяла его ярость:

«Алексей, чадо мое родное, ты виновник моей тревоги —
Видно, плохо я тебя берег на моем пороге . . .
Как я, грешный человек, ослеп на оба глаза:
Видел тебя столько раз и не узнал ни разу!
Чадо мое, Алексей, мать твоя бедняжка —
Без тебя ей жизнь темна и смутна и тяжка.
Отказалась от питья, не вкушает пищи:
День и ночь тебя зовет, сквозь слезы тебя ищет.
Как узнает эту новость, уснет на кладбище.

Кому, сын мой, отойдут все мои именья
И поемные луга на всем протяженьи,
И великий мой дворец в городе Риме?
Только для тебя, мой сын, я трудился над ними.
Ты бы радовался всем после моей кончины —
Я годами убелен, серебрят меня седины.
Для тебя я сохранял почести и вклады,
Ты ж с презреньем отвернул от них свои взгляды.
Превеликая скорбь на меня сошла ныне —
Пусть в пресветлый Божий рай душа твоя внидет.

Лучше ты б доспехи взял — рыцарь с малолетства,
Препоясался мечом, как сверстники детства.
Ты бы мог сейчас стоять во главе дружины,
Императорский стяг носить, червленый и длинный,
Как родитель, твой отец, и братья, и дяди . . .
Ах, в какой же нищете, бедности и смраде
Ты скитался, мой сын, в чужеземном граде!
Выбрал ты себе одну дорогу в подруги,
Ничего из всех богатств не взял к себе в лачугу.
А мог быть большой вассал своего господина!»

Поднялся переполох от отцовской кручины —
Услыхала его мать со своей половины.

Не своим голосом кричит, ладонями плещет,
Как безумная бежит простоволосая женщина —
На земле ее сын лежит без дыханья —
Начинает голосить над ним причитанья.
Колотила себя в грудь, сама с собой боролась,
Расцарапала лицо свое, растрепала волос;

Поцелуями покрыла лицо Алексея.
Кто при этом ни стоял — все плакали с нею.
Треплет волосы свои, в грудь себя колотит,
В исступленьи не щадит собственной плоти.
«Как твоя ко мне любовь, мой сын, пересохла,
Как я, грешница, сама ослепла, оглохла:
Не могла тебя признать до переполоха!»

Разрыдалась в три ручья, голосила звонко:
«Не на радость я тебя носила, ребенка!
Как не догадался ты пожалеть мать родную?
Не видал, как по тебе я на смерть тоскую?
Как ты мог мной пренебречь — чудо, не пойму я . . .

Сколь жестоко ты со мной обошлась, фортуна:
Покинул меня мой сын — прекраснейший юноша.
Привело меня к скорбям долгое ожиданье.
Я в унынии, я больна, нет мне упованья.
Странно, что сердце мое бьется бесполезно!
Обуял тебя, мой сын, дух гордый, железный,
Когда бросил ты друзей веселый круг любезный.
Если б ты хоть раз один со мною молвил слово,
Я бы духом за тебя воспрянула снова,
Снарядила б тебя в путь с хорошей приметой:
Нежна была твоя плоть, Алексей, теплой жизнью согрета —
Для чего ж ты посвятил скорбям молодые лета?

Для того ли я тебя выносила в чреве,
Чтобы ты меня покинул, печальную, во гневе?
Не возрадуюсь, как Адам, ни подобно Еве . . .
Прежде, чем тебя родить, я тебя сильно желала
И рожденного тебя в слезах пеленала,
А когда я тебя родила, плоть моя ликовала.
Ныне, когда ты мертв, томит меня искушенье
Разделить с тобой, мой сын, нежное успенье.
Римляне, мои друзья, граждане земли латинской,
Будьте мне пособниками в печали материнской —
По умершем печаль меня подкосила,
Нечем сердце унять — откуда возьмется сила?
Я бездетной остаюсь — горький плод вкусила . . .»

А покуда мать с отцом жалуются вместе,
Пришло время подойти нареченной невесте.
«Слишком долго я ждала твоего прихода
В доме твоего отца, средь чужого рода.
Слишком долго я ждала — печаль меня снедала,
Алексей, мой государь, тебя ежечасно
Ожидала я в слезах в горнице напрасно.
Сколько раз из-за тебя выглядывала в окошко —
Все надеялась — ты подойдешь, приласкаешь меня немножко.
О, как жалко мне твоей юности благородной —
Что она теперь гниет в земле сырой и холодной!
О, нежный рот! Лицо, походка и улыбка!
Что сталось, что стряслось с вашей прелестью гибкой?
Только вас и замечала я в Божьем твореньи:
До чего осиротела я в одно мгновенье!
Лучше б разделить с тобой нежное успенье . . .»

1922

463. АЛИСКАНС

(Отрывок)

Вильгельм-государь круто спешит, —
«Открывайте ворота, — привратнику говорит, —
Я Вильгельм — кто мне не поверит, тот согрешит».
Отвечает привратник: «Потерпите чуть-чуть».
С башенки спрыгнул быстрее, чем дохнуть,
Пришел к Гибурк, кричит, надрывает грудь:
«Госпожа моя ласковая, вам нельзя медлить:
В полных доспехах там всадник приехал,
Языческой сбруей блестит его тело, —
Что за гордость необыкновенная!
Он похож на тех, кого битва носит,
Еще на руках у него кровь сохнет.
Лошадь крупная, всадник рослый,
Просит верить, что он Вильгельм Курносый.
Ради Бога, взгляните на него, госпожа».
Слышит Гибурк, не смеет дышать,
С дворцовой лестницы вниз сбежала,
Пришла туда, где ров глубок и вода свежа.
Говорит Вильгельму: «Друг вассал, что вам угодно?»
Отвечает государь: «Не мешкайте долго,
Госпожа, поскорее спустите мост-колоду:
Тугая погоня за мной — Бадук и Дерамед
И двадцать тысяч турок в зеленых шлемах медных.
Если обрушатся, я буду смерти предан.
Госпожа моя ласковая, вам нельзя медлить».
Отвечает Гибурк: «Друг вассал, вас пустить невозможно,
Я здесь одна, никого на мужчину похожего,
Не считая привратника и маленького сторожа,

А из детских годочков и десятки не сложишь.
Наши дамы сердцем до слез приуныли
Из-за мужей, не знают, живы ли.
Вильгельм Курносый их в поле вывел
В Алисканс, на языческое быдло.
Ни одной скважины, ни одной щели вам
Не открою, пока домой не вернется Вильгельм.
Он принял оружье из рук моих с весельем,
Да хранит его Бог, распятый за христианское
племя».
Слышит Вильгельм, чуть не падает ниц,
От жалости плачет курносый маркиз.
Крупные слезы по курносому лицу полились.
Выпрямился, снова Гибурк кличет:
«Странный у вас, госпожа, обычай.
Слишком быстро вы от меня отвыкли.
Я Вильгельм — кто мне не поверит, тот согрешит».
«Вы лжете, язычник, — Гибурк говорит, —
Но клянусь апостолом, что близ Недропа убит,
Откройте ваш лоб, что так блестит.
Раньше я вам не открою!»
Государю Вильгельму войти спех:
Медлить тут нечего — врагов не счесть,
Вся дорога гудит от бесчисленных тех,
Кому несподручно его жалеть.
«Госпожа моя ласковая, — Вильгельм, муж храб-
рый, молвит, —
Заставляет ждать меня слишком долго, —
Вон язычники выползли на холмы пологие».
Отвечает Гибурк: «Вы, должно быть, шутите —
На Вильгельма вы не похожи ни чуточку.
Но клянусь головой Петра, святого мученика,
Ни к одной двери вам не подберу ключика,

Пока не снимете шлема, что на голову нахлобучили,
И рта не разгляжу я как можно лучше.
Голоса разных людей бывают созвучны.
Я здесь одна. Кто мне за вас поручится?»
Послушался государь, поднял забрало совсем,
Потом скинул шлем зеленый в многоцветных каменьях.
«Госпожа, вот я открыт от головы до темени.
Я Вильгельм — пустите меня, пока есть время».
Пока Гибурк его рассматривает, пристально и вдоволь,
Сто язычников проходят медленно полем:
С места битвы поворотил их Ураст, сарацинский воин.
В подарок Дерамеду ведут на убой
Двести пленников — у всех лицо молодое —
И тридцать дам яснооких ведут с собою.
На них громыхают большие цепи,
Язычники их бьют, пока Господь терпит.
Госпожа Гибурк слышит их громкий плач,
Как они Господа кличут, как цепи влачат.
Говорит Вильгельму: «Я была права,
Теперь уже очевидно: ты не Вильгельм муж храбр,
Чью мышцу каждый хвалит, что метко бьет.
Разве он стерпел бы наших людей увод?
Разве он стерпел бы побоища стыд
И униженье братьев так близко, как ты?»
«Вот это испытанье! — Вильгельм князь говорит. —
Но клянусь Всемогущим, на Ком держится мир,
Пусть мне грозятся голову с плеч снять,
Пусть меня собираются живым четвертовать, —

На глазах у ней буду сражаться, покажу, каков я
есть в бою.
Из любви к ней я должен в битвах говеть,
Выковать Божью волю не за страх, а за совесть,
Смирить свое тело, как настоящий постник».
Снова надел шлем, лошадь пришпорил,
Внушил ей лететь с величайшей скоростью,
И видит язычников могучих и черствых.

[1922]

ВАЛЕРИАН ГАПРИНДАШВИЛИ
(1888—1941)

464. ПЯТЫЙ ЗАКАТ

На закате столики для баккара расставлены.
Сам Калиостро управляет картежной музыкой.
В бирюзовые язвы его пальцы оправлены —
Друг на друга закатных бесенят науськивает.

И уже Паганини маячит скрипичным профилем,
Фистулой заслоняет желанное зарево.
И мой бедный взгляд, миражем обескровленный,
Потянулся иволгой в райское марево.

Скрестили шпаги призраки перед воздушным табором.
Скорпион человека разит крылами длинными.
Не осилит ночь багряных кошек заговор,
Ядовитые вороны насытились дневными рубинами.

И в последнюю минуту надменный Ацордия
Торопливо сдает колоду хрустящую.
Чердак земли потемнел, а призраки с горя и одури
Парики бросают в воду бурлящую.

ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ
(р. 1899)

465. АВТОПОРТРЕТ

Я варвар, я хазар, я сарацин,
У римских стен таран — гул динамитной дрожи.
Горячей Русудан я уминаю ложе:
Пространств потерянных меня терзает сплин.

Я услыхал в себе старинный шелест крови.
Мне гроздья тучных чресл — Кахетии сосцы.
Над головой моей воскресных лун венцы.
И солнце держит мне свой пурпур наготове.

Стигматы расы я считаю, как цветы.
Трибун парижских толп и вольный князь картвелов.
Знамена Грузии мне реют с высоты,
И солнце в родовых походах поседело.

Купель поэзии — мне — виноградный чан.
Я душу бросил в яд, как в сусло золотое.
Люблю, близнец Рембо — я сумасбродство злое.
Мне в предки Теймураз и Чавчавадзе дан.

Воскресная газель, косуля молодая —
Я черный Nevermore последнего трамвая.

ВАЖА ПШАВЕЛА
(1861—1915)

466. ГОГОТУР И АПШИНА

Эпический сказ

I

Говорят, из Блоя Апшина,
Из семейства Минтотаури,
Без помех крал, разбойничал
Под защитой брони кованой.
Он добром наполнил горницу,
Словно хан, казной-поборами.
Гоготур сильнее Апшины,
С ним и Апшина не справится, —
Он мизинцем бросит Апшину
Через скалы островерхие.
Говорил царь слова крепкие:
«Гоготур мой стоит тысячи,
Он один зерно отборное
Среди тысячи дружинников».
Мощью дышит он чрезмерною.
Как волна размывчивый песок,
Гонит он бесчисленных врагов,
А в бою Гоготур, как смерть велик
И как смертный час, суров и строг.
На врагов он наводит страх,
Словно ангел смерти Азраил.
Опрокинет он врагов отряд,
Как теченье лодку утлую.
Ах, щадят, должно быть, воина
Херувимы покровители!

Сколько раз его упрашивал
Царь: «Иди ко мне на царский двор»,
Неизменно отвечал герой: —
«Царь, в долине мне не дышится,
Горный ветер мне лицо свежит.
Сердце плачет, словно женщина,
Хлеб здесь — камень и вода горька.
Вся в огне душа заклятая!
На уста печать наложена,
И недугом тело схвачено».
Гоготуру так мучительно,
Что не слышен здесь войны рожок.
На исходе и кончается
Ароматное двухвесенье,
Не сидит он дома в праздности,
Землю пашет и работает.
Говорит, не миновать войны,
А теперь пора косе гулять.
То, что добыто разбоями,
Никогда не тешит досыта,
И никто не помнит в Пшавии
Громовых раскатов голоса,
Чтобы он прямым разбойником
На дороге стал кому-нибудь.
Он возьмет чинару рослую,
На плечо положит запросто
И, попыхивая трубкою,
Во-свояси возвращается,
И домой приходит в сумерки,
К очагу садится дымному,
Чтоб развлечься, понемножечку
Длинный свой чубук потягивает,
Иногда бандуру пробует,
Быстро щиплет струны пальцами,

Иногда горланит песенку —
Лишь бы притолка не рухнула,
Иногда ногою топает —
Вся окрестность с ним приплясывает.

II

Есть старинная пословица:
Коль дерзка бывает женщина
И на ветер сердце бросила,
Ум от страсти улетучится.
Говорит слова бесстыжие,
Одурелая и шалая,
Все покроет мужним именем.
Ни о чем другом не думает.
Пусть у мужа совесть, как ночь, черна,
Пусть он смело грабит проезжий люд,
Лишь бы только он мечем владел
И держал ружье в руках,
Лишь бы он жену сумел одеть
В платье шелковое красное.

. . . . . .

К Гоготуру пристает жена:
— «Для чего тебе осиный стан,
Чтобы вечно раскорякою
Дома дрыхнуть, как горячечный?
Для чего тебе стальной убор,
Меч проклятый, без зазубринки,
Заповедной кровью смоченный,
Истреблять людей приученный?
Посмотри, слеза обидная
Каплет с губ суровых лезвия!
Вспомни о разбойном промысле

И промысли жизнь счастливую,
Поруби хоть хистам головы,
На хевсуров наложи оброк, —
Говорят люди, конь Апшины
Чепраком покрыт серебряным».
— «Что ты мелешь, баба глупая,
Без понятья, необдуманно!
Если делать тебе нечего,
Ты бы мне о том поведала.
Сразу жизнь мне опостылеет,
Если буду сыт чужим добром.
Ты не суй свой нос, безродная,
В дело честное, булатное,
Твое дело веретенное,
Веретенное — чулочное.
Лишь тогда увидит шашка свет,
Если близко, близко вражий меч.
Не звучал еще в долине царский рог:
«Эй, пшавелы, нас сжимает враг!
Собирайся, верный мой народ,
Люди прочные, военные.
Пусть ведет дружину Гоготур,
Он еще довольно моложав».
А до этого я красную росу
Запрещаю моему мечу.
Уж не я ли на боку лежал
В дни кромешные, татарские!
Я врага приветил издали,
Как жирафа тигр, приветливо . . .
Изрубил я в битве девять мечей,
А десятым бел-костяной кинжал.
Если ты не ведьма чарая,
Что ты хочешь, злоязычница?»
— «Я скажу тебе, бессовестный:

Ты в семье обуза тяжкая,
На какую на потребу нам
Спины битые, татарские.
Из войны ты много выгоды
Вынес, кроме ран полученных?
Коли сыт ты добрым именем,
Ну и лопай свои подвиги». —

Гоготур герой печалится,
Меч рукой тихонько трогает,
И корой лафани нежною
Крепко стан свой препоясывает.
Перекинул щит через левое,
А на правое плечо взял пищаль свою,
Словно дерево огромное,
На подъем чрезмерно трудную,
И жене своей ответил так:
— «Ходоком всю землю выхожу.
Я сказал и это сделаю:
Не кручинься, быть по твоему». —
И пошел обратно к родичам,
Говорит, смеется в бороду.

III

О ту пору, о весеннюю,
Как фиалка заневестилась,
Как нагорьями зелеными
Гор окружность закурчавилась,
Снег в ложбинках стаял пятнами,
И земля набухла влагою;
К зеленям прозрачным тянутся
Бычьи и оленьи головы;
Дуры птицы свистом-щебетом

Гомонят сильнее прежнего;
Как Арагва черно-талая
Воет, роется и прядает,
И с ресниц дремоту стряхивают
Пробужденные окрестности;
Воду впитывают трещины,
Тает лед на горной скатерти, —
Из-за церковки Копальской — вдруг —
Человек, как глыба, кряжистый.
Он ползет, как тяжкий оползень,
Лицо каменное, хмурое,
А другой — с горы спускается,
Он поет, и ржет гора в ответ,
Он коня слегка подбадривает.
Кулики пищат болотные,
Статный конь под ним приплясывает,
Словно чует победителя,
А с черкески красной свесилась
Дашна, солнцем упоенная.
Гоготура видит Апшина
И смеется тихо в бороду.
Вскачь пустился, переводит дух,
И ругается невежливо.
Далеко кремневка Апшины
Заиграла острым лучиком.
— «Дай мне, пшав, оружье бранное,
Что глядишь ты вопросительно:
С неуклюжего меч валится,
Прямодушен храбрый Апшина:
Не таится, не подкрадывается.
Говорит с тобою Апшина...
А не то, гляди, потребую
У меча службу горячую»...
Гоготур решил — попробую

Показаться жалким Апшине.
Любопытно, что он сделает, —
Пожалеет ли, помилует
Или втопчет в пыль дорожную.
— «Что ты, брат мой, заговариваешься,
Я не женщина беременная,
И меня мать в люди вывела, —
Не в навозной куче нянчила.
Почему ты хочешь, Апшина,
Снять с меня орудье бранное?
Или в Бога ты не веруешь!
Стыд мне застит солнце милое,
Люди скажут мне: кикимора,
Быть тебе в лепешку сплющенным.
Ты побойся Бога, Апшина.
Брат, зачем тебе мой черный стыд,
Сбить папаху, пустить по миру
И позор скормить молве людской?
Человек ты видный, с именем,
А со мной враждуешь попусту.
Не снимай с меня стальной убор —
Так и быть, начнем речь бранную!»
— «Пшав, довольно я замешкался;
Подавай меч, не улещивай,
Подавай кремневку крепкую:
У меня пускай погреется...
За неделю пути горного
Даже очи обезлюдели.
Подавай убранство бранное,
А не то изволь песок лизать,
И трепать Арагве каменной
На порогах твои косточки».
Дал он меч ему, кремневку дал,
А последним дал щит выпуклый.

До уздечки добирается
Нежный родич, чадо милое,
Понукает коня Апшина, —
Конь глотнул, как птица, воздуха.
Гоготур герой не выдержал,
Зароптал, преобразился весь.
— «Ты звенишь моим оружием —
Или стыд тебя гнушается,
За дела твои бесстыжие
На каменьях мозг твой высушить!»
Вот Гоготур распаляется,
Повалил, бьет, треплет Апшину.
Страх ступил на горло Апшине,
Он лежит туго спеленутый,
Гоготур ведет речь умную:
— «Ты хорош ездок, да я строптив.
Я просил, а ты был глух и черств,
А теперь твоя кривая шашка мне
Приглянулась, с ней твой Лурджа конь,
С ней твой круглый, твой тяжелый щит,
Зря пыхтел ты под доспехами».
— «Пощади», — взмолился Апшина,
Выплюнул язык расщепленный,
Весь истаял черным-иссиня,
Сохраняя злость дремучую.
— «Соблазнился я, запутался . . .
О тебе слыхал сторонкою,
Думал, ты — ограда ветхая,
Из камней трухлявых хижина;
По заслугам ты захвален, Пшав,
Мощно мыщцей ты орудуешь.
Побратаемся — помиримся.
И верни мне звон оружия!
Трудно молвить: слово вяжет стыд;

Брат, верни мне облик воина,
А не то, спать уложи навек,
Освежи грудь светлой дашною.
С легким сердцем разве мыслимо
Снять с себя ярмо военное?
На чужих плечах примеривать
Дашну, меч, убранство светлое?
Всё равно обезоруженный
Герой смертью покрывается».
— «Поумнел ты поздно, Апшина,
Вот когда ты образумился.
Знаешь сам, земля Грузинская
Вся, как есть, врага чурается,
А хотел с меня оружье снять!
Узнаю тебя, безбожника:
Всюду рыскаешь и нюхаешь.
Видно ты, хвастун бессовестный,
Точно крыса поскребущая,
Черноусая на мельнице.
Заикнулся б ты о голоде,
Я б тебя утешил досыта.
Ты на братский меч позарился:
Видно в Бога ты не веруешь.
Или ты в кувшинах глиняных
Серебро хранишь военное.
Если любишь светлой шашки взмах,
Свист полета, скорость коршуна,
Посмотри, как темен враг числом,
Как он борется, упорствует.
Вдруг тебя облепит тысяча,
Бьют тебя и улюлюкают,
Плечо тает, и ломается
В самом стержне шашка хрупкая.
Запасную шашку вытащи —

Побегут враги косулями.
Ты же дальше их преследуешь,
Волчьим потом обливаешься,
Вот и шашки ты сподобишься,
И папаху свою выслужишь;
А не то ходи в косыночке,
Словно баба неумытая.
Ты встречал людей беспомощных,
Никогда войны не видевших.
Закаленный враг железо ест
И деревья выкорчевывает.
Мне не надо твоего меча,
У меня своих достаточно.
Вот, бери коня, бери доспех,
Иди с миром, по-хорошему,
Да прошу — коль будешь хвастаться
Своей удалью военною, —
Мое имя вставить в очередь.
Да поручится Хохматский крест
И копала драгоценная
В том, что ты не скроешь истины
О своем ярме и выкупе». —
За плечо приподнял воина,
Из бечевок руки выпростал,
Приподнялся бедный Апшина,
Посиневший, весь в слезах:
— «Ах, не крепок я,
Пошатнулся я, не выстоял.
Я теперь пойду в свою избу,
Головою стены выскоблю...
Гоготур, дай поцелую в лоб
За чудесный подвиг ласковый». —
Обнялись, упрочили союз.
Апшина бурдюк развязывает,

Гоготуру указует честь.
Им палаткой служит дерево,
Апшина-друг пенит рог,
Мощно родича приветствует:
— «Ты живи, Гоготур, не век, не два,
А живи, пока роса течет,
А роса течет, пока солнце горит.
Живи утром, живи вечером,
Ты живи, покуда лес шумит,
И земля пирует зеленью,
Ты живи, пока товар возить
Муравью купцом не будет велено.
Да почиет сам Лошарский крест
На твоих желаньях избранных!» —
Гоготур говорит молитвенно:
— «Да хранит тебя иконы Лик,
Ты героем не прикинулся:
На язык тебя я пробовал.
Да избавит Бог своих людей
От вражды и злого шопота
И да будет им не омрачен
Братский час веселья общего». —
Соскоблили, в вино бросили
С рукоятий пыль серебряную.
С порошком заветным, дружеским
Рог совместно опорожнили,
Друг для друга пели сладостно
Песни нежные, приятные,
А потом в разные стороны
Расходились одиночками.

IV

Темь. В пространстве тают шорохи;
Стерла звуки ночь огромная;

Дремлет гор семейство темное,
Изваянье вечной горечи;
Льдистой митрой удручаются
Отрешенные от зелени.
И прозрачны козьи пастбища
Из гранитной крепи выбиты,
И вскипает злобной пеною
Черный рев ручья хевсурского.
А в деревне, за околицей
Слышно, как в ворота ломятся.
Ведет тяжбу ядовитую
Чей-то голос желчью вскормленный:
— «Будь ты проклята во праотцах,
Да пригнет тебя Хохматский крест,
Нашла время спать, негодница,
С глаз долой моих, безродная,
Где тебе равняться с Апшиной,
Равнять солнце с хилым месяцем.
Возьми серебро военное,
Лошадь сеном не закармливай.
А случится на рассвете гость,
Все добро сгреби, отдай ему,
Пусть седлает моего коня
Не за пол-цены, без выкупа.
Разве я не внятно говорю,
Что ж ты голову повесила?
Я на поле брошу милый плуг,
Будет прихоть мне своячницей». —
Вот пришла беда, скрутила вдруг
Старшину в Хевсурах знатного.
Трижды лунный серп истаивал,
Дома Апшина ворочается,
Слег в постель, вздыхает жалобно,
Словно плакать ему хочется.

Все молчит герой обиженный,
А молчать ему не терпится,
Язык сохнет, словно просится.
Отдал лошадь, снял оружие,
Божьим воином стал храбрый муж.

V

Собирались в Хохмат люди горные,
Серебро звенит военное,
У дверей пивоварни топчутся.
Минди, Мамука врагами богатые
И Хирчлей переступил порог,
По заслугам муж захваленный.
Женщины мужчин сторонятся,
В черных косынках праздничных,
Пиво пьют, поют, забор городят
Из голов бараньих обглоданных.
Сильными устами молится
Апшина, хевсурский староста,
Пред иконой он, как выборный,
За народ и мир предстательствует:
— «Охраняет Георгий Мученик,
Дорогие Хевсуры, ваши хижины,
Подставляет к победе лестницу,
На задворки смерть выпроваживает.
Говорю вам, победители,
По земле ходите радостно». —
До сих пор округа Блойская
По ночам слышит стон жалобный,
Добровольно сердце геройское
Схоронило себя заживо.

[1923].

467. ЭТО ЗЫБЬ

Это зыбь, это зыбь — спокойная моряна,
Вскипающая пред зарей,
Поющая с утра, как юная Светлана,
Любовь и русый волос свой.
Зыбь, льнущая к пескам, пространства орошая
Душистой выжимкою вод,
На горле выпуклом разнеженно качая
Гребцов коричневый народ.
Потом другая зыбь из этой светлой спячки
Выходит для свирепых буч,
Раздутым теменем большеголовой качки
Колотит крышу низких туч,
Потом мычащею и скачущей пучиной
В квадрате молнийных зрачков
Бежит соленою бугристою долиной
Размахом тысячи быков.
И, выбелив себя до взбитой гневом пены,
Блуждает, влажный рот кривит,
Царапает песок береговой арены,
Как умирающий хрипит.
И, корибанткою, вконец перебесившись,
Вдавив бедро в намёт песков,
Кидает с кровью нам, обратно в ил свалившись,
Горсть человеческих голов.

[1923].

468. КОБЫЛА

О, корсиканский зверь с прямыми волосами,
Ты помнишь мессидора ясь:
Без бронзовой узды с златыми удилами
Кобылой Франция неслась.

Кобыла дикая трясла мужицким крупом,
Дымилась кровью королей;
По древним овидям, топча тяжелоступом
Освобожденный грунт полей.

Ах, к ней никто еще не приходил зевая,
Чтоб оскорбить, иль чтобы смять,
И сбруи чужака она еще не знает
И на седло не ей пенять.

Всей кожей лоснилась высокая дикарка.
Взгляд прям. Дрожит могучий круп.
И вдруг на целый мир весенним ржаньем гаркнет,
Как тысяча веселых труб.

Явился ты: взглянул на сильных ног затеи
И на крутую стать боков,
Вцепился в гриву ей, кентавр с короткой шеей,
И смял движеньем каблуков;

И зная, что она любила ружей шорох,
Дымок и барабанов дробь,
Ты выпустил ее скакать в земных просторах —
Ей показал сражений лоб!

Всегда на воздухе встречая ветер хлесткий,
Всегда в бою, всегда как вихрь,

Хрустя убитыми, как гравием приморским,
По щиколотку в их крови —

Пятнадцать лет она под черствою эгидой
Топтала нежный луг племен,
Пятнадцать лет топтал битюг по праву ига
Народных прав зеленый сонм;

И, наконец, устав по рытвинам, бурьянам
Мотаться крупной головой,
Громить вселенную, вздымая пыль воланом,
И будоражить род людской;

И вся в испарине до темного румянца —
Как бы осечкою колен —
Споткнулась и сдалась на милость корсиканца —
Но ты, палач — без перемен:

Строга́я ей бока, ломая позвоночник,
Ты взвил струной свою рабу —
И бешеной узды холодною цепочкой
Рванул ей нежную губу;

И в поле, где война цветет, как море гречи,
Стальной огрызок теребя —
Она, как на ковер, упала на картечи,
На ребра положив тебя.

[1923].

469. ДЖИН

Сумрачный гений, бог наших веселий,
Сын можжевельника, брат пивного хмеля,
Северный Вакх, отравитель хижин,
Этим гимном, джин, ты не будешь обижен.
Гимн хрипоты, царапаний и стуков,
Который слагается из крючковатых звуков:
Это демон, покровитель водки,
Плюнул в праздник из железной глотки;
Столкновенье жбанов над дубовыми столами,
Как будто сто кентавров столкнулись вместе
лбами,
И, слушая буйные пьяниц голоса,
Шелестели ужасом толстые леса.
Бог городов, тебе жизнь человека,
Его день, его ночь принадлежит от века,
Гавань, скверы, ночные фонари,
Темные предместья и глухие пустыри...
Джин, джин, мальчик, лей в стакан,
Золотое солнце, оранжевый туман.
К чорту портвейна маленькие рюмки,
Выдумали шерри и мадеру недоумки,
Старенькую Англию хотели опоить.
Нам в дворцах собачьих так нельзя платить.
И потом после джина вино это пресно.
Вино хорошо для немощи телесной,
Для слабых и робких хорошо иногда,
В сравнении с джином вино — вода.
Да здравствует джин и мрачный стол таверны,
Тусклая гостиница и потолок неверный.
Эй, безумье, колоти горшки,
Где ты, смерть, поливай черепки.
Смерть дикий грохот — увы — услыхала

И добросовестно на работу встала
И сильную руку кладет как таран
У дверей подвальчика на плечо англичан.
Даже тиф и язва моровая
Так не преследуют нищего бугая,
Даже лихорадка, вливая в уши звон,
Бедняку наносит меньший урон.
Желтеет, как пемза, канареечный камень,
Из потухших глаз вглубь убегает пламень,
А потом глупеет, как болван глядит,
Разве только ноги исправно волочит.
И на первом углу, на мосту, на аллее
Падает, как лошадь, под залпом батареи
И как деревянный, не сгибая ног,
Падает на камень, на асфальт, на песок.
Один, забравшись в парк, как только свечерело,
К толстому дереву подвешивает тело,
Другой, соблазнившись высотой моста,
Прыгает в воду, где глубь и чернота.
Всюду смерть, качаясь, куролесит,
Всюду джин людское тесто месит.

[1924].

470. МЯТЕЖ

Как будто ураган верхи дерев нагнул,
Летит предместьями глухой и низкий гул:
Дверные молотки бьют в бронзовые доски,
Страх бьет без промаху. И женщин, и детей
Простоволосый плач до старческих ушей
Добрался. Все дрожат. Еще одна минута,
И каждый добежит до своего закута.
Попрятались, и вдруг колючая метла

Весь многолюдный сор на улице смела.
Тогда мятеж, мятеж на каблуках дерзанья,
Народный гонит вал, в ладоши бьет восстанье.
В щетине криков весь, сам тысяча голов,
Сверяет мощь своих набухнувших рядов
И набережных вдоль, на каменной постели
Кричит, как женщина, тяжелая от хмеля.

[1924].

471. 1793

Когда корабль столетний государства
Устал греметь горохом недовольства,
Открытый всем, как решето, дырявый,
В кромешный мрак, в барашковое море —
Террора ветер в парусах раздутых —
Он на удачу вышел за свободой.

И со своих гранитных побережий
Следили жадно короли Европы
За оползаньем медленным империй,
Как будто горбоносые пираты,
Как чайки трупоедные, монахи
Наметили пловучий гроб французов.

А он, худой, гигант с прозрачной кожей,
На удивленье выпрямился килем,
Народ героев нанизал на реи,
Поднес фитиль к давно оглохшим пушкам
И выстрелил четырнадцатью армий, —
И в берега свои вошла Европа.

О, мрачный год, о, девяносто третий,
Большая тень в крови и темных лаврах,
Не поднимайся с сумрачного ложа:
Тебе нельзя глядеть на наши войны,
В семье отцов мы — жалкие пигмеи, —
Ты посмеешься нашей тощей битве.

Твое старинное погасло пламя,
Кулак разжался, и душа заглохла, —
Нет к побежденным мужественной ласки,
А если в сердце иногда проснется
Запальчивость, — короткое дыханье
Не более, чем на три дня, хватает.

[1924].

МАКС БАРТЕЛЬ
(р. 1893)

472. КЛИЧ

Вставайте с мрачного ночлега
Тупого данники труда —
Чтоб знамя красное сразбега
Лесной вершине передать!
Учитесь властвовать собою
Как дух творца-формовщика:
Ведь перед красною судьбою
Тверда литейщика рука!
Цветочную ли холить грядку,
Когда торчит в амбарах гром?
Лизать ли барскую перчатку,
Когда штурмуют старый дом?
Да будут вам примером трудным
Дерев зеленые верхи:
Корням доверившим подспудным,
Средь голубых шумят стихий.
Так не пора ли вынуть жребий,
На громовой призыв скрепясь?
Вам должно головой стать в небе
И сохранять с землею связь!
И брызнет сок из муравьиной,
Из черной мастерской корней,
И разольется до вершины
В зеленых щупальцах ветвей.
Еще царюет ночь-дикарка
И полыхает в сердце тень, —
Но в кузнице страданья жаркой
Изображен грядущий день.

Язык грядущего богатый:
В нем орлий крик, огонь и крепь.
Скрепясь, ломайте казематы,
Кандальную дробите цепь!
Так воспаленными словами
Мятеж посеял я в стране,
И мне повиновалось пламя —
Затем, что я стоял в огне.
И сердце вместе с ураганом
Швырнуло вызов небесам:
Крепчайший ствол гудит органом,
Но прежде всех он рухнет сам.
Дыханье масс! Сердцебиенье!
Рукопожатий переплет!
Сначала взлёт. Потом паденье,
Потом скрип каторжных ворот.
Дня запечатано сиянье,
Везде решетки и волчки,
Как лозунги знамен восстанья,
Бушлат, разорванный в клочки.
Действительность глаза мне режет,
Товарищи лежат в бреду.
Я слышу отреченья скрежет.
Отказ. Конец. Куда пойду?
Но хладнокровно и умело
Я сердце вылущил в груди.
Тогда железо мне пропело,
Прогромыхала цепь: иди!
По всем дорогам, твердым шагом,
Я шел, не опуская глаз, —
Любовь по роковым оврагам
Спасает мужественных вас.

[1924]

473. КАРЛ ЛИБКНЕХТ

И был среди них молодой паладин,
Спокойного мужества взор.
Он сам положил дерзновенный почин,
Предательский сжег кругозор.
Он был закален для высоких боев
И двигался мерно вперед,
И сколько за ним шелестело шагов,
Не знал, отправляясь в поход.
Когда отступили назад шептуны,
Когда окривели вожди
И ржавое слово, как нож со спины,
Ударил тех, впереди, —
Карл Либкнехт стоял неподкупен и прям.
Вся свора кричала: «война!»
А ты одинокий товарищ, врагам:
«Разбойничья, — крикнул, — она!»
Кого обливали ушатом молвы,
Как тебя, от макушки до пят?
Где шапка для гордой твоей головы,
Наш бледный, наш замкнутый брат?
Зане, отправляя войны ремесло,
Умрет и убийца тупой,
Но словом прижечь воспаленное зло
Сумеет лишь чистый душой!
Простым, благородным и гибким клинком
Владея, он бьется в упор,
И лживый туман «патриотов» огнем
Казнит его едкий прозор,
И в стоптанных рыжих своих башмаках,
Под градом насмешек косым,
Народ наблюдал на углах, в воротах
За верным трибуном своим.

В последнем сраженьи стоять одному,
Посмешищем челяди быть
И в каторгу рухнуть, в ночную тюрьму,
Запечатать себя, схоронить;
Но имя твое выговаривал гром,
В теснинах измены ворча,
Как башня в грозу, ты стоишь под огнем,
Стыду говоришь: «отвечай!»

Я знаю: еще продолжается бой
С спесивой породой господ.
Я знаю: ты — Зигфрид из саги седой,
Солдат и рабочих оплот;
Но с холодом утра в простых волосах
Ворвется к тебе молодежь.
Как лебедь подымут тебя на руках!
Карл Либкнехт, ты не умрешь!
И был среди них молодой паладин.
Спокойного мужества взор.
Он сам положил дерзновенный почин,
Предательский сжег кругозор.
И в стоптанных рыжих своих башмаках,
Под градом насмешек косым,
Народ наблюдал на углах, в воротах
За верным трибуном своим.

474. МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ

Мой шаг звучит
Поутру рано
Средь мастерских
Чужого стана.
Еще дрожит
Звезда в притине,
На ней ярма
Нет и впомине.
Звезда, как пух
В седое утро.
Проснулся труд,
Дрожите, трутни.
Кузнец кует
Подкову — время.
Но где же день
Желанный всеми?
Кулак. Огонь
Молниевидный...
А новых звезд
Не видеть — стыдно.

475. МАЙ МЕСЯЦ

Май месяц к каторжным пришел
Высоким воротам,
Он красной зеленью расцвел,
Стал как тростинка прям.
До крови закусил губу,
Скрепился, сам не рад,
И в каменном мешке, гробу
Разбил зеленый сад.

Бот на прогулку поднялся
Весь полосатый сброд,
И голубеют небеса,
И нежный сад цветет.
Все без вины клянут судьбу —
Невыносимый срок —
И слышат в каменном гробу
Девичий голосок.

Уж лучше к выходу ползти,
Как красноглазый крот,
Чем кругом мельничным идти,
Идти гуськом вперед.
И вот двенадцать человек
Решились на подкоп,
И все двенадцать за побег
Получат пулю в лоб.

476. ПТИЦА

Как дерево сердце в ночной тишине,
Но что-то сегодня не спится мне.
Птицы, растерзанные в бою,
В бедную келью стучатся мою.

И птицы нахохлились, птицы поют.
Мы рано встряхнулись, и там и тут.
Когда заиграет зорь румяный рожок
И солнце ночное осушит песок,

Из темных жилищ, из проклятых трущоб
Мы души рабочих, стряхнувших свой горб.

Фабричного корпуса строгая тень
Над нами висела и ночь и день.

На эти железные крылья взгляни,
Мы тяга рабочих в грядущие дни.
Гудок — наша песня, и камень — полет,
Наш клюв — человека искривленный рот.

О чем он задумался, что он таит, —
Все в нашем полете высоком звенит
И ярость, и жажда, и гнев.
Справедливая кровь ищет солнца, взлетев.

Священные птицы священной страны
Мы таранили ночь, толщу старой стены.
Своим ненавидящим, властным чутьем
Мы гнезда твои, революция, вьем.

477. МУЧЕНИКИ

С необъятного, вожделенного неба
Льются слезы свободы
На обнаженное темя народов.
Тяжкие капли!
Головы к небу растут.

Ни доброе дело, ни молитва, ни ладан
Не подымут раба до человека.
Сами себя спасают себялюбцы.
И, кирпичами греха нагруженный,
Тащится каждый в темную яму.

Народы развеются и соберутся:
Один другому преемник.
И на весах неподкупных
Справедливость
Народа взвесит.

Пусть мироборца ведут на распятье
С криком: Осанна!
Все-таки мученик перевесит
Груз поколений
Одной слезою.

478. СЕМЬ ЗЛАТОУСТСКИХ СКРИПАЧЕЙ

Семь златоустских скрипачей
Играют, сутулясь, без огней
В театральном холодном сарае.
Первая скрипка так нежна.
На ней играет старшина.
У него голова большая.
И те же семеро играют днем.
В скольжении напильников узнаем
Красавицу струнного строя;
Прислушайся к визгу железных пил:
Гармония песен, гармония сил
Задевает тебя за живое.
Старик с упрямым творческим лбом
Заскорузлыми пальцами водит смычком,
Старшина кузнечного цеха.
Товарищей семь и молотов семь.

Рыжая светится в кузнице темь —
И храп раздутого меха.
Есть дикая музыка в черном труде:
Самой высокой равны звезде
Рабочего рока взлеты,
Семь златоустских скрипачей
Играют, сутулясь, без огней
Во славу черной работы.

[1924].

ЭРНСТ ТОЛЛЕР
(1893—1939)

479. УТОПИЯ

Люблю внимать средь грохота и теми
Утопии заморским голосам:
По-старому еще бушует время,
По-новому шумят ее леса.

Угадываю наигрыш бесплотный,
Рожденный хриплой музыкой войны,
И звуки песни, прежде мимолетной,
В органный голос масс воплощены.

Утопия, под купол твой свинцовый,
Под твой сияющий зенит,
Под купол твой — лазорево-грозовый
Челн современника скользит!

Играет ветер пальмовой тесьмою,
И взбитый пеной воздух по холмам.
Заря девической ступнею
Идет по лаковым волнам.

Ты зрелой жизни изобилье,
Мать, на руках твоих прилечь,
И ветошь страха и бессилья
Смять судорожно, сбросить с плеч!

Ты золотым хрустящим хлебом
Накормишь по любви народ,
И под твоим шатровым небом
Земля для нищих расцветет.

Льнет к острову прибой громовый.
Под твой сияющий зенит,
Под купол твой лазорево-грозовый
Челн современника скользит!

[1925].

480. КИРПИЧНЫЙ КОРАБЛЬ

Под дымным вымпелом корабль кирпичный —
Огромный, на ходу, уверенный завод —
И пар, начальник музыки фабричной,
Дружину молотов ведет.

Ворчи, ворчи, несытая машина, —
Я укротитель твой: переведу рычаг —
Энергии моей обрушится лавина,
Сказал: хочу — и мне послужит враг!

Пускай по чуждому приказу
Я эти вещи создаю —
Великолепно помнит разум
Цель хладнокровную свою.

Плодотворит и освежает
Меня сталелитейный дождь,
Моя работа излучает
Народа солнечную мощь;

Как вырывает свет динамо
Божественное колесо —
Из стали мертвой и упрямой
Я жизни создаю кусок!

[1925].

ФРАНЦ ВЕРФЕЛЬ

(1890—1945)

481. ПРЕКРАСНЫЙ, СИЯЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Друзья, со мной беседуя, сияют,
Хоть раньше огорчалися не мало,
С веселием в чертах моих блуждают.
Их дружба в благородстве наверстала.

Достоинства черты меня стесняют:
Серьезность, сдержанность мне не пристала,
И тысячи улыбок вылетают
Из вечного, глубокого овала.

Я праздник Корсо в солнечную страду,
Южный базар под женскую беседу.
Набухла солнцем глаз моих сетчатка.

Сегодня я на свежий дерн присяду,
Вместе с землей на запад я поеду.
О, вечер, о, земля, как жить мне сладко!

АЛЬФРЕД ЛИХТЕНШТЕЙН

(1889—1914)

482. ПРОГУЛКА

Вот вечер с лунным светом и шелковый дымок,
Дороги утомились, и светлый мир широк.

Китайский пряный ветер порхает на холмах,
Серебряные крылья дрожат в моих зрачках.

В плечах раздалось тело, в нем вес земли моей,
Внизу мерцает город — сеть мощных фонарей.

Сейчас затеплит небо подсвечники свои.
Лик человечный ходит, огромный, вдоль земли.

РЕНЭ ШИКЕЛЕ

(р. 1883)

483. ТРОИЦА

Ангелы матерей
На улицу вышли,
Легче бьется суровое
Сердце отцов.
Пламя летит языками
И венком ложится
Каждому на лоб.

Ибо слух и лицо — одна бесконечность,
С человеком и зверем — один разговор,
Отвечает нам — «мы» все, что видит взор.
Дорожные ветлы-звучные песни,
И пульса удары, — чудесные гости,
Умирает цветущее в язычках молодого огня.

На плавниках своих качают небо рыбы
И золотые кольца плавают на лоне вод.
Танцует солнце на спине дворняги,
Из Божья образа выходят жизни глыбы
И в час единственный, в горящей этой влаге
Брат узнает сестру и радостно поет.

484. ТЕЛОХРАНИТЕЛИ

И я подчас иду сторонкой, смят, убит.
Есть полыханье крови, его нельзя унять.
Моя же кровь меня повсюду озарит,
Догонит славою подспудного огня.

Она содержит семя предков, ряд тяжелый:
Солдаты, мужики, бродяги, богомолы, —
Ряд жизней внутреннею теплотой
Мне согревает кровь, бежит за мной.

Я это чувствую, как щит, как ржу кольчуг,
Как крепостной кругом горящий ров:
Неразбериха мирозданья мнится вдруг
В кровавой паутинке, в сетке солнечных паров,
Чтобы скользило по глазам моим
То, что на вечный прок угодно им.
И в сердце возится горячий пульс корней,
И роет тьму восток, завещан мне вчерне;

И то, что якорем во тьму упал росток,
И о котором я не знаю ничего,
Как то, что двигался горячей воли ток,
Покуда мной не стал по цепи уст живой.
Вот гвардия моя, чуть одержим уроном,
Спешу с небесным я смешаться эскадроном,
Я руку поднял и мелькает роща рук,
Встал — духов конница расположилась вкруг!

Я чувствую во сне — так близко их бивак,
Уздечками обвесившись лежат, —
У них дыханье, жизнь, и как никак,
Когда один толкнет другого, спутав ряд,
Сейчас же звон начнется, гул паденья,
Все тело вовлекается в движенье, —
Как бы подъемника колодца переплеск,
То сердце матерей пронизывает мозг.

И вот, когда в прелестно-дикий час
Мне, всем, ручьи любви журчат

И россыпью ракет ночная твердь зажглась,
И тьмой смыт каждый циферблат,
В звездах прозрачно зеркало морское,
И клонит плод бесстыдство золотое,
Свет от меня бежит в нивесть-страну,
Морей окраинных курчавлю я волну.

И я подчас бываю смят, убит, —
Мне полыханье крови не унять,
Моя же кровь меня повсюду озарит,
Догонит славою подспудного огня.
Она содержит то, чем предки — ряд тяжелый:
Солдаты, мужики, бродяги, богомолы,
Телохранители мои спасут меня.

485.

Три тысячи людей стояли плечом к плечу.
Был запах голода, болезни и зависти.
Сквозь плотный воздух, сквозь густой туман
Глядели вверх на красную корму трибуны,
Пылающие лица мужчин, цвета земли и трупа,
И в колтуне волос блуждающие лица женщин.
Зрачки, как зажигательные стекла,
Лучили свет; был страх и жажда братства.
Горячее дыхание стоявших сзади щекотало шеи
Передним. Люди казались вдавлены друг в друга
И спаяны могуществом дыханья.
То Апокалипса на воздух рвался зверь
Огромный, в чепце сердец горящих,
А голос с кормовой трибуны, в красной дали
гремел:

«... Довольно лжи... прочь мягкотелость...
Право
Сильнейшего... работою он создал мир —
Мне — плод моих трудов!
Прочь с жалостью и робким двоедушьем!
Да здравствует война!
Бог требует кровавой жертвы: это
Наш дух, наших детей. Исходят кровью люди
Повсюду, медленно, и в радости и в скорби.
Труд есть война. Изобретем сигналы,
Длинные марши этих столкновений,
Где человек огромный, тайный дух свой предает —
Опеке человеческого бога — старика,
Орущего в грозовую погоду.
То будет наша война.
И наш честолюбивый подвиг.
Унынье прочь!

Учитесь, люди, умирать геройски,
Чтобы других вскормила тень вашей смерти.
Навстречу неизбежности, навстречу богу-духу,
Которому граним громады слов,
Образы-глыбы,
Столетних вожделений.
Уже выходит из мгновений вечных,
Как победитель, наш двойник навстречу.
Вся плоть должна погибнуть, —
На то духовная дана мне власть.
Да здравствует свобода,
Что силу одиночки
С другими свяжет.
Так, чтобы каждый род
В свободном состязаньи
Свой Пантеон построил...

Свобода: честолюбия кремень,
Сил зажигательница,
Страсти будительница.
И завершение будет от сердца найдено —
От рук исполнено.
Дорогу красоте,
Что вызвездит из жажды,
Как крупная, вечерняя звезда.
Красота — естественность,
Улыбку узнавшая свою — ничто иное,
Настройщик мира любит улыбаться,
Это знает каждый,
Кто раз подумал о своей работе.
Пусть крепнет бог, наш дух,
Кто служит совершенству, примет ужас
От вечности.

Пусть честолюбие, на службе духа крепнет,
А властолюбец проклят будь.
Рабы освобождаются,
Найдутся короли у вас в семействе,
Есть верность, и живая красота,
И справедливость, что сплетет нам венок.
Своей работы будем господами,
Ребячливы и веселы.
Игрой зеркал свободных мы заглянем
В лицо друг другу, повторяя: «люди» . . .
Три тысячи людей стояли плечом к плечу,
Вдали оратор оборвал . . .
Три тысячи людей смешались, плача.

486. МАЛЬЧИК В САДУ

Я сжимаю и перекладываю свои руки,
Беспомощно держу их на весу.
Вечер. Любимые мои руки.
Колокольчики майские в темноте звенят.

И молочно-белые запахов зыблятся ткани,
Вдыхаем пар от цветников, друг к другу
прикурнув.
В последнем блеске дня мерцают тюльпаны,
Сирень журчит из дышащих кустов,
К земле примостилась светлая роза.

Славные мы все люди,
А за версту, сквозь голубую ночь
Льется приглушенный бой часов.

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА
(1304—1374)

487.

Как соловей сиротствующий славит
Своих пернатых близких ночью синей
И деревенское молчанье плавит
По-над холмами или в котловине,

И всю-то ночь щекочет и муравит,
И провожает он — один отныне —
Меня, меня — силки и сети ставит
И нудит помнить смертный пот богини.

О радужная оболочка страха!
Эфир очей, глядевших вглубь эфира,
Взяла земля в слепую люльку праха —

Исполнилось твое желанье, пряха!
И, плачучи, твержу: вся прелесть мира
Ресничного — не долговечней взмаха.

Декабрь [1933—январь 1934.
Москва]

488.

Река, разбухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы,
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых...

Дол, полный клятв и шепотов каленых,
Тропинок промуравленных изгибы,
Силой любви затверженные глыбы
И трещины земли на трудных склонах.

Незыблемое зыблется на месте,
И зыблюсь я. Как бы внутри гранита
Зернится скорбь в гнезде былых веселий,

Где я ищу следов красы и чести,
Исчезнувшей, как сокол после мыта,
Оставив тело в земляной постели.

Декабрь [1933—январь 1934. Москва]

489.

Когда уснет земля и жар отпышет
И на душе зверей покой лебяжий,
Ходит по кругу ночь с горящей пряжей,
И мощь воды морской зефир колышет.

Чую, горю, рвусь, плачу — и не слышит —
В неудержимой близости все та же —
Целую ночь, целую ночь на страже, —
И вся, как есть, далеким счастьем дышит.

Хоть ключ один — вода разноречива —
Полужестка, полусладка... Ужели
Одна и та же милая двулична?

Тысячу раз на дню, себе на диво,
Я должен умереть на самом деле —
И воскресаю так же сверхобычно.

Декабрь [1933]—январь [1934.
Москва]

490.

Промчались дни мои, как бы оленей
Косящий бег. Срок счастья был короче,
Чем взмах ресницы. Из последней мочи
Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений.

По милости надменных обольщений
Ночует сердце в склепе темной ночи,
К земле бескостной жмется, средостений
Знакомых ищет — сладостных сплетений . . .

Но та, что в ней едва существовала,
Днесь, вырвавших наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.

И я догадываюсь, брови хмуря,
Как хороша, к какой толпе пристала,
Как там клубится легких складок буря.

4 января 1934. Москва.

491. *[Вариант]*

Промчались дни мои, как бы оленей
Косящий бег. Поймав немного блага
На взмах ресницы, пронеслась ватага
Часов добра и зла, как пена в пене.

О, семицветный мир лживых явлений —
Печаль жирна и умиранье наго!
А еще тянет та, к которой тяга,
Чьи струны сухожилий тлеют в тлене.

Но то, что в ней едва существовало,
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало,

И я догадываюсь, брови хмуря,
Как хороша, к какой толпе пристала,
Как там клубится белых складок буря.

4—8 января 1934

ПЕРВЫЕ РЕДАКЦИИ НЕКОТОРЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА

27а.

Качает ветер тоненькие прутья,
И крепнет голос проволоки медной,
И пятна снега — яркие лоскутья —
Все, что осталось от тетради бедной . . .

О небо, небо, ты мне будешь сниться,
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

Жемчужный почерк оказался ложью,
И кружева не нужен смысл узорный,
И только медь — непобедимой дрожью —
Пространство режет, нижет бисер черный.

Разве я знаю, отчего я плачу —
Я только петь и умирать умею.
Не мучь меня: я ничего не значу
И черный хаос в черных снах лелею!

51а. ТЕННИС

Средь аляповатых дач,
Где скитается шарманка,
Сам собой летает мяч —
Как волшебная приманка.

Кто, смиривши грубый пыл,
Облеченный в снег альпийский,
С резвой девушкой вступил
В поединок олимпийский?

Он творит игры обряд
Так легко вооруженный,
Как аттический солдат,
В своего врага влюбленный!

Вижу мельницы, как встарь,
И гребцов на Темзе кроткой;
Завладел спортсмен-дикарь
Многовесельною лодкой.

Вижу стадо у воды;
Стерегут овец овчарки.
Без седла и без узды
Пущен конь на клевер яркий.

Это Англия цветет —
Остров милый и веселый...
Здравствуй, тенниса полет,
Полотно и локоть голый. 1913

58б. ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЛУНУ.
(Вариант)

У меня на луне
Вафли ежедневно,
Приезжайте ко мне,
Милая царевна!
Хлеба нет на луне —
Вафли ежедневно.

На луне не растет
Ни одной былинки,
На луне весь народ
Делает корзинки,
Из соломы плетет
Легкие корзинки.

На луне полутьма
И дома опрятней,
На луне не дома —
Просто голубятни,
Голубые дома —
Чудо-голубятни.

Убежим на часок
От земли злодейки!
На луне нет дорог
И везде скамейки —
Что ни шаг, то прыжок
Через три скамейки!

Захватите с собой
Молока котенку,
Земляники лесной,
Зонтик и гребенку...
На луне голубой
Я сварю вам жженку. 1914

354а.

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и голодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен —
Благословенны дни и ночи те
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай собак и ветер косит,
И беден тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит. Январь 1937. Воронеж

ПРИМЕЧАНИЯ. ВАРИАНТЫ. РАЗНОЧТЕНИЯ.

Когда редакторы этого издания произведений Осипа Эмильевича Мандельштама, издания, наиболее приближающегося к типу полного собрания сочинений, приступили к подготовке его к печати, перед ними, редакторами, сразу же встал целый ряд вопросов большей или меньшей сложности. Располагать ли произведения в строго хронологическом порядке, не придерживаясь их распределения на авторские циклы-книги, или сохранить, хотя бы в основном, авторское распределение стихов и прозы, а произведения, при жизни автора не собранные им в книги или даже неизданные вовсе, распределить уже только по жанровому признаку (стихотворения, художественная проза, очерки, рецензии и т. д.), а внутри каждого раздела расположить их в строго хронологическом порядке? Дело в том, что в книге «О поэзии», например, автор явно не придерживался хронологического порядка, рассматривая в разное время написанные статьи и очерки в качестве глав или органических частей единой книги, причем их порядок расположения был продиктован совершенно определенным авторским замыслом. Хронологический принцип нарушен и в книге «Египетская марка», в которой одноименная повесть предваряет значительно ранее написанные прозаические миниатюры «Шума времени». Еще сложнее вопрос о помещении той или иной редакции неизданного произведения в основной корпус книги — или в раздел вариантов и разночтений. Ряд стихотворений Мандельштама сохранился в нескольких редакциях, часто весьма отличающихся от первого по времени варианта. Однако весьма трудно решить — какую редакцию принял бы сам автор: иногда же две редакции одного и того же стихотворения датированы одним днем — в этом случае нельзя сказать — какая редакция является более ранней. Да кроме того, было бы весьма опрометчиво решать, что более поздняя ре-

дакция всегда «отменяет» предшествующую: нередко автор возвращается к редакции ранней. Тем более, что на взгляд редакторов многие из вариантов — равноценны. Перед редакторами вставали и другие вопросы, например, вопрос о том — куда поместить незаконченные произведения, черновые наброски, фрагменты утраченных или уничтоженных вещей? Как быть с публикацией шуточных произведений автора, чаще всего сохранившихся в чужой записи, записи по памяти — в воспоминаниях близких к Мандельштаму лиц?

Редакторы настоящего собрания сочинений Мандельштама сохраняют разделы, на которые сам автор смотрел не как на случайные, вызванные теми или иными — зачастую чисто издательскими — причинами, а как на что-то внутренне замкнутое, органически цельное. Так, в последнем прижизненном сборнике своих стихов — в книге «Стихотворения» 1928 г. — Мандельштам сохранил деление входящих в книгу произведений на три раздела: 1. Камень; 2. Tristia; 3. 1921—1925. В последний раздел он включил стихи, написанные им после второй книги своих стихов — «Тристий». А вот свою «Вторую книгу», представляющую частичное повторение «Тристий», Мандельштам не счел чем-то органически-целым, и ряд включенных в нее стихотворений перенес в сборнике 1928 года в раздел «1921—1925». Внутри каждого раздела редакторы расположили стихотворения в хронологическом порядке, руководствуясь отчасти расположением их в сборнике 1928 года. Все исключения из этого принципа распределения оговорены редакторами в примечаниях к отдельным произведениям. Так, одно из стихотворений перенесено редакторами из «Камня» в «Тристии» на основании даты его написания; «Сыновья Аймона» и «Начало 'Федры'» перенесены в отдел Переводов и подражаний; хронологический порядок нарушен в цикле «Восьмистишия» в разделе несобранных в книги и неизданных стихотворений Мандельштама, так как автор — судя по наиболее авторитетным спискам его неизданных произведений — объединил в этом цикле (и притом в строго установленном порядке) стихотворения разных лет. Что касается прозы, то в разделах «Египетская марка» и «О поэзии», соответствующих одноименным книгам автора, вышедшим прижизненно, ре-

дакторы не сочли себя в праве нарушать его волю и сохранили авторский порядок расположения материала. Произведения, при жизни автора не собранные в книги или неопубликованные, редакторы распределили по жанровому признаку, а внутри каждого раздела — в хронологическом порядке.

Таким образом, первый том настоящего собрания сочинений состоит из следующих разделов: Камень; Tristia; Стихотворения. Книга 1928 г. Раздел 1921—1925; Стихотворения, не собранные в книги стихов автора и неопубликованные; Книги стихов для детей; Шуточные стихотворения; Переводы и подражания. Выделение шуточных стихотворений было неизбежно: чаще всего это даже не записанные автором произведения, а шутки и экспромты, сохранившиеся в памяти его друзей. Отдел переводов и подражаний не включает всех известных нам переводов в стихах: так, в него не включена книга избранных стихотворений немецкого пролетарского поэта Макса Бартеля в переводе Мандельштама: «Завоюем мир!», Москва, 1925. Эта книга переведена поэтом только для заработка и представляет — и в немецком оригинале, и в переводе — столь незначительную художественную ценность, что загромождать ею собрание сочинений просто нерационально. Представление о переводах Мандельштама из Макса Бартеля дают помещенные в нашем собрании несколько стихотворений. Далек от полноты и раздел шуточных стихов.

Второй том нашего собрания — проза — состоит из разделов: Египетская марка (Египетская марка; Шум времени; Феодосия); Путешествие в Армению; Четвертая проза; Очерки, Воспоминания, Репортаж; О поэзии; Очерки и статьи о литературе, не включенные в книги автора; Рецензии; О художественных переводах; Отрывки из неразысканных и утраченных статей; Письма в редакцию; Высказывания Мандельштама о поэзии в записях его собеседников.

Третий том — проза — включает ряд очерков и статей Мандельштама; записи ранних редакций его прозаических произведений и подготовительные материалы к ним; письма; опыт библиографии публикаций Мандельштама и литературы о нем.

В отношении произведений, опубликованных при жизни

автора, мы, как правило, придерживались последних авторских редакций, делая исключение только в тех случаях, когда изменение более ранней редакции было вызвано отнюдь не литературными соображениями. В каждом отдельном случае это возвращение к более ранней редакции нами оговорено, а все разночтения и варианты указаны в примечаниях. Особенно много случаев подобного обращения нашего к более ранним редакциям в разделе очерков «О поэзии», во втором томе нашего собрания.

Гораздо более сложным является вопрос об установлении текста неизданных при жизни автора произведений, особенно — стихотворений. Мы не знаем, уцелели ли подлинные рукописи Мандельштама. Во всяком случае, в России по рукам ходят списки с его стихотворений 1930—1937 гг. Есть основание думать, что некоторые из них восходят к спискам, сделанным с рукописей поэта его вдовой, Н. Я. Мандельштам. Некоторые из этих списков разными путями проникли за последние несколько лет в свободный мир. Сказать, сколько стадий переписки они прошли, невозможно. В каждом из этих списков, достаточно многочисленных, даже в списках наиболее авторитетных, восходящих к непосредственно переписанным с рукописей поэта, — весьма много пропусков, путаницы, прямых описок, плохо разобранных переписчиками слов. Приходится не только тщательно сличать списки, но и проверять их по цитатам из неизданных стихов Мандельштама в воспоминаниях И. Эренбурга («Люди. годы, жизнь», 1961), статье Коваленкова «Письмо старому другу» («Знамя», 1957, кн. 7) и другим источникам, сверять со словарем, образами, стилем изданных стихотворений Мандельштама соответствующих лет, просто, наконец, руководствоваться интуицией, опирающейся на знание мандельштамовской поэзии.

Однако, к моменту подготовки к печати второго издания первого тома Мандельштама мы получили счастливую возможность не только значительно дополнить наше собрание новыми текстами, но и сверить значительное большинство наших текстов с наиболее авторитетными списками и, частично, даже некоторыми рукописями автора. Поэтому настоящее издание не является перепечаткой первого, а изданием исправленным и значительно дополненным: количество вновь включенных в первый том текстов превышает

60. Кроме того, после выхода в свет нашего первого тома (в 1964 г.), ряд стихотворений Мандельштама, ранее известных нам по спискам, был опубликован в советской печати, в частности, вдовой поэта, Н. Я. Мандельштам, — и это тоже дало нам возможность сверить и в некоторых случаях исправить наши тексты.

Не так легко было и разрешить вопрос о разных редакциях одного и того же стихотворения, редакциях зачастую столь отличающихся друг от друга, что мы принимаем иной раз две-три редакции за два или три совершенно самостоятельные стихотворения. Трудно решить, какую редакцию принял бы автор, при публикации произведения, в качестве основной и наиболее полноценной. Нередко обе редакции художественно одинаково совершенны, иной раз мы имеем более распространенную и более краткую редакцию одного и того же стихотворения. Какую же редакцию поместить в основной корпус книги, а какие в раздел вариантов и примечаний? В большинстве случаев мы помещали в с е редакции в основной корпус книги, условно помечая следующие за принятыми — также условно — за основные редакции словом «Вариант». К такому решению привело нас и отнесение самим Мандельштамом одного из вариантов опубликованных стихов к основному корпусу его книги «Стихотворения», 1928. Там, сразу же за стихотворением «1 января 1924», следует в а р и а н т этого же стихотворения: «Нет, никогда ничей я не был современник». Это стихотворение, помещенное в книге 1928 г. без названия, было опубликовано под названием «Вариант», еще до помещения его в книгу «Стихотворения», 1928, в альманахе «Ковш», кн. 1, 1925. Варианты Мандельштама часто написаны настолько в «ином ключе», что их можно — без загромождения основного корпуса второстепенным — публиковать в этом основном корпусе. Сравните, например, разные редакции стихов 1934 года, посвященных смерти Андрея Белого: каждая редакция представляет некую самостоятельную ценность. Такую же самостоятельную ценность представляют полная и краткая редакция стихотворения «Новеллино». А в таких случаях, как два варианта первого стихотворения из диптиха «Кама», совершенно невозможно решить — какую редакцию предпочел бы автор? Мы и поместили все подобные варианты в основной кор-

пус книги. Поместили мы в основной корпус и те из черновых набросков, незаконченных или частично уничтоженных стихотворений, которые мы не могли с полной уверенностью отнести к черновикам того или иного законченного стихотворения. Только тогда, когда такие наброски совершенно бесспорно могут быть отнесены нами к полностью законченным стихотворениям, мы помещали их в раздел вариантов, разночтений и примечаний.

В примечаниях мы зачастую приводим отрывки из разных книг и статей, как критических, так — главным образом — мемуарных. Эти цитаты являются материалами для будущей — сейчас еще неосуществимой — научной биографии Мандельштама, а, кроме того, помогут читателю представить обстановку, в которой создавалось то или иное произведение Мандельштама, реакцию на него литературной среды, иногда — оценку его советскими критиками-доносителями и т. д. Особенно важны такие примечания в разделе «шуточных стихотворений», совершенно непонятных без описания обстановки и обстоятельств, при которых эти шуточные стихи были созданы.

Из соображений экономии места наиболее часто цитируемые книги и статьи указываются в дальнейшем в сокращенной форме:

(Г.) А(дамович). По поводу Собрания сочинений Осипа Мандельштама. «Опыты», Нью-Йорк, кн. 6, 1956. — А. По пов. Собр. соч.

Г. Адамович. Несколько слов о Мандельштаме. «Воздушные Пути», альманах II, Нью-Йорк, 1961 — Г. Адамович. Неск. слов о Манд.

А. Ахматова. Мандельштам. В кн. Анна Ахматова. Сочинения. Том 2. Изд. Международного Литературного Содружества, 1967 — Ахматова.

В. Вейдле. О последних стихах Мандельштама. Там же — В. Вейдле. О посл. стих. Манд.

Ан. Волков. Знаменосцы безыдейности. «Звезда», 1947, кн. 1 — А. Волков. Знамен. безыд.

П. Громов. А. Блок и его предшественники. Изд. «Советский Писатель»; Москва—Ленинград, 1966 — Громов.

Н. Гумилев. Письма о русской поэзии. Изд. «Мысль», Петроград, 1923 — Н. Гумилев. Письма.

Г. Иванов. Петербургские зимы. Изд. «Родник», Париж, 1928 — Г. Иванов. Петерб. зимы.

Г. Иванов. Осип Мандельштам (Рецензия на собр. сочинений под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова). «Новый Журнал», Нью-Йорк, кн. 43, 1955 — Г. Иванов. Мандельштам.

Г. Иванов. Ответ гг. Струве и Филиппову. Там же, кн. 45, 1956 — Г. Иванов. Ответ.

М. Карпович. Мое знакомство с Мандельштамом. «Новый Журнал», Нью-Йорк, кн. 49, 1957, — М. Карпович. Мое знак. с Манд.

А. Коваленков. Письмо старому другу. «Знамя», 1957, кн. 7 — А. Коваленков. Письмо ст. другу.

Б. Лившиц. Полутораглазый стрелец. Изд. Писателей в Ленинграде, 1933 — Б. Лившиц. Пол. стрелец.

Артур Лурье. Чешуя в неводе. «Воздушные Пути», альм. II, Нью-Йорк, 1961 — А. Лурье. Чешуя в нев.

Артур Лурье. Детский рай. Там же, альманах III, 1963 — А. Лурье. Дет. рай.

С. Маковский. Портреты современников. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1956 — С. Маковский. Портреты.

Г. Маргвелашвили. Об Осипе Мандельштаме. «Литературная Грузия»;1967, № 1 — Маргвелашвили.

Ю. Марголин. Памяти Мандельштама. «Воздушные Пути», альм. II, 1961 — Ю. Марголин. Памяти Манд.

Вл. Марков. Предисловие к книге: «Приглушенные голоса. Поэзия за железным занавесом». Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1952 — В. Марков. Приглуш. голоса.

К. Мочульский. О. Э. Мандельштам. «Встреча», Париж, № 2, 1945 — К. Мочульский. Мандельштам.

И. Одоевцева. На берегах Невы. «Новый Журнал», Нью-Йорк, кн. 71, 1963 — И. Одоевцева. На бер. Невы.

И. Одоевцева. На берегах Невы. Там же, кн. 72, 1963 — И. Одоевцева. На бер. Невы, 72.

В. Пяст. Встречи. Изд. «Федерация», Москва, 1929 — В. Пяст. Встречи.

Вс. Рождественский. Страницы жизни. Из литературных воспоминаний. Изд. «Советский Писатель», Москва—Ленинград, 1962 — Вс. Рождественский. Страницы жизни.

Г. Струве. Итальянские образы и мотивы в поэзии Осипа Мандельштама. В сборнике "Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver", G. C. Sansoni Editore, Roma, 1962, pp. 601—614 — Г. Струве. Итальянский сборник; или просто — Итальянский сборник.

Г. Стуков. Новое о судьбе О. Мандельштама. «Мосты», изд. ЦОПЭ, Мюнхен, кн. 10, 1963 — Г. Стуков. Новое о судьбе Манд.

Г. Стуков. Еще о судьбе О. Мандельштама. «Русская Мысль», Париж, 5 февраля 1963 — Г. Стуков. Еще о судьбе Манд.

Г. Стуков. Неизвестное стихотворение Осипа Мандельштама. «Русская Мысль», Париж, 21 февраля 1963 — Г. Стуков. Неизв. стих. Манд.

Ю. Терапиано. Встречи. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953 — Ю. Терапиано. Встречи.

Ю. Терапиано. Осип Мандельштам. «Грани», Франкфурт/М., кн. 50, 1951 — Ю. Терапиано, Мандельштам.

М. Цветаева. «Мои службы», «Живое о живом», «Герой труда», «Нездешний вечер» — в книге «Проза», изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1953 — М. Цветаева. Проза.

М. Цветаева. Письма к А. Бахраху. «Мосты», изд. ЦОПЭ, Мюнхен, кн. 5, 1960, и кн. 6, 1961 — Письма Цветаевой Бахраху, кн. 5 или 6.

И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. 1 и 2-я. Изд. «Советский Писатель», Москва, 1961 — И. Эренбург. Люди, годы, жизнь.

И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Книга 3-я. «Новый Мир», 1961, кн. 9 — И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Нов. Мир.

Примечания, как и предпосылаемые им страницы с цитатами из некоторых критических высказываний о Мандельштаме, отнюдь не претендуют на роль некой «антологии отзывов» о поэте.

Отзывы многих участников «Цеха Поэтов» — Георгия Иванова, Георгия Адамовича — приводятся, главным образом, наиболее поздние, как наиболее содержательные и интересные. Некоторая неравномерность в размерах цитат объясняется иногда и большей или меньшей доступностью того или иного отзыва: некоторые из них помещались в

повременной печати, не так легко доступной читателю. Наконец, задачею редакторов вовсе не было дать общую сводку отзывов, а указать на все растущую и растущую роль поэта в литературной и вообще духовной жизни России, а также на пестроту в оценках разных периодов его творческой жизни.

• • •

«Есть небольшой, тесный круг людей, которые знают... — что Осип Мандельштам — замечательный поэт. Дождется ли он, однако, когда-нибудь широкого признания, как дождался его в наше столетие Тютчев, или хотя бы Анненский, — о сколько-нибудь 'широком' признании которого говорить, правда, не приходится, но к которому тянутся, и все настойчивее тянутся, нити какого-то особого, ревнивого восхищения... Будущее Мандельштама не ясно. Он может надолго, и даже, пожалуй, навсегда, остаться поэтом 'для немногих', — хотя, надо надеяться, эти 'немногие' не дадут себя смутить или переубедить скептическим недоумением так называемой 'толпы'». — Так начинает свою статью «Несколько слов о Мандельштаме» его младший сотоварищ по «Цеху Поэтов» Георгий Адамович (стр. 87).

Но так ли это? С каждым годом все более и более повышается не просто интерес, а т я г а к Мандельштаму, и уже не у отдельных представителей наиболее культурных читательских кругов как по ту, так и по эту сторону железного занавеса, но и у сравнительно широких кругов советского студенчества, не только при этом «гуманитарного», а и технического, даже среди далеко стоящих от м а н д е л ь ш т а м о в с к и х настроений слоев партийной интеллигенции. Некоторые фразы Мандельштама, как это ни странно, вошли даже в обиход, как поговорки — чего же больше? Ведь немногие поэтические фразы входят в разговорный обиход. А тут такой «идеологически выдержанный» поэт, как Александр Прокофьев, не называя даже имени Мандельштама, в своей речи на съезде писателей РСФСР в декабре 1958 года, приведя чьи-то весьма невразумительные стишки, в отчаянии восклицает: «Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать» (П е р в ы й У ч р е д и т е л ь н ы й С ъ е з д п и с а т е л е й Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и. Стенографический отчет. Москва,

1959, стр. 86). А рядовая советская студентка, уже в 1962 или 1963 году, в своем письме знакомой в Париж, писала, между прочим: «Был такой поэт на Руси — Мандельштам. Был он очень грустный и очень веселый и страшно застенчивый. ... Так вот, этот поэт говорил в таких случаях: 'ну, что вы, Иосиф Скерцевич! Все равно! Все равно!'» (Е. Пиотровская. Письма из Москвы. «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 27 октября 1963). Здесь показательно не только то, что цитируется неизданное, ходящее по рукам, стихотворение Мандельштама, но и что цитируется оно в густо перевранном виде, по слуху, очевидно, не слишком-то литературно-изысканным читателем. И еще одно свидетельство: послевоенный эмигрант С. Юрасов вспоминает в 1950 году, как Осип Мандельштам, «которого критика обвиняла в 'буржуазности', ответил известным стихотворением: 'я извиняюсь, но не изменяюсь'» (С. Юрасов. Поэтическое мученичество. «Народная Правда», Париж, № 7—8, май 1950, стр. 21). И опять: весьма неточная цитата из неопубликованных стихов Мандельштама, да еще приводимая в качестве поговорки.

Таких свидетельств немало. Но могут возразить на это, что все они свидетельствуют только о популярности отдельных хлестких фраз, отдельных хорошо запоминающихся строчек. Это, мол, отнюдь не говорит еще о широкой известности поэта, о признании его творчества читателем. Мало ли отдельных фраз не только поэтов и прозаиков, но даже философов вошло в наш обиход, и мы даже не отдаем себе отчета в том — кто же их создатель — и в каком именно контексте они находятся у их авторов. Но ведь уже и популярность отдельных строк говорит о многом. И не меньше говорит другое: стихи Мандельштама являлись и являются для многих паролем, по которому единомышленники в культуре и свободном слове узнают друг друга. Так, в одном из писем Ю. П. Иваску военнопленный советский студент, Юрий Галь, писал 2 января 1945 года: «Помните встречу Нового 1944 года? Пароль остается паролем:

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово

В первый раз произнесем...»

(«Опыты», Нью-Йорк,
кн. 4, 1955, стр. 99)

Поэт для поэтов, изысканный, но немного книжный певец «Камня», Мандельштам, начиная со своей второй книги —"Tristia", — становится поэтом не только своего поколения, но чем дальше, тем больше и больше поэтом революционных и пореволюционных поколений. Не случайно, что весь тираж, до последней книги, чеховского издания Мандельштама разошелся сполна. Не случайно, что книги Мандельштама, как и книги Клюева и Цветаевой, Ахматовой и Пастернака, покупаются в СССР из-под полы, притом по самым высоким ценам. Об этом много свидетельств, в том числе и в печати. Поэтому мы не стали бы, — вслед за Ю. П. Иваском — называть Мандельштама «поэтом для поэтов, поэтом для читателей, одержимых поэзией» (рецензия на Собрание сочинений О. Мандельштама, «Вестник Института по изучению СССР», кн. 2(19), Мюнхен, 1956, стр. 127). Конечно, широкая и неглубокая популярность — типа есенинской — Мандельштама минует. Но ведь и сам Пушкин, если говорить не о славе имени, а о подлинном знакомстве с ним, менее популярен, чем авторы стихов, насыщенных цыганской или пьяноугарной грустью. И это — слава Богу. Некоторые виды широкой популярности много хуже полной безвестности.

О том, что Мандельштам — не история, даже не живая история, а наше поэтическое (и более, чем только поэтическое) сегодня, свидетельствует и полная разноголосица в оценке разными авторами разных этапов и разных сторон его творчества. Такая разноголосица — самый лучший показатель: спорят только о том, что сейчас на потребу, что задирает за живое сегодня.

Первая книга поэта — «Камень», еще не тот, к которому мы привыкли, не книга 1916 года, а тоненькая брошюрка 1913 года, — была принята критикой более, чем благожелательно. Скорее хорошо. А сотоварищами поэта по акмеизму принята была почти восторженно. Один из «синдиков» Цеха Поэтов, фактический его возглавитель, Николай Гумилев писал: «Я не помню никого, кто бы так полно вытравил в себе романтика, не затронув в то же время поэта.

Эта же любовь ко всему живому и прочному приводит Мандельштама к архитектуре. Здания он любит так же, как другие поэты любят горы и море. Он подробно описывает их, находит параллели между ними и собой, на основании их строит мировые теории. Мне кажется, это самый удачный подход к модной теперь теории урбанизма» (Письма, стр. 179).

Другой «синдик» акмеистического Цеха — Сергей Городецкий — писал в те же годы: «Поэтическое оружие Мандельштама не плохо. Марка 'делано по Брюсову' уже не раз оказывалась хорошей... Словарь... не особенно богат, но чист... Спесь звездочетов абсолютно чужда Мандельштаму. Горделивая скромность каменщика отмечает всю его поэзию» (Музыка и архитектура в поэзии («Камень» Мандельштама). «Речь, № 162, 17/30 июня 1913). В стихах, написанных почти одновременно, Городецкий более восторженно приветствует Мандельштама:

О. Э. Мандельштаму

Он верит в вес, он чтит пространство,
Он нежно любит матерьял.
Он вещество не укорял
За медленность и постоянство.
Строфы послушную квадригу
Он любит, — буйно разогнав, —
Остановить. И в том он прав,
Что в вечности покорен мигу.

(С. Городецкий. Цветущий посох. Стихи. Изд. «Грядущий День», Петербург, 1914).

Через сорок пять лет, в ноябре 1958 года, тот же Сергей Городецкий — и не только из-за политических соображений и расчетов — совершенно изменил свое отношение к Мандельштаму и акмеизму. Он писал в своей автобиографии «Мой путь»: «Я все более разочаровывался в душном мистицизме символистов, в их стремлении к потустороннему. Мы организовали 'Цех Поэтов', куда вошли, кроме меня с Н. Гумилевым, Ахматова, Мандельштам, Зенкевич, Лозинский. Издавали журнальчик 'Гиперборей'. Выдумали 'акмеизм' (Гумилев предлагал 'адамизм'), устраивали диспуты. Нам казалось, что мы противостоим символизму. Но действительность мы видели на поверхности жизни, в лю-

бовании мертвыми вещами и на деле оказались лишь привеском к символизму и были столь же далеки от живой жизни... Я хотел привлечь и Блока в наш кружок, но он ответил убийственной статьей 'Без божества, без вдохновенья'» («Советские Писатели. Автобиографии в двух томах. Том 1, ГИХЛ, Москва, 1959, стр. 325). Несмотря на явную путаницу или прямую ложь (статья Блока, например, была написана через 7—8 лет после активного участия Городецкого в Цехе — в 1921 году), это признание само по себе интересно.

Второе издание «Камня» Николай Гумилев приветствовал особым «письмом о русской поэзии»: «Осипа Мандельштама уже около десяти лет знают и ценят в литературных кругах. Но только что вышедший 'Камень' является единственной его книгой, потому что маленькая брошюра под тем же названием быстро разошлась и почти не отражала сложных путей творчества ее автора. Прежде всего важно отметить полную самостоятельность стихов Мандельштама, редко встречаешь такую полную свободу от каких-нибудь посторонних влияний. Если даже наталкиваешься на тему, уже бывшую у другого поэта (что случается редко), он перерабатывает ее до полной неузнаваемости. Его вдохновителями были только русский язык, сложнейшим оборотам которого ему приходилось учиться, и не всегда успешно, да его собственная, видящая, слышащая, осязающая, вечно бессонная мысль. Эта мысль напоминает мне пальцы рингтонистки, так быстро летает она по самым разнообразным образам, самым причудливым ощущениям, выводя увлекательную повесть развивающегося духа. Первый период творчества Мандельштама, приблизительно с 1908 по 1912 год, проходит под знаком символизма, поскольку это зыбкое слово объясняет нам что-то. Поэт стремится к периферии сознания, к довременному хаосу, в царство метафоры, но не гармонизует его своей волей, как это делают верующие всех толков, а только испуган несоответствием между ним и собою. 'Silentium' с его колдовским призыванием до-бытия — останься пеной, Афродита, и слово в музыку вернись' — не что иное, как смелое договаривание верленовского l' Art poétique. Он чувствует в таинственном подлинную опасность для своего человеческого 'я' и боится ее звериным страхом. 'Что если, над модной

лавкою... У него даже метафора 'О, маятник душ строг — качается глух, прям...' приобретает почти зоологическое бытие. Однако, он еще не зоркий, он живет точно в полусне и так верно сам определяет свое состояние восклицанием: 'Неужели я настоящий, и действительно смерть придет?' Перелом совершается в стихотворении: 'Нет, не луна, а светлый циферблат'... С этой поры поэт становится адептом литературного течения, известного под названием акмеизма. Он прекрасно использовал знание, что ни один образ не имеет самостоятельного значения и нужен лишь затем, чтобы как можно полнее выявить душу поэта. Теперь он говорит о своей человеческой мысли любви или ненависти и точно определяет их объекты. Силой вещей, как горожанин, он стал поэтом современного города, хотя и не дивится, как заезжий пошехонец, автомобилям и трамваям и, заходя в библиотеку, не вздыхает о том, сколько написали люди, а прямо берет нужную книгу. Встречные похороны, старик, похожий на Верлена, зимний Петроград, Адмиралтейство, дворники в тяжелых шубах, — все приковывает его внимание, рождает в нем мысли, такие разнообразные, хотя и объединенные единым мироощущением. Все для него чисто, все предлог для стихотворения: и прочитанная книга, содержание которой он по-своему пересказывает ('Домби и сын'), и лубочная романтика кинематографических пьес ('Кинематограф'), концерт Баха, газетная заметка об имябожцах, дачный теннис и т. д., и т. д. Хотя все-таки он чаще всего думает об архитектуре, о твердынях парижской Notre Dame и Айя-Софии, и это — жадный взгляд ученика на творение мастера, ученика, смеющего воскликнуть: Из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам'. Но у человека есть свойство все приводить к единству; по большей части он приходит этим путем к Богу. О. Мандельштам пришел к кумиру, — его, полюбившего реальность, но не забывшего своего трепета перед вечностью, пленила идея Вечного Города, цезарский и папский Рим. Туда он несет усталые от вечных блужданий мечты и оттуда слышит архангельский хор, провозглашающий Славу в Вышних Богу и на земле мир, и в человецех благоволение. 'И голубь не боится грома'. Однако, и Рим — только этап в творчестве Мандельштама, только первый пришедший в голову символ мощи и величественности творчес-

кого духа. Поэт уже находит менее общие, более действенные образы для выражения того же чувства. 'Театр Расина! Мощная завеса...'. Все это касается проблем художественного восприятия. Проблемы художественного творчества намечаются в глубоких и прекрасных стихотворениях: 'Отравлен хлеб и воздух выпит' и 'Я не слыхал рассказов Оссиана', не считая более раннего 'Отчего душа так певуча'. Я наметил только некоторые линии в творчестве О. Мандельштама, но думаю, что и этого довольно, чтобы показать, с каким значительным и интересным поэтом мы имеем дело. В 'Камне' есть погрешности, слабые и запутанные стихотворения, режущие ухо ошибки против языка, но об этом не хочется ни думать, ни говорить при чтении такой редкой по своей ценности книги» (Письмо о русской поэзии. «Аполлон», 1916, кн. 1, стр. 30—32).

Известный ученый и критик, В. М. Жирмунский, писал: «Как всякая поэзия классического стиля, поэзия Мандельштама есть зодчество прекрасных форм. Какое дело нам до психологии зодчего, до его личных человеческих переживаний, если здание держится, подчиненное законам художественного равновесия...».

Весьма сложным было отношение Блока к Мандельштаму. К акмеизму Блок относился отрицательно. Не говоря уже о его известной статье 1921 г. «Без божества, без вдохновенья», отрицательные и пренебрежительные оценки акмеизма встречаются в его дневниках 1911—1921 годов. Так, 23 марта 1913 г., говоря о футуристах, Блок замечает: «Футуристы в целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеизм. Последние хилы... Футуристы прежде всего дали уже Северянина. Подозреваю, что значителен Хлебников. Е. Гуро достойна внимания. У Бурлюка есть кулак. Это — более земное и живое, чем акмеизм» (Собр. сочинений в 8 томах. Том 7, ГИХЛ, Москва—Ленинград, 1963, стр. 232). Но из общей — непроглядно-серой для Блока — массы акмеистов, Блок выделяет Ахматову и Мандельштама. Еще раньше, в письме к Андрею Белому от 6 июня 1911 г., когда Мандельштам только-только начал появляться в печати, Блок возмущается, что в «Антологию» Мусагета включены поэты второго сорта, и не включен поэт «лучшего сорта (по имени Мандельштам)» (там же, том 8, ГИХЛ, М.—Л., 1963, стр. 344). А вот еще

запись в дневнике, уже много позже, 22 октября 1920: «Вечер в клубе поэтов на Литейной, 21 октября ... Гвоздь вечера — И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь ... виден артист. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противоположность моему). Его 'Венеция'. По Гумилеву — рационально все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое. (В начале было Слово, из Слова возникли мысли, слова, уже непохожие на Слово, но имеющие, однако, источником Его; и все кончится Словом — все исчезнет, останется одно Оно)», (там же, том 7, 1963, стр. 371).

Совершенно не понял Мандельштама Валерий Брюсов. Зинаида Гиппиус пишет: «По тонкости **внешнего** понимания стихов — у Брюсова не было соперника ... **Внутреннего** же вкуса и чутья к стихам, предполагающего хоть какую-нибудь **любовь** к поэзии, у него совершенно не имелось. Случаев убедиться в этом у меня было много; вот один. Кто-то прислал ко мне очень юного поэта, маленького, темненького, сутулого, такого скромного, такого робкого, что он читал едва слышно, и руки у него были мокрые и холодные. Ничего о нем раньше мы не знали, кто его прислал — не помню (может быть, он сам пришел), к юным поэтам я имею большое недоверие, стихи его были далеко не совершенны, и — мне все-таки с несомненностью показалось, что они не совсем в ряд тех, которые приходится десятками слушать каждый день (приходилось бы сотнями, не положи я предела). В стихи этого юнца 'что-то попало', как мы тогда выражались. Решаю про себя, что мальчик не без способностей, и вызываюсь (в первый раз в жизни, кажется, без просьбы) где-нибудь напечатать стихи: в 'Русской Мысли', например; я пошлю их Брюсову'. Ответ получился не очень скоро, и даже между прочим, в письме по другому поводу. Ответ насмешливый, небрежный и грубоватый: что до вашего юнца 'со способностями', то таких юнцов с такими же, и даже бóльшими, способностями у меня слишком достаточно и в Москве. Советую

этому не печататься... Еще что-то было, в том же роде, если не хуже. Однако из юнца вышел, и необыкновенно скоро, — поэт, во всяком случае всеми за такового признаваемый, и даже по тщательности формы, по отделке ее, поэт в сорте Брюсова. Это был О. Мандельштам» (Сборник «Наши современники», I, изд. «Окно», Париж, 1924, стр. 220—221).

Анна Ахматова, как уже говорилось во вступительной статье Э. М. Райса и как будет видно из приводимых в примечаниях к отдельным стихотворениям цитат, считала и считает Мандельштама одним из самых больших, если не самым большим — поэтом современности. С Анной Андреевной Ахматовой Мандельштама связывала личная дружба (они познакомились в 1911 г. на «башне» у Вяч. Иванова, и дружеские их отношения, насколько нам известно, никогда не прерывались — революция их еще больше укрепила), и преклонение перед ее поэтическим талантом, и память о Н. С. Гумилеве. В 1928 г. Мандельштам писал Ахматовой из Крыма (отрывок из этого письма случайно стал известен заграницей): «...хочется видеть Вас. Знаете, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми — с Николаем Степановичем (Гумилевым. — Ред.) и с Вами. Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется».

Очень высоко расценивала творчество раннего Мандельштама — и называла его «державинским» — умная и глубокая Марина Цветаева: «Мандельштам.... не только русский, но определенной российской фамилии — поэт. Державиным я в 1916 году его окрестила первая: 'Что Вам, молодой Державин, Мой невоспитанный стих!'» (М. Цветаева. Проза, стр. 248). Вот это, посвященное Мандельштаму, стихотворение М. Цветаевой:

Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих верст.
Я знаю, наш дар — неравен,
Мой голос впервые — тих.
Что Вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!

На страшный полет крещу Вас:
Лети, молодой орел!
Ты солнце стерпел, не щурясь, —
Юный ли взгляд мой тяжел?
Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед...
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих лет.

12 февраля 1916.

(М. Цветаева. В е р с т ы, 1. ГИЗ, Москва, 1922, стр. 10).

В письме к А. Бахраху от 5—6 сентября 1923 г., уже после выхода «Тристии» и «Второй книги» Мандельштама, Цветаева писала: «Выбор слов — это прежде всего выбор и очищение чувств, но не все чувства годны, о верьте, здесь тоже нужна работа. Работа над словом — это работа над собой. ... Почему люблю Мандельштама, с его путанной, слабой, хаотической мыслью, порой бессмыслицей (проследите-ка логически любой его стих!) и неизменной МАГИЕЙ каждой строчки. Дело не в 'классицизме', — в ЧАРАХ...» («Мосты», кн. 6, стр. 329). Внутренне близкая к футуризму, Марина Цветаева писала тому же Бахраху, 25 июля 1923: «Из поэтов (растущих) люблю Пастернака, Мандельштама и Маяковского (прежнего, — но авось опять подрастет!)...» (Там же, кн. 5, стр. 316).

Талантливый ранний футурист, поэт и критик Сергей Бобров — приветствовал появление «Тристий» Мандельштама большой статьей-рецензией, настолько примечательной и интересной, что мы дадим ее в некотором сокращении: «'Акмеизм', когда-то изобретенный Гумилевым и Городецким, нечем особенно радостно помянуть; его крайне расплывчатая программа, куда входили такие разные по смыслу своего творчества учителя, как Ф. Вийон и Т. Готье, и призывы к 'первобытному Адаму' в том смысле, который придавался 'первобытности' символистами (чуть ли не от Ницше шло это наваждение), оказалась, в конце концов, лишь опорным пунктом для нападок на разлагавшийся уже символизм. Последний ко времени изобретения 'акмэ' доехал до Каббалы, Папюса, Раймонда Люлля, Р. Штейнера, где и опочил: искусством считалось в позднее символизма время заниматься зазорно; символизм, который был в на-

чале своей карьеры декларацией прав на искусства и прав искусства, пришел к отрицанию именно искусства: Вяч. Иванов творил мифы, Белый перекладывал на стихи и прозоподобный гексаметр 'прозрения' знаменитого антропософа Штейнера..... Эллис переводил средневековые гимны. Акмеизм был естественной реакцией на все это, повторной репризой декларации прав поэзии. Но судьба его была уже иная: общество было приучено к декларативной стороне искусства, не было упора, не с кем было сражаться: за отсутствием прямых врагов акмеизм не мог вырасти в борьбе с ними, и остался некоторым продолжателем, эпигоном, коли хотите — символистов. ... Акмеизму недостазало талантов. Теперь вся эта история окончена. ... Но остался от всего этого Мандельштам. Пишет он мало и скупо. Начал он с необыкновенной высокоторжественности. Давно уже так высоко не залетала поэтическая чернильница, как у Мандельштама. Его Олимп с успехом мог бы сойти за полный каталог греческой фантазии. Все это излагалось с 'бесстрастием', заповеданным Брюсовым... и Готье... Стих Мандельштама всего ближе подходил к Вячеславу Иванову и Брюсову. ... Мандельштам достиг своего рода совершенства — он ухитрялся писать стихи ни о чем, просто подбирать слова в том порядке, который был приятен при символистах, совершенно не беспокоясь, чтобы этот склад захватанных выражений что-нибудь значил. Символисты утеряли — или не смогли найти — пушкинскую строфу, которая бежит к читателю, как добрый ручей, они не только склеивали катрен из двух полустиший, часто друг к другу никакого касательства не имевших, кроме рифм, но даже печатали катрены, разбивая их на полустишия. ... Мандельштам перемудрил и это: у него каждая строка катрена ровно ничего общего не имела ни с предыдущей, ни с последующей, получалась эдакая станца строки. Склад его стихов нарочито был приближен к речевой простоте, — но не того живого говорка, который восхищает у Раблэ, Гофмана, Толстого, а какой-то снобистской болтовни, ленивой и лишенной всякого смысла. Говор сей еще снабжался по возможности старинными оборотами — в стиле поздне-пушкинского времени, а вместилищем сему вдруг служил сонетный пяти-ямб в тоне М. Волошина. От французских парнасцев, похоже, что от Эредиа больше, неже-

ли от других, пришла тематика, руководствовавшаяся в воплощении темы одним антуражем происшествия, пышностью деталей и самой роскошной бессмыслицей. ... Но Мандельштам, идя по этой очень скользкой дорожке славы, инстинктивно и по серьезному влекся к живым местам в лирике Вяч. Иванова и к собиранию забытого наследства пушкинских поэтов (Баратынского, сдается, в особенности), он использовал также, полагаем, и мало-заметных на общем фоне символизма М. Волошина и Ю. Балтрушайтиса, — и, как это ни невероятно, но некоторые вещи в его книге «Камень» чем-то трогали. За бессмыслицей всего вышезарифмованного, все-таки просвечивала какая-то поэтическая правда. Она была почти что удавлена всеми этими полиссуарами, румянами, географией, мифологией, ботаникой, дессу богинь, жестикуляцией прямо от Фамиры-Кифареда, солнечным ликом поэта и землетрясением его аполлинийской поступи, — но она упрямо заявляла о своем существовании, через весь этот брик-а-брак. Затем вышли большие неприятности с полированными юношами ... Муза снесла полиссуар в магазин древностей и выручила за него на полтора фунта картошки, поплакала, уплотнилась и села за входящий журнал в главном комитете по изобретению буквопечатающего телескопа во всероссийском плановом масштабе. У нее сильно испортился после этого характер, а Мандельштам стал позабывать греческих утонченников, спор которых так акмеистично описан К. Прутковым. И эта новая книжка, написанная почти вся за время революции, показывает совершенно другого поэта. Откуда взялся у Мандельштама этот очаровывающий свежестью голос: 'Еще одно мгновенье, И я скажу тебе .... Откуда эта настоященская, с улицы, с холодком, с трамвайным билетиком простота. Откуда вот эта горячность, страсть, эта чуточку болезненная, но живая грусть, откуда сквозит эта свежесть: 'Где милая Троя, где царский, где девичий дом? . .' А смотрите, какой у него прекрасный Тифлис: 'Мне Тифлис горбатый снится ...' Какой прекрасный юмор в этом кахетинском дуэте и совете истинно по-тифлисски: 'одному не надо пить'. Ему вообще отлично удаются ямбы короткостопные ('Уничтожает пламень' ...) и хореи. В последних Мандельштам прямо бесподобен: 'Кучера измаялись от крика, И кромешна ночи тьма ...'. Это стихотворение было недавно

напечатано в 'Красной Нови', а здесь подверглось некоторой переработке, в сторону большей акмеизации, но не стало хуже. Конечно, конечно, конечно: мы хотим большего. Нам нехватает Пушкина в нашу эпоху, прямо до боли нехватает, до слез: — где он? Дайте мне такого, чтобы из него поэзия плыла сама собой, как свет небесный... Но не будем несправедливы к нашему самому прозаическому и самому поэтическому времени из всех мыслимых времен. Мы все-таки вот слышим — и все чаще — через всё, через все трудности и тяжести нашего времени: этот чистый голос, — ведь это поэзия, вот то, что Мандельштам пишет. Ему много помог Пастернак, он его как-то по-своему принял, хитро иногда его пастичирует и перефразирует. Он до сей поры перелагает еще Вяч. Иванова: ('Что поют часы-кузнечик — Лихорадка шелестит'... и у Вяч. Иванова: 'Ключ рокочет, лепеча'... и т. д.), он переживает большие трудности со своим очень актуальным эклектизмом, старое, питерское еще дает себя знать стремлением в словах, вроде 'предстательствуют' (откуда этот антик?). Но у Мандельштама часто сами пороки стиля становятся приемами и методикой: его смешение стилей. самое другой раз беззаботное, может быть, именно от этой беззаботности-то и простительное, дает неожиданно приятные результаты: 'Собирались эллины войною На прелестный остров Саламин.... Разумеется, это стилистический нонсенс: собираться войною на прелестный остров, и первая строка в сказочно-эпическом стиле не вяжется со второй, и во второй не веришь, что эллин думал о Саламине с таким девическим эпитетом, а вот все вместе как-то приемлется и живо. Получается не Мальбрук и не Саламин, — а приятный Мандельштам. Пожелаем ему на прощанье совсем позабыть про петербургские прекрасные манеры и акмеизма хладные брега» (С. Бобров. Осип Мандельштам. Tristia. Рецензия в журн. «Печать и Революция», 1923, кн. 4, стр. 259—262).

За два года до этой рецензии приветствовал нового Мандельштама и Илья Эренбург: «... бедный Мандельштам, который никогда не пьет сырой воды и, проходя мимо участка-комиссариата , переходит на другую сторону, — один понял пафос событий. Мужи голосили, а маленький хлопотун петербургских и других кофеен, постигнув масштаб происходящего, величие истории творимой, после Баха и

готики прославил безумие современности: 'Ну что ж? попробуем: огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля!'», — писал Эренбург в своей книге-антологии «Портреты русских поэтов» (изд. «Аргонавты», Берлин, 1922). С его характеристикой соглашался, находя ее удачной, петербургский поэт и критик Иннокентий Оксенов — в рецензии на книжку Эренбурга, в журнале «Книга и Революция» (1923, № 11—12, стр. 62), — но по поводу слов, что Мандельштам «один понял пафос событий», замечал: «здесь, конечно, утрировка». Но Илья Эренбург остался верен своему отношению к творчеству Мандельштама: через сорок лет он писал почти в тех же выражениях: «Я уже говорил, как в 1918 году он меня поразил глубоким пониманием грандиозности событий: стихи о корабле времени, который меняет курс. Никогда он не отворачивался от своего века, даже когда волкодав принимал его за другого.. 'Пора вам знать, я тоже современник...'» (Годы, люди, жизнь; стр. 502). И далее Эренбург цитирует ряд поздних стихов Мандельштама, чаще всего еще неизданных ...

Известный литературовед и критик К. В. Мочульский, автор книг о Гоголе, Достоевском, Владимире Соловьеве, Блоке, Белом и Брюсове, в статье памяти Мандельштама, назвал его «самым замечательным из современных русских поэтов после Блока и самым неоцененным». Указывая на то, что словесное мастерство роднит Мандельштама с Тютчевым, и вспоминая стихотворение «Когда Психея-жизнь...», Мочульский пишет: «Эти стихи беспримерны в русской поэзии. Они вызывают изумление: слова звучат странной, непривычной музыкой. Кажется, что написаны они на чужом языке, древнем и торжественном, как язык Пиндара» (К. Мочульский. О. Э. Мандельштам, стр. 31).

Другой литературовед Н. Л. Степанов, один из наиболее вдумчивых критиков и знатоков современной поэзии, писал в обстоятельной рецензии на «Стихотворения» Мандельштама, 1928: «Современная поэзия идет путями в значительной мере иными, чем те, которые утверждены Мандельштамом, но тем не менее пройти мимо него она не может. Бодлер, посвящая 'Fleurs du mal' Т. Готье, назвал его 'parfait magicien' французской поэзии. Высоким мастерством, совершенством словесной работы радуют стихи О. Мандельштама. Мандельштам, вероятно, один из наиболее 'взы-

скательных художников'. ... Его скупость — результат выверенного мастерства. Мандельштам — ювелир слова». Отметив, что в «Камне» Мандельштам «вернул слову его точность», Степанов находил, что в "Tristia" поэт пошел иными путями: «Слово получает самостоятельную жизнь. Слова подбираются уже не во имя ясности, а каждое слово ведет за собой рой слов, связанных с ним очень далекими и неожиданными ассоциациями. Слова-темы обрастают целым лабиринтом уводящих в сторону смыслов, по которым пробирается читатель к фабуле стихотворения. Получается стихотворная 'шарада' с загаданным словом-ключом. Поэтому любимой темой стихотворения является у Мандельштама само слово, его поэтические поиски...». И дальше: «У Мандельштама любование словом, переживание его, его необычных значений и оттенков, наслаждение звуковой природой слова, гармоническим строем стиха. Слова, освобожденные от своей предметности, сталкиваются друг с другом и рождают новые смыслы и звучания, которые угадываются по отдельным 'опорным' словам, являющимся 'ключом' к фабуле стихотворения: 'Я научился вам, блаженные слова :Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита...'. Здесь звуковая и 'заумная' окраска слова 'соломинка', постоянно возвращаясь, создает как бы музыкальный лейтмотив стихотворения... Это восхищение 'благозвучием' слова — не итальянское ли благозвучие стихов Батюшкова воскрешает Мандельштам? — возвращение к античным принципам гармонического стиха, может быть, главное завоевание Мандельштама» («Звезда», 1928, кн. 6, стр. 123—124).

Иным было отношение к поздней лирике Мандельштама у официальной советской критики 30-х годов. Так, А. Селивановский писал в 1934 году о «последних» стихах Мандельштама, что в них «порою звучит страстная тоска, страстное желание сблизиться с советской действительностью, но это желание перешибается старинными воспоминаниями об ушедшем прошлом (он поднимает кубок 'за музыку сосен савойских, полей Елисейских бензин, за розу в кабине Рольс-Ройса, за масло парижских картин'), и социальная конкретность обволакивается пеленой все тех же старинных книжных условностей» (Очерки русской поэзии XX века, глава 2: «Распад акмеизма». «Литературная Учеба», 1934, кн. 8, стр. 33).

В общем, большинство советских критиков предпочитало Мандельштама «Камня» — Мандельштаму «Тристий» и поздних стихов. Даже сейчас, например, А. Саакянц, рецензируя хрестоматию «Русская литература XX века (Дореволюционный период)», составленную Н. А. Трифоновым (Учпедгиз, Москва, 1962), рассматривает как будто Мандельштама, как преимущественно автора 1910-х гг.: «Ничем не оправдан, в частности, тот факт, что за пределами (хрестоматии) осталось имя О. Мандельштама, поэта, в 10-е годы не менее значительного, чем С. Городецкий или М. Зенкевич, которым нашлось место в разделе 'Акмеисты'. Русскую поэзию той эпохи трудно представить себе без его книги 'Камень' (1913)» (А. Саакянц. Полезное пособие и его пробелы. «Вопросы Литературы», орган Союза писателей СССР и Института Мировой Литературы Академии Наук СССР, 1964, кн. 1, стр. 216). Правда, рецензируемая книга охватывает только дореволюционный период. Но чаще всего советские авторы приводят имя Мандельштама именно в связи с дооктябрьским периодом его творчества...

Кстати, авторы русского Зарубежья, особенно же старшие и младшие современники Мандельштама и сотоварищи его по «Аполлону» и Цеху Поэтов, также чаще всего утверждают, что именно «Камень» является не только начальным этапом, но и вершиной творчества нашего поэта. Уже ознакомившись с творчеством позднего Мандельштама, Сергей Маковский писал: «Я прочел их (поздние стихи — Ред.) сравнительно недавно, и мое отношение ко многим из них уже не то, что к его раннему творчеству... Конечно, эти 'советские' стихи Мандельштама дополняют его поэтический образ (между ними встречаются и совсем замечательные), но все-таки это уже куда менее 'бесспорный' Мандельштам. Изменилась лирическая его настроенность и, в связи с этим, изменилась и манера письма. Лучше сказать — не столько изменилась, сколько доведена до предельной 'криптограммности', и вовсе не только из соображений эстетического порядка: многое в этом герметизме объясняется причинами, увы, ничего общего с поэзией не имеющими; поздние стихи Мандельштама написаны сплошь да рядом на эзоповском языке — чтобы невдомек было тем власть имущим, в которых метят их отравленные стрелы... Не надо забывать, конечно, и чисто литературных

влияний, в частности — модного в те годы имажинизма, поэзии, уступающей первое место эффектно звучащим уподоблениям, описательным парадоксам и неожиданным эпитетам, зачастую никак не оправданным сутью» (С. Маковский. Портреты, стр. 391—392).

Еще более определенно об этом предпочтении раннего Мандельштама Мандельштаму позднему говорит Георгий Иванов: «С беспомощной улыбкой признаюсь — я целиком разделяю мнение советских критиков, считающих лучшей книгой Мандельштама Камень'. Разумеется, 'Tristia' тоже прекрасна. На первый взгляд она даже пышнее, виртуознее 'Камня'. Дыханье шире, ритм и образы разнообразнее. Но если вслушаться и вглядеться внимательней — и если к тому же годами очень близко знать особенности 'поэтической кухни' Мандельштама, — стихи 'Tristia' начинают вызывать смутное беспокойство за дальнейшую судьбу поэта. Да, восхитительно прекрасно... но что за этим последует?» И дальше Г. Иванов пишет: «Странно сказать, почти все лучшие, кристально-просветленные, неподражаемые стихи Мандельштама написаны как бы немного по внушению цеховому, вернее, гумилевскому. Мандельштам подчинялся акмеистической дисциплине, принимая ее, как некое монастырское послушание, но то и дело возмущенно против нее восставал. Так, в 1913 году он до того бурно увлекся кубо-футуризмом, что едва не перешел в их группу. Удержал его от этого шага, доказав ему всю безрассудность его, Бенедикт Лившиц, кстати сам кубо-футурист. Характерно, что Мандельштама пленяли не Хлебников или Каменский (т. е. лучшие из кубо-футуристов), а Бурлюки с Маяковским. Тогда же он начал писать — задолго до Пастернака и в сто раз хуже — собственного 'Лейтенанта Шмидта' рубленными рифмами Маяковского. Но, опомнившись и вернувшись в лоно Цеха, он уничтожил его вместе с нелепой поэмой 'Старцы'». ... Рассматривая Мандельштама, как поэта всегда подпадающего под чье-либо влияние, Г. Иванов говорит дальше, что только так называемая «Южно-русская школа», а затем Марина Цветаева и Максимилиан Волошин «помогли Мандельштаму создать 'Tristia' — прекрасный взлет перед падением, гибельным пожаром, катастрофой его таланта. Творчество Мандельштама после 'Tristia' из года в год, как со ступеньки на ступеньку, не-

изменно понижается...» (Г. Иванов. Мандельштам, стр. 274—277). Как видим, даже «Южно-русская школа» (Г. Иванов, не задумываясь, даже перечисляет эти «великие» имена) благотворно влияла на Мандельштама: это — «Ю. Олеша, В. Катаев, А. Фиолетов, Э. Багрицкий, еще некоторые» (там же, стр. 277).

Отчасти — но только отчасти — вторит Г. Иванову В. В. Вейдле: он признает, что «если взять стихи тридцатых годов в целом, они не уступят тем, что собраны в 'Тристиях' и 'Камне', и найдутся среди них такие... которые по силе и глубине многое в тех сборниках даже и превзойдут. Однако признаки все же налицо, что раны были под конец нанесены, не только самому поэту, но и его дару, его стихам. Некоторые звучат так, как если бы необходимость убедиться в том, что он еще может писать, еще властвует над непокорным словом, сделалась сильнее не только его критического чувства, но и самой поэзии». А несколько раньше в этой же статье В. Вейдле говорит, что «самое страшное в воронежских стихах — да и в некоторых до-воронежских — это что в них угадывается душевная мука, переходящая за пределы той, которая может быть выражена в искусстве; та мука, которая ломает искусство» (В. Вейдле. «О последних стихах Мандельштама», стр. 85—86, 84). Таким образом, Вейдле подходит к поэтике позднего Мандельштама с тем же почти «гомофонным» и монологическим взглядом, что и товарищи раннего Мандельштама по Цеху и «Аполлону». Но он значительно более тонко понимает и всю силу Мандельштама позднего.

Младший сотоварищ Мандельштама (и Г. Иванова) по Цеху — Георгий Адамович — гораздо более умеренно расценивает «Камень» — и гораздо более высоко ставит позднего Мандельштама: «Отдельные строчки, — говорит он о «Камне», — куски чистейшего золота... Едва ли правильно было бы отнести к лучшему в мандельштамовском наследии его стихи законченные, чуть-чуть ложноклассические, не без державинских и даже ломоносовских отзвуков. Некоторые из них, правда, очень хороши, как, например, пятистопный ямбический отрывок о театре Расина — 'Вновь шелестят истлевшие афиши и слабо пахнет апельсинной коркой...'. Но это — исключение. Большей же частью его длинные, композиционно-стройные стихи напоми-

нают громоздкие полотна, когда-то представлявшиеся вершинами искусства, вроде брюлловского 'Последнего дня Помпеи'. У него, вместе с глубоким внутренним патетизмом, было расположение к внешней торжественности, к звону, к 'кимвалу бряцающему', ему нравился Расин, но нравился и Озеров, и повидимому понятие творческого 'совершенства', в противоположность тому, что безотчетно одушевляло его, казалось ему предпочтительнее понятия 'чуда'. Может быть, сказывалось влияние Гумилева, Мандельштам очень дружил с ним, любил его, прислушивался к его суждениям, хотя и не в силах был преодолеть безразличия к тому, что тот писал. Помню точно, дословное одно его замечание о стихах Гумилева: 'Он пришел на такую опушку, где и леса больше не осталось'. Гумилевское чисто пластическое и несколько пресное 'совершенство', в лучшем случае восходящее к Теофилю Готье, явно казалось ему недостаточным, слишком легкой ценой купленным» (Г. Адамович. Неск. слов о Манд., стр. 92—93).

Перечислять все многообразие оценок творчества Мандельштама, в частности, среднего и последнего периода его творческой жизни, не стоит труда. В советской печати, тем более, — это было время наибольшего зажима, и по адресу Мандельштама чаще всего было много брани и не было существенных замечаний. Приведем только несколько примеров и, прежде всего, отрывок из доклада А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», доклада, положившего начало погрому русской литературы в 1946 году. Чтобы покрепче заклеймить Анну Ахматову, Жданов приводит цитату из одной из статей Мандельштама и связывает Мандельштама и Ахматову с давно уже распавшейся группой акмеистов: «Об общественно-политических и литературных идеалах акмеистов один из видных представителей этой группки, Осип Мандельштам, незадолго до революции писал: 'Любовь к организму и организации акмеисты разделяют с физиологически гениальным средневековьем... Средневековье, определяя по-своему удельный вес человека, чувствовало и признавало его за каждым, совершенно независимо от его заслуг... Да, Европа прошла сквозь лабиринт ажурно-тонкой культуры, когда абстрактное бытие, ничем не прикрашенное личное существование ценилось как подвиг. Отсюда аристократическая интимность,

связующая всех людей, столь чуждая по духу 'равенству и братству' великой революции. Средневековье дорого нам потому, что обладало в высокой степени чувством грани и перегородок... Благородная смесь рассудочности и мистики и ощущение мира, как живого равновесия, роднит нас с этой эпохой и побуждает черпать силы в произведениях, возникших на романской почве около 1200 года'. В этих высказываниях Мандельштама развернуты чаяния и идеалы акмеистов. 'Назад к средневековью' — таков общественный идеал этой аристократически-салонной группы. Назад к обезьяне — перекликается с ней Зощенко» (Спутник Агитатора», журнал ЦК и МК ВКП(б), № 20, сент. 1946, стр. 16).

Вслед за большим цербером на Мандельштама — уже покойного — набросились мелкие шавки. Так, Н. Маслин в статье «Поэт и народ» писал: «... акмеизм... с самого зарожденья тронут ветхостью и разложением. Гумилев, Ахматова, Городецкий, Мандельштам пришли в поэзию каждый со своим заданием. Общим для них было буржуазно-индивидуалистическое понимание задач поэзии, культ чистой формы, проповедь теории 'искусства для искусства'. Они создали свой идеал 'первобытного' человека. Акмеисты превратили слово в еще более острое оружие буржуазной идеологии». («Звезда», 1946, кн. 7—8, стр. 212). «Его поэзия глубоко индивидуалистична, резко противопоставлена толпе! Мандельштам создал образы, выражающие капризную, причудливую силу воображения. Поэт совершенно не считается с реальными закономерностями жизни, он вносит в жизнь свои собственные законы..... Стремление к первозданности явилось выражением общественного индифферентизма, попытки ухода от общественных противоречий. Именно с этим связано воспевание 'темной звериной души' Мандельштамом», — так пишет о нем в статье, носящей доносительное название — «Знаменосцы безыдейности» — Ан. Волков («Звезда», 1947, кн. 1, стр. 178—179; затем дословно перепечатано в его книге «Русская литература XX в.», Учпедгиз, М. 1957, стр. 248—250; 2-е изд. 1960).

Но за официальными марксистскими филиппиками и прямой руганью часто скрывалось совсем иное личное отношение к творчеству Мандельштама. В книге воспомина-

ний Ильи Эренбурга немало говорится о подобных твердокаменных блюстителях марксистско-ленинских принципов литературного благочестия: «Некоторые критики считали его (Мандельштама. — Ред.) несовременным, музейным. Раздавались и худшие обвинения: передо мной том 'Литературной Энциклопедии', изданный в 1932 году; там сказано: 'Творчество Мандельштама представляет собой художественное выражение сознания крупной буржуазии в эпоху между двумя революциями. ... Для миросозерцания Мандельштама характерен крайний фатализм и холод равнодушия ко всему происходящему ... Это лишь чрезвычайно 'сублимированное' и зашифрованное идеологическое увековечение капитализма и его культуры ...' (Статья написана была молодым критиком, который не раз прибегал ко мне, восторженно показывал неопубликованные стихотворения Мандельштама, переписывал его стихи, переплетал, дарил друзьям). Трудно сказать бóльшую нелепость о стихах Мандельштама. Вот уже воистину кто менее всего выражал сознание буржуазии, и крупной, и средней, и мелкой!» (Люди, годы, жизнь, стр. 501—502).

Поколение, встретившее революцию в свои молодые и юные годы, поколение, родившееся уже после революции, относится к Мандельштаму, как мы уже говорили раньше, как к своему поэту, как к человеку и певцу, давшему наиболее близкое их душе словесное омузыкаление мира. Юрий Марголин восклицает: «Есть ли еще в мировой поэзии нечто подобное этим строкам:

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно».

(«Памяти Мандельштама», стр. 109).

Юрий Терапиано пишет: «В этих 'новых', т. е. ранее неизвестных стихах Мандельштама, ничего неожиданного нет, но в них еще с большей ясностью мы видим — попрежнему мучительно-трудное, тревожное и взыскательное усилие духа — сосуществование двух сторон его души, двух начал в его поэзии: дневного, аполлинического, и ночного, дионисийского, с полузаумным нашептыванием, пол-

ным невыразимой прелести, как в 'Тристиа' и стихах двадцатых годов. В стихи Мандельштама врывается порой даже нота подчеркнуто-резкого, буднично-грубого, и это придает особую остроту некоторым стихам последнего периода». («Мандельштам», стр. 119).

Мало кто принял в свою душу Мандельштама так всецело, как не поэт и литературовед, а композитор — Артур Лурье. Говоря о трех поэтах, наиболее полно отразивших детский рай непосредственного мироприятия — о Жераре де Нервале, Вел. Хлебникове и Мандельштаме, он писал об этом последнем: «Но 'рай' этого Божьего младенца сказывался, конечно, не... в мелочах быта, а в абсолютном, музыкальном самоизживании творимого образа или идеи. В этом и заключалось его подлинное, пророческое ощущение мира, как старого и обреченного, так и нового, чаемого, но еще неосознанного. Эсхатологическое сознание было главной движущей силой Мандельштама, подлинной творческой интуицией в ее высшей категории и на большой глубине. Больше всего Мандельштаму была необходима п о в т о р н о с т ь, ему казалось, что 'прекрасное мгновенье', промелькнув, должно повториться вновь и вновь. Как память строит форму в музыке, так история строила форму в поэзии Мандельштама; в ней — музыка чисел и образов, как у Платона и пифагорейцев, находящаяся вне всякого личного переживания или чувства. Мандельштам жил в трепете и экстазе ч у ж и х страстей, никогда не своих, но всегда отраженных. Символы истории, символы государственных форм имели над ним неограниченную, магическую власть; но застывшие исторические факты и формулы Мандельштам превращал в живой быт эпохи; 'язык булыжника' был ему 'голубя понятней', и его словесная гравюра революционного Парижа, например, нам видна во всех мелочах повседневного быта. Мы привыкли думать о революционном Париже, как о грозной, бушующей народной стихии, но Мандельштам нам показывает 'прабабку городов', 'где камни — голуби, дома — как голубятни', где поют песенки, жарят каштаны, а декреты Робеспьера подобны детской игре: 'Здесь клички месяцам давали, как котятам'. Этот бытовой 'уют', такой неожиданный при описании террора, создан Мандельштамом оттого, что революционная

буря отбушует, а камни прабабки городов с ее домами, как голубятни, останутся» (Дет. рай, стр. 170—171).

Поколение литераторов и читателей, родившихся около 1920 года (и позже), рассматривает Мандельштама как прямого футуриста или, по крайней мере, «попутчика» футуристов. Конечно, не в первый период его творчества. Так, Вл. Марков, в своей статье «Мысли о русском футуризме», пишет: «Мандельштам, еврей, который хотел быть греком на русском языке, всегда был подлинным классицистом. Классическая идея, может быть, величайшая из эстетических идей вынесла его из акмеистического вакуума. Но интересно, что, начиная с «Tristia», Мандельштам все более подходит к футуризму, а в последних стихах его уже можно считать футуристом. Здесь стоит отметить, что футуризм классицизму не противоречит и даже строится на классических принципах» («Новый Журнал», кн. 38, Нью-Йорк, 1954, стр. 174).

Впрочем, о тяготении Мандельштама к футуризму писали многие: и Георгий Иванов, и Бенедикт Лившиц, и Сергей Бобров. В частности, писал и М. М. Карпович: «В Петербург я приезжал не так часто и всегда на короткий срок. В один из таких приездов я случайно, после трехлетнего перерыва, встретился с Мандельштамом на лекции Бурлюка (кажется, в Тенишевском училище). Мандельштам показался мне очень изменившимся: стал на вид гораздо более важным, отпустил пушкинские бачки и вел себя уже как мэтр. Со мною он встретился без особой теплоты и во всяком случае без каких-либо следов прежней экспансивности. К тому же мы разошлись в нашем отношении к футуризму. Я испытывал сильное от него отталкивание, а Мандельштам в какой-то мере его защищал и во всяком случае был им серьезно заинтересован. На мое замечание, что я 'предпочитаю корабль вечности кораблю современности' . . . , он ответил мне, не без некоторого раздражения: 'вы не понимаете, что корабль современности и есть корабль вечности'». (Мое знак. с Манд., стр. 261).

Об отношении Мандельштама к футуризму, в особенности к футуризму Хлебникова и раннего Пастернака, имеются многочисленные высказывания самого поэта — см. второй том настоящего Собрания сочинений.

Поэт и литературовед Игорь Чиннов посвящает специальную статью стихам Мандельштама последнего — главным образом воронежского периода (Поздний Мандельштам. «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 88, 1967, стр. 125—137). Это — одна из немногих работ, посвященных творчеству последних лет жизни поэта.

В последние годы ряд писателей и литературоведов в СССР обращается к творчеству Мандельштама, как к одному из самых больших и высоких явлений в русской литературе нашего века. Так, в «Траве забвенья» Валентин Катаев посвящает много места воспоминаниям о Мандельштаме. При этом, очень высоко расценивая поэзию Бунина (которому в значительной мере и посвящена «Трава забвенья»), он замечает, однако: «В свое время мне... казалось, что он (Бунин. — Ред.) дошел до полного и окончательного совершенства в изображении самых сокровенных тонкостей окружающего нас мира, природы. Он, конечно, в этом отношении превзошел и Полонского, и Фета, но все же — сам того не подозревая — уже кое в чем уступал Иннокентию Анненскому, а затем Пастернаку и Мандельштаму последнего периода (разрядка наша. — Ред.), которые еще на какое-то деление передвинули шкалу изобразительного мастерства» («Новый Мир», 1967, № 3, стр. 121).

Павел Громов в своей книге о Блоке уделяет много места раннему Мандельштаму, утверждая некую (плохо осознанную самим поэтом) его зависимость от блоковского творчества. Говоря о насыщенности поэзии Мандельштама историософскими мотивами, Громов говорит: «Реальный сюжет у него всегда... философско-исторический, и готовый герой или предмет (как, скажем, ящик с мороженым) и 'проигрывают' тему в очень остром стихотворном сюжете, только все дело в том, что сама острота сюжета — в его философско-исторических поворотах, но не в личной судьбе. ...Сама своеобразно истолкованная историческая перспектива входит теперь у Мандельштама в сюжет или даже становится своего рода материалом сюжета...» (Громов, стр. 390). «Ранний Мандельштам — символист, притом символист крайнего толка. Куда там Белому, с его стихотворными истериками, до этого опустошенного, омертвленного мира с его жутко-правдоподобными тенями вещей вместо

самих вещей! И само блоковское единство двух планов стиха используется, подчиняется холодной, полной прозрачных теней предметной перспективе, лишенной вещности, материальности. Обобщающий план стиха, просвечивающий сквозь эту до предела абстрагировавшуюся 'жизнь вещей', представляет собой фатальную, непреодолимую силу 'общих', 'мировых начал'. Все в стихе подчиняет себе 'мировая туманная боль'. ... Сам лирический субъект, лирическое 'я' в стихе раннего Мандельштама становится как бы одной из деталей, одним из 'предметов' полной вещественных отношений перспективы. Но раз сама эта 'предметная перспектива' на деле до конца 'распредмечивается' — то и лирический субъект полностью лишается своих активно-жизненных возможностей, становится игрушкой в руках фатально действующих 'общих сил'. С поразительной поэтической откровенностью сам лирик признается в том, что именно 'я', именно сколько-нибудь самостоятельной личности у него нет:

Я блуждал в игрушечной чаще
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий,
И действительно смерть придет?»

(там же, стр. 386).

«Получается у Мандельштама так, что образа личности, единичного человека в рисуемом им 'историческом потоке' не может быть по сути вещей: чем напряженнее и яростнее 'творчество' истории, тем более ясно, по Мандельштаму, что история движется 'сама собой', в единичных людях совершенно не нуждается и ими не интересуется. ... Дальнейшая поэтическая эволюция Мандельштама во многом была именно поисками исторической активности конкретного человека...» (там же, стр. 392—394). С этой характеристикой поэзии раннего Мандельштама перекликается — в известной мере — А. Турков в своей книге «Николай Заболоцкий» (ГИХЛ, Москва, 1966, стр. 78): «Один из любимых поэтов Заболоцкого, — О. Мандельштам — создал как-то пленительный и трепетный образ человеческой жизни:

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Неповторимость и значительность даже отдельного суще-

ствования здесь слитно с ощущением его крайней непрочности».

Совсем панегирик — статья о Мандельштаме Георгия Маргвелашвили: «Осип Мандельштам прожил 47 лет. Из них тридцать — были безраздельно отданы поэзии. В семнадцать лет он писал стихи, не уступающие по мудрости, духовной зрелости и свечению таланта стихам, написанным через три десятилетия. И он по праву занял свое особое место в блистательной плеяде великих русских поэтов послеблоковской эпохи, украшенной — одно за другим, — именами Маяковского Ахматовой, Хлебникова, Пастернака, Цветаевой, Есенина. Отягощенный наследственной мудростью и скорбью, воспринятыми и от библейских праотцев и от великой прародительницы своей — русской поэзии, — он в первых же своих стихах заявил не только о 'глубокой печали' и 'смертельной усталости', но и о 'целомудренных чарах' 'высокого лада' и 'глубокого мира', к которым тянулся всю жизнь и которые сразу же прозрел в духовных недрах и прекрасном облике родины и человечества. Ибо он обладал редчайшим даром видеть, постигать и понимать мир таким, каков он есть, в его реальности, так, как об этом лучше всех было сказано Блоком — 'сотри случайные черты, и ты увидишь — мир прекрасен'. А случайных черт было много на всем тридцатилетнем пути, выпавшем на долю поэта. Было много горя и маяты — от десятых до тридцатых годов века. В 1910 году поэт писал о 'роковом и неутомимом маятнике', который 'качается' над ним и 'хочет быть его судьбой'. Он стал его судьбой. ... Но меньше всего желал поэт, чтобы часы истории остановились. Он всегда гордо и открыто шел навстречу судьбе. А в середине 30-х годов, в самое трудное для себя время, как бы возвращаясь мысленно к образу 'рокового маятника', провозгласил:

Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных, крупно скачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
И все-таки люблю за хвост его ловить.
Ведь в беге собственном оно не виновато...
...Как пехотинцы
Мы умрем, но не прославим
Ни хищи, ни поденщины, ни лжи...»

(Маргвелашвили, стр. 75).

В этой небольшой сводке некоторых высказываний о Мандельштаме мы не собирались дать даже приблизительное представление о всей пестроте, о всем многообразии оценок его творчества. Да и мало-мальски «академических» работ о Мандельштаме еще нет, а многочисленные рецензии часто не заслуживают внимания. Все же статьи и воспоминания последнего времени — скорее этюды, чем исследования. И некоторые, наиболее интересные из них, мы постарались представить в цитатах. Наша задача была скромна: показать, что столь резкие противоположности в оценке творчества Мандельштама — доказывают, насколько он значим и современен для самых различных по своему возрасту, литературным вкусам и взглядам людей. О том, кто только история, даже самая почтенная, не говорят столь противоречиво.

КАМЕНЬ

№ 2. **Сусальным золотом горят.** В «Камне» 1916 — без второй строфы. В «Камне» 1923 — вторая строфа восстановлена.

№ 4. **Только детские книги читать.** Перепечатано в альманахе «Ковчег», Феодосия, 1920, и в "Tristia".

№ 6. **На бледно-голубой эмали.** Перепеч. в «Альманахах Стихов, Выходящих в Петрограде», вып. I «Цевница», 1915. В «Камне» 1916 — разночтение:

Стих 7. Как на фаянсовой тарелке.

№ 8. **Дано мне тело — что мне делать с ним.** Впервые опубликовано в «Аполлоне», 1910. кн. 9, с разночтениями:

Стих 1. Имею тело: что мне делать с ним,
„ 11. Пока мгновения стекает муть,

Перепечатано в «Избр. стихах русских поэтов. Период III», вып. 2, 1914, под названием «Дыхание». Г. В. Иванов, цитируя это стихотворение, вспоминает: «Я прочел это и еще несколько таких же 'качающихся' туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в серд-

це: — Почему это не я написал! — Такая 'поэтическая зависть' — очень характерное чувство. Гумилев считал, что она безошибочнее всех рассуждений определяет 'вес' чужих стихов. Если шевельнулось — 'зачем не я' — значит, стихи 'настоящие'. Стихи были удивительные. Именно, удивительные: они, прежде всего, у д и в л я л и» (Петерб. зимы, стр. 113). Редактор «Аполлона» С. К. Маковский вспоминает: «Стихи Мандельштама стали печататься 'Аполлоном' очень скоро. Одним из первых были, помнится, следующие строки, ставшие известными: 'Дано мне тело. Что мне делать с ним?'... В редакции его полюбили сразу, он стал 'своим'. И с Гумилевым и с Кузминым завязалась прочная дружба. На страницах 'Аполлона' появились циклы его стихотворений. Он стал 'аполлоновцем' в полной мере, художником чистейшей воды, без уклонов в сторону от эстетической созерцательности» (Портреты, стр. 380—381).

№ 9. **Невыразимая печаль.** Впервые в «Аполлоне», 1910, кн. 9, с разночтением:

Стих 11. И упоительно-живая

Г. В. Иванов приводит — по памяти — еще одну редакцию этой строки: И потянулась, оживая,
«При издании 'Камня' Мандельштам сказуемое опустил. Это было новшество, вызвавшее в Цехе оживленный спор» (Г. Иванов. Мандельштам, стр. 282).

№ 11. **Ни о чем не нужно говорить** — «'Ни о чем не нужно говорить, ничему не следует учить', ибо 'темная звериная душа и печальна так и хороша.' Следует учесть, что это не случайная оговорка поэта! Вспомним, что отказ от культурности, ориентация на 'звериную душу' — один из тезисов акмеизма. В звериности и в возвращении к первозданному Адаму акмеисты видели выход из символической 'неврастении'. Однако акмеисты, и в частности Мандельштам, не преодолели идейного наследия декаденства. Субъективизм сближает его с декадентами. ... Он все время испытывает какую-то неуве-

ренность в бытии» (Ан. Волков. Знам. безыд., стр. 178).

№ 12. **Когда удар с ударами встречается.** Впервые в «Аполлоне», 1911, кн. 5. Во всех публикациях до книги «Стих. 1928» еще одна, последняя строфа:

И вереница стройная уносится
С веселым трепетом, и вдруг —
Одумалась — и прямо в сердце просится
Стрела, описывая круг.

В «Аполлоне» вторая строка последней строфы:

С весенним трепетом, и вдруг —

№ 13. **Медлительнее снежный улей.** Впервые в «Аполлоне», 1910, кн. 9, с разночтением:

Стих 1. Медлительнее спешный улей,

Перепечатано в «Избр. стихах русск. поэтов, период III», вып. 2, 1914.

«Для начального этапа поэзии Мандельштама характерно предметное, конкретное воспроизведение поэтического объекта, решение поэтической темы в своеобразно наглядных, зримых образах: 'Медлительнее снежный улей — '... Каким бы причудливым ни было образное движение, несомненно рисуется 'натюрморт' или 'интерьер'..., и сколь особенными бы ни были поэтические выводы, они у Мандельштама всегда вытекают из особой обработки предметно-чувственных явлений. Вместе с тем у Мандельштама сама предметность никогда не носит самодовлеющего характера; в его стихе ... 'выставленные предметы' ... существуют не сами по себе, но в некоей абстрагирующей, обобщающей поэтической перспективе. При этом подобная общая перспектива не 'пожирает' предметы, не превращает их в мнимости, фикции, волочащиеся на поводу у абстрактного задания, как это получалось, скажем, у Белого. Нет, 'предметное' и 'абстрактное' взаимопроникают, взаимоопределяют друг друга, но в то же время каждая сторона поэтически остается сама собой; особенно отчетливо это видно в

маленьких, однострофных стихах, которые у раннего Мандельштама демонстративно часты...» (Громов, стр. 382).

№ 14. **Silentium.** Впервые в «Аполлоне», 1910, кн. 9, без разночтений. Перепечатано в «Избр. стихах русск. поэтов, период III», вып. 2, 1914. «Ради идеи музыки он согласен предать мир: 'Останься пеной, Афродита, И слово в музыку вернись'» (Н. Гумилев. Письма, стр. 178). «Ориентируясь на единственную реальность, предносившуюся моему сознанию — на автономное, или, как его называл Хлебников, самовитое слово, я считал необходимым уничтожить традиционное деление на эпос, лирику и драму. Это было возвращение в первобытный хаос, не в тот, потусторонний, о котором... говорил мистический анархист Городецкий..., а в зыбкую, аморфную субстанцию еще не налившегося смыслом слова, куда вели и суффиксологические изыскания Хлебникова, и его заумь,... и даже ностальгические заклинания Мандельштама: 'Останься пеной, Афродита, И слово в музыку вернись!' Конечно, в тысячу раз легче оглашать воздух такими призывами, чем подводить под эти смутные тяготения прочную теоретическую базу, и, в свою очередь, неизмеримо труднее всяких априорных построений — оправдание деклараций творческой продукцией» (Б. Лившиц. Пол. стрелец, стр. 115—116). «Слова, обозначающего внутреннюю звукоречь, нет, и когда хочется сказать о ней, то подвертывается слово музыка, как обозначение каких-то звуков, которые не слова; в данном случае еще не слова, так как они, в конце концов, выливаются словообразно. Из современных поэтов об этом писал О. Мандельштам: 'Останься пеной, Афродита, И слово в музыку вернись'» (Виктор Шкловский. О поэзии и заумном языке. «Поэтика», Сборники по теории поэтического языка. (Сборник 1), Петроград 1919, стр. 22).

№ 15. **Слух чуткий парус напрягает.** Впервые в «Северных Записках», сентябрь 1913, с опущенной в дальнейших публикациях первой строфой:

Душа устала от усилий
И многое мне все равно.
Ночь белая, белее лилий,
Испуганно глядит в окно.
Слух чуткий парус напрягает...

В «Камне» 1916 опущена и наша первая строфа, и стихотворение начинается со строки:

Я так же беден, как природа,

№ 16. **Как тень внезапных облаков.** Впервые в «Аполлоне», 1911, кн. 5, с последней строфой:

И лодка, волнами шурша,
Как листьями, — уже далеко...
И, принимая ветер рока,
Раскрыла парус свой душа.

№ 17. **Из омута злого и вязкого.** Впервые в «Аполлоне», 1911, кн. 5, где оно кончается еще одной строфой, опущенной в «Стих. 1928»:

Ни сладости в пытке не ведаю,
Ни смысла я в ней не ищу;
Но близкой, последней победою,
Быть может, за всё отомщу.

№ 18. **В огромном омуте прозрачно и темно.** Впервые в «Аполлоне», 1911, кн. 5, без разночтений.

№ 21. **Скудный луч холодной мерою.** Впервые в «Альманахе 'Аполлон'», 1912, без разночтений.

№ 22. **Воздух пасмурный влажен и гулок.** В одном из экземпляров «Стихотворений», 1928, рукой автора вписана новая редакция строки 8-й (и датирована: «В[оронеж] 36»):

Где один к одному одинок.

№ 23. **Сегодня дурной день.** Впервые в «Гиперборее», № 1, 1912, вместе со стих. наш. собр. №№ 25, 30 и 28. Разночтений нет. Перепеч. в «Избр. стих. русск.

поэтов, период III», вып. 2, 1914. «Очень нравилось ему (Маяковскому. — Ред.), как почти все рифмованное о животных: 'Сегодня дурной день. Кузнечиков хор спит'. Но вместо спит он все-таки говорил сплит: 'Кузнечиков хор сплит' (Л. Брик. Маяковский и чужие стихи (Из воспоминаний). «Знамя», 1940, кн. 3, стр. 182).

№ 25. **Отчего душа так певуча.** Впервые в том же № «Гиперборея», что в предыдущ. стихотворение, с разночтением:

Стих 10. Ты ушел в морские края,

Так же читается эта строка в «Камне» 1916. У нас — по «Камню» 1923 и «Стих. 1928».

Это стихотворение часто цитируется марксистами-литературоведами, как образчик крайнего субъективизма: «Субъективное восприятие явлений жизни приводит поэта к своеобразному поэтическому солипсизму. Не только окружающая действительность сомнительна, но столь же сомнительно существование собственного 'я': 'Я блуждал в игрушечной чаще —'. В значительной части поэзия Мандельштама заполнена литературными, книжными реминисценциями. Он делает многочисленные экскурсы в историю литературы, театра, музыки и таким образом дает отражение отраженного в искусстве. В стихах, посвященных не настоящей жизни, а ее преломлению в культурных памятниках прошлого, характерны те же субъективизм и ограниченность» (А. Волков, Знамен. безыд., стр. 178).

№ 27. **О небо, небо, ты мне будешь сниться.** Вторая строфа стихотворения, опубликованного в «Северных Записках», в сентябре 1913 (затем перепечатывалась только эта вторая строфа). Полный текст журнальной публикации см. в разделе «Первые редакции».

№ 28. **Я вздрагиваю от холода.** Впервые в «Гиперборее», № 1, 1912, вместе со стих. наш. собр. №№ 25, 30 и 23. Разночтений нет.

«Нарочито подчеркнутый 'вещизм' восприятия

мира на самом деле оборачивается, как субъективизм. В творчестве О. Мандельштама субъективизм образов доведен до виртуозности. Вещи, предметы даются в связях и закономерностях, понятных лишь самому поэту. Связь с миром, декларируемая Мандельштамом, на самом деле является призрачной так же, как призрачен и изображаемый им мир. Вот характерные строки: 'Что если над модной лавкою. —'. Такими причудливыми, ирреальными выступают явления 'обыкновенной' жизни в восприятии Мандельштама. Как видим, здесь реализм весьма условный и ничего не имеет общего с подлинным реализмом. Явления и предметы в творчестве Мандельштама являются своеобразным средством ухода от настоящей жизни, они дают ему возможность отгородиться от действительной жизни». (Ан. Волков. Знамен. безыд., стр. 177—178).

В одном из экземпляров книги Мандельштама рукою автора вписана новая редакция последней строфы:

Что, если вздрогнув неправильно,
Мерцающая всегда,
Своей булавкой заржавленной
Достанет меня звезда?

№ 29. **Я ненавижу свет.** «Перспективное соотношение между индивидуально-конкретным и обобщающим планами в стихе присуще и самой ранней лирике Мандельштама. Однако в отношении этих ранних стихов (примерно между 1908 и 1912 гг.) необходимо сказать, что в них еще творчески не осознан блоковский опыт 1908—1909 гг. ('На поле Куликовом' и в особенности важные для Мандельштама 'Итальянские стихи') и перспективные соотношения между конкретным и 'общим', субъективно-личными и философски-обобщающими элементами носят весьма своеобычный характер. ... Мандельштам ищет ясности, гармоничности, прозрачности стихотворного рисунка, за этим стоит определенная тенденция и к содержательному, идейному внутреннему единству. Однако само это перспективное единство в идейном смысле таково, что оно парадоксальным

образом как бы дематериализует, развоплощает, превращает в условные знаки жизненную предметность самого конкретного плана в стихе:

Кружевом, камень, будь,
И паутиной стань:
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань. ...

Здесь цитируется относительно позднее из этих ранних стихов, крайне остро и прямо выражающее тенденцию к развоплощению, дематериализации конкретно-жизненных начал, — в более сложном, неявном виде подобное стремление присуще всем ранним вещам Мандельштама. Получается странное положение: стихи Мандельштама немыслимы без конкретности, однако сама предметность в них постоянно и неуклонно 'опрозрачивается', распредмечивается. Сами вещи как бы пронизываются какими-то спиритуалистическими токами, перестают быть вещами и потому начинают пугать читателя странной, парадоксальной беспредметностью» (Громов, стр. 385—386).

№ 30. **Образ твой, мучительный и зыбкий.** Впервые в № 1 «Гиперборея», 1912.

№ 32. **Пешеход.** В «Камне» 1916 с посвящением М. Л. Лозинскому и с разночтением:

Стих 10. Мелькающий на выцветших листах,

№ 33. **Казино.** Впервые в «Гиперборее» №3, 1912, без разночтений.

№ 34. **Паденье — неизменный спутник страха.** Впервые в «Гиперборее», № 8, 1913, без разночтений.

№ 35. **Царское Село.** В «Камне» 1916 вторая строка читается: Свободны, ветрены и рьяны,
Нами исправлено по воспоминаниям Марины Цветаевой: «Осип Мандельштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает: 'Поедем в Ца-арское Се-ело, Свободны, веселы и пьяны, Там улыбаются уланы...'. П ь я н ы ему цензура переменила на р ь я н ы, ибо в Царском Селе пьяных уланов не бывает — только рьяные!» (Проза, стр. 280). Стих. перепеч. в сборн. «Царское Сел поэзии», 1922.

«С чисто южной страстью полюбил он северную пристойность и даже просто суровость обыденной жизни. Он в восторге от того страха, который внушает ему 'карета с мощами фрейлины седой, что возвращается домой'» (Н. Гумилев. Письма, стр. 179).

«Была я у Мандельштамов и летом в Китайской Деревне (Царского Села. — Ред.), где они жили с Лившицами. В комнатах абсолютно никакой мебели, и зияли дыры прогнивших полов. Для Осипа Эмильевича нисколько не было интересно, что там когда-то жили и Жуковский и Карамзин. Уверена, он нарочно, приглашая меня вместе с ними идти покупать папиросы или сахар, говорил: 'Пойдем в европейскую часть города', будто это Бахчисарай или что-то столь же экзотическое. То же подчеркнутое невнимание в строке — 'Там улыбаются уланы'. В Царском сроду улан не было, а были гусары, желтые кирасиры и конвой» (Ахматова, стр. 177). Полагаем, что здесь мы имеем дело с тем же сознательным «сгущением пространства и времени», какое заставило его, великолепно знавшего Петербург, переместить фиванских сфинксов с набережной перед Академией Художеств на набережную перед университетом (в «Египетской марке») ...Отрыв от реального места делает реальную вещь и еще более реальной (ошибка — особенно подчеркнуто-сознательная — заставляет другого не пропустить мимо сознания эту вещь) — и, вместе с тем, в какой-то мере ирреальной.

№ 37. Лютеранин. Впервые в «Гиперборее» № 5, 1913, без разночтений. В этом стихотворении явно слышны отзвуки Тютчева: «Я лютеран люблю богослуженье» и, особенно, «И гроб опущен уж в могилу» («И умною, пристойной речью Толпа различно занята...»).

№ 38. Айя-София. Впервые в «Аполлоне», 1913, кн. 3 с разночтениями (те же разночтения и в «Камне» 1916):

Стих 5. И всем пример — года Юстиниана,

Стих 9. Куда ж стремился твой строитель щедрый,

Это стихотворение Мандельштам читал на вечере поэтов в Петроградской Городской думе, 25 января 1915 — см. заметку об этом вечере в «Биржевых Ведомостях», утр. выпуск, 26 января 1915. На вечере присутствовал один из редакторов настоящего Собрания сочинений Мандельштама — Г. П. Струве. Как все, кто когда-либо слышал Мандельштама читающим собственные стихи, он сохранил об этом чтении незабываемое впечатление.

№39. **Notre Dame.** Впервые в «Аполлоне», 1913, кн. 3. Перепечат. в «Избр. стих. русск. поэтов, пер. III», вып. 2, 1914. Разночтений нет.

№ 40. **Мы напряженного молчанья не выносим.** В «Камне» заканчивается строкой, опущенной в «Стих. 1928»:

Чтоб горло повязать, я не имею шарфа!

В одном из экземпляров книги «Стихотворения», 1928, рукою автора вписана последняя строка:

И горло греет шелк щекочущего шарфа.

Эта приписанная строка датирована: «2 января 1937. Воронеж». Стихотворение датировано автором 1912 годом (в публикациях — 1913).

У л я л ю м — стихотворение Эдгара По; П а д е н и е Д о м а Э ш е р о в — лирический рассказ Эдгара По, очень популярного в России во времена написания этого стихотворения Мандельштамом. Э. По усиленно переводили в начале века К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, сотоварищ по Цеху Поэтов Мих. Зенкевич, многие другие; текст поэмы Э. По «Колокола» положен в основу одноименной симфонической поэмы-кантаты С. В. Рахманинова. Особенно увлекались Эдгаром По в России в 1910 гг.

№ 41. **Старик.** В «Камне» 1916 и 1923 разночтение:

Стих 20. Веселая нужда.

В одном из экземпляров книги Мандельштама рукою автора вычеркнута пятая строфа этого стихотворения («Так, соблюдая день субботний») На полях — «О. М., 37»).

№ 42. **Петербургские строфы.** Впервые в «Гиперборее», 1913 (без посвящения Гумилеву). В «Камне» 1916 с разночтением:

Стих 11. И государства крепкая порфира,

Перепечатывалось в «Избр. стих. русск. поэтов, пер. III», вып 2, 1914; в сборн. «Петербург в стихотворениях русских поэтов», 1923, и др. «Мандельштама Маяковский называл мраморной мухой (кажется, выражение Хлебникова, — очень злое и похожее) и читал издевательски-напыщенно, произнося 'о' с немецким прононсом: 'Над желтизной правительственных зданий... —' и: 'Католиком умрете вы...' (Л. Брик, Маяковский и чужие стихи. [Из воспоминаний]. «Знамя», 1940, кн. 3, стр. 181—182).

В книге Пяста «Встречи» выражение «мраморная муха» в применении к Мандельштаму приписывается одному из э г о-футуристов, а В. Шкловский приписывает его Хлебникову (см. прим. к № 116).

«Сама своеобразно истолкованная историческая перспектива входит ... у Мандельштама в сюжет или даже становится своего рода материалом сюжета. Так, скажем, стремясь дать в виде сюжетного сгустка философского 'рассказа в стихах' определенный период русской истории, в 'Петербургских строфах' (1913), Мандельштам толкует как 'недобрую тяжесть' истории — российскую государственность. ... Сюжетно-конфликтной силой тут делается сама 'грубая власяница' государственности ... ... наконец, все открыто повернуто на современность, при этом ... одетую в литературную, как бы заимствованную одежду ... Пушкинские образы Мандельштам 'проигрывает' заново, по-своему, и главное здесь у него — историческая перспектива: противостоящий самодержавной государственности Евгений 'бензин вдыхает', т. е. живет в современности. Он фатально вдвинут в историческую перспективу, из которой не вырваться и где он обречен» (Громов, стр. 390—391).

№ 43. **Здесь я стою — я не могу иначе** — слова Мартина Лютера.

№ 44. **От легкой жизни мы сошли с ума.** Впервые в «Альманахе Муз», 1916, с разночтениями:

Стих 2. С утра вино, а вечером похмелье.

„ 4. Румянец твой, о нежная чума!

Затем стихотворение вошло в книгу "Tristia" и больше не перепечатывалось. Нами перенесено в «Камень», так как написано в 1913 г., а все стихотворения, написанные до 1916 года, были перенесены автором, при переиздании книги в 1923 и 1928 гг., в «Камень». По свидетельству Вл. Злобина, стихотворение это посвящено Мандельштамом Георгию Иванову (В. Злобин. Георгий Иванов. «Возрождение», Париж, кн. 82, 1958, стр. 120). «Так, он писал о Георгии Иванове: '... Но я боюсь, что раньше всех умрет, Тот у кого тревожно красный рот И на глаза спадающая челка'» (И. Одоевцева. На бер. Невы, 72, стр. 72).

№ 45. **... Дев полуночных отвага.** Впервые в «Гиперборее», № 5, 1913, где начинается строфой, опущенной во всех последующих перепечатках:

В душном баре иностранец,
Я нередко, в час глухой,
Уходя от тусклых пьяниц,
Становлюсь самим собой.

Дев полуночных отвага ...

№ 47. **В спокойных пригородах снег.** Впервые, под названием «Чайная», в журнале «Рубикон», 1914, № 3, стр. 10.

№ 48. **Адмиралтейство.** Впервые в «Аполлоне», 1914, кн. 10, без разночтений. Г. В. Иванов вспоминает, как стихи Мандельштама «создавались, читались, обсуждались в Цехе и перерабатывались. Вот эта строфа 'Адмиралтейства' почти целиком сочинена Гумилевым, а первоначальная 'Так музой зодчества был вскормлен мудрый лебедь' по общему цеховому согласию уничтожена» (Мандельштам, стр. 275).

«... Огромное напряжение внутренней борьбы, своего рода 'трудовое напряжение' истории у Ман-

дельштама возникает там, где нет даже видимости личных судеб, — в стихотворении 'Адмиралтейство' (1913) та же тема 'петербургского периода' русской истории открыто дается как тема 'мук творчества'» (Громов, стр. 391).

№ 49. **В таверне воровская шайка.** Впервые в «Гиперборее», № 8, окт. 1913, без разночтений.

№№ 50, 51, 53. **Кинематограф. — Теннис. — Домби и сын.** Впервые (без разночтений) опубликованы в журн. «Новый Сатирикон», 1914, №№ 7 («Домби и сын»), 22 («Кинематограф») и 24 («Теннис»).

№ 51. **Теннис.** Первоначально в «Журнале за 7 дней» (1913, 20 июня, № 20) в иной редакции, которая дана нами в разделе «Первые редакции».

№ 53. **Домби и сын.** «Мандельштам чаще всего воспроизводит эпоху, уже запечатленную, зафиксированную культурой, отложившуюся в его творчестве. Буржуазную Англию XIX века, предположим, он воспроизводит через Диккенса... Бесспорно, во всем этом стихотворении ... есть тонкое воспроизведение стиля Диккенса... Но, в сущности, тут есть более сложный замысел, чем такая передача. Сама передача носит своеобразно-активный характер, поэт идет за Диккенсом в воспроизведенную их эпоху, наново перетолковывает и ее и самого Диккенса, искусство превращает в сгусток истории. Он ставит знак равенства между эпохой и ее культурой и тем самым как бы превращает культуру в то, что в современных точных науках называют 'информацией'. В таком толковании сама история становится как бы 'цепью информации', передачей информации от поколения к поколению и новым творчеством истории на такой основе. Своеобразие 'рассказов в стихах' Мандельштама нового периода (он опирается при этом во многом и на Анненского) в том, что их замкнутые повествовательные сюжеты строятся отнюдь не на личной судьбе, хотя бы формально, на виду все и вращалось вокруг канонического индивидуального случая: в том же стихотворении 'Домби и сын' дело совсем не в дик-

кенсовских людях и даже не в Диккенсе, но в некоем концентрате таких исторических судеб, которые изображал Диккенс; в 'Аббате' (1914) дело совсем не в традиционном для французского романа католическом священнике, но в 'остатках власти Рима', парадоксально вклиняющихся в XX век... Сами сюжеты стихов строятся отнюдь не на конкретных человеческих судьбах — поэтому 'героем' может быть собор, стандартная кинокартина, теннисная партия, ледник с мороженым, трагедия Озерова и т. п. Потому-то Мандельштам так часто обращается к созданным уже до него человеческим образам, что его совсем не интересует лично-конкретная сторона в образе: Домби и сын или аббат ему нужны как раз потому, что внутренних открытий в конкретной человеческой личности он не собирается делать и прямо заявляет об этом, указав, какую именно конкретную ситуацию или личность он собирается перетолковать» (Громов, стр. 389—390).

№ 54. **Отравлен хлеб и воздух выпит.** Впервые в журнале «Новая Жизнь», 1914, № 1, янв., без разночтений.

№ 56. **Поговорим о Риме — дивный град.** «В стихах Мандельштама в годы 1913—1916 очень большое место занимает возвращающийся снова и снова образ Рима. Это не Рим конкретный, Рим, виденный воочию (даже если Мандельштам и видел его), а Рим отвлеченный, Рим, как символ — и Рим не только республиканский и императорский, но и Рим папский, католический. Самое раннее из стихотворений о Риме ('Поговорим о Риме — дивный град!') помечено 1913 годом. Несмотря на личное местоимение в предпоследней строке, оно могло быть написано и человеком, в Риме никогда не бывавшим, воспринимавшим его сквозь призму истории и истории религии» (Г. Струве. Итальянский сборник, стр. 604—605). «В апреле 1908 г. я ездил на две недели в Италию. Мандельштам принял очень близко к сердцу это мое первое итальянское паломничество и отозвался на него стихами. Но даже из этого, мне посвященного, стихотворения в памяти сохра-

нилась почему-то только одна строка: 'Поднять скрипучий верх соломенных корзин' (в моем багаже действительно была такая, вывезенная из России, корзина)». (М. Карпович. Мое знак. с Манд., стр. 259). «'Бродячая Собака' (литературно-артистический клуб-ресторан. — Ред.) была не единственным местом, где футуристы встречались со своими литературными противниками. К числу таких мест нужно прежде всего отнести нейтральные 'салоны', вроде собрания у Чудовских. Жена Валерьяна Чудовского (поэта, сотрудника «Аполлона». — Ред.), художница Зельманова, женщина редкой красоты, ... была прирожденной хозяйкой салона ... В тот вечер, когда меня впервые привел к Чудовским Мандельштам, у них были Сологуб с Чеботаревской, Гумилев, Георгий Иванов, Константин Миклашевский, Вольдемар Люсцинус, певец Мозжухин и еще несколько человек из музыкального и актерского мира. Я не хочу останавливаться на подробном описании доморощенного отеля Рамбулье, где Сологуб неудачно острил и еще неудачнее сочинял экспромты, один из которых начинался буквально следующими строками: 'Вот я вижу, там Сидит Мандельштам' ... Где автор тоненького зеленого 'Камня' вскидывал кверху зародыши бакенбардов, дань свирепствовавшему тогда увлечению 1830 годом, который обернулся к нему Чаадаевым, предлагал 'поговорить о Риме' и 'послушать апостольское credo'. Где, перекликаясь с ним, Гумилев протяжно читал в нос свой 'Ислам' и подзадоривал меня огласить 'Пальму праведника' ...» (Б. Лившиц. Пол. стрелец, стр. 269—270). «Вольдемар Люсцинус» — псевдоним Владимира Николаевича Соловьева (1888—1941), ближайшего сотрудника Вс. Э. Мейерхольда и его журнала «Любовь к Трем Апельсинам», режиссера, театроведа, театрального критика.

№ 57. 1913. Впервые в «Аполлоне», 1914, кн. 6, под названием «Перед войной»; в «Камне» 1916 без названия, появляющегося (1913) впервые в «Камне» 1923.

№. 58. На луне не растет.

№ 58а. **Это все о луне только небылица.** Стихотворение это имеет три редакции. Первая (наш № 58) — опубликована в «Стихотворениях», 1928; вторая редакция, также 1914 года, под названием «Приглашение на луну» (вероятнее всего, первоначальная редакция нашего стих. № 58, — являющегося сокращенным вариантом «Приглашения на луну») помещена нами в разделе «Первые редакции», под № 58б; третья редакция датирована 1914—1927 гг., следовательно, позднее редакции стих. № 58 (хотя книга «Стихотворения» издана в 1928 г., но последние стихотворения, в ней помещенные, датированы 1925 годом). Поэтому мы помещаем эту редакцию — «Это все о луне . . .» в основной корпус нашего собрания.

№ 59. **Ахматова.** В «Стих. 1928» название снято.

«Что же касается стихотворения 'В полоборота', история его такова: в январе 1914 г. Пронин устроил большой вечер 'Бродячей Собаки', не в подвале у себя, а в каком-то большом зале на Конюшенной. Обычные посетители терялись там среди множества 'чужих' (т. е. чуждых всякому искусству) людей. Было жарко, людно, шумно и довольно бестолково. Нам это наконец надоело, и мы (человек 20—30) пошли в 'Собаку' на Михайловской площади. Там было темно и прохладно. Я стояла на эстраде и с кем-то разговаривала. Несколько человек из залы стали просить меня почитать стихи. Не меняя позы, я что-то прочла. Подошел Осип: 'Как вы стояли, как вы читали', и еще что-то про шаль» (Ахматова, стр. 172—173).

№ 60. **О временах простых и грубых.** Впервые в журнале «Голос Жизни», № 14, 1 апреля 1915, без разделения на строфы. Объединено в журнале со стих. наш собр. №№ 61 и 69 под общим названием «Из цикла 'Рим'». «Вот — хотя бы в следующих стихах (из первого сборника 'Камень') о зимнем Петербурге с дворниками в 'овчинных шубах', напоминающими поэту скифскую Россию, когда Овидий пел, 'мешая Рим и снег', 'арбу воловью', — разве не гремит рус-

ский ямб с какой-то неслыханной силой?» (С. Маковский. Портреты, стр. 381).

№ 61. На площадь выбежав, свободен. Впервые там же, что и предыдущее стихотворение, с подзаголовком «Памяти Воронихина» и без разделения на строфы. Объединено в один цикл со стих. наш. собр. №№ 60 и 69: «Из цикла 'Рим'». В журн. публикации разночтения (те же разночтения и в «Камне» 1916):

Стих 8. Сквозь рощу портика идешь;
„ 12. К земле, беспомощный, прижат.

Любопытно, что два стихотворения, объединенных — вместе с третьим (наш. собр. № 69) — в некий цикл: «Из цикла 'Рим'», — не имеют прямого отношения к подлинному Риму, а говорят о Петербурге и лишь заключают в себе некие петербургско-римские ноты. Эти сравнения, эти сопоставления Петербурга и Италии будут неоднократно встречаться и в последующих стихах Мандельштама. «Не все ясно в досоветской биографии Мандельштама. Например, читатель его стихов невольно задается вопросом: бывал ли он в Италии? Никто из вспоминавших о нем об этом не говорит. ... Конечно, у Мандельштама была полная возможность съездить в Италию из Парижа. Такая же возможность была у него через несколько лет, когда он учился в Германии и в Швейцарии. Может быть, он поехал в Италию именно в 1908 году, подстрекнутый примером Карповича. А может быть и так и не съездил. Во всяком случае 'итальянских' стихов в том смысле, в каком мы находим их у Блока, Гумилева, Кузмина и некоторых других новейших русских поэтов, у Мандельштама нет, т. е. нет стихов, написанных — или по крайней мере навеяных — на месте и топографически приуроченных. Но итальянские мотивы играют в его поэзии — и дореволюционной, и особенно поздней, в стихах до сих пор частью неизданных — большую роль» (Г. Струве. Итальянский сборник, стр. 602). А. А. Ахматова в разговоре с одним не так давно посетившим ее иностранцем решительно заявила, что Мандельштам

никогда в Италии не бывал. Однако, стихотворение «Когда мозаик никнут травы (наш № 152, стр. 122), датированное «Лугано, 1910»..., заставляет предположить, что Мандельштам побывал хотя бы только в Северной Италии.

Андрей Никифорович Воронихин (1759—1814), до 1786 г. — крепостной крестьянин графа Строганова, очевидно — его побочный сын, знаменитый архитектор, строитель Казанского собора.

№ 63. **«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.** Впервые, под назв. «Мороженно!» в журн. «Новый Сатирикон», 1915, № 26, с тем же разночтением, что и в «Камне 1916»:

Стих 5. Но ложечкой звать; но умильно смотреть —

№ 65. **Природа — тот же Рим и отразилась в нем.** «Из блоковского толкования исторической перспективы сквозь категории 'народа' и 'интеллигенции', 'стихии' и 'культуры' Мандельштам полностью исключает 'народ', 'стихию'. Творчество истории (очень напряженное или даже трагическое в этих стихах) — для Мандельштама исключительно дело 'культуры', 'интеллигенции'; весь исторический поток 'информаций', составляющий, по Мандельштаму, суть истории, — дело 'культуры', как бы широко ни толковал поэт 'культуру' ('хищный глазомер простого столяра')...

Природа — тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить —
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!

...В отношении культуры вообще, и литературы в частности, с его точки зрения, 'в жизни слова наступила героическая эпоха'. Это значит, по Мандельштаму, что на крутом повороте эпох необыкновенно возросла роль культуры как строительницы истории, как единственного выражения творчества...» (Громов, стр. 392—393).

№ 68. **Европа.** Впервые в «Аполлоне», 1914, кн. 6, с разночтениями:

Стих 9. Европа Августа и Солнце-короля,
„ 10. А ныне в рубище Священного Союза,
„ 11. Пята Испании и нежная Медуза,
„ 12. Земля Италии, романская земля.

№ 69. **Посох.** Впервые в журн. «Голос Жизни», № 14, 1 апр. 1915, вместе со стих. наш. сбор. №№ 60 и 61, под общим названием «Из цикла 'Рим'». В журнале разделено на восьмистишия. Разночтения:

Стих 7. Посох взял, возвеселился

Третья строфа:

Знаю, снег на черных пашнях
Не растает никогда,
Виноградников домашних
Не пьянит меня вода.

Стих 16. Мне, идущему на Рим.

О том, что это стихотворение, как и "Encyclica" (наш № 71), перекликается со статьей Мандельштама о Чаадаеве, опубликованной еще в 1915 г. в «Аполлоне» (см. второй том настоящего собрания), писал Г. П. Струве в уже цитировавшейся статье (Итальянский сборник, стр. 606—607).

№ 70. **1914.** В "Tristia" дата другая: 1916.

№ 71. **К энциклике папы Бенедикта XV.** Впервые в «Невском Альманахе», 1915, под названием „Encyclica", без разночтений. Полное название восстановлено по рукописи автора.

№ 72. **Ода Бетховену.** Впервые в «Альманахах Стихов, Выходящих в Петрограде», вып. 1 — «Цевница», 1915. Строки, замененные в «Камне» 1923 и «Стих. 1928» точками, в первой публикации и в «Камне» 1916 имеются. Приводим всю вторую строфу:

Когда земля гудит от грома
И речка бурная ревет
Сильней грозы и бурелома,
Кто этот дивный пешеход?

Он так стремительно ступает
С зеленой шляпою в руке,
И ветер полы развевает
На неуклюжем сюртуке.

Разночтение: Стих 39. Тебя назвать боялись греки,

№ 73. **Уничтожает пламень.** Впервые в № 8 (1916) журнала «Рудин», издававшегося в 1915—1916 гг. в Петрограде Ларисой Рейснер. В журнале этом наряду с известными писателями участвовали молодые начинающие поэты, а также и молодые литературоведы, студенты Петроградского университета и участники знаменитого Пушкинского семинара С. А. Венгерова. Перепечатано в «Красной Нови», 1922, кн. 4.

№ 74. **Аббат.** Впервые в «Новом Сатириконе», 1916, № 42, причем в журнальной публикации стихотворение оканчивается опущенной в дальнейших публикациях строфой:

Переменилось все земное,
И лишь не сбросила земля
Сутану римского покроя
И ваше золото, поля;
И самый скромный современник,
Как жаворонок, Жамм поет:
Ведь католический священник
Ему советы подает!

№ 75. **И поныне на Афоне.** Имябожцы или имяславцы — религиозное движение, особенно развившееся в 1910 годах на Афоне, в русском монастыре. Одним из вождей этого движения был бывший царскосельский гусарский офицер, затем афонский иеромонах Антоний Булатович. По учению имябожников (имяславцев) Имя Божие — и есть сам Бог. Поэтому особенно тяжким грехом является поминание всуе Имени Божия. Имя Божие, в сущности, непроизносимо — сокровенно. Оно — Божественная Тайна, оно — Сам Бог. Это движение было объявлено Синодом ересью, за монахами на Афон был послан военный корабль, о. Антония и монахов-имябожников схватили и насильственно вывезли в Россию,

а там заточили по дальним монастырям. Но движение распространилось среди верующих православных людей, в особенности среди монахов, и многие из них удалились в неофициально существовавшие небольшие скиты в горах Кавказа. Какие-то нити соединяли учение имябожников с учением о Софии Премудрости Божией. В религиозно-философских кругах 1910 гг. движение имябожников вызывало большой интерес и часто сочувствие. «У меня очень нарастало восстание против официального православия, против исторических форм церковности. С горечью должен сказать, что впечатления от церковно-православной жизни в большинстве случаев у меня были тяжелые и вводящие в соблазн. По поводу дела имяславцев на Афоне, в котором принимала участие русская иерархия и дипломатия, я написал негодующую статью 'Гасители духа', направленную против св. Синода. У меня не было особых симпатий к имяславству, но меня возмущали насилия в духовной жизни и низость, недуховность русского Синода» (Николай Бердяев. Самопознание. [Опыт философской автобиографии]. Изд. YMCA, Париж, 1949, стр. 219). В защиту Синода следует сказать, что на русскую церковную администрацию огромное давление оказал в отношении имябожников Вселенский Константинопольский Патриарх.

№ 80. **С веселым ржанием пасутся табуны.** В «Камне» 1916 разночтение в последней строке:

И — месяц Цезаря — мне август улыбнулся.

№ 81 **Я не увижу знаменитой «Федры».** «Вновь шелестят истлевшие афиши И слабо пахнет апельсинной коркой . . .'. Текст правильный, во всяком случае такой, каким был в рукописи Мандельштама. Необходимо, однако, сделать к нему примечание. При появлении этого стихотворения, — если не ошибаюсь, в 'Гиперборее', — была допущена опечатка, и вместо 'слабо' стояло 'слава': 'И слава пахнет апельсинной коркой' . . . Гумилев пришел в восхищение, утверждая, что 'слава' несравненно лучше,

нежели 'слабо', и придумал даже целую теорию насчет 'ослышки музы', ссылаясь при этом на Малерба и другие знаменитые примеры этого рода. Под его влиянием Мандельштам всегда читал эти стихи со 'славой'. Гумилев любил и ценил их, кажется, больше всего, Мандельштамом написанного». (А. По пов. Собр. соч., стр. 93).

TRISTIA

№ 82. **Как этих покрывал и этого убора.** В «Т.» строчка точек последующих публикаций (21-я) читалась:

Смерть охладит мой пыл из чистого фиала . . .

«Осип Мандельштам . . . Единственный поэт, умело и тонко культивирующий классически французскую традицию в поэзии на почве философского восприятия современности. При огромном богатстве образов, тончайшей музыкальности и высокой культурности бывает излишне громоздок, порою неряшлив» (Е. Ф. Никитина. Поэты и направления [Пути новейшей поэзии]. «Свиток», альманах, кн. 3, изд. «Никитинские Субботники», Москва, 1924, стр. 136) .

№ 83. **Звринец.** Впервые в газ. «Новая Жизнь», № 52, 18 июня 1917; почти одновременно в альманахе «Тринадцать Поэтов», 1917; затем перепечатано в альман. «Ковчег», Феодосия, 1920, журн. «Паруса», 1922, № 1, альман. «Наши Дни», кн. 2, 1922, всюду с подзаголовком «Ода». Разночтения:

Стих 1. Торжественное слово «мир»
„ 10. На тучных пастбищах кормились
„ 19. И горная земля иссякла
„ 25. Петух, и лев, и чернобурый
„ 27. Мы для войны устроим клеть,
„ 41. В зверинец заперев зверей,

(Стихи: 1, 10 и 41 — Н. Жизнь, 13 Поэтов; стихи: 19, 25, 27 — Ковчег; стих 41 — Ковчег).

В книге «Стих. 1928» строка 25 читается: «Петух и лев . . .» — и обрывается на этих словах. Строки 26 и 37—40 изъяты вовсе. Нами восстановлены.
«Наше родство, наша родня — наш скромный и неказистый сосед Германия, в которую мы — если когда-то давно в лице лучших голов и сердец нашей страны и любили, — никогда не были влюблены. Как не бываешь влюблен в себя. Дело не в историческом моменте: — 'в XVIII веке мы любили Францию, а в первой половине XIX-го Германию', — дело не в истории, а в до-истории, не в моментах преходящих, а в нашей с Германией общей крови, одной прародине, в том вине, о котором русский поэт Осип Мандельштам, в самый разгар войны: 'А я пою вино времен — Источник речи италийской, И в колыбели праарийской Славянский и германский лен. 'Гениальная формула нашего с Германией отродясь и на-век союза» (М. Цветаева. Проза, стр. 192). В воспоминаниях Е. М. Тагер «О Мандельштаме» (Публикация и комментарий Г. П. Струве, Нью-Йорк, 1966, стр. 15—16; первоначально опубликованы в «Новом Журнале», № 81, декабрь 1965) есть рассказ о том, как Мандельштам читал первую — и очевидно не сохранившуюся — версию этого стихотворения на встрече Нового 1917 года в артистическом ресторане «Привал Комедиантов» в Петрограде: «Поблизости от нас, между стриженой белокурой головкой Марии Левберг и темной высокой прической Маргариты Тумповской, обозначился острый профиль Мандельштама, его высокий лоб. Пронин (хозяин сначала «Бродячей Собаки», затем — «Привала Комедиантов» — Ред.) наклонился к Мандельштаму, что-то ему прошептал. Мандельштам сердито закинул голову, его длинные густые ресницы дрогнули, — он упорствовал, — но обе его соседки, справа и слева, взяли его под руки и заставили встать. Пронин своим приятным певучим голосом поздравил гостей с Новым Годом и объявил, что сейчас мы услышим новые стихи Осипа Мандельштама. И мы услышали

их. В то время все поэты, читая стихи, более или менее соблюдали законы ритма, — но чтение Мандельштама было больше, чем ритмично. Он не скандировал, не произносил стихи, он пел как шаман, одержимый видением. Мандельштам пел, не сдерживая сил, он вскрикивал на ударениях — и, вероятно, эти донельзя насыщенные, эти предельно эмоциональные стихи невозможно было бы донести до слушателей иными средствами. Прочитанные обветшавшим 'выразительным' способом, эти стихи выглядели бы как пародия. У Мандельштама они звучали как заклинание. В ту новогоднюю ночь он пропел нам стихи о войне, — о европейской войне, что длилась с ранней осени 1914 года и теперь готовилась захлестнуть 1917-й. Патриотический лексикон военных стихов того времени начисто отсутствовал. Не было в этих ямбах ни коварных тевтонов, ни наших непобедимых штыков и ядер, ни даже сверхсовременных, не вполне еще освоенных дирижаблей и цеппелинов. Поэт пропел о том, как вступают в битву лев, петух, орел. Не лев из зоопарка, не петух из курятника, а существа мистической силы — ведущие начала европейской истории в гриме геральдических зверей. Стихи были фантастичны, страшны, неотразимы. Они, кажется, никогда не появились в печати. Было в 'Tristia' нечто похожее ('Зверинец'), но не то. Впрочем, он не раз переделывал стихи до неузнаваемости; нередко и возвращался к прежним замыслам. Он пропел до конца; горящие глаза погасли, темные ресницы почти сомкнулись. Экстаз кончился. Осип Эмильевич сел рядом со мной — уже будничный, уже не вдохновенный. Я спросила, будут ли опубликованы эти стихи. Он ответил: 'Во всяком случае, не теперь. Может быть — после войны'. И добавил: 'Боюсь, что мы все долго не будем появляться в печати. Идут времена безмолвия'. Я только повела на него изумленным взглядом. Ничего я не поняла. А над городом уже стояла голубая морозная полночь, — первая ночь первого революционного года». В литературных кругах, близ-

ких к левым эсерам, это стихотворение было принято весьма дружественно: «'Звеpинец' О. Мандельштама — мудрое произведение, посыпанное едкой аттической солью. Несколько неожиданным является 'анархический' дух этой оды в альманахе («Тринадцать Поэтов». — Ред.), как-никак 'буржуазном' (не в социальном, конечно, смысле). 'В зверинец заперев зверей (германского орла, британского льва и галльского петуха), мы успокоимся надолго'» (Иннокентий Оксенов. Отклики поэтов. «Знамя Труда», 8 марта]23 февраля[1918).

№ 84. **В разноголосице девического хора.** Впервые в «Альманахе Муз», 1916. Перепечатано в «Весеннем Салоне Поэтов», 1918. Разночтений нет. «Есть ли у Вас 'Tristia' Мандельштама? Может быть Вам будет любопытно узнать (как одно из моих отражений), что стихи: 'В разноголосице девического хора', 'На розвальнях, уложенных соломой', 'Но в этой странной, деревянной — и юродивой слободе' («Не веря воскресенья чуду». — Ред.) — и еще несколько — написаны мне. Это было в Москве, весной 1916 г., и я взамен себя дарила ему Москву. Стихов он из-за жены (недавней и ревнивой) открыто посвятить не решился. У меня много стихов к нему, когда будете в Берлине, посмотрите (предпоследний, кажется) № 'Русской Мысли'. Кажется, все к нему. Посвятить их ему открыто из-за его жены (недавней и ревнивой) не решилась» (Марина Цветаева. Письмо от 25 июля 1923 А. Бахраху, «Мосты», 5, стр. 316). «... Для любви я стара, это детское дело. Стара не из-за своих 30 лет, — мне было 20, я то же говорила Вашему любимому поэту Мандельштаму: — 'Что Марина — когда Россия?! 'Марина' — когда Весна?! О, Вы меня *действительно* не любите!'» (там же, письмо от 25 июля 1923, стр. 313). «Русская Мысль» редактировалась тогда в Праге проживавшим там П. Б. Струве, но печаталась под наблюдением Г. П. Струве в Берлине. «О чем бы он ни грезил: о прошлом возлюбленной средиземноморской земли, о легендарной

Тавриде, о скифском варварстве или о древней Москве с 'пятиглавыми соборами' или о современном умирающем Петрополе с Исаакием, стоящим 'седою голубятней', или о богослужебной торжественности полудня, — рассказ об этих видениях насыщен восторгом сердца. И больше того: живое, конкретное впечатление переходит в образ какой-то трансцедентной сущности. Мандельштам лучше чем кто-нибудь понял урок великих французских новаторов и связал русский стих с 'сюрреалистическими' прозрениями века. Но и по темам, и по религиозному акценту эти стихи остаются русскими, в самой отвлеченности их таится великая любовь поэта и к русским судьбам, и к русской вере...» (С. Маковский. Портреты, стр. 385). См. в приложениях к третьему тому настоящего собр. сочинений Мандельштама очерк Марины Цветаевой «История одного посвящения».

№ 85. На розвальнях, уложенных соломой. Впервые в «Альманахе Муз», 1916. Разночтение (то же и в «Т.»): стих 16. Лущили семя у ворот.

«В странном стихотворении как будто бы об убиенном в Угличе царевиче Димитрии — а, может быть, о Димитрии Самозванце? — и частью как будто написанном в первом лице ('...м е н я везут без шапки...', но дальше — 'Царевича везут...') есть немного таинственные строки о Риме: 'Не три свечи горели, а три встречи...'» (Г. Струве. Итальянский сборник, стр. 609). Тут и свеча негасимая, затепленная Москвой и завещанная св. митрополитом Алексием московским князьям-государям, и три Рима — Москва-Третий Рим, а четвертому не бывать, но и мистические три встречи — целый ряд планов и лирических тем, окрашенных в неославянофильские тона.

№ 86. Соломинка. Впервые в альманахе «Тринадцать Поэтов», 1917, затем — в «Ковчеге», Феодосия, 1920, и журн. «Москва», № 7, 1922. Разночтения:

Стих 1. Когда, соломинка, ты спишь в огромной спальне!
(«Ковчег», «Т.»)

Часть II:

„ 8. Вкушает медленно торжественный покой.
(«Ковчег»)

«Мандельштам не пил, не курил, и на моей памяти у него не было романов. ... Мандельштам был безнадежно, тайно и возвышенно влюблен в ... знаменитую петербургскую светскую львицу и красавицу, Саломею А-ву, которой он посвящал свой вдохновенный бред о 'соломинке, соломке, Саломее'. (А. Лурье. Детский рай. «Воздушные Пути». Альманах III, Нью-Йорк, 1963, стр. 169). Княжна Саломея Николаевна Андроникова (в замужестве Гальперн) живет в настоящее время в Лондоне. Она воспета и в стихотворении Ахматовой «Тень»:

Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет,
И память хищная передо мной колышет
Прозрачный профиль твой за стеклами карет?
Как спорили тогда — ты ангел или птица!
Соломинкой тебя назвал поэт.
Равно на всех сквозь черные ресницы
Дарьяльских глаз струился нежный свет.
О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя — красавицу тринадцатого года —
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили, а мне такого рода
Воспоминанья не к лицу. О тень!

(Анна Ахматова. Стихотворения. ГИХЛ, Москва, 1961, стр. 193—194).

«Мандельштам поднимается до высот своих именно там, где бормочет, будто чувствуя, что в логически-внятных стихах он сам себя обкрадывает и говорит не то, что сказать должен бы, — чувствуя это и в то же время не имея сил бормотание до логики довести. 'Декабрь торжественный

струит свое дыханье. Как будто в комнате тяжелая Нева...' ...Это действительно — 'высокое косноязычие', по Гумилеву...» (Г. Адамович. Неск. слов о Манд., стр. 93—94).

№ 87. **Я потеряла нежную камею.** Впервые в «Камене». 1918, кн. 1. Стихотворение это, по словам самой С. Н. Андрониковой-Гальперн в письме к Г. П. Струве, посвящено не ей, а ее двоюродной сестре, Тинатине Ильиничне Танеевой, ур. княжне Джорджадзе, проживающей в настоящее время в Нью-Йорке. Указывая на эту ошибку в нашем комментарии к первому изданию этого тома, С. Н. Гальперн пишет: «Мандельштам был у меня, когда пришла, почти в слезах, Тинатина, только что потерявшая камею, мой ей подарок, привезенный из Рима».

№ 88. **Мне холодно. Прозрачная весна.** Впервые — «Ипокрена», 1918, кн. 2—3, как одно стихотворение со стих. наш. собр. № 89, и со стихотворением наш. собр. № 188 (141 стр. этого тома:

Не фонари сияют нам, а свечи...)

В «Ипокрене» в стихотворении 3 строфы: I. «Мне холодно...»; II. «Не фонари сияют нам...»; III. «В Петрополе прозрачном мы умрем». Перепечатано в сборн. «Петербург в стихотворениях русских поэтов», Берлин, 1923.

№ 89. **В Петрополе прозрачном мы умрем.** Впервые — «Ипокрена», 1918, кн. 2—3 — см. предыд. стихотворение. Перепечатано там же, где и предыдущее стихотворение. Разночтение в «Т.»:

Стих 8. Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

№ 90. **Не веря воскресенья чуду.** Впервые в «Аполлоне», 1916, кн. 9—10, причем строчки точек (5—6) в журнальной публикации следующие:

Я через овиди степные
Тянулся в каменистый Крым,
Где обрывается Россия...

Посвящено Марине Цветаевой (см. примеч. к стих.

наш. собр. № 84). К. В. Мочульский, вспоминая о постигавших Мандельштама в Крыму «житейских катастрофах», по поводу этого стихотворения писал: «Но эти невзгоды были ничто по сравнению с настоящим горем, которое он пережил в конце этого крымского лета 1916 года. Я помню, с каким вдохновением он сочинял одно из лучших своих стихотворений... И две последние строки второй строфы возникли сразу в своем законченном великолепии: 'Где обрывается Россия. Над морем черным и глухим...' Но первые две строки? Их не было» (К. Мочульский. Мандельштам, стр. 31).

В воспоминаниях о Мандельштаме Марины Цветаевой, опубликованных в Oxford Slavonic Papers в 1964 г., Цветаева рассказывает о том, как О. Э. Мандельштам летом 1916 г. гостил у нее, вернее, на даче у ее сестры — в Александровской Слободе (ныне г. Александров) — и приводит посвященное ей стихотворение «Не веря воскресенья чуду». Цветаева также указывает, что в этом стихотворении «выпадают две строки» (очевидно, публикация стихотворения в «Аполлоне» Цветаевой не была известна), и вспоминает его в несколько иной редакции:

Стих 21. От бирюзового браслета

(Цветаева замечает: «впоследствии неудачно замененное: 'Целую кисть, где от браслета'»).

Стих 23. Тавриды пламенное лето

Очерк М. Цветаевой см. в приложениях к 3-му тому настоящ. собрания соч. Мандельштама.

№ 91. **Эта ночь непоправима.** Впервые в «Аполлоне», 1916, кн. 9—10, без разночтений. «Случилось чудо, и сын потомка очень древней культуры, которая, казалось, вся иссохла и обратилась в камень, принес в русскую литературу волшебную скрипку Амати или Гварнери. Может быть, и надо было для этого прийти издалека, со стороны, чтобы полюбить стихию русской речи всей свежестью новообращенной

души и выколдовать из нее свою особенную мелодию. Так нужен был Гейне, чтобы зазвучал немецкий язык небывалой острой тональностью... У Мандельштама 'стихов виноградное мясо', 'звучащая и говорящая плоть языка'. Он, будучи человеком моцартовского беспечного облика, считал Сальери 'достойным уважения и гордой любви' именно за сознательное мастерство. Мандельштам, поэт чувственного восприятия и детского своеволия, сохранил дореволюционную насыщенность гуманизмом Запада. Он начал с того, что 'природа — тот же Рим', и прошел, последовательно, от Эллады до Армении. В русской поэзии это установившаяся традиция с пушкинских времен. ... Но у Мандельштама это странствие музы, где и 'американка в двадцать лет', и 'Шотландии кровавая луна' и католический аббат..., и Федра, и 'соборы вечные Софии и Петра' — не что иное как поиски дома бездомным поэтом... Потерявшему дом весь мир служит домом» (Марголин. Памяти Манд., стр. 108—109). Нам кажется, что в этих словах хотя и много правды, но далеко не полная правда, и сложнейший сплав иудейских, православных, католических, национально-русских, даже повышенно-славянофильских, и еврейских, эллинских, латинских элементов — сродни полифонической эстетике Достоевского, как-то перекликается с таким интереснейшим явлением в музыкальной культуре конца XIX—начала XX века, как симфонии Г. Малера. Интересно, что в стихах, посвященных богослову и общественному и политическому деятелю, А. В. Карташеву (стих. наш. собр. № 100), присутствует тот же мотив, те же «черно-желтые настроения», хотя стихотворение и посвящено христианскому мыслителю и историку Церкви.

№ 92. Золотистого меда струя из бутылки текла. Впервые опубликовано в сборнике «Одесса — Поволжью. П о с е в.» Литературно-критический и научно-художественный альманах. УкрГИЗ, Одесса, 1921, стр. 6. Почти одновременно с «Т.» опубликовано в

альманахах «Цех Поэтов» кн. 3, Петербург, 1922, «Цех Поэтов», кн. 2—3, Берлин, 1922?, «Наши Дни», кн. 2, 1922; в еженедельной газете «Московский Понедельник», 1922, № 13, стр. 3, под назв. «Виноград»; перепечатано в альм. «Свиток», кн. 3.

1924. Разночтение:

Стих 1. Золотистого меду струя из бутылки
текла

С Крымом связано много стихотворений Мандельштама, бывавшего часто, в частности, в Коктебеле у Максимилиана Волошина. О пребывании Мандельштама в Крыму см., в числе прочих, воспоминания М. Мабо-Азовского «О Максимилиане Волошине, Мандельштаме и других...», «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 14 января 1949. «...Осип Мандельштам — символист прирожденный, хотя и не в том мистическом и даже эзотерическом духе, какой придавали этому понятию Андрей Белый и, отчасти, Блок. Символизм — это, прежде всего, сжатость образного мышления, сжатость, доводимая иногда... до криптограммы. Несколькими словами, одним словом-метафорой выражается сложная ветвистая мысль или сложное ощущение, и чаще всего, такая мысль и такое ощущение, каких и не сказать иначе, разложив на составные части. Слово при этом теряет свое прямое значение или, — даже не теряя его, — как бы преображается от соприкосновения с другими словами, отвечая глубинным и подчас неясным для самого автора переживаниям. Такими криптограммами 'в зародыше' представляются мне у Мандельштама, например, образы в следующих 'крымских' стихах...: 'Я сказал: виноград, как старинная битва, живет...' 'Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина...' 'Одиссей возвратился, пространством и временем полный.' Не менее характерны для Мандельштама такие строки: 'И вчерашнее солнце на черных носилках несут', или — 'И лес безлиственный прозрачных

голосов' или — 'Сюда влачится по ступеням широкопасмурным несчастья волчий след', или — 'И в ветхом неводе генисаретский мрак'...» (С. Маковский. Портреты, стр. 383—384).

«...Голос Мандельштама течет, как эта 'золотистого меда струя', и вот уже я, забыв, что я 'навсегда опозорена' (своим вопросом Мандельштаму по поводу другого стихотворения, см. примечание к наш. стих. № 105. — Ред.), вся превращаюсь в слух, и мое сердце вслед за орфической мелодией его стихов то взлетает ласточкой, то кубарем катится вниз. ... И другие забыли. Не только о моем неуместном выступлении, но и о моем существовании. Забыли обо всем, кроме стихов Мандельштама...» (И. Одоевцева. На бер. Невы, стр. 22—24).

№ 93. Еще далеко асфоделей. Впервые опубликовано в сборнике «Обвалы Сердца», изд. «Таран», Севастополь, 1920, под названием «Меганон» (так и в тексте), затем в сборнике «Одесса — Поволжью. Посев». Литературно-критический и научно-художественный альманах. УкрГИЗ, Одесса, 1921, стр. 5, под назв. «Меганом», и — одновременно — в «Радуге», кн. 2-3, Полтава, 1921, под назв. «Меганон». Затем, под тем же названием, в «Трилистнике», 1, 1922, причем опять в тексте стихотворения мыс Меганом называется всюду Меганоном. Без названия — во «Второй книге». Очевидно, автор первоначально ошибся и принял неверное название мыса, чем и объясняется рифма: Меганон — похорон. В «Т.» — под назв. «Меганон» (так и в тексте). К. В. Мочульский, в уже цитировавшейся статье «О. Э. Мандельштам», писал по поводу этого стихотворения (полностью потом его цитируя): «Мандельштам любил смотреть на далекие судакские горы, на туманный мыс Меганом. О нем написал он строфы, загадочные и волшебные» (стр. 30).

№ 94. Декабрист. Впервые в газ. «Новая Жизнь», 24 декабря 1917; затем — в альман. «Исход», 1, Пенза, 1918. Перепечатано в «Красной Нови», 1922, кн. 4;

в еженедельной газете «Московский Понедельник», 1922, № 9, стр. 3. Разночтения в «Новой Жизни»:

Стих 5. Честолюбивый сан он променял на сруб

(сан — опечатка?)

„ 16. Сентиментальная гитара.

„ 21. Все перепуталось, а некому сказать,

В связи с этим стихотворением Валентин Катаев в «Траве забвенья» вспоминает о том, как он «Однажды был свидетелем встречи Маяковского с Мандельштамом. Они не любили друг друга. Во всяком случае считалось, что они полярные противоположности, начисто исключающие друг друга из литературы. Может быть, в последний раз перед этим они встретились еще до революции, в Петербурге, в 'Бродячей собаке', где Маяковский начал читать свои стихи, а Мандельштам подошел к нему и сказал: 'Маяковский, перестаньте читать стихи, вы не румынский оркестр'. Маяковский так растерялся, что не нашелся, что ответить, а с ним это бывало чрезвычайно редко. И вот они снова встретились. В непосредственной близости от памятника Пушкину, тогда еще стоявшего на Тверском бульваре, в доме, которого уже давным-давно не существует, имелся довольно хороший гастрономический магазин в дореволюционном стиле. Однажды в этом магазине, собираясь в гости к знакомым, Маяковский покупал вино, закуски и сласти. ... Приказчик в кожаных лакированных нарукавниках — как до революции у Чичкина — с почтительным смятением грузил в большой лубяной короб все то, что диктовал Маяковский ..... Именно в этот момент в магазин вошел Осип Мандельштам — маленький, но в очень большой шубе с чужого плеча до пят, — и с ним его жена Надюша с хозяйственной сумкой. Они быстро купили бутылку 'кабернэ' и четыреста граммов сочной ветчины... Маяковский и Мандельштам одновременно увидели друг друга и молча поздоровались. Некоторое время они смотрели друг на друга: Маяковский ядовито сверху вниз, а Мандельштам за-

носчиво снизу вверх, и я понимал, что Маяковскому хочется как-нибудь получше сострить, а Мандельштаму в ответ отбрить Маяковского так, чтобы он своих не узнал. Я изучал задранное лицо Мандельштама и понял, что его явное сходство с верблюдиком все же не дает настоящего представления о его характере и художественно является слишком элементарным. Лучше всего изобразил себя сам Мандельштам: 'Куда как страшно нам с тобой, товарищ большеротый мой! Ох, как крошится наш табак, щелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом... Да, видно, нельзя никак'. Он сам был в этот момент деревянным щелкунчиком с большим закрытым ртом, готовым раскрыться как бы на шарнирах и раздавить Маяковского, как орех. Сухо обменявшись рукопожатием, они молчаливо разошлись; Маяковский довольно долго еще смотрел вслед гордо удалявшемуся Мандельштаму, но вдруг, метнув в мою сторону как-то особенно сверкнувший взгляд, протянул руку, как на эстраде, и голосом, полным восхищения, даже гордости, произнес на весь магазин из Мандельштама: — 'Россия, Лета, Лорелея'. — А затем повернулся ко мне, как бы желая сказать: 'А? Каковы стихи? Гениально!' Это была концовка мандельштамовского 'Декабриста': 'Все перепуталось, и сладко повторять: Россия, Лета, Лорелея'. — По отношению к прошлому будущее находится в прошлом. Так где же нахожусь я сам? Неужели для меня теперь нет постоянного места в мире? Или 'т е п е р ь' это то же самое, что 'т о г д а'?» («Новый Мир», 1967, № 3, стр. 93—94). И характерно: несмотря на то, что «Трава забвенья» посвящена таким несхожим с Мандельштамом Бунину и Маяковскому, она вся пронизана цитатами из Мандельштама (стр. 72, 77, 86, 90, 93—94, 113, 121) и даже заканчивается цитатой из его воронежского стихотворения (стр. 129). И даже самоубийство Маяковского рисуется при посредстве цитаты из того же «Декабриста»: «Он выстрелил себе в сердце из маленького карманно-

го маузера, и в тот же миг время для него уже потекло в другую сторону, все перепуталось, и некому сказать, что, постепенно холодея, все перепуталось и сладко повторять — Россия, Лета, Лорелея'». стр. 113). Примечательно и огромное количество реминисценций из Мандельштама и воспоминаний о Мандельштаме и в другой прозе В. Катаева — «Святой колодец».

№ 95. **Кассандре.** Впервые в газете «Воля Народа», № 206, 31 декабря 1917. Во всех последующих публикациях — без названия, и только первая строфа. Нами восстанавливается полный текст.

«К этому времени относятся все сбращенные ко мне стихи ...'Я не искал в цветущие мгновенья' (декабрь 1917 т.), 'Твое чудесное произношенье'. Кроме того, ко мне в разное время обращены четыре четверостишия: 1. 'Вы хотите быть игрушечной' (1911 г.), 2. 'Черты лица искажены' (10-е годы), 3. 'Привыкают к пчеловоду пчелы' (30-е годы), 4. 'Знакомства нашего на склоне' (30-е годы) и это, отчасти сбывшееся предсказание:

Когда-нибудь в столице шалой,
На диком празднике у берега Невы ...
Под звуки омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы ...

После некоторых колебаний решаюсь вспомнить в этих записках, что мне пришлось объяснить Осипу, что нам не следует так часто встречаться, что может дать людям материал для превратного толкования наших отношений. После этого, примерно в марте, Мандельштам исчез. Тогда все исчезали и появлялись, и никто этому не удивлялся» (Ахматова, стр. 174—175).

№ 96. **В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа.** Впервые — «Ипокрена», 1918, кн. 2-3, разночтения в «Т.»:

Стих 2. Нам пела Шуберта родная колыбель,
„ 8. С звериной яростью качает царь лесной.

«Мандельштам страстно любил музыку, но никогда об этом не говорил. У него было к музыке какое-то

целомудренное отношение, глубоко им скрываемое. Иногда он приходил ко мне поздно вечером и по тому, что он быстрее обычного бегал по комнате, ерошa волосы и улыбаясь, но ничего не говоря, и по особенному блеску его глаз, я догадывался, что с ним произошло что-нибудь 'музыкальное'. На мои расспросы он сперва не отвечал, но под конец признавался, что был в концерте. Дальше этого признания Мандельштам на эту тему не распространялся. Потом неожиданно появились его стихи, насыщенные музыкальным вдохновением. За время моей дружбы с Мандельштамом я привык к тому, что он бормотал стихи, сочинял их на ходу и разговаривал при этом на совершенно посторонние темы; одно не мешало другому. 'Ода Бетховену' сочинялась Мандельштамом довольно долго; я часто слышал, как он выборматывал отдельные строчки, и потом строфы во время наших прогулок, причем строчки передвигались то вверх, то вниз, то в середину, пока, наконец, 'Ода' не приняла окончательную форму. Мне часто казалось, что для поэтов, даже самых подлинных, контакт со звучащей, а не воображаемой музыкой не является необходимостью, и их упоминания о музыке носят скорее отвлеченный, метафизический характер. Но Мандельштам представлял исключение; живая музыка была для него необходимостью. Стихия музыки питала его поэтическое сознание, как и пафос государственности, насыщавший его поэзию» (Артур Лурье. Чешуя в неводе. Стр. 202—203). Кроме «Баха» и «Оды Бетховену» в «Камне» назовем еще хотя бы «Летают Валькирии, поют смычки», в том же «Камне»; «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме», «Жил Александр Герцевич» (опять таки «он Шуберта накручивал»), «За Паганини длиннопалым», «Концерт на вокзале», «Рояль», другой «Рояль» (в детских стихах), ряд переводов стихов о музыке и музыкантах; в прозе — «Египетская марка», с ее страницами о музыке, «Музыка в Павловске», «Концерты Гофмана и Кубелика» в «Шуме времени», «Пуш-

кин и Скрябин». Музыкальные образы и сравнения играют большую роль в этюде Мандельштама о Данте, публикуемом впервые во втором томе настоящего собрания.

«Мандельштам часто заходил за мной, и мы ездили на извозчике по невероятным ухабам революционной зимы, среди знаменитых костров, которые горели чуть ли не до мая, слушая неизвестно откуда несущуюся ружейную трескотню. Так мы ездили на выступления в Академию Художеств, где происходили вечера в пользу раненых и где мы оба несколько раз выступали. Был со мной Осип Эмильевич и на концерте Бутомо-Названовой в консерватории, где она пела Шуберта (см. 'Нам пели Шуберта'...)» (Ахматова, стр. 174).

№ 97. **Твое чудесное произношенье.** В «Т.» разночтение (возможно опечатка):

Стих 6. «Во» — это я тебя зову.

№ 98. **Что поют часы-кузнечик.** Впервые в сборнике «Обвалы Сердца», изд. «Таран», Севастополь, 1920, под назв. «В горячке соловьиной». В «Т.» и «Второй книге» разночтения:

Стих 1. Что поют часы, кузнечик, (Вт. кн.).
„ 7. Эта ласточка и дочке (Т., явн. опеч.).
„ 12. И на дне морском простит (Т.)
„ 13. Потому что смерть невинных, (Т.)

Перепечатано в «Красной Нови», 1923, кн. 1.

№ 99. **Когда на площадях и в тишине келейной.** Впервые в журн. «Москва», № 3, 1919; перепечатано в «Наших Днях», кн. 2, 1922. Разночтений нет.

№ 100. **А. В. Карташеву.** Впервые в газ. «Страна» № 9, 7 апреля 1918; перепечатано в альманахе «Ковчег», Феодосия, 1920, и альман. «Возрождение», т. 1, 1922. Во всех последующих за газетной публикациях название-посвящение Карташеву снято. Разночтения в газете:

Стих 8. Се черно-желтый свет, се радость, иудеи!
„ 9. Он с нами был тогда, на берегу ручья.

Антон Владимирович Карташев (1875—1960) — министр исповеданий во Временном правительстве — был незадолго до опубликования этого стихотворения освобожден из-под ареста. Сидел он в Петропавловской крепости. В марте 1918 стали появляться в независимых газетах статьи Карташева на церковные и общеполитические темы. Но если верить дате, стихотворение написано задолго до освобождения Карташева, еще в то время, когда Карташев находился в заключении. Дата — только в книге: в газете даты нет. В этом стихотворении, посвященном церковному деятелю и писателю-христианину, примечательны его «черно-желтые» элементы и настроения. Мы уже говорили об этом в примечаниях к стих. наш. собр. № 91. Вместе с тем, некоторые критики и исследователи утверждают, говоря о Мандельштаме, что «еврейской тематики у него нет. Как правильно заметил один критик, 'если он даже случайно вспоминал Палестину, то не с какой-либо национальной, но чисто художественной целью'» (Г. Аронсон. Евреи в русской литературе. «Книга о русском еврействе. От 1860-х годов до революции 1917 г.», Нью-Йорк, 1960, стр. 377). Полагаем, что для всякого подлинного художника «художественные цели» являются основными, что отнюдь не исключает целей национальных, ибо художественное делание — также национальное творчество. О сплаве различных культурных, религиозных, национальных, философских элементов в творчестве Мандельштама следует еще немало подумать — и нужно основательно изучить его творчество в этом отношении. «... Посвящение стихотворения А. В. Карташеву носило в момент его напечатания явно демонстративный характер: адресат не так давно был освобожден из крепости, он только что вернулся к публицистической деятельности и занялся работой по подготовке созыва церковного собора, а вся Россия была охвачена гражданской войной и политической борьбой, в которой тогда не могло быть нейтральных» (Г. Стру-

ве. Об одном стихотворении С. Соловьева. «Мосты», Мюнхен, кн. 10, 1963, стр. 184). В том же 1918 г., даже в том же самом месяце, 21 апреля, в газете «Страна» было помещено стихотворение Мандельштама «Кто знает, может быть, не хватит мне свечи» (наш. собр. № 193), посвященное «позднему патриарху в разрушенной Москве», «Тихону, — ставленнику последнего собора». Оба стихотворения, несмотря на совсем разнородный тон их, перекликаются не только благодаря посвящению первого крупному деятелю этого «последнего собора».

№ 101. **На страшной высоте блуждающий огонь.** Перепечатано в сборн. «Петербург в стихотворениях русских поэтов», Берлин, 1923. В «Т.» разночтение:

Стих 6. Зеленая звезда летает.

«Мандельштам ... весел и доволен. На сегодняшнюю ночь у него не только крыша, диван, сладкий чай с патокой, но и собеседник. Они будут читать друг другу стихи и вести бесконечные вдохновенно-задушевные ночные разговоры — до утра. А завтра новый день. Безумный и веселый. ... Все дни были тогда веселы. И, если вспомнить, что это были зимы 1920—1921 года, веселье их было не лишено безумия. Холод, голод, аресты, расстрелы. А поэты веселились и смеялись в умирающем Петрополе. '... Прозрачная весна над черною Невой ...'» (И. Одоевцева. На бер. Невы, стр. 32).

№ 102. **Когда в темной ночи замирает.** Во «Второй книге» разночтение:

Стих 1. Когда в теплой ночи замирает

№ 103. **Сумерки свободы.** Впервые в «Знамени Труда», № 209, 24 мая 1918, под названием «Гимн». В «Т.» под названием «Сумерки свободы», в дальнейших публикациях снятым (нами название, снятое отнюдь не по художественным соображениям, восстанавливается). В кн. «Стих. 1928» с цензурными пропусками, начинается прямо:

... в кипящие ночные воды

Илья Эренбург пишет во второй книге своих воспо-

минаний: «... тогда не только я, но и многие писатели старшего поколения, да и мои сверстники еще не понимали масштаба событий. Но именно тогда молодой петроградский поэт, которого считали салонным, ложноклассическим, далеким от жизни, тщедушный и мнительный Осип Мандельштам написал замечательные строки: 'Ну, что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля...'» (Люди, годы, жизнь, стр. 390).

№ 104. **Tristia.** Впервые в альман. «Гермес», Киев, 1919; также напечатано без названия и без даты в журнале «Пути Творчества» (Харьков), 1919, № 4, стр. 11. Разночтения:

ст. 9: Кто может знать при слове расставанья,
„ 25—28 нет в журнале
„ 29: Не нам гадать о каменном Эребе.

В ст. 4, как и в «Гермесе» и в «Драконе» — «**вигилий** городских».

Перепечатано в «Драконе», 1921, под названием "Tristiae"; затем — в «Цехе Поэтов», Берлин, кн. 1, 1922?. Разночтение в «Т.» и «Стих. 1928»:

Стих 4. Последний час веселий городских,

«Полагаю, что текст 1923 года, а именно: Последний час в и г и л и й городских нужно признать правильным — вот почему: у меня сохранился экземпляр литературного журнала 'Гермес', вышедший в Киеве весной 1919 года. Осип Мандельштем находился тогда в Киеве и лично проверил корректуру своего стихотворения в редакции 'Гермеса'» (Ю. Терапиано. Ответ на письма читателей. «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 15 февраля 1953). Третья строка последней строфы буквально повторяет строку Анны Ахматовой:

Высоко в небе облачко серело

Как беличья распластанная шкурка (см. А. Ахматова. Ч е т к и. Изд. 9-е, «Алконост» и «Петрополис», Берлин, 1923, стр. 85; это стихотворение написано до 1911 года и входит в первую книгу Ахматовой «Вечер»). «После падения гетмана и Петлюры, в начале 1919 г., в Киев вошли боль-

шевики. Кому-то из бывших деятелей Киевского Литературно-Артистического Общества пришла в голову мысль устроить в зале бывшей гостиницы Континенталь эстраду со столиками, для выступлений, — 'Х л а м': художники, литераторы, артисты и музыканты. В это время в Киев съехалось много поэтов и писателей из Петербурга и Москвы, в надежде подкормиться в продовольственно более благополучном Киеве. Помещение 'Хлама' ...стало своего рода штаб-квартирой киевских литераторов». (Ю. Терапиано. Встречи. Стр. 13). «Среди 'северян' в 'Хламе' выделялся О. Э. Мандельштам — он уже был известен по книге 'Камень'. ... Помню, как в 'Хламе' Осип Эмильевич прочитал чудесные стихи 'Я изучил науку расставанья...' (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь, стр. 469).

№ 105. **На каменных отрогах Пиерии.** Впервые в «Гермесе», Киев, 1919; перепечатано в «Драконе», 1921, под названием «Черепаха», и под тем же названием (сохраненным и в «Т.») — в «Цехе Поэтов», кн. 1, Берлин, 1922?. Разночтения:

Стих 24. Сухих перстов предчувствуя полет.
„ 26. Простоволосая бежит трава,
(Дракон).

Напечатано также в журнале «Пути Творчества» (Харьков), 1920, № 6—7, стр. 13, под названием «Черепаха». Разночтения:

ст. 7: Чтобы открылись правнукам далеким
., 10: Обула Сафо пестрый башмачек

«Однажды днем (днем в 'Хламе' можно было получить кофе и кое-какую еду, но столики обычно пустовали), я заметил единственного, кроме меня, посетителя. Невысокий человек, лет 35-ти, с рыжеватыми волосами и лысинкой, бритый, сидя за столом, что-то писал, покачиваясь на стуле, не обращая внимания на принесенную ему чашку кофе. 'Поэт, решил я, но кто?' В это время в 'Хлам' вошел Маккавейский (киевский поэт. — Ред.). Я по-

делился с ним моими наблюдениями. Решительный в таких случаях, с обычной своей изысканной любезностью, Маккавейский представился. — Осип Мандельштам, — последовал ответ незнакомца. Через несколько минут разговор уже шел о стихах; точнее Маккавейский говорил и задавал вопросы. ... Оказалось, только что приехав в Киев (подкормиться, на севере — голодно), Мандельштам пошел осматривать город и случайно забрел в 'Хлам'. — Я пишу стихи медленно, порой — мучительно-трудно. Вот и сейчас никак не могу окончить давно начатое стихотворение, не нахожу двух заключительных строк, — с серьезным, глубоким выражением лица и в то же время с какой-то детской доверчивостью, поделился своим затруднением Мандельштам. Это было его прекрасное стихотворение, 'На каменных отрогах Пиерии', впоследствии вошедшее в книгу 'Тристии'. В последней строфе: 'Где не едят надломленного хлеба, Где только мед, вино и молоко' — нехватало д в у х заключительных строк, которые Мандельштам искал и здесь, в 'Хламе'. С присущей ему формальной находчивостью, Маккавейский подсказал: 'Скрипучий труд не омрачает неба, И колесо вращается легко!' Если вслушаться в музыку двух последних строк стихотворения, эти строки суше и фонетически беднее мандельштамовских. Я был очень удивлен, когда Мандельштам принял их...» (Ю. Терапиано. Встречи. Стр. 13—15). Эти стихи Мандельштам читал на квартире Гумилева, вернувшись в Петербург. Это было первое чтение «Тристии» на берегах Невы. Присутствовавшая при этом Одоевцева спросила Мандельштама: «— Отчего черепаха-лира ожидает Терпандра, а не Меркурия? И разве Терпандр тоже сделал свою кифару из черепахи? — Мандельштам, только что превознесенный самим Синдиком Цеха — Гумилевым, окрыленный всеобщими похвалами, отвечает... несколько надменно: — Оттого, что Терпандр действительно жил, родился на Лесбосе и действительно сделал лиру. Это придает сти-

хотворению реальность и вещественную тяжесть. С Меркурием оно было бы слишком легкомысленно легкокрылым. А из чего была сделана первая лира — не знаю. И не интересуюсь этим вовсе». (И. Одоевцева. На бер. Невы, стр. 21—22). Мандельштам всегда любил узнать мнение слушателей о своих стихах — и очень прислушивался к этому мнению. В записи 1922 г. в дневнике М. М. Пришвина говорится: «Поэт Мандельштам сказал: что всего лучше, когда молодой поэт, почитав стихи, просит сейчас же ответить, сказать: 'Это для всех характерно'...» (М. М. Пришвин. Собрание сочинений в 6 томах. Том 6, ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 812).

№ 106. **В хрустальном омуте какая крутизна.** В кн. «Стих. 1928» оставлена только 1-я строфа. Нами стихотворение восстанавливается полностью, ибо сокращено оно было не по художественным соображениям. «В стихотворениях, написанных Мандельштамом в первые годы революции, реже встречаются специфически итальянские мотивы и образы (чем в более раннем творчестве. — Ред.), но в них часты отголоски классической древности, и греческой и римской... Только в одном стихотворении 1919 года ('В хрустальном омуте какая крутизна!') возвращается чаадаевская религиозная тема. Центральная строка в нем — 'Я христианства пью холодный горный воздух'» (Г. Струве. Итальянский сборник, стр. 609—610).

№ 108. **Сестры — тяжесть и нежность.** Впервые в «Ковчеге», Феодосия, 1920; перепечатано в «СОПО» (Союз Поэтов), Сборн. 2, 1922, и в «Поэзии Революционной Москвы», Берлин, 1922. Разночтения:

Стих 6. Легче камень поднять, чем вымолвить слово — любить,
(Альманахи и «Т.»)

„ 8. Золотая забота, как времени бремя убить.
(СОПО).

«К Пушкину у Мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное

отношение — в нем мне чудился какой-то венец сверхчеловеческого целомудрия. Всякий пушкинизм был ему противен. О том, что 'Вчерашнее солнце на черных носилках несут' — Пушкин, ни я, ни даже Надя [жена поэта, Надежда Яковлевна. — Ред.] не знали, и это выяснилось только теперь из черновиков (50-е годы). Мою 'Последнюю сказку', статью о 'Золотом Петушке', он сам взял у меня на столе, прочел и сказал: 'прямо — шахматная партия'.

'Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем'

(декабрь 1917 г.)

— конечно, тоже Пушкин» (Ахматова, стр. 177).

№ 110. **Веницейской жизни мрачной и бесплодной.** Впервые в «Альманахе Цеха Поэтов», кн. 2, 1921; затем перепечатана в «Огоньке», 1923, № 7. В «Т.» — разночтение:

Стих 5. Тонкий воздух, кожи синие прожилки, «Единственное стихотворение Мандельштама, которое наводит на мысль о том, что, может быть, он все-таки побывал в Италии, хотя бы в Венеции (что было так легко в те времена сделать из Гейдельберга или из Швейцарии...), это стихотворение 'Веницейской жизни'.... Но если это стихотворение и навеяно живым образом Венеции, оно родилось не под свежим впечатлением, а много лет спустя, в 1920 году (повидимому в Крыму, в Феодосии). Могло оно быть написано и человеком, никогда Венеции не видевшим, знавшим ее по картинам, по книгам, по воображению. Пейзаж Венеции у Мандельштама какой-то призрачный, слегка сюрреалистичный: 'голубое дряхлое стекло', 'кипарисные носилки', 'черным бархатом завешанная плаха', мерцающий в зеркале 'черный Веспер'. В стихотворении звучит тема умирания, довольно частая в эти годы в стихах Мандельштама...» (Г. Струве. Итальянский сборник, стр. 603).

Надежда Павлович вспоминает о своей беседе с А. А. Блоком по поводу этих стихов Мандельштама

и «Венеции» Блока: «Осенью 20-го года в Петербург приехал поэт Мандельштам и читал в Союзе поэтов свои стихи. (Одно из них было посвящено Венеции). Через несколько дней мы с Александром Александровичем вспомнили об этом чтении и отметили, что Венеция поразила обоих (и Блока, и Мандельштама) своим стеклярусом и чернотой...» (Н. Павлович. Из воспоминаний об Александре Блоке. «Феникс», кн. 1, 1922, стр. 156).

№ 111. **Феодосия.** В «Т.» — только 4 и 5-я строфы, без названия. Впервые полностью — в «Красной Нови», 1923, кн. 1. «К счастью, в наш флигелек начал заглядывать Волошин, он обожал заумные разговоры. ... Осип Эмильевич любил передразнивать разговоры поэтов-символистов: 'Как поживаете, Иван Иванович?' — 'Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу'. ... В Феодосию я ездил редко: нелегко было найти крестьянина, который согласился бы за весьма скромную плату подвести человека на своей телеге, да и не стоило искушать судьбу и охранников. Город был красивым, он напоминал мне Италию, может быть аркадами или ярусами домов на горе; но в городе шла нехорошая жизнь: никто просто не шел по улице — одни покрикивали, другие поеживались. У Осипа Эмильевича было в Феодосии много знакомых: либеральные адвокаты, еврейские купцы, любители литературы, начинающие поэты, портовые служащие. С некоторыми он меня познакомил; были среди них люди симпатичные, но мне казалось, что они побаиваются с нами встречаться. Мандельштамы уехали: им помог, насколько я помню, начальник порта.» (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь, стр. 491—493). См. прозу Мандельштама во втором томе: цикл «Феодосия», в частности, «Начальник порта».

№ 112. **Когда Психея-жизнь спускается к теням.** Впервые в «Лирическом Круге», 1922; перепечатано в Литерат. Приложении к газ. «Накануне», Берлин, 8 апреля 1923. Разночтения:

Стих 12. Сухие шалости кропит, как дождик мелкий.

„ 14. Душа не узнает туманные дубравы; (Лир. Круг).

На одном из экземпляров книги Мандельштама, его рукой, с датой на полях: «29 марта 1937», вписана новая редакция последней строфы:

И в нежной сутолке не зная, что начать,
Душа не узнает ни веса, ни объема,
Дохнет на зеркало, и медлит передать
Лепешку медную хозяину парома.

№ 113. **Я слово позабыл, что я хотел сказать.** Впервые в альман.: «Дом Искусств», № 1. В «Т.» под названием «Ласточка» и с разночтением или опечаткой:

Стих 10. То вдруг прикинется безумной Антигоной,

№ 114. **Чуть мерцает призрачная сцена.** Впервые в спец. выпуске № 798—803 газ. «Жизнь Искусства», 14 августа 1921, одновременно в «Альманахе Цеха Поэтов», кн. 2, 1921; перепечатано в «Цехе Поэтов», кн. 2-3, Берлин, 1922?, и в «Красной Нови», 1923, кн. 1. Разночтения:

Стих 15. А на улицах летают плошки (Ж. Иск.).

„ 18. И кромешна ночи тьма. (Альм: Цеха Поэтов, «Т.»).

„ 23. И на севере таинственно лепечет (Цех Поэтов, Берлин).

„ 23. И румяные затопленные печи (Кр. Новь, Ж. Иск.).

„ 24. Словно розы римских базилик. (Кр. Новь).

№ 115. **Мне Тифлис горбатый снится.** Впервые в «Цехе Поэтов», кн. 3, Петербург, 1922. В «Т.» без последней строфы. Илья Эренбург рассказывает, как жили в Тифлисе, в 1920 г., он и братья Мандельштамы — «... В персидских харчевнях нам подавали плов и баранину, запеченную в горшочках. Мы проверяли, какое вино лучше — телиани или кварели». (Люди,

годы, жизнь, стр. 511). Строка «Одному не надо пить» — название одного из популярных тбилисских «духанов»-харчевень, в 1910—1920 гг. В Тбилиси жил замечательный самородок — нищий художник Пиросманишвили. Нико Пиросманишвили за несколько обедов и несколько рублей рисовал не только портреты заказчиков, но и вывески. Рисовал их на белой и черной клеенке. «Иногда Пиросман сообща с хозяином придумывал для духана название. Чем замысловатее было название, тем больше оно нравилось. Пиросман, усмехаясь, писал: 'Шашлыки по-электрически' или 'Одному не надо пить'» (К. Паустовский. Повесть о жизни. Книга 2-я. ГИХЛ. Москва, 1962, «Бросок на юг», стр. 586). «И снился ему Тифлис — 'ковровая столица', 'черноволосый и разноголосый' город. Его виденье, возникающее в 'хмельной для глаза оболочке света' до конца дней будет сопровождать поэта»... «Крым, Армения, Грузия — были едва ли не счастливейшими вехами его путешествий...» (Маргвелашвили, стр. 89). Ник. Чуковский вспоминает, как к приходу Николая Заболоцкого он «запасал несколько бутылок 'телиани', потому что 'телиани' он предпочитал всем другим винам; думаю, причины этого предпочтения были прежде всего литературные — он очень любил и повторял стихи Мандельштама: 'В самом маленьком духане — — — '...» (О Николае Заболоцком, «День Поэзии, 1963», М., 1963, стр. 275. Перепеч. в кн. Николай Заболоцкий. Стихотворения. Изд. Межд. Литерат. Содружества, 1965, стр. 265).

№ 116. **Возьми на радость из моих ладоней.** Впервые в «Доме Искусств», кн. 1, 1921; перепечатано в Литер. Приложении к газ. «Накануне», Берлин, 8 апреля 1923. Без разночтений. Написано, по всем данным, во время проживания Мандельштама в «Доме Искусств» — бывш. доме Елисеева, на углу Мойки и Невского. «По дому, закинув руки, ходит Осип Мандельштам. Он пишет стихи на людях. Читает строку за строкой днями. Стихи рождаются тяже-

лыми. Каждая строчка отдельно. И кажется все это почти шуткой, так нагружено все собственными именами и славянизмами. Так, как будто писал Козьма Прутков. Эти стихи написаны на границе смешного: 'Возьми на радость из моих ладоней...' Осип Мандельштам пасся, как овца по дому, скитался по комнатам, как Гомер. Человек он в разговоре чрезвычайно умный. Покойный Хлебников назвал его 'Мраморная муха'. Ахматова говорит про него, что он величайший поэт. Мандельштам истерически любит сладкое. Живя в очень трудных условиях, без сапог, в холоде, он умудрялся остаться избалованным. Его какая-то женская распущенность и птичье легкомыслие были не лишены системы. У него настоящая повадка художника, а художник и лжет для того, чтобы быть свободным в единственном своем деле, — он, как обезьяна, которая, по словам индусов, не разговаривает, чтобы ее не заставили работать» (Виктор Шкловский. Сентиментальное путешествие. Воспоминания 1918—1923. Изд. «Атеней», Ленинград, 1924, стр. 136—137). Эти пленительные и в высокой мере 'абстрактные' стихи писались в условиях голода, холода, нищеты. И совершенно ирреального существования насельников «Сумасшедшего корабля», как наименовала Дом Искусств в одноименной повести Ольга Форш. «Обиталище Осипа Мандельштама представляло собою нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам, это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, леность с прилежностью, заставлявшей его буквально месяцами трудиться над одним неудающимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим — и т. д. Не любить его было невозможно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставлявшего друзей расхлебывать его бесчисленные неприятности. Свой паек... он тотчас же выменивал

на сладости, которые поедал в одиночестве. Зато в часы обеда и ужина появлялся то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание хозяев, вдруг объявлял: — Ну, а теперь будем ужинать!» (Вл. Ходасевич. Дом Искусств. В книге его — Литературные статьи и воспоминания. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, стр. 408—409). «Однако, его творчество не отражало ни этой убогости, ни преследовавших его, отчасти и выдуманных им, житейских 'катастроф'. Ветер вдохновения проносил его поверх личных испытаний. В жизни чаще всего вспоминается мне Мандельштам смеющимся. Смешлив он был чрезвычайно — рассказывает о какой-нибудь своей неудаче и задохнется от неудержимого хохота... А в стихах, благоговея перед 'святыней красоты', о себе, о печалях своих, если и говорил, то заглушенно, со стыдливой сдержанностью. Никогда не жаловался на судьбу, не плакал над собой. Самые скорбно-лирические его строфы (может быть, о неудавшейся любви?) звучат отвлеченно-возвышенно, вот — как эти белые стихи о мертвых пчелах: 'Возьми на радость из моих ладоней...'» (С. Маковский. Портреты, стр. 387—388).

№ 117. **Вот дароносица, как солнце золотое.** «Религиозность этого 'полудня' (или 'вселенской литургии?') не только восторженно христианская, но русская, иконописная религиозность. Удивительно, как сумел проникнуться ею этот выросший в еврейской мелкомещанской среде юноша, набравшийся многосторонней образованности в Швейцарии и Гейдельберге!» (С. Маковский. Портреты, стр. 386). Сравним, что — почти одновременно — говорит Мандельштам в своей прозе («Слово и культура»): «Да, старый мир — 'не от мира сего', но он жив более чем когда-либо. Культура стала церковью. Произошло отделение церкви-культуры от государства. Светская жизнь нас больше не касается, у нас не еда, а трапеза, не комната, а келья, не одежда, а одея-

ние. Наконец мы обрели внутреннюю свободу, настоящее внутреннее веселье. Воду в глиняных кувшинах пьем как вино, и солнцу больше нравится в монастырской столовой, чем в ресторане. Яблоки, хлеб, картофель — отныне утоляют не только физический, но и духовный голод. Христианин, а теперь всякий культурный человек — христианин, не знает только физического голода, только духовной пищи. Для него и слово плоть и простой хлеб — веселье и тайна». См. второй том нашего Собрания сочинений. Ср. также во втором томе фрагмент статьи о Пушкине и Скрябине, где Мандельштам много говорит о христианском искусстве.

№ 118. **В Петербурге мы сойдемся снова.** Перепечатано в сборн. «Петербург в стихотворениях русских поэтов», Берлин, 1923. В книге «Стих. 1928» — в целях камуфляжа — стихотворение помещено без даты и притом среди стихов 1916 г. Под давлением цензуры изменены и некоторые строки стихотворения (нами восстановлен полный и «доцензурный» текст):

Стих 5. В черном бархате январской ночи,

„ 16. Я в ночи январской помолюсь

Первая половина последней строфы (строки 25—28):

Где-то хоры сладкие Орфея
И родные темные зрачки,
И на грядки кресел с галереи
Падают афиши-голубки.

«Да, и действительно 'ничего не понимала' или, точнее, многого не понимала в нем. Не понимала я, например, его страха перед милиционерами и матросами — особенно перед матросами в кожаных куртках — какого-то мистического, исступленного страха. Он, заявивший в стихах:

Мне не надо пропуска ночного,
Я милиционеров не боюсь —

смертельно боялся милиционеров. Впрочем, в печати для цензурности 'милиционеры' были переделаны в 'часовых' — часовых я не боюсь — и не вполне

удачно переделаны. Ведь часовые обыкновенно охраняют какой-нибудь дворец или учреждение и ровно никому не внушают страха. Не то, что милиционеры...» (И. Одоевцева. На бер. Невы, стр. 35).

№ 119. **За то, что я руки твои не сумел удержать.** Под названием «Троянский конь» напечатано в рукописном журнале «Новый Гиперборей». 1921, № 1. Разночтение:

ст. 4: Как я ненавижу пахучие древние срубы

Напечатано в «Альманахе Цеха Поэтов», кн. 2, 1921; перепечатано в «Цехе Поэтов», кн. 2—3, Берлин, 1922?, без разночтений.

Напечатано также в сборнике «Московские поэты» (М., 1924, стр. 24), без разбития на четверостишия и со следующими разночтениями:

ст. 4: Я так ненавижу пахучие, древние
срубы
„ 6: Зубчатыми пилами в стены врезаются
крепко.
„ 13: Прозрачной слезой на стенах проступает
смола

«В начале революции (1920), в то время, когда я жила в полном уединении и даже с ним не встречалась, он был одно время влюблен в актрису Александринского театра Ольгу Арбенину, ставшую женой Ю. Юркуна, и писал ей стихи ('За то, что я руки твои' и т. д.). Рукописи якобы пропали во время блокады, однако я недавно видела их у Х.» (Ахматова, стр. 170).

№ 120. **Мне жалко, что теперь зима.** В «Т.» с пропуском 6-й строфы («И, право, не твоя вина»). «В Петербурге Мандельштам... увлекся молодой актрисой, гимназической подругой жены Гумилева. Увлечение это, как и все его прежние увлечения 'было катастрофически гибельное', заранее обреченное на неудачу, и доставило ему немало огорчений. Оно, впрочем, прошло быстро и сравнительно легко, ус-

пев обогатить русскую поэзию двумя стихотворениями: 'Мне жалко, что теперь зима' и 'Я наравне с другими'» (И. Одоевцева. На бер. Невы, 72, стр. 83). Около того же времени (и, кажется, в связи с неудачным романом) у Мандельштама чуть-чуть не состоялась дуэль с Вадимом Шершеневичем: «Есенин любил всякие необыкновенные приключения... В 1921 году он принимал горячее участие в несостоявшейся дуэли между двумя поэтами — О. Мандельштамом и В. Шершеневичем» (Ник. Вержбицкий. Встречи с Сергеем Есениным. «Звезда», 1958, кн. 2, стр. 174). Об этом же — в обычном для есенинской братии развязном тоне — рассказывает Иван Грузинов: «Зимнее утро. Я в книжном магазине 'Озарь' на Б. Никитской, у приятеля книгопродавца. Является Есенин. Вызывает меня и книгопродавца из магазина. Стоим в дверях. Есенин спрашивает книгопродавца, знает ли тот о предстоящей дуэли двух поэтов: Мандельштама и Шершеневича. Тот отвечает, что знает, что упомянутые поэты поссорились в Камерном театре, ссора перешла в драку — отсюда дуэль. Есенин хочет принять участие в дуэли, хочет быть секундантом со стороны одного из поссорившихся поэтов. Правда, секундант у этого поэта уже есть, но он плох — он почему-то медлит, почему-то оттягивает дуэль. Есенин просит книгопродавца достать оружие для обоих противников. Есенин хотел испытать храбрость дуэлистов. Он уверен, что они трусы. Оба — трусы. Как только узнают, что дуэль неминуема — наверное разбегутся. ... Искать оружие никто, конечно, и не подумал. Один из дуэлистов спешно выехал из Москвы. Другой, повидимому, был рад, что его противник сбежал раньше, чем увидел поле сражения» (Есенин. В сборн.: Сергей Александрович Есенин. Воспоминания. Под ред. И. В. Евдокимова. ГИЗ, Москва—Ленинград, 1926, стр. 125—126). Трудно вообразить, чтобы Есенин хотел быть секундантом на стороне Мандельштама: вернее всего, он должен был быть секундантом своего това-

рища по группе имажинистов Вадима Шершеневича. К тому же Есенин был ярко выраженным антисемитом (см., напр., воспоминания Матвея Ройзмана «То, о чем я помню» в сборнике Всероссийского Союза Поэтов «Памяти Есенина», Москва, 1926, стр. 117; воспоминания Вениамина Левина в «Новом Русском Слове», Нью-Йорк, 9—13 авг. 1953; статью А. Ярмолинского «Есенин в Нью-Йорке», «Новый Журнал», Нью-Йорк, кн. 51, 1957, стр. 114—117, и др.). К Мандельштаму же Есенин относился явно недружелюбно. Возомнив о себе, как о большом поэте, Есенин имел наглость свысока покрикивать на Мандельштама и поучать его. Тот же Грузинов рассказывает: «Домино. Хлопают двери. Шныряют официанты. Поэтессы. Актеры. Актрисы. Люди неопределенных занятий. Поэты шляются целыми оравами. У открытой двери в комнату правления союза поэтов: Есенин и Осип Мандельштам. Ощетинившийся Есенин, стоя вполоборота к Мандельштаму: — Вы плохой поэт! Вы плохо владеете формой! У вас глагольные рифмы! — Мандельштам возражает. Пыжится. Краснеет от возмущения и негодования...» (Есенин разговаривает о литературе и искусстве. Изд. Всероссийского Союза Поэтов, Москва, 1927, стр. 75, 94).

№ 122. **Я наравне с другими.** Одновременно в «Кольце», 1922. В «Т.» другой вариант последних четырех строк:

И в полуночной дреме,
Во сне иль наяву,
В тревоге иль в истоме —
Но я тебя зову.

№ 123. **Я в хоровод теней, топтавших нежный луг.** Одновременно в «Кольце», 1922; перепечатано в Литерат. Приложении к газ. «Накануне», Берлин, 25 июня 1922. В «Кольце» разночтения:

Стих 14. Само себя не узнавая,
„ 15. А ты гоняешься за легкою весной,

№ 124. **Люблю под сводами седыя тишины.** Впервые в Литерат. Приложении к газ. «Накануне», Берлин, 28

мая 1922; перепечатано в сборн. «Петербург в стихотворениях русских поэтов», Берлин, 1923. В «Т.» иной вариант первых пяти строк стихотворения:

Исакий под фатой молочной белизны
Стоит седою голубятней,
И посох бередит седыя тишины
И чин воздушный сердцу внятный.
Столетних панихид блуждающий призрáк,
Широкий вынос плащаницы . . .

СТИХОТВОРЕНИЯ 1921—1925 — ИЗ КНИГИ 1928 Г.

К моменту выхода в 1928 году «Стихотворений» — Мандельштама уже редко и неохотно публиковали, он жил случайными рецензиями, переводами и обработками европейских прозаиков. «Стихи свои ему удавалось печатать редко. В 1928 году он выпустил сборник 'Стихотворения'. Тираж этой книжки — две тысячи экземпляров. В тридцатые годы он напечатал в журнале 'Звезда' цикл стихотворений об Армении. Стихи его усердно переписывались и заучивались любителями поэзии, но в печати откликов не получали. В последнее десятилетие своей жизни он внешне уже нисколько не походил на Пушкина. Портился его характер, росла обидчивость, он все чаще находился в нервном, тревожном состоянии духа. Помню, я навестил его как-то летом, когда он жил в Детском Селе. Он поразил меня своей нервозностью, душевной угнетенностью. Он очень много говорил, то вскакивал, то садился; иногда он вдруг опускал голову на стол и когда поднимал ее, в глазах его стояли слезы. Куря, Осип Эмильевич обычно не пользовался пепельницей: пепел с папиросы он стряхивал себе за спину через левое плечо. И на левом плече его всегда собиралась горка пепла. В тридцать пятом или тридцать шестом году, осенью, в дождь, я как-то возвращался из Москвы в Ленинград. На Ленинградском вокзале в Москве я увидел Мандельштама, сидевшего рядом с женой на потертом чемодане. Чемодан был маленький, и, затерянные в огромном зале, они сидели, тесно прижавшись друг к другу, как два воробья. Я подошел к ним, и в глазах Мандельштама блеснула надежда. Он спросил, каким поездом я еду. Я ехал 'стрелой'. — А мы на час позже, — сказал он. — Мы пошли бы посидеть в ресторан, но... — В наступившие вскоре недобрые времена его выслали в Воронеж. Выслали без всякой вины, а просто так, потому что он был 'Как беззаконная комета Среди расчисленных светил'. Он, постоянно кочевавший из города в город, мог бы жить и в Воронеже, но беда заключалась в том, что там у него не было никаких средств к существованию. Пользуясь слабостью надзора,

гонимый голодом и тоской, он несколько раз сбегал оттуда в Москву и однажды добрался даже до Ленинграда. Тут я видел его в последний раз. Днем мне позвонил мой друг Стенич и попросил вечером прийти к нему. Жил он тогда на канале Грибоедова, 9, в маленькой двухкомнатной квартирке. Там я застал... Мандельштама с Надеждой Яковлевной и Анну Андреевну Ахматову. Мандельштам был в мохнатом темно-сером пиджаке, который ему за час перед тем подарил Юрий Павлович Герман. Пиджак этот был очень велик и широк Мандельштаму, из длинных рукавов торчали только кончики пальцев. Поначалу Мандельштам был молчалив и угрюм, да и все молчали. Стенич сделал попытку почитать стихи из только что вышедшей тогда 'Второй книги стихов' Заболоцкого... но Ахматова слушала сдержанно, а Мандельштам со свойственной ему прямотой сказал, что ему не нравятся ни прежние стихи Заболоцкого, ни новые. Он стал просить Анну Андреевну почитать что-нибудь. Она неохотно и без подъема прочла 'Мне от бабушки-татарки...', — стихотворение, которое мы все хорошо знали. ... Выпив вина, Мандельштам оживился. Мы попросили его читать стихи, и он читал много, увлеченно, всю долгую, угрюмую ленинградскую ночь напролет, все больше и больше одушевляясь. Он почти пел их, наслаждаясь каждым звуком, и мохнатые рукава его, как мягкие ласты, плыли в воздухе над столом. На другой день он уехал. Через неделю Стенич был арестован. Потом был арестован и Мандельштам. Оба они погибли. А я навсегда запомнил одно из самых последних его стихотворений, которое он читал нам в ту ночь у Стенича: 'Жил Александр Герцович, Еврейский музыкант...'» (Николай Чуковский. Встречи с Мандельштамом. «Москва», 1964, кн. 8, стр. 151—152). Хронология у Чуковского ошибочная. В 1935 и 1936 гг. Мандельштам был в Воронеже, в ссылке.

Упоминаемый Чуковским Валентин Стенич — молодой советский писатель, переводчик Джойса, друг Юрия Олеши, большой поклонник Мандельштама. Был расстрелян в период сталинских чисток (повидимому, в 1938 г.). Знавшие Стенича говорят о нем, как о человеке большой культуры. Любопытно, что на Запад (повидимому, перед войной) попал целый ряд книг из личной библиотеки Стенича (может быть, конфискованных органами госбезопасности?).

К более раннему времени относится рассказ Ник. Смирнова «Первые годы 'Нового Мира'». Речь идет, в данном случае, примерно, о 1926—1927 гг., эпохе, когда подготавливалась книга «Стихотворения», 1928: в редакции «Нового Мира» бывали «и поэты старшего, 'акмеистического' поколения — в частности, Осип Эмильевич Мандельштам. Он тоже читал иногда, если был в духе, свои изысканно сжатые и певучие стихи, — читал, конечно, нараспев, с поднятыми вверх глазами, звонким, но неровным, срывающимся голосом. В его лице, худощавом, остром и птичьем, как и в его малом росте и потрепанном костюме, сквозило что-то усталое, традиционно поэтическое, говорившее и о душевной боли, и о житейской 'неприкаянности'. Крайне самолюбивый, подозрительный, он проявлял иногда неприятную заносчивость, проистекавшую, очевидно, из той же 'неприкаянности'. Так, он сказал одному молодому поэту, не проявившему, по его мнению, должной почтительности: — Вы должны, юноша, не только слушать меня, но и внимать каждому моему слову, потому что каждое мое слово — для истории литературы...» («Новый Мир», 1964, кн. 7, стр. 191).

Таким образом, еще в середине двадцатых годов Мандельштама начинают не только травить, но и упорно вытеснять из литературы. Любители и ценители поэзии переписывают от руки его стихи, но в печать они попадают весьма редко. Отчасти именно это вытеснение поэта из литературной жизни и приводило к описанным выше «декларациям» Мандельштама. В цитированной выше статье Николай Чуковский недаром применяет к самому Мандельштаму его собственные, мандельштамовские строки: «Самолюбивый, скромный пешеход ... бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет!» (стр. 144). Тот же Чуковский вспоминает: «Всю силу его необыкновенной несопряженности ни с каким бытом я особенно ощутил летом 1922 года, когда побывал у него в Москве, на Тверском бульваре, в комнате, которую ему предоставил Дом Герцена. ...Комната, в которой он жил, — большая и светлая, — была совершенно пуста. Ни стола, ни кровати. В углу большой высокий деревянный сундук с откинутой крышкой, а у раскрытого настеж окна — один венский стул. Вот и все предметы в комнате. На подоконнике рыжей горкой лежал

табак. ...» (стр. 145, 150). Упоминания Дома Герцена имеются в автобиографической «Четвертой прозе» Мандельштама, которую читатель найдет во втором томе нашего собрания.

Так же жил Мандельштам в петербургском «Доме Искусств», — несколько раньше, — так же жил он и много позже, неприкаянный и нищий, полуголодный, в холоде. Стихи этого раздела — и последующего раздела (несобранные в книги или неизданные) — часто будут отражать эти нечеловеческие условия жизни поэта. И все-таки стоило только заговорить о литературе, начать говорить о стихах или читать стихи, и Мандельштам совершенно забывал об окружающей обстановке. Н. Чуковский рассказывает, как внимательно выслушивал Мандельштам его, юного тогда литератора, стихи: «Когда я кончал одно стихотворение, он кивал головой и говорил: — Еще. — ... Когда я прочитал все, что мог, он сказал: — Каким гуттаперчевым голосом эти стихи ни читай, они все равно плохие. — Это суждение его было окончательным. Никогда уже больше он не просил меня читать мои стихи. Однако отношение его ко мне нисколько не изменилось» ... (стр. 150).

№ 125. **Концерт на вокзале.** Впервые в «России», 1924, кн.3, со строкой в последней строфе, пропущенной в последующих публикациях:

В стеклянные я упираюсь сени;
Горячий пар зрачки смычков слепит;
Куда же ты? На тризне милой тени ...

В одном из экземпляров «Стихотворений», 1928, рукою Мандельштама эта строка («Горячий пар ...») вписана вновь в текст стихотворения, почему и восстановлена нами.

Ср. во втором томе очерк «Музыка в Павловске» — о совсем иной эпохе, но с некоторыми общими характерными чертами: «глухие годы России», «их медленное оползание», «гниющие парники», «тяжелые испарения буфета» и т. д. В стихах — сознательные реминисценции из русской поэзии ушедшего навеки XIX века:

из Лермонтова —

И звезда с звездою говорит.
И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне

И ни одна звезда не говорит.
И мнится мне: весь в музыке и пене
Железный мир так нищенски дрожит.

Из Тютчева:

Но час настал, пробил... молитесь Богу,
В последний раз вы молитесь теперь.

Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит.

У Тютчева — «Душа моя — элизиум теней», «ни помыслам годины буйной сей, ни радостям, ни горю не причастных». У Мандельштама «железный мир опять заворожен: На звучный мир в элизиум туманный торжественный уносится вагон»...

№ 126. **Умывался ночью на дворе.** Впервые в альманахе «Лирический Круг», 1922, и одновременно — в Литерат. Приложении к газ. «Накануне», Берлин, 18 июня 1922, с разночтением:

Стих 7. Чище правды, грубого холста, —

«Как всегда у Мандельштама, радуют неожиданные ассоциации, причудливые сочетания образов. Особенно часто... повторяется образ звезд — в смелых и неожиданных сочетаниях: 'Звездный луч, как соль на топоре'... 'Тает в бочке, словно соль, звезда'... 'Твердь сияла грубыми звездами'... 'Жестоких звезд соленые приказы'... '...верещанье звезд щекочет слабый слух'... 'Я дышал звезд млечных трухой'... '...колючие звезды'... В приведенных строках, вырванных из разных стихотворений, звезды несколько раз ассоциируются с солью. Но соль много раз встречается и в других сочетаниях и, как часто бывает у Мандельштама, это слово как бы отрешено от обычного повседневного смысла и потому приобретает новые и более глубокие смыслы: «...крутая соль торжественных обид'... 'И, словно сыплют соль мощеною дорогой, белеет совесть предо мной'. И не удивляет поэтому в стихотворении о цыганке и чернецах, где реаль-

ный план переплетается с чистейшим визионерством, а звуковая ткань стиха приоткрывает магические дали, что чернецы в избе пьют чай с солью» (Г. Струве. Дневник читателя. О советском периоде Осипа Мандельштама. «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 3 сентября 1950).

№ 127. **Кому зима, арак и пунш голубоглазый.** Впервые в «России», 1922, кн. 1; затем — во «Второй книге». В «Стих. 1928» разночтение, вызванное, вероятно, отнюдь не художественными соображениями:

Стих 17. Пусть люди темные торопятся по снегу

Разночтения в «России»:

Стих 1. Кому зима — арак и пунш зеленоглазый,
„ 2. Кому — душистое с корицею вино,
„ 17. Людишки темные торопятся по снегу
„ 22. С собакой впереди идти над солью звезд

«Хотя личная судьба Мандельштама сложилась трагично, мы с трудом будем открывать в его творчестве следы этого. Он всегда смотрел на жизнь с каких-то ему одному доступных синайских высот. Предельная надпартийность звучит иногда в его строках: 'Кому зима — полынь и горький дым к ночлегу, Кому — крутая соль торжественных обид.' Мандельштам почти единственный из современных поэтов, кого можно назвать классиком. Хотя ассоциативная беспредметность слова приближает его к модернистским течениям, тем не менее, словесная лаконичность и насыщенность, торжественно-ясный ритм, гармоничное звучание стиха, наконец, его тяга к античным и ампирным мотивам — все это заставляет говорить о его классичности, и если классицизму суждено сыграть роль отправной точки в дальнейшем развитии русской поэзии (предположив, что таковая возникнет) — а что иное может сыграть такую роль? — то Мандельштам будет тем звеном разорванной цепи, за которое надо будет ухватиться» (Вл. Марков. Приглушен. голоса, стр. 14—15).

№ 128. **С розовой пеной усталости у мягких губ.** Впервые в журн. «Москва», № 6, 1922, и, почти одновременно, в Литерат. Приложении к газ. «Накануне», Берлин, 30 июля 1922, без разночтений.

№ 129. **Холодок щекочет темя.** Впервые в журн. «Москва», № 6, 1922; затем — в альман. «Возрождение», том 2, 1923, и «Красной Ниве», 1923, № 14, 25 марта. Разночтение:

Стих 12. Как ты нынче шелестишь.
(Возрождение)

№ 130. **Как растет хлебов опара,** Впервые в альман. «Абраксас», (II), ноябрь 1922, без разночтений; перепечатано в альман. «Возрождение», том 2, 1923, с разночтениями:

Стих 9. Чтобы силою, как лаской,
„ 10. Чудный выманит припек, (опечатка).

№ 131. **Я не знаю, с каких пор.** Впервые в «Гостинице для Путешествующих в Прекрасном», № 1, 1922, вместе со следующим стихотворением (стих. наш. собр. № 132), в качестве диптиха под названием «Сеновал», и с последовательностью частей: 1. «Я по лесенке приставной», II. «Я не знаю, с каких пор». Разночтений нет.

В одной из рукописей (или машинописей) автора иная редакция третьей строфы («Приподнять, как душный стог»):

Раскидать бы за стогом стог
Шапку воздуха, что томит;
Распороть, разорвать мешок,
В котором тмин зашит.

№ 132. **Я по лесенке приставной.** См. предыдущее примечание.

Строфа четвертая нашего издания («Распряженный огромный воз») добавлена автором — вписана им в один из экземпляров его кн. «Стихотворения», 1928, с пометкой на полях (датой этого добавления): «31 февраля 1936».

№ 133. **Ветер нам утешенье принес.** Впервые в альман. «Аб-

раксас» (II), ноябрь 1922; перепечатано в альманахе «Возрождение», т. 2, 1923; затем — в Литературной Неделе газ. «Накануне», Берлин, 29 июля 1923; в сборн. «Лёт», 1923. В последнем сборнике стихотворение опубликовано вместе со стих. наш. собр. №№ 139 и 169 — в качестве одного произведения, небольшой незаконченной поэмы — см. примечание в стих. наш. собр. № 169. Затем перепечатано еще раз в сборн. «Всероссийский Союз Поэтов. Новые стихи», 1, 1926. Разночтения:

Стих 11. Как сгустившийся ночи намек,
(Абраксас).

„ 14. В чаще искалеченных крыл,
(Накануне; опечатка?).

№ 134. **Московский дождик.** Впервые в альман. «Ковш», кн. 1, 1925.

№ 135. **Век.** Впервые в «России», 1922, кн. 4 (декабрь), и, почти одновременно, в «Красной Нови», 1923, кн. 1, с разночтениями или опечатками: вместо строк 21—24 нашего текста в журнале повторены почему-то строки 13—16. В «России» разночтений с нашим текстом нет.

«...Вот уже совсем 'программное' стихотворение...— 'Век'. Начинается совсем недвусмысленно и вообще поддается расшифровке» (С. Маковский. Портреты, стр. 394). «В поздних стихах его — не только более сложная образность и даже какая-то зашифрованность; в них также впервые намечается трагическое личное отношение к эпохе; это уже не 'шум времени', одинаково внятный Мандельштаму как в древней Трое, так и в Феодосии конца гражданской войны. Напечатать стихотворение 'Век' было смелостью; и только близорукостью цензуры, воспитанной, очевидно, на 'понятной' поэзии, можно объяснить, что оно попало на страницы советского журнала» (Вл. Марков. Приглуш. голоса, стр. 15).

№ 136. **Нашедший подкову.** Впервые, с подзаголовком «Пиндарический отрывок», в Литературной Неделе

газ. «Накануне», Берлин, 1923, № 454, и одновременно в «Красной Нови», 1923, кн. 2, без разночтений. В «Камне» 1923 с тем же подзаголовком. Младший сотоварищ Мандельштама по Цеху, Г. В. Иванов, весьма невысоко расценивает «абстрактные» вещи «позднего» Мандельштама. Но обычно очень консервативный в своих оценках С. К. Маковский, обильно цитируя это стихотворение, восклицает: «какое отчаяние в этом отожествлении мирового прогресса с творческим бессилием: 'все трещит и качается. Воздух дрожит от сравнений. Ни одно слово не лучше другого... Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу. Спасибо за то, что было: Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.....Время срезает меня, как монету, и мне уж нехватает меня самого'» (Портреты, стр. 395).

«Мы уже упоминали об увлечении Заболоцкого в период его поэтического формирования творчеством О. Мандельштама. В ту пору стиль О. Мандельштама претерпевал определенный перелом в сторону стилевого гротеска, изображения предметов в несколько неожиданном, но живом и достоверном ракурсе. Любопытно сопоставить со стихотворением (Заболоцкого. — Ред.) 'Движение' одно из стихотворений О. Мандельштама, напечатанное в 1923 году: 'Конь / лежит в пыли... / Но крутой поворот его шеи / Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными ногами...'» (А. Турков. Николай Заболоцкий. ГИХЛ, М., 1966, стр. 24).

№ 137. **Грифельная ода.** Четвертая строфа Оды впервые в Литературной Неделе газ. «Накануне», Берлин, 29 июля 1923. «Он пишет то акмеистический 'Век', то антипода, абстрактную 'Грифельную оду'. 'Век' переливается всеми огнями былого мандельштамовского очарования. 'Грифельная ода' — тусклая мозаика из колюче-жестких, как сухая рыбья чешуя, слов, всякого 'очарования' лишена. Но и там и тут безошибочное блестящее мастерство говорит само за себя. 'Век' и 'Грифельная ода' особенно характер-

ные образцы.» (Г. Иванов. Мандельштам, стр. 277). «... Мы сталкиваемся с 'Грифельной одой' и с '1 января 1924', где в аполлинический строй вторгается темная подсознательная стихия, как-то по-своему взрывая и поворачивая течение строф, придавая им порой хаотически-дикую, но утроенную выразительность и взволнованность» (Ю. Терапиано. Мандельштам, стр. 115). В советской печати конца двадцатых годов «Грифельная ода» была отмечена, как некий поворотный путь в поэтическом творчестве Мандельштама. Так, в рецензии на сборник стихов Э. Багрицкого «Юго-Запад», известный критик В Друзин писал: «Одно из крупнейших поэтических течений нашей поэзии 20-го века — акмеизм, примерно, к 1923 году окончило круг своего развития. К этому времени равновесие всех элементов стиха, к чему стремился акмеизм, превратилось в застылое сочетание известных ритмико-синтаксических ходов с известным материалом. Гумилев умер, Ахматова замолчала, Мандельштам 'Грифельной одой' перешел на новые пути...» (Звезда», 1928, кн. 6, стр. 131).

№ 138. **Язык булыжника мне голубя понятней.** Впервые в «Огоньке», 1923, № 14, под названием «Париж»; перепечатано, под назв.: «Прабабка городов», в «Литературно-Художеств. Альманахе для Всех», 1924, с разделением строк 3—4, 9—10, 13—14 и 19—20 на две строки каждая и с перестановкой в строках:

И в памяти живет
Плетеная корзинка,
И в воздухе плывет
Забытая коринка.

Перепечатано в журн. «Опыты», № 1, Нью-Йорк, 1953.

№ 139. **Как тельце маленькое крылышком.** Впервые в сборнике «Лёт», 1923, вместе со стих. наш. собр. №№133 и 169, в качестве одной небольшой поэмы — см. примечание к стих наш. собр. № 169.

№ 140. **1 января 1924,** Впервые в «Русском Современнике»,

1924, кн. 2, с разночтением в стр. 3-й седьмой строфы:

Спина извочика, снегá на поларшина

Во всех публикациях также разночтение в стихе 7-м 6-й строфы:

По старине я принимаю братство

Исправлено на «уважаю» рукой автора в одном из экземпляров «Стихотворений», 1928, с датой на полях: «В[оронеж) 37».

«После 'Тристий' стихотворная его манера коренным изменениям не подвергалась, только наметившееся уже там сгущение образности и соответственное затуманивание связи между отдельными образами обозначилось сильней, чему в отдельных случаях содействовала сознательная или полусознательная зашифровка того, что собственно высказывалось в данном стихотворении. Хороши были эти стихи почти всегда; некоторые принадлежали к лучшим во всем его творчестве. Но читать их мне и многим, наверное, просто как стихи, было нелегко; слишком уж чувствовалось в них, насколько тяжело было жить, трудно дышать поэту и его поэзии. Тяжесть эта нарастала постепенно. 'На улице темно', — эта тема не кончена, эти слова еще будут повторены. И когда в том же стихотворении читаем: 'Спина извозчика и снег на поларшина: Чего тебе еще? Не тронут, не убьют,' — мы не очень за поэта утешены...» (В. Вейдле. О посл. стих. Манд., стр. 72—73).

Стихи Мандельштама после «Тристий» воспринимаются по-разному. «В написанных Мандельштамом в революционные годы стихах мы тщетно будем искать непосредственного отражения революционной деятельности. Но Мандельштаму всегда свойственно было острое чувство поступательного хода истории, 'шума времени', и в целом ряде стихотворений он как бы ведет поэтическую перекличку со своим веком...» (Г. Струве. Дневник читателя. «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 3 сентября

1950). В советской печати стихотворение это вызвало в свое время самые различные отклики. Так, ревнитель РАПП'а Лелевич жаловался, что в советских журналах «... издает ямбические стоны торжественный осколок акмеизма Мандельштам — тот самый, которого 'Красный Перец' (юмористический журнал 20-х гг. — Ред.) метко прозвал: 'Кай Юлий Осип Мандельштам'. Этот 'больной сын' умирающего века вздыхает над старым миром: 'О, глиняная жизнь! О, умиранье века!... — '. А на смену умирающему веку идут пренеприятные времена: 'Кто веку поднимал болезненные веки ... — '. Естественно, что встречаться с 'обманными и глухими' временами Мандельштаму не хочется. Но положение хуже годуновского — 'и рад бежать, да некуда': 'Век. Известковый слой в крови больного сына Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь. И некуда бежать от века-властелина ...' Насквозь пропитана кровь Мандельштама известью старого мира, и не веришь ему, когда он в конце концов начинает с сомнением рассуждать о 'присяге чудной четвертому сословью'. Никакая присяга не возвратит мертвеца. В ногу с маститым Мандельштамом выступает молодой старец Леонид Леонов...» (Г Лелевич. По журнальным окопам. «Молодая Гвардия», 1924, кн. 7—8, стр. 262—263).

Совсем иные отклики в наше время: «Была боль, была болезнь, но болезнь высокая, общая с болезнью века. И поэзия продолжала свою работу, настройку лиры, поиски слова, даже если оно могло звучать против шерсти мира: 'Какая боль искать потерянное слово'» (Маргвелашвили, стр. 82).

№ 141. **Нет, никогда ничей я не был современник.** Впервые, под назван. «Вариант» (это стихотворение является вариантом предыдущего), в альман. «Ковш», кн. 1, 1925, с иным распорядком 4 и 5-й строф: в альманахе сначала идет строфа «Среди скрипучего похода мирового», а затем — «Сто лет тому назад подушками белела», и с разночтением:

Стих 9. Я веку поднимал болезненные ве́ки —

Эти стихи многократно подвергались нападкам в советской печати. Уже после смерти автора, Ан. Волков писал о них: «Мандельштам боится действительности, ее подлинных столкновений, он находит спокойствие в мире иллюзий и статичных предметов. Мандельштам воспевает неподвижность и инертность жизни, всячески отгораживается от общественных интересов. Его поэзия как бы вне времени и пространства и он сам признается: 'Нет, никогда ничей я не был современник' (Знамен. безыд., стр. 178).

№ 142. Вы, с квадратными окошками невысокие дома. Впервые в «Новой России», 1926, кн. 1, с разделением каждой строчки на две строки и разночтением:

Стих 9. И в мешочках кофий жареный

№ 143. Сегодня ночью, не солгу. Впервые в «Новом Мире», 1927, кн. 6, с разночтением в последней строке стихотворения:

И золотушный грач летает.

Об образе с о л и («Чай с солью пили чернецы») — см. в примечании к стих. наш. собр. № 126. Прибавим еще, что н е ч и с т а я с и л а никогда не употребляет соли. Так, например, в немецких преданиях часто рыцари попадают в ночную пору в какие-то таинственные хоромы, владычицами которых являются необычайные красавицы — Венеры, Дианы, Калипсо, т. е. превратившиеся в дьяволиц языческие богини с целым штатом придворной нежити. Гейне пересказывает одну из таких легенд: «Кое-что, конечно, смущало рыцаря за этим ужином. Когда он попросил с о л и, которой не оказалось на столе, белое лицо красавицы передернулось почти исказившим его недовольством, и лишь после повторного требования она с явным раздражением приказала, наконец, слугам подать солонку. Дрожащими руками поставили они ее на стол, причем рассыпали чуть ли не половину . . .» (Г. Гейне. «Духи стихий», Собр. соч. в 10 тт., т. 6, ГИХЛ,

Москва, 1958, стр. 319). Отсюда же, несомненно, русская поговорка: «насыпать соли на хвост». Аноним (вероятно, В. Ходасевич), в «Литературной хронике», писал об этом стихотворении: «Среди поэтов на сей раз встречаем имя Мандельштама. Это бывает очень редко в последние годы, а потому всегда ждешь чего-то от стихотворения, подписанного этим именем. Напечатанные в 'Новом Мире' стихи — 'Цыганка' — не из лучших стихов Мандельштама, но, конечно, они лучше всех остальных стихов, помещенных в том же номере» («Возрождение», Париж, № 751, 23 июля 1927).

№ 144. **Я буду метаться по табору улицы темной.** Впервые в «Звезде», 1927, кн 8, без разночтений. «Еще совсем недавно, уже после ждановских чисток, один советский критик в злосчастной 'Звезде' вспоминал и даже цитировал вошедшие в сборник 1928 г. стихи Мандельштама и писал, что некоторые из них 'звучали как ребусы', были полны зашифрованных образов, но было очевидно, что 'поэт не согласен с нашей революционной действительностью'. Советский критик называл стихи Мандельштама 'набором субъективных произвольных ассоциаций, противопоставленных реальной действительности' и цитировал в доказательство этого строки: 'Я буду метаться по табору улицы темной...'» (Г. Струве. Дневник читателя. «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 3 сентября 1950). Характерно, между прочим, что последнюю вышедшую при его жизни книгу стихов Мандельштам закончил этим стихотворением...

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ СОБРАННЫЕ В КНИГИ АВТОРА И НЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ

№№ 145—146. **Мой тихий сон, мой сон ежеминутный. — Здесь отвратительные жабы.** Публикуются нами впервые. «Недавно найдены письма Осипа Эмилье-

вича к Вячеславу Иванову (1909). Эти письма участника Проакадемии (по Башне). Это Мандельштам — символист. ... Их писал мальчик 18 лет, но можно поклясться, что автору этих писем 40 лет. Там же множество стихов. Они хороши, но в них нет того, что мы называем Мандельштамом» (Ахматова, стр. 168—169). К великому сожалению, письма О. Э. Мандельштама к Вяч. И. Иванову и большинство упомянутых выше стихов оказались для нас недоступными.

№ 147. **Истончается тонкий тлен.** Впервые в «Аполлоне», 1910, кн. 9. В. Пяст вспоминает, что Мандельштам читал это стихотворение в свое первое посещение «башни» Вяч. Иванова, и последний похвалил стихотворение («Это было его всегдашнее обыкновение», — прибавляет Пяст). Самому Пясту стихотворение очень понравилось, и он пишет: «Чтобы понять приблизительно ритмический дар, заложенный в этом 'пэоннейшем из поэтов', — таковой титул пожаловал ему вскоре Андрей Белый, — я расскажу следующее. В 1926 году Иосиф Уткин напечатал в одном из московских тонких журналов стихотворение, в точности скопировавшее этот размер. На большом собрании (в помещении 'Правды') такой тонкий знаток стиха, как Владимир Маяковский, приводя это стихотворение Уткина, чрезвычайно хвалил его за исключительную оригинальность размера, за нововведение в русском стихосложении. Между тем Осипу Мандельштаму, когда он этим стихотворением, конечно, сам того не подозревая, действительно сделал крупное нововведение в русскую метрику, расширил ее пределы, — ибо впервые применил пятисложную стопу и тем раскрыл дорогу для целого ряда видоизменений стиха, — Мандельштаму было тогда не больше восемнадцати лет». Пяст прибавляет, что, разбирая это стихотворение в студенческом журнале «Гаудеамус», он дал «совершенно неверное объяснение метрической подосновы этого ритма» и что правильным взглядом на него он «обязан [ныне по-

койному. — Ред.] Б. В. Томашевскому» («Встречи», стр. 139—141). Пяст приводит все это стихотворение, с разночтением:

Стих 7. И прозрачный встречает взор
(В. Пяст. Встречи, стр. 140).

В журнале "Gaudeamus" (1911, №№ 4 и 5), в статье «По поводу современной поэзии», Вл. Пяст, цитируя это стихотворение, писал: «Нет, решительно, размер стихов этих создан поэтом обдуманно и заранее: он несоизмерим ни с одним из известных, школьных размеров. ... Это не что иное, как сочетание так называемого 'пэона третьего' ..., одного из видоизменений хорея, с так называемым 'пэоном четвертым', 'ходом' ямбическим... Дьявольски трудная штука ...» (№ 4, стр. 10). «Послушная и зыбкая, форма его отражает в совершенстве мысли и чувства поэта, — только его самого, а не свои. А у музы должны быть свои собственные мысли и чувства, не те, что у певца — любовника ее ...» (№ 5, стр. 8).

№№ 148—150. **Под грозовыми облаками. — Где вырывается из плена. — Над алтарем дымящихся зыбей.** Впервые — по копии с рукописи автора — опубликованы во втором томе нашего собрания сочинений О. Мандельштама. Даты стихов не установлены. Предположительно их можно отнести к 1909—1910 гг.

№ 151. **Как черный ангел на снегу.** Впервые в «Воздушных Путях», альманахе III, Нью-Йорк, 1963. Мандельштама и Ахматову сыздавна связывала не только личная дружба. Мандельштам очень высоко ценил творчество Ахматовой: «Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и богатство русского романа XIX века».

«Когда-то, помню, — рассказывает Г. Адамович, — Ахматова говорила, после одного из собраний 'Цеха': 'сидит человек десять-двенадцать, читают стихи, то хорошие, то заурядные, внимание рассеивается, слушаешь по обязанности, и вдруг будто какой-то лебедь взлетает над всеми — читает Осип

Эмильевич!'» ...«В памяти моей образ Мандельштама неразрывно связан с воспоминанием об Анне Ахматовой. Их имена и должны бы войти рядом в историю русской поэзии. Он ценил ее не меньше, чем она его. ...Помню собрание 'Цеха', на котором Ахматова прочла только-что ею написанное стихотворение 'Бесшумно бродили по дому...', вызвав лихорадочно-восторженный монолог Мандельштама в ответ, — к удивлению Ахматовой, признававшейся потом, что вовсе не считает эти стихи особенно ей удавшимися. Помню обстоятельнее и тверже то, что он говорил о действительно чудесном ахматовском восьмистишии: 'Когда о горькой гибели моей...'. Но это было не в 'Цехе', а в бесконечном, верстой в длину, университетском коридоре. Он ходил взад и вперед, то и дело закидывал голову, и все нараспев повторял эти строчки...» (Г. Адамович. Неск. слов о Манд., стр. 90, 101).

«В десятые годы мы, естественно, всюду встречались: в редакциях, у знакомых, на пятницах в Гиперборее, т. е. у Лозинского, в 'Бродячей Собаке', где он, между прочим, представил мне Маяковского.

... В 'Академии Стиха' (Общество Ревнителей Художественного Слова, где царил Вячеслав Иванов) и на враждебных этой Академии собраниях Цеха Поэтов, где Мандельштам очень скоро стал первой скрипкой. Тогда же он написал таинственное (и не очень удачное) стихотворение про 'Черного ангела на снегу'. Надя [жена поэта, — Ред.] утверждает, что оно относится ко мне. С этим черным ангелом дело обстоит, мне думается, довольно сложно. Стихотворение для тогдашнего Мандельштама слабое и невнятное. Оно, кажется, никогда не было напечатано. Повидимому, это результат бесед с В. К. Шилейко, который тогда нечто подобное говорил обо мне. Но Осип тогда еще 'не умел' (его выражение) писать стихи 'женщине и о женщине'. 'Черный ангел', вероятно, первая

проба, и этим объясняется его близость к моим строчкам:

Черных ангелов крылья остры,
Скоро будет последний суд,
И малиновые костры
Словно розы в снегу растут. (Четки).

Мне эти стихи Мандельштам никогда не читал» (Ахматова, стр. 169—170).

№ 152. **Когда мозаик никнут травы.** Впервые публикуется по списку с рукописи автора. Это стихотворение заставляет предполагать, что О. Э. Мандельштам посетил в 1910 г. Италию, по крайней мере, Венецию.

№ 153. **Анне Ахматовой.** Впервые в «Воздушных Путях», альманах III, Нью-Йорк, 1963.

№ 154. **Я давно полюбил нищету.** Опубликовано в книге И. Одоевцевой «На берегах Невы», Вашингтон, 1967, стр. 419.

№ 155. **В лазури месяц новый.** Впервые публикуется по копии с рукописи автора.

№ 156. **Душу от внешних условий.** Впервые опубликовано (по списку с рукописи автора) во втором томе нашего собрания сочинений О. Э. Мандельштама.

№ 157. **Тысячеструйный поток.** Впервые в «Гиперборее», № 3, 1912.

№ 158. **Темных уз земного заточенья.** Впервые в «Аполлоне», 1911, кн. 5.

№ 159. **Шарманка.** Впервые в журн. «Рубикон», 1914, № 3, стр. 10.

№ 160. **Когда показывают восемь.** Впервые в «Гиперборее», № 3, 1912.

Разночтение (у нас — по списку с рукописи автора):

Стих 16. Торговли скиния святая.

№ 161. **Осенний сумрак — ржавое железо.** Впервые в «Альманахе 'Аполлон'», 1912.

№ 162. **В самом себе, как змей, таясь.** Впервые в «Альманахе 'Аполлон'», 1912.

№№ 163—165. **Заснула чернь. Зияет площадь аркой. — Автопортрет. — Заманили охотники в капкан.** Публикуются нами впервые.

№ 166. **Спорт.** «Новый Сатирикон», 1914, № 28-29, стр. 7.

№ 167. **Футбол второй.** Впервые, под названием «Футбол», в «Новом Сатириконе», 1914, № 30. Стихотворение это приведено также в кн.: В. Пяст. Встречи, стр. 255: «Образ Юдифи... был вызван одной из постоянных посетительниц '(Бродячей) Собаки' (таких было несколько)»... (Там же, стр. 255). «Бродячая Собака» — литературно-артистический клуб в Петербурге-Петрограде. Открылся под новый 1912 год, прекратил свое существование в 1915 г. Затем был открыт снова под названием «Привал Комедиантов». К концу своего существования выродился в почти обычное кабарэ. Хозяином «Бродячей Собаки» (а затем «Привала Комедиантов») был режиссер Б. К. Пронин. «Бродячую Собаку» охотно посещали Анна Ахматова («Да, я любила их — те сборища ночные»), Николай Гумилев, Михаил Кузмин, Осип Мандельштам, Сергей Городецкий, жена А. А. Блока — артистка Л. Д. Басаргина-Блок (Блок жалуется на это в своих дневниках), художники Судейкин, Сапунов, Добужинский и многие другие. В клуб-кабарэ сходились к ночи. «Четыре-пять часов утра. Табачный дым, пустые бутылки. Час назад было весело и шумно — кто-то пел, подыгрывая сам себе, глупые куплеты, кто-то требовал еще вина. Теперь шумевшие либо разошлись, либо дремлют. В подвале почти тишина... Разговоры идут полушепотом. ...Здесь только: 'Веселость едкая литературной шутки, И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий!..» (Г. Иванов. Петерб. зимы, стр. 68—69). Михаил Кузмин написал даже гимн «Бродячей Собаки», где, между другими, были и такие строфы:

... Мы не строим строгой мины,
Всякий пить и петь готов:
Есть певицы, балерины
И артисты всех сортов.
Пантомимы и картины
Исполняет без причины
Général de —
Général de —
Général de Krouglikoff.

Наши девы, наши дамы,
Что за прелесть глаз и губ!
Цех Поэтов — все «Адамы»,
Всяк приятен и не груб.
Не боясь собачьей ямы,
Наши шумы, наши гамы
Посещает,
Посещает,
Посещает Сологуб.

Приводящий полностью этот гимн в своих воспоминаниях поэт Бенедикт Лившиц указывает на «двусмысленную роль, на которую были обречены футуристы в пронинском подвале. Совсем иное положение занимали в 'Бродячей Собаке' акмеисты. О них даже в гимне с похвалой отозвался Кузмин: — ... Ахматова, Гумилев, Зенкевич, Нарбут, Лозинский были в подвале желанными гостями. Но на Мандельштама и Георгия Иванова, друживших с нами (футуристами. — Ред.), Пронин посматривал косо ... Он, бедняга, слабо разбирался в тонкостях литературных направлений и поневоле ориентировался на побочные признаки. ... Знакомство с Мандельштамом, с которым мы почти одновременно дебютировали в 'Аполлоне', быстро переросло границы, полагаемые простым литературным соседством, и, приняв все черты товарищества по оружию, не утратило этого характера даже в ту полосу, когда мы очутились в двух разных лагерях. Между прочим, не кто иной, как Мандельштам, посвятил меня в тайны петербургского 'savoir vivre' а, начиная

с секрета кредитоваться в 'собачьем' буфете и кончая польской прачешной, где за тройную цену можно было получить через час отлично выстиранную и туго накрахмаленную сорочку — удобство поистине неоценимое при скудности нашего гардероба» (Б. Лившиц. Пол. стрелец, стр. 263, 264). Мы остановились так подробно на «Бродячей Собаке» потому, что она играла немалую роль в литературной жизни того времени и, в частности, в жизни О. Э. Мандельштама. В «Бродячей Собаке» устраивались чествования писателей, артистов, художников. Так, 1 октября 1912 г. после вернисажа выставки художника-футуриста, родоначальника абстрактной живописи, Н. Н. Кульбина, его чествовали именно в «Бродячей Собаке» (см. Дневники А. Блока. Собр. соч. в 8 тт.,т. 7, ГИХЛ, Москва—Ленинград, 1963, стр. 159). В этом же клубе-кабаре устраивались концерты, ставились пантомимы, постоянно организовывались литературные выступления.

№№ 168—170, **Веселая скороговорка. — У меня немного денег. —В аллее колокольчик медный.** Впервые опубликованы в «Журнале за 7 Дней», Петербург, в №№ 21, 22 и 35 за 1913 год; второе — под назв. «Песенка», а третье — «Летние стансы», с незначительными разночтениями

№ 171. **Египтянин** («Я избежал суровой пени»). Впервые в «Заветах», 1913, стр. 12.

№ 172. **Египтянин.** («Я выстроил себе благополучья дом»). Опубликовано впервые в журн. «Голос Жизни», № 25, 17 июня 1915. Затем — в «Новом Сатириконе», 1916, № 27. Разночтения (в «Голосе Жизни»):

Стих 1. Я выстроил себе благополучный дом,
„ 4. В нем виноградники, цветник и водоем.
„ 8. Краеугольными, прямые, как копье.
„ 18. И кресло крепкое стоит на львиных лапах.

«Известно, что беседы с Шилейко вдохновили его на стихотворение 'Египтянин'» (Ахматова, стр. 170).

№ 173. **Пусть в душной комнате.** Впервые в «Гиперборее», № 8, 1913.

№ 174. **Американ бар.** Впервые в журн. «Аргус», 1913, № 7, июль, в отделе «Улыбки и гримасы». Заголовок «Американ бар» составляет часть иллюстрации, вывеску над входом в бар. Рисунок не подписан, но судя по оглавлению, принадлежит, очевидно, А. Большакову.

№ 175. **Ты прошла сквозь облако тумана.** Впервые в «Ежемесячных Литературных и Популярно-Научных Приложениях к 'Ниве'», 1914, № 8, август.

№ 176. **Polacy!** Впервые в Ниве», 1914, № 43, без названия. Название восстановлено по рукописи автора.

№ 177. **Развеселился наконец.** Впервые — по копии с рукописи автора — во втором томе нашего собр. соч. О. Э. Мандельштама.

№№ 178—180. **Как овцы, жалкою толпой. — Немецкая каска — священный трофей. — Отрывок.** Публикуется нами впервые по списку с рукописи автора.

№ 179. **Немецкая каска — священный трофей.** По словам И. Одоевцевой («На берегах Невы», Вашингтон, 1967, стр. 419) «было напечатано в газете 'Копейка', кажется, в 1916 году». Текст у И. Одоевцевой несколько иной:

Германская каска. Священный трофей
Лежит на камине в гостиной твоей.
Дотронься, она как пушинка легка,
Пронизана воздухом сталь шишака.
Нам только взглянуть на блестящую медь,
А им, им, героям, в бою умереть.

№ 181. **Реймс и Кельн.** Впервые в «Петроградских Вечерах», кн. 4, 1915, и, почти одновременно, в статье Г. Иванова «Военные стихи» в «Аполлоне», 1915, кн. 4—5, стр. 85. «Стихотворение ... начинается со слова 'но', — 'Но в старом Кельне тоже есть собор ...' ... С 'но' оно и начинается. Объяснение в том, что о бомбардировке Реймского собора в 1914 г. без конца говорили, утверждали, что военные бюл-

летени скрывают истину, что собор разрушен до основания. Мандельштамовское 'но' и было ответом на эти толки, и казалось в те дни более естественным, чем кажется теперь» (А. По поводу Собр. соч. Манд., стр. 93).

№ 182. **Неутолимые слова.** Впервые в журн. «Голос Жизни», № 25, 17 июня 1915.

№ 183. **В морозном воздухе растаял легкий дым.** Опубликовано там же, где и предыдущее.

№ 184. **Негодованье старческой кифары.** Публикуется впервые по списку с рукописи автора.

№ 185. **Анне Ахматовой.** («Черты лица искажены»). Впервые в «Воздушных Путях», альманах III, Нью-Йорк, 1963.
«... Наброском с натуры было четверостишие 'Черты лица искажены'. Я была с Мандельштамом на Царскосельском вокзале (10-е годы). Он смотрел, как я говорю по телефону, через окно кабины. Когда я вышла, он прочел мне эти четыре строки» (Ахматова, стр. 173).

№ 186. **Посоветовала кормилица.** Впервые публикуется по копии с рукописи автора.

№ 187. **Мадригал.** Опубликовано в журнале «Рудин», 1916, № 7.

№ 188. **Не фонари сияли нам, а свечи.** Впервые: «Ипокрена», 1918, кн. 2—3, как одно стихотворение со стих. наш. собр. №№ 88 и 89. В журнальн. публикации стихотворение это делится на три строфы: 1. «Мне холодно. Прозрачная весна». 2. «Не фонари сияют нам, а свечи» (явная опечатка в журнале: нужно «сияли»). 3. «В Петрополе прозрачном мы умрем». У нас — по списку с рукописи автора.

№ 189. **Дворцовая площадь.** Впервые в журнале «Аргус», 1917, № 4, стр. 92. с разделением на четверостишия. Стихотворение сопровождено рисунком М. Ивашинцевой. В фамилии автора — опечатка («Мендельштама»).

№№ 190—191. **О государстве слишком раннем. — Как пах-**

нут тополя! Мы пьяны. Впервые (по копии с рукописи) опубликованы во втором томе нашего собр. соч. О. Э. Мандельштама. Варианты неоконченного стихотворения.

№ 192. **Когда октябрьский нам готовил временщик.** Впервые в газ. «Воля Народа», № 173, 15 ноября 1917. У нас — по списку с рукописи автора.

№ 193. **Кто знает, может быть, не хватит мне свечи.** Впервые в газ. «Страна», № 21, 21 апреля 1918.

№ 194. **Телефон.** Опубликовано в очерке А. Ахматовой «Мандельштам (Листки из дневника)» в альманахе IV «Воздушные Пути», Нью-Йорк, 1965, стр. 32— 33: «В Москве Мандельштам становится постоянным сотрудником 'Знамени Труда'. Таинственное стихотворение 'Телефон', возможно, относится к этому времени. Затем — во 2-м томе Сочинений А. Ахматовой, изд. Междунар. Литер. Содружества, 1967.

№ 195. **Актер и рабочий.** Впервые в «Трилистнике», 1922.

№ 196. **Пылает за окном звезда.** Впервые в «Красной Ниве», 1923, № 4, 28 января. По словам Г. И. Иванова, в этом стихотворении идет речь «. . . о женитьбе Мандельштама и о его дочери, факты, на которые явно указывает стихотворение, помеченное 1923 годом, годом рождения его дочери». (Г. Иванов. Ответ, стр. 304). «В Варшаву Осип Эмильевич действительно ездил и его там поразило гетто . . . , но о попытке самоубийства его, о которой сообщает Георгий Иванов, даже Надя [жена поэта — Ред.] не слыхивала, как и о дочке Липочке, которую она якобы родила» (Ахматова, стр. 28). По полученным нами из очень хорошего источника сведениям, стихотворение это ошибочно приписывается Мандельштаму. Оно было написано «в шутку» Сергеем Клычковым. Но в журнале оно подписано Мандельштамом.

№ 197. **А небо будущим беременно.** Впервые в сборн. «Лёт», 1923, вместе со стих. наш. собр. №№ 133 и 139, в качестве небольшой поэмы или отрывка из неокон-

ченной поэмы, без названия, с измененной первой строкой:

Стих 1. Война. Опять разноголосица

Порядок расположения строф в сборнике «Лёт» следующий: «Война. Опять разноголосица», кончая строкой: «И молоточками казнили», вслед за этим следуют наши стихи № 133; этим как бы оканчивается вступление; затем, под цифрой I опять идет стих. наш. собр. № 169, от строки: «Давайте слушать грома проповедь», кончая строкой: «Друг другу подавая брашна»; затем, под цифрой II, — стих. наш. собр. № 139; после этого главка III отсутствует — и сразу идет — под цифрой IV — опять наше стих. № 169, от строки: «На круговом, на мирном судьбище», кончая строкой: «Мы поневоле больше верим»; затем следует конец стихотворения наш. собр. № 169, под цифрой V, с небольшим разночтением в третьей от конца и последней строках:

Из поколенья в поколенье, . . .
Передается удивленье.

Очевидно, у автора было намерение написать небольшую поэму, а затем три ее отрывка стали самостоятельными стихотворениями.

№ 198. **Жизнь упала, как зарница.** Впервые (по рукописи) во 2-м томе Собр. соч. О. Мандельштама, 1966. «В 1925 году я жила с Мандельштамами в одном коридоре в пансионе Зайцева в Царском Селе. И Надя [жена О. Э. М. — Надежда Яковлевна] и я были тяжело больны, лежали, мерили температуру, которая была неизменно повышенной и, кажется, так и не гуляли ни разу в парке, который был рядом. Осип Эмильевич каждый день уезжал в Ленинград, пытаясь наладить работу, получить за что-то деньги. Там он прочел мне совершенно по секрету стихи к О. Ваксель, которые я запомнила и также по секрету записала ('Хочешь, валенки сниму'). Там он диктовал мне свои воспоминания о Гумилеве». (Ахматова, стр. 176). «Замечательные стихи обращены к Ольге Ваксель и к ее тени 'в холодной стокгольмской могиле . . .' Там

был стих: Что знает женщина одна о смертном часе... (Сравнить мое: Не смертного ль часа жду). Ей же: — Хочешь, валенки сниму». (Там же, стр. 171).

№ 199. **Куда как тетушка моя была богата.** Нами это стихотворение не найдено и взято из главы «Петербургских зим» Г. Иванова, опубликованной в берлинской газете «Дни», 4 апреля 1925. Текст этой главы сильно отличается от той же главы в одноименной книге. Между прочим, в газете сказано о Мандельштаме: «Теперь он пишет стихи. Время от времени в советских газетах, среди разных неведомых имен, на десятом месте, мелькает его подпись. Грустно читать это имя под такими стихами: [следует стих. наш. собр. № 199]. Читатель, грустно, не правда ли?»

№ 200. **Анне Ахматовой.** («Привыкают к пчеловоду пчелы»). Впервые в «Воздушных Путях», альман. III, Нью-Йорк, 1963.

№ 201. **Не говори никому.** Публикуется нами впервые.

№ 202. **Куда как страшно нам с тобой.** Публикуется впервые по рук. Разночтения в других списках:

Стих 1. Куда как страшно мне с тобой,
„ 3. Ох, как крошится мой табак,

№№ 203—215. **Армения.** Цикл стихов. Опубликован в «Новом Мире», 1931, кн. 3, 12 стихотворений. Нами публикуется по копии с рукописи автора. Опубликовано (в той же редакции, что и у нас) в журн. «Литературная Армения», 1966, № 1, стр. 47—51 (12 стихотворений и автоэпиграф — полностью наш цикл из 13 стихов Мандельштама.)

Циклу в «Армении» предпосланы редакционное вступление и заметка Гургена Маари о встрече с Мандельштамом в 1930 г. в Ереване. В редакционной заметке говорится, что в своем армянском цикле «большой, оригинальный русский поэт, Осип Эмильевич Мандельштам, неповторимо и ярко запечатлел облик полюбившейся ему страны — Армении». Дальше Мандельштам характеризуется, как один из тех поэтов, «которые идут по путям

непроторенным и потому нелегким». «О Мандельштаме (говорится также в заметке), поэте и человеке трудной судьбы, авторе замечательных стихов, оставивших заметный след в русской советской поэзии, может быть и, наверное, будет рассказано немало интересного».

Вслед за циклом «Армения» в том же номере журнала напечатаны воспоминания о Мандельштаме Марины Цветаевой — «История одного посвящения». Воспоминания эти, как следует из вступительной заметки А. Саакянц, печатаются по хранящейся в архиве Цветаевой в Москве рукописи. О напечатании их М. Л. Слонимом в 1964 г. Oxford Slavonic Papers (XI) — не упоминается.

«...Весьма 'предметная' лубочно-'красочная' 'Армения'...» (Г. Иванов. Мандельштам, стр. 277). Ю. К. Терапиано называет этот цикл «упадочным», утверждая, что в этих стихах «Мандельштам погрязает в описательно-изобразительной форме, становясь слишком декоративным...» (Ю. Терапиано. Мандельштам, стр. 116). Думаем, что согласиться с этой характеристикой цикла нельзя. Особенно по отношению к стих. VII, IX—XII, в которых чрезвычайно скупыми и точными словами дана поэтическая характеристика «ветхой денми» Армении. «Волосяная музыка воды» или «библиотека авторов гончарных», или четкая характеристика иезидов: «курдины, Примирившие дьявола и Бога, каждому воздавши половину» — все это очень далеко от чистой декоративности и «упадочности». Курды-иезиды поклоняются дьяволу не менее, чем Богу: пережитки манихейства.

«Великолепный цикл 'Армения' в 'Новом Мире' в 1930 г.» (Ахматова, стр. 186). О впечатлении, произведенном этим циклом в чтении самого поэта на его вечере в 1933 г. см. рассказ Н. Н. (Е. М. Тагер), приведенный во вступительной статье Г. П. Струве.

В одном из списков стихов Мандельштама рукою самого автора вычеркнута в стих. IV 5-я строфа

(«Ах, Эривань, Эривань! Не город — орешек каленный...»).

№ 216. **Колючая речь Араратской долины.** Публикуется впервые по рук. Разночтения:

Стих 5. А близоруко армянское небо —

„ 5. А близоруко шахское небо —

№ 217. **Как люб мне натугой живущий.** Публикуется впервые по рук. Разночтения:

Стих 2. Столетьем считающий миг,

„ 4. К земле пригвожденный язык

№ 218. **Дикая кошка — армянская речь.** Публикуется впервые по рук.

№ 219. **На полицейской бумаге верже.** Публикуется впервые по рук.

Стих 3. Звезды живут — канцелярские птички

Опубликовано в альм. «Мосты», Мюнхен, № 11, 1965, стр. 170. Разночтение:

Стих 7. И на мерцанье, миганье и тленье

№ 220. **И по звериному воет людьё.** Публикуется впервые по рук.

№ 221. **Ленинград.** Впервые в «Литературной Газете», № 53, 23 ноября 1932. Перепечатано в качестве «неизданного» в «Москве», 1964, кн. 8. «Это стихотворение было напечатано в «Литературной Газете» 1932 г., а в 1945 я слышал, как его повторяла ленинградка, вернувшаяся домой» (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь, стр. 502). «Номер 'Литературной Газеты', в котором было — по какому-то головотяпству — опубликовано это надгробное рыданье Осипа Мандельштама, — рвался из рук» (Б. Филиппов. Кочевья, 1964, стр. 46—47). «... Эти трагические стихи, одни из трагичнейших в русской поэзии. Думаю, что в них и одна из вершин этой поэзии ... Грустно и неловко писать о стихах, как о простых свидетельствах нищей правды, как будто это не стихи, а перлюстрируемые нами письма, или дневники, обнаруженные в ящике чужого стола. Совестно вырывать строчки из песни, где 'слова не выки-

нешь'...» (В. Вейдле. О послед. стихах Манд.:, стр. 73—74). Когда это стихотворение — вместе с рядом других — появилось в печати, Мандельштаму пригрозили арестом. Разнося — наряду с другими — Мандельштама, как «идеологически чуждого» поэта, критик А. Селивановский писал: «...Пока же скажем, что Пастернака подстерегают большие опасности. И не только его, а и Антокольского, и Мандельштама, в эти годы жившего особенно далеко от социалистической революции, и кое-кого еще. И Пастернаку, и Антокольскому, и 'старикам' — Мандельштаму и Андрею Белому — нужно помогать, последовательной товарищеской критикой прежде всего» (Разговор о поэзии. «Литературная Газета», № 51 (220), 11 ноября 1932).

№ 222. **С миром державным я был лишь ребячески связан.** Впервые в «Звезде» 1931, кн. 4, с частичными исправлениями пунктуации по рук. Дата — по рук. в журнале — февраль 1931. «Всех этих дореволюционных дам [А. М. Зельманову-Чудовскую, Марину Ив. Цветаеву, кн. Саломею Ник. Андроникову, О. Арбенину. — Ред.] (боюсь, что между прочим и меня) он через много лет назвал 'нежными европеянками': 'И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных, Сколько я принял смущенья, надсады и горя'. Замечательные стихи обращены к Ольге Ваксель и ее тени 'в холодной стокгольмской могиле...' Там был стих: 'Что знает женщина одна о смертном часе...' (Сравнить мое: Не смертного ль часа жду). Ей же: — Хочешь, валенки сниму». «Он прочел мне совершенно по секрету стихи к О. Ваксель, которые я запомнила и также по секрету записала ('Хочешь, валенки сниму'). Там [в 1925 г. в пансионе Зайцева в Царском Селе, где жили тогда Мандельштамы и Ахматова — Ред.] он диктовал мне свои воспоминания о Гумилеве» (Ахматова, 171—172, 176).

Первое из обращенных к Ольге Ваксель стихотворений, о которых говорит Ахматова, это, очевидно «Возможна ли женщине мертвой хвала...»

Цитируемая Ахматовой строка читается у нас «Холодной стокгольмской постели». Кто такая Ольга Ваксель, нам неизвестно.

А. М. Зельманова-Чудовская — художница, жена известного критика Валериана Чудовского, близкого сотрудника «Аполлона».

№ 223. **Помоги, Господь, эту ночь прожить.** Публикуется впервые по рук. «Перв. тетр.». стр. 24.

№ 224. **Мы с тобой на кухне посидим.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961, затем — «Москва», 1964, кн. 8. Разночтения:

Стих. 5. Иль еще веревок собери (Рук. А)
„ 5. А не то веревку собери (В. Пути)
„ 6. Завязать корзины до зари,
(В. Пути, рук. А)

№ 225. **После полуночи сердце ворует.** Впервые в «Дне Поэзии, 1962», Москва, 1962, затем в «Новом Русском Слове», Нью-Йорк, 3 февраля 1963, и в «Русской Мысли», Париж, 14 марта 1964, в статье Ю. Терапиано «Стихи 'оттуда'». Опубликовано в «В. Путях», IV, стр. 166. Строки 5—7 в «В. Путях»:

Любишь, не любишь, поймешь, не поймешь, —
Не потому ль, как подкидыш, молчишь,
Что по полуночи сердце пирует,

№ 226. **Я скажу тебе с последней прямотой.** Отдельные строки приведены в статье А. Коваленкова «Письмо старому другу», стр. 168. Впервые полностью в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас — по рук. Разночтения:

Стих 3. Все на свете только бредни
„ 5. Там, где эллинам сияла
„ 14. Красота,
„ 15. Черный кукиш мне покажет
„ 16. Пустота
(3, 5, 14—16 — В. Пути, рук. А)
„ 19. Ангел Мэри, дуй коктейли, (Рук. А)
„ 20. Пей вино! (В. Пути, рук. А)

Затем (с разночтениями с нашим текстом только в пунктуации) — «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 67.

Боясь цензуры, еще не реабилитировавшей тогда поэта, А. Коваленков писал: «Картина литературной жизни была в этот период пестрой и сложной. Я вспоминаю высказывания Мандельштама, поэта, которому наша с тобой молодость была чужда, поэта написавшего: 'Я скажу тебе с последней прямотой, все лишь бредни, шерри-бренди, ангел мой...'. И достаточно умного, опытного человека для того, чтобы, издеваясь над анекдотическим приспособленчеством, дать объективную оценку ошибкам и правильным начинаниям своих идейных противников... Мне довелось неоднократно встречаться с Мандельштамом. Он рецензировал мою первую книгу. Запомнились не только его желчные вздохи о невозможности реставрировать на буржуазный лад принципы античного искусства: '... Греки сбондили Елену по волнам,Ну, а мне соленой пеной по губам... —', но и попытки найти контакт с современностью, эстетизировать то, что для нас было самой жизнью, а для него — объектом для самонаблюдения: '... Держу в уме, что нынче тридцать первый Прекрасный год в черемухах цветет... —' Думается, что 'капиталистические пережитки в сознании' нашли после революции наиболее прочную поддержку у поэтов-акмеистов. Мандельштам был одним из крупнейших представителей этого направления. Предметность, отточенность его стихов была соблазнительным противодействием абстрактному пафосу, которым грешили многие поэты тех лет. Но за каждой строкой этого оказавшего настолько заметное влияние на литературные течения начала тридцатых годов поэта, что даже появился термин 'мандельштамп', стоял призрак буржуазной цивилизации Запада. Сергей Есенин однажды даже пытался бить Мандельштама. И было за что. Ведь это он написал: '... Я пью за военную астру... ...Полей Елисейских бензин... За дальних колоний хинин...'» (Письмо ст. другу, стр. 168). Коваленков цитирует и интереснейший отрывок из неразысканной нами статьи Мандельштама, помещае-

мый нами во втором томе. В этом отрывке Мандельштам, между прочим, пишет: «Иной начинающий поэт сознает историческую правоту своего поколения. Но что же ему делать в этой правильности? Только ли поддакивать и кричать: верно! Конечно, нет! С радостью отмечаю, что у некоторых поэтов есть свой подход к миру, начатки своей лирической темы...» Для того, чтобы «протащить» подобные цитаты, автор статьи наворотил множество марксистско-ленинских заклинаний о «буржуазно-реставраторской» сущности поэзии Мандельштама...

№ 227. За гремучую доблесть грядущих веков. Впервые в кн.: С. Маковский. Портреты современников, изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955, стр. 398; затем в той же редакции, в кн.: О. Мандельштам. Собр. соч., изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955; в другой редакции в «Воздушных Путях», альман. II, Нью-Йорк, 1961; отрывки в книге: И. Эренбург. Люди, годы жизнь, 1961, стр. 502 и 496. У нас — по Эренбургу и рукописи. Разночтения:

Стих 1. За высокую доблесть грядущих веков,
„ 2. За бессмертную славу людей
„ 3. Я лишился и места на пире отцов
„ 5. Мне на шею кидается век-волкодав,
„ 6. Но не волк я по шкуре своей.
„ 7. Запихни меня лучше, как шапку, в рукав
„ 9. Чтоб не видеть ни трусов, ни мелкой грязцы
„ 12. Мне в своей первозданной красе.
„ 13. Унеси меня в ночь, где течет Енисей,
„ 14. Где сосна до звезды достает,
„ 15. Потому что не волк я по шкуре своей
„ 16. И неправдой искривлен мой рот.

Опубликовано в журн. «Простор» (Алма-Ата), 1965, № 4, без разночтений.

«У Мандельштама есть стихи про время: 'Мне на плечи кидается век-волкодав...' О сущности эпохи: 'За гремучую доблесть грядущих веков...'» (И.

Эренбург. Люди, годы, жизнь, стр. 496, 502).
«Осенью 1933 года до того бездомный Мандельштам обосновался с женой в Москве, получив квартиру в Нащокинском переулке (квартира эта воспета им в одном стихотворении). Он в это время особенно увлекался итальянской поэзией, покупал старинные издания итальянских поэтов, переводил Петрарку, писал стихи о Петрарке и других итальянских поэтах. Но существование четы Мандельштамов, как и прежде, оставалось необеспеченным. О. Э. получил какую-то пенсию, которой едва хватало на оплату квартиры и продовольственного пайка, и скудно подрабатывал переводами и рецензиями. 13 мая 1934 года Мандельштам был арестован (дата эта опровергает упорно ходившие в свое время слухи о том, что арест его был связан с событиями, последовавшими за убийством Кирова). Ордер на арест был подписан самим Ягодой. Обыск в квартире продолжался всю ночь. Искали стихов, нашли стихотворение 'За гремучую доблесть грядущих веков' — Мандельштам не отрицал своего авторства... Когда к утру обыск был закончен, Мандельштама увели. К этому времени, повидимому, относится заступничество за Мандельштама покойного Б. Л. Пастернака: Б. Л. ходил к Бухарину в редакцию 'Известий' просить за Мандельштама. Другой известный поэт хлопотал перед Енукидзе, который в то время был управляющим делами Совнаркома, а потом сам оказался одной из жертв чисток. Мандельштам был приговорен к трем годам ссылки в Чердынь, городок, расположенный недалеко от верховьев Камы, к северу от Соликамска. В одном из неизданных стихотворений Мандельштама, написанных уже позже, в Воронеже, есть строки: 'Упиралась волна в сто четыре весла, Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.' В Чердыни О. Э. покушался на самоубийство, выбросившись из окна больницы. При этом он сломал себе руку. Жена его послала телеграмму в ЦК, после чего якобы сам Сталин велел пересмотреть дело Ман-

дельштама и разрешил ему выбрать другое место ссылки. Именно тогда Сталин звонил из Кремля Б. Л. Пастернаку... Мандельштам выбрал вместо Чердыни Воронеж. ...В мае 1937 года истек срок ссылки Мандельштама, и они с женой вернулись на свою квартиру в Москве. Но остаться в Москве поэту не разрешили. Одно время Мандельштамы повидимому жили в Калинине (б. Твери), наезжая в Москву. Осенью 1937 года ездили в Ленинград, виделись с некоторыми старыми друзьями. А 2 мая 1938 г. в разгар ежовщины, Мандельштам был снова арестован. Он находился в это время на излечении в одном санатории. Последовавший за этим трагический эпизод — высылка по этапу на Дальний Восток, помешательство на почве мании преследования и смерть на пересыльном пункте в пересыльном лагере во Владивостоке...» (Г. Стуков. Еще о судьбе Манд.). Во время пребывания Мандельштама в 1937 г. в Москве, некоторые влиятельные писатели-коммунисты осмелились хлопотать о публикации некоторых стихотворений Мандельштама, но это им не удалось: «Потом пришел А. А. Фадеев, принес несколько стихотворений Мандельштама, сказал, что, кажется, их удастся напечатать в 'Новом Мире'; вспоминал Мадрид, и глаза его, обычно холодные, улыбались» (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. «Новый Мир», 1962, кн. 5, стр. 149).

№ 228. **Жил Александр Герцович.** Впервые в «Опытах», Нью-Йорк, кн. 7, 1956, стр. 5. Затем — «Москва» 1964, кн. 8, стр. 152, в статье Н. Чуковского «Встречи с Мандельштамом» (в этой публикации всюду «Герцович»). У нас по рук. Разночтения: в некоторых списках не «Герцович», а «Герцевич» или

Стих 6. Заигранную вхруст
„ 6. Заучивая вхруст,
„ 17. Ведь с музыкой-голубою
„ 21. Все, Александр Герцевич,

«...Душевное состояние поэта в те годы, если и переходило подчас от отчаяния к отдыху от него и от отдыха назад к отчаянию, то все же определя-

лось более постоянно другим чувством: щемящей, неотвязной, как зубная боль, тоской, не исключавшей, однако, ни улыбки, ни жалости, ни беззлобной насмешки, и которая выразилась лучше всего в одном... стихотворении, написанном 'на случай', непритязательном, шуточном, но чья внутренняя мелодия пронзительна и, для меня по крайней мере, неотразима: 'Жил Александр Герцевич...' ... Я не могу прочесть его вслух без того, чтобы голос у меня не осекся...» (В. Вейдле. О посл. стихах, стр. 75—76). Стихотворение это, пародирующее «Молитву» Лермонтова, ходит по рукам в списках, часть строк его вошла в обиход в качестве поговорок. Вот две строчки стихотворения:

Мандельштам:	Лермонтов:
Одну сонату вечную	Одну молитву чудную
Твердил он наизусть.	Твержу я наизусть.

№ 229. Колют ресницы. В груди прикипела слеза. Впервые в «Воздушных Путях», альман. II, Нью-Йорк, 1961, Разночтения (у нас — по рукописи):

Стих 1. Колют ресницы. К груди прикипела слеза.
„ 2. Чую без страху, что будет и будет гроза, (В. Пути)
„ 4. Душно, а все-таки до смерти хочется жить

Опубликовано в журн. «Простор», 1965, № 4, без разночтений с нашим текстом.

№ 230. Ночь на дворе. Барская лжа. Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас по рук. Разночтения (В. Пути):

Стих 3. Что же потом? — Хрип горожан
„ 5. Бал-маскарад. Пел волкодав.
„ 7. Шапку в рукав, с шапкой в руках —

№ 231. Я с дымящей лучиной вхожу. Публикуется впервые по рук. Разночтения в других рукописях:

Стих 5. А она мне соленых грибов

Стих 13. Вошь да глушь у нее, тишь да мша,
„ 15. Ничего, хорошо, хороша!

Среди других черновых набросков имеется и набросок одной из редакций одной строфы этого стихотворения, близко связанный и со стихотворением наш. собр. № 227:

А не то уведи, да прошу — поскорей,
К шестипалой неправде в избу,
Потому что не волк я по крови своей,
И за мною другие придут.

Там же приведен и вариант последней строчки этой строфы:

И лежать мне в сосновом гробу.

Под названием «Неправда» опубликовано в альм. «Мосты», Мюнхен, № 11, 1965, стр. 171. Разночтения те же, что указаны выше (стихи 5 и 13). и
Стих 15. Ничего; ничего, хороша!

№ 232. **Нет, не спрятаться мне от великой муры.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. Разночтения (в некоторых списках):

Стих 2. За извозчичью спину Москвы —
„ 9. Едва успевает грозить из угла —
„ 10. Ты — как хочешь, а я не боюсь!
(Перв. тетр., рук. В)

№ 233. **Я пью за военные астры.** Впервые, насколько удалось установить, отрывок из этого стихотворения цитируется во второй главе «Очерков русской поэзии XX века» А. Селивановского: Распад акмеизма, опубл. в журн. «Литературная Учеба», 1934, № 7, стр. 33. В этой главе говорится о «последних» стихах Мандельштама, что в них «порою звучит страстная тоска, страстное желание вырваться из круга старых дум и привычек и сблизиться с советской действительностью, но это желание перешибается старинными воспоминаниями об ушедшем прошлом (он поднимает кубок «за музыку сосен Савойских, полей Елисейских бензин, за розу в кабине Рольс-Ройса, за масло парижских картин»), и социальная конкретность обволакивается пеленой все тех же старинных книжных условностей». Затем отрывок

из этого стихотворения цитируется в ст. А. Коваленкова «Письмо ст. другу», стр. 168. Впервые полностью в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. В статье «Поздний Мандельштам» поэт и литературовед Игорь Чиннов иронически поддакивает советским критикам, говоря о тоске Мандельштама по Европе:

«Здесь уже самое начало поражает. Что это за военные астры, в честь которых провозглашает поэт заздравный тост? Военные астры это, очевидно, эполеты, т. е. символ, так называемой, 'военщины', символ 'капиталистический' западный. Ведь у советских маршалов, при всей ошеломляющей нарядности их мундиров, эполетов нет. Далее Мандельштам пьет за барскую шубу, тоже символ 'капитализма', пусть и штатского. В честь барства провозглашен и тост за астму. Болезнь эта вызывает в воображении образ Пруста, воспевшего жизнь французской аристократии. 'Желчь петербургского дня' как будто выпадает из европейской атмосферы. Но вспомним европеизм Петербурга по сравнению почти со всей остальной Россией. 'За музыку сосен савойских'. Это приводит на память облик Ламартина — и стихи о нем Тютчева: 'Как он любил родные ели / Своей Савойи дорогой'. Ламартин — это как бы символ буржуазного романтизма, т. е. направления, резко осужденного в Советском Союзе. 'Полей Елисейских бензин', 'розы в кабине рольс-ройса'. Нет необходимости доказывать, что здесь перед нами 'квинтессенция буржуазного мира'. 'За масло парижских картин'. Скорее всего, Мандельштам имеет в виду парижскую школу, осужденную советской официальной критикой — в частности, характерные для нее полотна, на которых так часты и так колоритны образы буржуазной жизни — полотна Вюйяра, Ренуара, Эдуарда Монэ, Матисса (ср. стих. Мандельштама 'Импрессионизм'). Очень вероятно, что заздравный кубок Мандельштам подымает и в честь позднейших модернистов». И т. д., и т. д. («Новый Журнал», Нью-Йорк, № 88, 1967, стр. 135).

№ 234. **Рояль.** Впервые в «Новом Мире», 1932, кн. 6, без 4-й строфы, в журнальной публикации замененной строчкой точек. Перепечатано в «Опытах», Нью-Йорк, кн. 1, 1953. Пропущенная строфа восстановлена нами по рук. Разночтения:

Стих 13. И не прелюды он и вальсы (Рук)

„ 21. Чтобы смолой соната джина (Н. Мир)

«Итак, о редакционной бдительности журналов. Начинаем с 'Нового Мира'. В № 6 за 1932 год мы натыкаемся на легко идеологически расшифровываемый цикл стихов О. Мандельштама. Начинается он с 'Рояля', дающего этакую добрую порцию мистической зарядки: 'Чтоб смолой соната джина Проступила из позвонков, Нюрнбергская есть пружина, Выпрямляющая мертвецов.' Продолжается 'Ламарк' . . . навыворот, стихотворением, описывающим обратный путь земли и человечества 'к паучьей глухоте', человечества (это мы!), от которого природа отступила. 'И продольный мозг она вложила словно шпагу в темные ножны'. Нужна ли особая бдительность, чтобы распознать обычное враждебное нашей действительности утверждение о гуннах, разрушителях тонкости человеческих переживаний. 'Во благовремении' мы слышали это от . . . Клюева. Как бы подчеркивая свой тезис, поэт заключает пассеистическим стилизаторским стихотворением 'Батюшков'», — так буквально д о н о с и т на поэта органам сыска О. Бескин (Поэзия в журналах. «Литературная Газета», № 18—19 (246—247), 1933, стр. 8).

№ 235. **Сохрани мою речь навсегда.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас по рук. Опубликовано в журн. «Простор», Воронеж, 1966, № 11, стр. 110 (публикация Н. Я. Мандельштам) — в той же редакции, что и наша.

№ 236. **Канцона.** Публикуется нами впервые.

№№ 237—246. **Отрывки из уничтоженных стихов.** Опубликованы нами впервые, за исключением отрывка V («Язык-медведь . . .»), опубликованного в статье

Г. Маргвелашвили, «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 78. Некоторые из отрывков связаны, очевидно, с подготовкой или переработкой стих. «За гремучую доблесть грядущих веков».

№ 247. Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем. Впервые в «Новом Мире», 1932, кн. 4. Разночтение:

Стих 9. Держу пари, что нынче тридцать первый

№ 248. Фаэтонщик. Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас по рукописям.

В статье «Поздний Мандельштам» Игорь Чиннов обращает внимание на образ чумы в этом стихотворении: «Что именно называет Мандельштам чумой? И кто такой Фаэтонщик? На второй вопрос естественно ответить, что Фаэтонщик — тот, кто правит, кто держит в руках 'вожжи', 'бразды правления', кто направляет ход коней. Этот образ стóит сопоставить с образом Кащея в одном из стихотворений Мандельштама тех же лет. Пока подчеркнем, что Мандельштам называет его 'чумный председатель'. На председателя из пушкинского 'Пира во время чумы' он не похож, однако, слово председатель едва ли употреблено зря. Этот председатель правит 'безносой канителью'. Что же это за безносая канитель, что значит 'пошли толчки, разгоны' и что значит чума?

Сравним с этим стихотворением другое, помеченное 1933 годом. Вот его первая строфа:

В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин.

Здесь явственно дан пир во время чумы. На этом пиру пьют шампанское, провозглашая тост за 'наважденье причин'». («Новый Журнал», № 88, 1967, стр. 126). Дальнейшие политические догадки И. Чиннова кажутся нам необоснованными: образы Мандельштама и его историософская лирика очень редко касались злободневного, чисто политического.

Скорее, это общая характеристика эпохи и ее движущих сил. Но само обращение внимания нашего на образ чумы очень важно.

№ 249. **Как народная громада.** Публикуется впервые по рукоп. Разночтения в других рукописях:

Стих 4. Пропыленная армадой
„ 10. И священные быки.

№ 250. **Какое лето! Молодых рабочих.** Впервые по рукописи публикуются нами. В первом издании, на основании дефектного списка с рукописи, это стихотворение было опубликовано нами, как конец стихотворения «Сегодня можно снять декалькомани».

№ 251. **Еще далеко мне до патриарха.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. Стихотворение известно в ряде списков. Опубликовано в журналах «Простор», 1966, № 11, стр. 110 (публикация Н. Я. Мандельштам, с пропуском строф: «Я к воробьям пойду и к репортерам» и «Или еще пущусь на побегушки»), и «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 67—68 (публикация Г. Маргвелашвили; без пропуска строф). Наша публикация в первом издании этого тома, на основании дефектных списков, отделила вторую часть стихов (начиная со строки «Я к воробьям пойду и к репортерам») и поместила ее в качестве отдельного стихотворения. Разночтения (кроме пропусков строф в «Просторе» и отдельных строк в «Лит. Грузии», отмеченных в журналах многоточиями):

Стих 24. И с белорукой тростью выхожу —
(«Простор»).
„ 28. И не живу, и все-таки живу.
(«Простор»).
„ 40. Люблю разъезды в створчатых
трамваях
(«Лит. Грузия»)

«...'Еще далеко мне до патриарха...' И поэт явно счастлив, несмотря на бедность собственного и общего быта, несмотря на свою постоянную 'безбытность' (Н. Чуковский: 'Это был человек, не создав-

ший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада'), ибо ему известны подлинные неусыхаемые и незамутненные источники радости» (Маргвелашвили, стр. 83).

№ 252. Там, где купальни-бумагопрядильни. Впервые в «Новом Мире», 1932, кн. 6, с исправлением пунктуации по рукописи. Разночтения:

Стих 1. Там, где купальни, бумагопрядильни
„ 15. Вода на бульварах и воздух нежнее

(1 — Н. Мир; 15 — рук.).

№ 253. О, как мы любим лицемерить. Впервые в «Новом Мире», 1932, кн. 4, без третьей строфы, впервые публикуемой по рук.

№ 254. Ламарк. Впервые в «Новом Мире», 1932, кн. 6. Разно- «... Может быть, всего недвусмысленнее выражен ... протест против бездуховного детерминизма в стихотворении, посвященном 'пламенному Ламарку' (С. Маковский. Портреты, стр. 396). «... Вообразит нисхождение человека назад по уже пройденным степеням развития, к пресмыкающимся и насекомым, к 'глухоте паучьей', и скажет себе устами Ламарка: 'Ты напрасно Моцарта любил'» (В. Вейдле. О посл. стихах Манд., стр. 75). На стихотворение о Ламарке отозвался в свое время в редактировавшихся им «Числах» (Париж) младший сотовариц Мандельштама по Цеху Поэтов Николай Оцуп. Указав, что последние стихи Мандельштама вызывают «некоторую тревогу» (в этом же смысле высказывался, как мы видели, и другой соратник Мандельштама по акмеизму, Георгий Иванов), Оцуп, говоря о стихах, напечатанных в «Новом Мире», писал, что из четырех стихотворений Мандельштама «самое очаровательное — о Батюшкове, самое характерное — о Ламарке». Дальше он говорил: «И эти стихи, кажется мне, не достигают уровня лучшей поэзии Мандельштама, и в них отдельные места неожиданны у такого взыскательного поэта, но все же здесь есть и почти вся прелесть мандельшта-

мовского голоса. Этот голос и пастернаковский — едва ли не единственные в СССР голоса неподдельной лирики. ... Если позволительно такие разнородные явления сопоставлять, думается, полезно отметить мимоходом коренное различие между Мандельштамом и Пастернаком. В первом собраны лучи культуры латинской, во втором германской, у первого сквозь кристальную ясность, для него обычную, — виден плененный хаос (в этом у Мандельштама тень какого-то родства с Тютчевым), у второго сквозь хаос наружный, кстати все явственнее подчиняемый законам простоты, видна цельность и целомудренность 'душевного здоровья'. Глубочайшая тема мандельштамовской лирики слышится мне в одном из последних его стихотворений 'Ламарк', из которого мне хочется выписать четыре строфы (дальше цитируются строфы 3—6. —Ред). ... Строчки эти не лучшие из мандельштамовских — на ту же тему. Это стихи почти рассудочные и программные рядом с блестящими строчками мандельштамовского расцвета: 'Останься пеной, Афродита, И слово в музыку вернись!' Или: 'Ничему не следует учить, Ничего не надо говорить, И печальна так и хороша Темная звериная душа...' Но в 'Ламарке' интересно новое подтверждение этой завороженности Мандельштама 'первоначальным хаосом', этой тяги назад от культуры в праисторию. Мне кажется особенно драгоценной эта щель, позволяющая разглядеть душу поэта, потому что Мандельштам не любит 'выдавать себя' и сквозь торжественную и бесстрастную прелесть его стихов не очень легко добраться до его человеческой — смертной и уязвимой — сущности. Поэзия Пастернака, по-моему, и в самых замечательных местах никогда не достигала мандельштамовского блеска, но зато она почти всегда являлась живым отражением этого поэта во всех стадиях его роста» (Н. Оцуп. О поэзии и поэтах в СССР. «Числа», кн. 7—8, 1933, стр. 238—239). Осторожно, несколько даже сознательно упрощенно, но в общем правильно трактует это стихотворение А. Турков («Николай

Заболоцкий». ГИХЛ, М., стр. 68—69): «Интересно сопоставить с изображением природы, как царства жестокости, в 'Лодейникове' (поэме Заболоцкого. — Ред.) и ту фантастическую картину 'нисхождения' человека по ступеням эволюции животного мира, которую нарисовал О. Мандельштам в том же 1932 году: 'Если все живое лишь помарка...' Пусть все это странно и фантасмогорично, но, право же, эта мрачная картина по-своему сигнализировала об опасности, о зияющем под ногами человечества 'провале' в средневековье. И как ни казались иные поэты 'аполитичными', 'оторванными от реальной действительности', они — подчас смутно и неосознанно — улавливали происходившие в мире процессы, какую-то предгрозовую духоту. Поэт подобен сейсмографу, чутко ловящему дальние колебания почвы, чреватые опасными землетрясениями. И 'золотой петушок' искусства кричит о беде тогда, когда все еще с виду спокойно».

№ 255. **Когда в далекую Корею.** Публикуется впервые по рукописи.

№ 256. **Новеллино.** Первые четыре строфы впервые в Итальянском сборнике, стр. 610—611; полностью — «Мосты», Мюнхен, кн. 10, 1963, стр. 154—155. Нами публикуется с исправлениями по рукописи. Опубликовано также в журн. «Простор», 1965, № 4. Разночтение:

Стих 18. Молодчиков холеных,

«Для стихотворения, озаглавленного 'Новеллино'..., отправной точкой послужили упоминаемые Данте в 15-й песне 'Ада' веронские бегуны. ... Возможно, что дантовский образ как-то связался с личными переживаниями поэта». (Г. Струве. Итальянский сборник, стр. 610—611). «Стихотворение Мандельштама —свободная импровизация, тематически как будто не связанная с беглым упоминанием 'бегунов' у Данте». (Г. Стуков. Еще о судьбе О. Манд., стр. 155). Вот это упоминание о веронских бегунах в самом конце 15-й песни «Ада» (стихи 121—124), в переводе М. Л. Лозинского:

Он обернулся и бегом помчался,
Как те, кто под Вероною бежит
К зеленому сукну, причем казался
Тем, чья победа, а не тем, чей стыд.

(Данте Алигьери. Божественная комедия. Пер. М. Лозинского. ГИХЛ, Москва—Ленинград, 1950, стр. 64).

№ 257. **Вы помните, как бегуны.** Впервые в Итальянском сборнике, стр. 611; затем — в «Мостах», Мюнхен, кн. 10, 1963, стр. 155—156. Опубликовано также в «В. Путях», IV, стр. 163. Строка 5 в «В. Путях:

И всех других опередит

«Повидимому, он остался недоволен своим стихотворением (довольно длинным, тем, что у нас помещено предыдущим. — Ред.), потому что среди его неизданных стихов имеются еще ... восемь строк ...: 'Вы помните, как бегуны ...' (Г. Струве. Итальянский сборник, стр. 611).

№ 258. **Импрессионизм.** Впервые строфы 1 и 4-я у И. Эренбурга. Люди, годы, жизнь, стр. 499, и в предшествующей журнальн. публикации: «Новый Мир», 1961, кн. 1, стр. 143. Впервые полностью в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. Разночтения:

Стих 10. Свисток иль хлыст, как спичка
тухнет —

(В. Пути)

Опубликовано также: «Простор», 1965, № 4, без названия.

«О его чувстве живописи можно судить хотя бы по нескольким строкам, посвященным натюрморту (вспоминаешь холсты Кончаловского): 'Художник нам изобразил ...' «... Мы с ним часто разговаривали о живописи; в двадцатые годы его больше всего привлекали старые венецианцы — Тинторетто, Тициан» (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь, стр. 499). См. также во втором томе наш. собр. главу в «Путешествии в Армению», посвященную французским художникам-барбизонцам, импрессионистам, Сезанну.

№ 259. **Дайте Тютчеву стрекозу.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961, в качестве продолжения наш. стих. № 262, под названием «Стихи о русской поэзии». У нас — по рукописи. Разночтение:

Стих 10. Лермонтов — учитель наш, (В. Пути)

№ 260. **Полночь в Москве.** Впервые в «Литературной Газете», № 53, 23 ноября 1932. Строфика и пунктуация частично исправлены по «Перв. тетр.», стр. 36—38. Разночтения:

Стих 37. Из густо отработанных кино,
(Рук. В)
„ 52. Изобрази еще нам, Марь Иванна!
(Лит. Газ.)

В «Лит. Газ.» дата — июль 1931.

«Чем не Маяковский?» (В. Вейдле. О посл. стих., стр. 74).

«А маленький Мандельштам все топорщился и не уступал, все отстаивал какие-то свои святые права на 'блаженное бессмысленное слово.' — И рос разлад, непоправимый, росла беда, пока не затерялся где-то голос, глухо только донеслось издалека, уже измененным голосом: 'Мы умрем как пехотинцы, но не прославим Ни хищи, ни поденщины, ни лжи...' А никакого 'мы' уже не было, — был один Мандельштам, отрезанный, беззащитный в своем одиночестве...» (Ю. Марголин. Памяти Манд., стр. 107—108).

«Поэт чутко улавливает во временном вечное, и к вечному он обращен лицом. В юности он творит в постоянной тревоге за целость хрупкого вечного в тисках тяжелого временного. С конца 20-х годов временное грубее врывается в произведения Мандельштама, но не берет перевеса над вечным, хотя и угрожает ему. Мандельштам никогда не опускается до роли поэта-общественника, поэта-политика, но и не уклоняется от социальных и политических проблем. ... Там где 'пишет страх, пишет сдвиг', у Мандельштама, 'влагающего персты в кремнистый путь... как в язву',

хватает гражданского мужества описать московские переулки, 'шелушащиеся советской сонатинкой', призывать 'поставить органные крылья' и на востоке и на западе и бросить в лицо увлеченным строительными темпами пятилеток: 'Пусть это унизительно — поймите: Есть блуд труда, и он у нас в крови'» ... «В поэзии Мандельштама встречаются и произведения, по ритму сильно отличающиеся от классических. Стихотворение 'Полночь в Москве' написано меняющимися размерами, в основном белыми стихами, с отдельными 'случайными' рифмами и выпадающими из размера строками. 'Нашедший подкову' — пример чисто синтаксических ритмов. То, что эти размеры тоже построены на изохронизме, ясно на глаз и на слух...» (Бушман, «Поэтическое искусство Мандельштама», Мюнхен, 1964, стр. 29—30, 44).

№ 261. **Батюшков.** Впервые в «Новом Мире», 1932, кн. 6, с исправлением строки 4-й по собр. соч. К. Н. Батюшкова: в журнальной публикации и списках эта строка читается:

Нюхает розу и Дафну поет.

«Дафна», очевидно, опечатка — и следует читать «Зафна». Так и поступил Вл. Марков в сборн. «Приглушенные голоса», Нью-Йорк, 1952. «Дафна» упоминается в стихах Батюшкова только раз — и притом мимоходом, — в стихотворении «Ответ Тургеневу». Правда, «Зафна» упоминается только раз тоже, но зато ей посвящено целое стихотворение «Источник». «Поэзия Мандельштама не только из сердца, но и от ума, как и пушкинская... Одно из последних известных нам стихотворений Мандельштама посвящено Батюшкову, поэтическому учителю Пушкина ... Батюшков и Мандельштам — выдающиеся поэты, качество их поэзии столь же чистое, незамутненное, как и качество пушкинской поэзии». (Ю. Иваск. Осип Мандельштам. Собрание сочинений ... 1955, рецензия. «Вестник Института по изучению СССР», Мюнхен, № 2(19), 1956, стр. 129). «... Недаром современный

нам поэт, один из видных деятелей нашей литературы, не далее как в 1932 году, в крупном советском журнале печатает восторженные стихи об 'оплакавшем Тасса' 'нежном' певце, который принес с собой 'шум стихотворства и колокол братства и гармонический проливень слез'» (Д. Б[лагой]. От редактора. В кн.: К. Батюшков. Собрание сочинений. Изд. "Academia", 1934, стр. 40).

№№ 262—264. **Стихи о русской поэзии.** В первом издании этого тома, из-за дефектов полученных тогда нами списков с рукописи, в эти стихи вкралось при опубликовании много ошибок. В настоящем издании они исправлены.

I. **Сядь, Державин, развалился.** Впервые: «Воздушные Пути», альм. II, Нью-Йорк, 1961, стр. 28, с продолжением, сразу после стиха «И стихов его накал». Этим продолжением (ошибочным) в альманахе является наше стих. № 259: «Дайте Тютчеву стрекозу». Разночтение в «В. Путях»:

Стих 4. Твой напиток не прокис.

II. **Гром живет своим накатом.** Впервые: «Возд. Пути», альм II, 1961, стр. 13, с перепутанным порядком строф (сначала «Зашумела, задрожала»...). Напечатано в «Литературной Грузии», 1967, № 1, стр. 69.

III. **Полюбил я лес прекрасный.** Опубликовано впервые в нашем первом издании по рукописи. Исправлено по новым — наиболее авторитетным — спискам и по публикации в журн. «Простор», 1965, № 4. Но в публикации «Простора» явные опечатки или ошибки:

Стих 9. (Вместо него повторен стих 13-й)
„ 16. И скорлупочная тьма.
„ 18. В треуголках косачи,
„ 19. На углах читают книги

№ 265. **Сегодня можно снять декалькомани.** Публикуется впервые по рукописи. В отрывках опубликовано в статье Г. Маргвелашвили — «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 83, с незначительными разночтениями.

№ 266. **К немецкой речи.** Впервые в «Литературной Газете», № 53, 23 ноября 1932. Разночтение в рукописях:

Стих 34. Для новых дум, для семилетних боен.
„ 34. Для новых чум, для пятилетних боен.

После выхода первого издания первого тома нами получен из России вариант этого стихотворения.

Ст. 1—4 здесь читаются так:

Когда пылают Веймарские свечи
И моль трещит под колпачком чулочным.
Мне хочется воздать немецкой речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.

А стихи 17—20 — так:

Воспоминаний сумрак шоколадный,
Плющем войны завешен старый Рейн.
И я стою в беседке виноградной
Так высоко, весь будущим прореян.

«В представлении Мандельштама фонетика стиха неразрывно связана с семантикой. Поэт сам утверждает это в теории, называя согласные 'звуками боли и нападения, обиды и самозащиты'. На практике шумы, особенно свистящие и шипящие, выпуклее, заметнее проступают у него там, где речь идет о боли, горе или смерти. Личное горе еще недостаточная причина для того, чтобы шумы взяли перевес. ... Но в тех поздних стихах, в которых поэт касается угрозы, надвигающейся на все человечество, 'мирные переговоры' между голосом и шумом сменяются ожесточенной борьбой за время в стихе. Мандельштам не изменяет своей любви к благозвучию, оно остается для поэта носителем божественного порядка. Шумы надвигаются как носители хаоса. Об этом свидетельствуют строки из стихотворения 'К немецкой речи': 'Бог Нахтигаль, меня еще вербуют Для новых чум, для семилетних боен. Звук сузился. Слова шипят, бунтуют'. Это стихотворение показывает, как чутко ощущал Мандельштам фонетическую структуру языков. Посвященное немецкой речи, оно отличается отсутствием полногласия и наличием большого числа стечений согласных, т. е. поэт выбирает сло-

ва максимально близкие фонетической структуре немецкой речи. О том, что это не случайно, свидетельствует заключение статьи 'Заметки о Шенье': 'В поэзии разрушаются грани национального, и стихия одного языка перекликается с другой'. 'Шипящими, бунтующими словами', 'суженными звуками' написаны многие из поздних стихотворений Мандельштама. И это не отказ от прежних взглядов на фонетику стиха, а логическое развитие этих взглядов пред лицом насильно врывающегося в поэзию нового содержания. Обширное применение шумов в поздней поэзии Мандельштама есть продолжение его теории благозвучия, как война является продолжением мирной политики государства» (Бушман. «Поэтическое искусство Мандельштама», Мюнхен, 1964, стр. 44—45).

№ 267. **Ариост.** Впервые в «Дне Поэзии. 1962», Москва, 1962, стр. 285. Опубликовано также в «Мостах», Мюнхен, кн. 10, 1963, стр. 156—157, и в статье Эрге «Осип Мандельштам в советской печати», в «Новом Русском Слове», Нью-Йорк, 3 февраля 1963. Разночтения:

Стих 1. Во всей Италии приятнейшей, умнейшей,
„ 24. И улыбается в крылатое окно
„ 32. Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг

(1 — День Поэзии; 24, 32 — Мосты, рукопись).

№ 268. **Ариост.** (Вариант). — Публикуется впервые по рукописи.

№ 269. **Друг Ариоста, друг Петрарки, Тассо друг.** Впервые в Итальянск. сборнике, стр. 612.

№ 270. **Не искушай чужих наречий.** Впервые в Итальянском сборнике, стр. 612, без второго двустишия. У нас — по рукописи.

№ 271. **Холодная весна. Голодный старый Крым.** Впервые в «Мостах», Мюнхен, кн. 10, 1963, стр. 157—158. Нами публикуется по Втор. тетр., стр. 71. Разночтения:

Стих 3. Овчарки на дворе, на рубищах заплаты

Стих 7. Стоят как пришлые, и вызывают жалость

(3 — Мосты, рук В; 7 — Мосты).

«В этом стихотворении нашел себе отражение страшный голод 1932—1933 гг. на юге России. Для биографии Мандельштама три последних стихотворения интересны тем, что из них явствует, что весной и летом 1933 года он жил в Старом Крыму» (Г. Стуков. Новое о судьбе Манд., стр. 158).

№ 272. **Квартира тиха, как бумага.** Впервые в «Русской мысли», Париж, 21 февраля 1963, без наших строф 4 и 8-й («Наглей комсомольской ячейки» и «И столько мучительной злости»). У нас — по рукописи автора.

«Это — то стихотворение, в котором он 'воспевал', свою квартиру в Нащокинском переулке, когда после периода бездомности поселился в Москве осенью 1933 года... ...Знавшие Мандельштама в эти годы говорят, что над домом в Нащокинском переулке с самого начала висела тень неблагополучия и обреченности и что сам О. Э. 'очутился в поле действия мрачных сил'. Не прошло и года после водворения его в 'халтурных стенах' 'московского злого жилья', как он был арестован, и началась последняя — трагическая — полоса его жизни». (Г. Стуков. Неизв. стих. Манд.). Биографический комментарий А. А. Ахматовой к этому стихотворению был уже использован в цитируемых во вступительной статье к настоящему тому статьях Г. Стукова (см. стр. XV—XVI), но мы приводим здесь подлинный текст воспоминаний А. А., в котором есть некоторые дополнительные подробности: «Осенью 1933 года Мандельштам наконец, получил (воспетую им) квартиру (две комнаты, пятый этаж, без лифта; газовой плиты и ванны еще не было) в Нащокинском переулке ('Квартира бела, как бумага'), и бродячая жизнь как будто бы кончилась. У Осипа завелись книги, главным образом, старинные издания итальянских поэтов (Данте, Петрарка). На самом деле ничего не кончилось: все время надо бы-

ло куда-то звонить, чего-то ждать, на что-то надеяться. И никогда из всего этого ничего не выходило. Осип Эмильевич был врагом стихотворных переводов. Он при мне на Нащокинском говорил Пастернаку: 'Ваше полное собрание сочинений будет состоять из двенадцати томов переводов и одного тома ваших собственных стихотворений'. Мандельштам знал, что в переводах утекает творческая энергия, и заставить его переводить было почти невозможно. Кругом завелось много людей, часто довольно мутных и почти всегда ненужных. Несмотря на то, что время было сравнительно вегетерианское, тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме. Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 г.), о чем говорили — не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: 'Я к смерти готов'. Вот уже 28 лет я вспоминаю ту минуту, когда проезжаю мимо этого места». «Осип читал мне на память [приехав в Ленинград, в 1933 г. — Ред.] отрывки стихотворения Н. Клюева 'Хулители Искусства' — причину гибели несчастного Николая Алексеевича ... Оттуда я взяла два стиха как эпиграф — 'Решка', а когда я что-то неодобрительно говорила об Есенине — Осип возражал, что можно простить Есенину что угодно за строчку: 'Не расстреливал несчастных по темницам'. Жить в общем было не на что: какие-то полупереводы, полурецензии, полуобещания» (Ахматова, стр. 179—180).

№ 273. Татары, узбеки и ненцы. Публикуется впервые по рук.

№ 274. У нашей святой молодежи. Публикуется впервые по рук. Разночтения:

Стих 7. Кулацкого бая качаю,
„ 8. Колхозного пая пою.

Б а й — богач, крупный землевладелец или скотовод в дореволюционной Средней Азии. «Колхозного бая качаю» — достаточно ясная характеристика.

№ 275. Люблю появление ткани. Публикуется впервые по рук. Разночтения:

Стих 4. Придет выпрямительский вздох —

Стих 6. Зеленые формы чертя,

№ 276. **Люблю появление ткани.** (Вариант). Впервые — «Москва», 1964, кн. 8.

№ 277. **О, бабочка, о, мусульманка.** Опубликовано впервые в статье Ю. Терапиано — «Мандельштам», «Грани», Франкфурт, кн. 50, 1961, стр. 118. У нас — по рук. Опубликовано также в статье Маргвелашвили — «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 89.

№ 278. **Шестого чувства крохотный придаток.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас — с исправлениями по рук. Разночтения:

Стих 1. Шестого чувства крошечный придаток
„ 2. Иль ящерицы темянной глазок,

№ 279. **Преодолев затверженность природы.** Публикуется впервые по рукописи. Первые четыре стиха опубликованы в статье Маргвелашвили, «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 80. Разночтение:

Стих 3. В ее земной коре господствуют породы,

№ 280. **Когда, уничтожив набросок.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас по рук. Разночтение:

Стих 2. Ты держишь спокойно в уме
(В. Пути, рук).

Опубликовано в журн. «Простор», 1966, № 11, стр. 110 (публикация Н. Я. Мандельштам, без разночтений с нашим текстом).

№ 281. **И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме.** Впервые в «Воздушных Путях», II, 1961. Затем — «Москва», 1964, кн. 8. Разночтения:

Стих 1. И Моцарт на воде, и Шуберт в птичьем гаме
„ 3. И Гамлет, мыслящий пугливыми шагами,
„ 6. И в бездревесности крутилися листы,

(1, 3 — В. Пути, рук.; 6 — рук.)

Опубликовано в статье Маргвелашвили — «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 79, с разночтениями теми же, что указаны выше (стихи 1 и 3). «... Тут Мандельштам подходил к краеугольной

мысли своего художнического символа веры, выразив ее в великолепном поэтическом парадоксе: 'Быть может, прежде губ уже родился шепот...' На языке эстетической науки этот образ расшифровывается как признание первородства и примата жизни в ее взаимосвязях с искусством. Но как далека эта мысль от равнодушного, благодушного отображательства и описательства! Она требует от поэта 'шестого чувства', слуха и зрения способных 'вживаться в жизнь', в 'земную ось: Вооруженный зреньем узких ос, Сосущих ось земную, ось земную...' Только такой поэтический 'глаз' способен разведать богатства мира, 'понять пространства внутренний избыток': 'Преодолев затверженность природы, голуботвердый глаз проник в ее закон...'» (Маргвелашвили, стр. 79—80).

№ 282. **И клена зубчатая лапа.** Публикуется впервые по рукописи.

№ 283. **Скажи мне, чертежник пустыни.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961, вместе со стих. наш. собр. № 285, как одно стихотворение. У нас по рук. Разночтения:

Стих 1. Скажи мне, чертежник пространства
„ 2. Арабских песков геометр,

(1, 2 — В. Пути, рук.).

№ 284. **В игольчатых чумных бокалах.** Впервые в «Возд. Путях», II, 1961.

№ 285. **И я выхожу из пространства.** Впервые в «Возд. Путях», II, 1961, как окончание наш. стих. № 283.

№ 286 **Мы живем, под собою не чуя страны.** Впервые в «Мостах», Мюнхен, кн. 10, 1963, стр. 159. У нас — по рукописи. Близкий к нашему вариант опубликован Г. Стуковым с его вступительной заметкой в газете «Русская Мысль» (Париж), № 2278, от 6 марта 1965 г., следующие разночтения:

Ст. 3—4: Только слышно кремлевского горца —
Душегубца и мужикоборца.

Обстоятельства, связанные с этим стихотворением, в общих чертах рассказаны, на основании ряда источников, во вступительной статье Г. П. Струве, но

полный текст воспоминаний Ахматовой вносит некоторые подробности и уточнения в рассказ о них и потому мы приводим его здесь дословно.

«Я очень запомнила один из наших тогдашних разговоров о поэзии. Осип Эмильевич, который очень болезненно переносил то, что сейчас называют культом личности, сказал мне: 'Стихи сейчас должны быть гражданскими', и прочел 'Под собой мы не чуем'. Примерно, тогда же возникла его теория 'знакомства слов'. Много позже он утверждал, что стихи пишутся только как результат сильных потрясений, как радостных, так и трагических. О своих стихах, где он хвалит Сталина: 'Мне хочется сказать не Сталин — Джугашвили' (1935 ?), он сказал мне: 'Я теперь понимаю, что это была болезнь'. Когда я прочла Осипу мое стихотворение 'Уводили тебя на рассвете' (1935), он сказал: 'Благодарю вас'. Стихи эти в 'Реквиеме' и относятся к аресту Н. Н. П. в 1935 году. На свой счет Мандельштам принял (справедливо) и последний стих в стихотворении 'Немного Географии' ('Не столицею европейской'): 'Он воспетый первым поэтом, Нами грешными и тобой'. 13 мая 1934 года его арестовали. В этот же самый день я после града телеграмм и телефонных звонков приехала к Мандельштамам из Ленинграда, где незадолго до этого произошло его столкновение с Толстым. ... Ордер на арест был подписан самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной у Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел 'Волка' ['За гремучую доблесть грядущих веков', стих. наш. собр. № 227. — Ред.] и показал Осипу Эмильевичу. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в 7 утра. Было совсем светло. Надя пошла к брату и к Чулковым на Смоленский бульвар — мы условились где-то встретиться. ... Пастернак, у которого я была в тот же день, пошел просить за Мандельштама в 'Известия', к Бухарину, а я в Кремль, к Енукидзе. Тогда проникнуть в Кремль

было почти чудом. ... Енукидзе был довольно вежлив, но сразу спросил: 'А может быть какие-нибудь стихи?' Этим мы ускорили и, вероятно, смягчили развязку. Приговор — три года Чердыни, где Осип выбросился из окна больницы, потому что ему казалось, что за ним пришли (смотри Стансы...) и сломал себе руку. Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело и позволил выбрать другое место, потом звонил Пастернаку... Остальное слишком известно. Вместе с Пастернаком я была у Усиевича... Была я у Пильняка, где видала Балтрушайтиса, Шпетта и С. Прокофьева. Навестить Надю из мужчин пришел один Перец Маркиш. ... Бухарин в конце своего письма Сталину написал: 'И Пастернак тоже волнуется'. Сталин сообщил, что отдано распоряжение, что с Мандельштамом будет все в порядке...» (Ахматова, стр. 181—183).

Упоминаемый Ахматовой Н. Н. П. — ее третий муж, Н. Н. Пунин, художественный и литературный критик, до революции сотрудник «Аполлона», где им, между прочим, была напечатана его статья об Иннокентии Анненском.

Стихотворение, где Мандельштам «хвалит Сталина», очевидно — наш № 372 (ср. последние три стиха, с упоминанием Ленина и Сталина). К Сталину могут относиться и две строки в стих. № 361: И к нему — в его сердцевину — / Я без пропуска в Кремль вошел.

№ 287. **Как из одной высокогорной щели.** Публикуется впервые по рук.

№ 288. **Голубые глаза и горящая лобная кость.** Впервые — только отдельные строфы — у И. Эренбурга —Люди, годы, жизнь, стр. 500 (и в предшествующей публикации в «Новом Мире», 1961, кн. 1, стр. 143). Полностью впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас по рукописи. Разночтение: в «В. Путях»:

Стих 22. Так лети, молодей и лети, бесконечно прямясь

Под названием «Андрею Белому» в журнале «Простор», 1965, № 4. Разночтения:

Ст. 15: Прямизна наших мыслей не только
пугач для детей:

„ 22: Так лежи молодой, и лежи, бесконечно
прямясь.

Под стихотворением помета: «Январь 1934. В день похорон. Москва».

Стихотворение это — и следующие за ним стихотворения — посвящены памяти Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева), скончавшегося 7 января и похороненного 10 января 1934. У Мандельштама отношение к Андрею Белому было всегда двойственным — см. его рецензию на «Записки чудака» А. Белого во 2-м томе наш. собр. «Он отвергал символизм, как чуждое русской поэзии явление ... Андрей Белый 'болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка ...' (Мандельштам, однако, почитал и любил Андрея Белого; после его смерти написал несколько чудесных стихотворений : 'На тебя надевали тиару — юрода колпак'» (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь, стр. 500). «Эти строки написаны на следующий день после кончины Бориса Николаевича» (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. «Н. Мир», стр. 108).

№ 289. **10 января 1934.** Публикуется впервые по рукописи. После опубликования в нашем первом издании (1964), напечатано в журнале «Простор», 1965, № 4. Разночтения

Ст. 3: О Боже, как жирны и синеглазы

„ 11: Морозныи пух в железной крутит тяге,

„ 16: Представились в полвека, в полчаса.

„ 35: Доколе не сорвусь — разыгрываю в лицах

«... Читая эти на смерть Андрея Белого выплаканные строки, как не вспомнить батюшковское ... — на смерть Панина — стихотворение, начинающееся восклицанием — 'Где друг наш? Где певец? Где юности красы? ..' или его же антологическое обращение к 'столповенчанному Коринфу': 'Где слава,

где краса, источник зол твоих? Где стогны шумные и граждане счастливы? Где зданья пышные и храмы горделивы?..' Разумеется, эта перекличка веков имела не только литературную и чисто эстетическую основу (как бы бы ее ни называли — по-мандельштамовски 'вечными' или 'блуждающими снами', унаследованными правнуком от прадедов, или 'своеобразными снами, лежащими в областях искусства только', — как подчеркивал Блок); в конечном счете эта 'связь времен' порождалась глубинными задачами поэзии, ее общественными целями...» (Маргвелашвили, стр. 78).

№ 290. **А посреди толпы — задумчивый, брадатый.** Вариант двух последних строф предыдущего стихотворения, посвященный В. Фаворскому. Впервые в «Мостах», Мюнхен, кн. 10, 1963, стр. 158. У нас — по рук.

Стих 6. В толпокрылатом воздухе картин (Рук.В).

Владимир Андреевич Фаворский (р. 1886) — «известный художник, гравер, иллюстратор многих произведений классической и современной литературы. Из других стихотворений Мандельштама на тему о смерти Белого можно вывести, что Фаворский рисовал его портрет в гробу» (Г. Стуков. Новое о судьбе Манд., стр. 158).

№ 291. **Когда душе и торопкой и робкой.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. III, Нью-Йорк, 1963. У нас по рук. Разночтения (в «В Путях»):

Стих. 5. Он, кажется, дичится умиранья
„ 6. Застенчивостью славит новичка

Дата в «Возд. Путях» — не январь, а февраль 1934.

№ 292. **Ему кавказские кричали горы.** Впервые только первая строфа у И. Эренбурга — Люди, годы, жизнь. «Новый Мир», 1961, кн. 9, стр. 106. Все стихотворение целиком публикуется впервые по рук. «Гений? Чудак? Шут?.. Андрей Белый потрясал всех с ним встречавшихся. В январе 1934 года, узнав о смерти Бориса Николаевича, Мандельштам написал цикл стихотворений. Он видел величие Белого: 'Ему кавказские кричали горы...'» (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. «Новый Мир», стр. 106).

№ 293. **Он дирижировал кавказскими горами.** Публикуется нами впервые по рукописи. Опубликовано затем в журн. «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 68.

№ 294. **Откуда привезли? Кого? Который умер.** Строки 3—8 приведены у И. Эренбурга — Люди, годы, жизнь. «Новый Мир», 1961, кн. 9, стр. 106. У нас по рук. В строке 2-й в квадратных скобках введено утраченное в списке слово; восстановлено оно по памяти: это стихотворение в списках ходило по рукам в Москве и Ленинграде после смерти А. Белого.

№ 295. **Мастерица виноватых взоров.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас по рук. Разночтения (в «В. Путях):

Стих. 21 ... гибнущим подмога,
„ 22. Надо смерть предупредить успеть
„ 23. Я стою у смертного порога.

Опубликовано в журн. «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 68 — без последней строфы.

«В 1933—34 гг. Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марью Сергеевну Петровых [поэтесса и переводчица. — Ред.]. Ей посвящено, вернее, к ней обращено стихотворение 'Турчанка' (заглавие мое), любовное, на мой взгляд лучшее любовное стихотворение XX века ('Мастерица виноватых взоров'). Марья Сергеевна говорит, что было еще одно совершенно волшебное стихотворение о белом цвете. Рукопись, повидимому, пропала. Несколько строк Марья Сергеевна знает на память. Надеюсь, можно не напоминать, что... донжуанский список не означает перечня женщин, с которыми Мандельштам был близок. ... В Воронеже Осип дружил с Наташей Штампель. Легенда о его увлечении Анной Радловой ни на чем не основана.

Архистратиг вошел в иконостас,
В ночной тиши запахло валерьяном...
Архистратиг мне задает вопросы,
К чему тебе косы и плеч твоих сияющий атлас...

Осип сочинял из веселого зловредства, а не par dépit и с притворным ужасом где-то шепнул мне: 'Архистратиг дошел', т. е. Радловой кто-то сооб-

щил об этом стихотворении» (Ахматова, стр. 171).

№ 296. **Твоим узким плечам под бичами краснеть.** Впервые напечатано, вместе с девятью другими стихотворениями под общим заглавием «Из 'Воронежских тетрадей'», в воронежском журнале «Подъем» (1966, № 1, январь—февраль, стр. 94).

Стихотворениям в «Подъеме» была предпослана вступительная заметка, подписанная «А. Немировский, доктор исторических наук». Приводим первую часть ее, представляющую биографический интерес:

«Мы предлагаем читателю не публиковавшиеся ранее стихи Мандельштама, относящиеся к большому циклу 'Воронежские тетради'. Стихи эти связаны с Воронежем биографически: в Воронеже поэт провел три года.

Воронежский период творчества Осипа Мандельштама был очень плодотворен. Здесь написано более сотни стихотворений, из которых читающей публике пока известны лишь немногие (публикации в журналах 'Москва' и 'Простор').

В памяти людей, знавших Осипа Эмильевича в те годы, он сохранился прямым, с выправкой офицера (воронежские мальчишки при виде Мандельштама говорили: 'Генерал идет!'), с гордо закинутой головой, с быстрыми движениями, с нервным профилем. Он не был угрюмым человеком. Ему были свойственны озорство и шутка.

Мандельштам был ко всему восприимчив и не мог, в силу своей натуры, равнодушно проходить мимо многого, что непосредственно его не касалось. Вспоминают такой случай. В 1937 году в помещении университетской библиотеки была организована выставка к столетию со дня гибели Пушкина. Посетив эту выставку, Осип Эмильевич обратил внимание, что в лермонтовском стихотворении 'На смерть поэта' опущена строфа, начинающаяся словами 'Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата'. Видимо, упоминание о Боге, по мнению организаторов выставки, могло оказать пагубное влияние на посетителей. 'Свободное' обращение с поэтом

вызвало у Осипа Эмильевича взрыв ярости. Подлинный текст лермонтовского стихотворения был восстановлен.

Мандельштам любил Воронеж. Острым взглядом художника он подглядел его черты и запечатлел в своих стихах. Стоя на горе, что над улицей Степана Разина, он любовался крутоярами, занесенными снегом и запряженными, как в сбрую, огнями домиков. И на другой день он уже читал стихи о воронежских пейзажах которые сравнивал с картинами фламандцев [здесь имеется в виду стих. наш. собр. № 375. — Ред.]. Ему нравились заречные дали, открывавшиеся с площадки, на которой стоял его домик. Вбирая полной грудью воздух, он писал: 'равнины дышащее чудо'. Любил он и воронежских поэтов — Кольцова и Никитина, восторгался пейзажами в никитинских стихах. Он часто посещал воронежский музей изобразительных искусств и подолгу стоял перед произведениями Дюрера и Рембрандта.

Деньги, как и удобства, не имели для Осипа Эмильевича значения. В дни, когда не было денег на хлеб, относили книги в букинистический магазин на проспекте, под кино 'Пролетарий', где сейчас булочная. Магазином заведовал Яков Андреевич, уже немолодой человек, прекрасный знаток книги. Он когда-то работал у Сытина. Лишаться книг было для Осипа Эмильевича настоящим мучением. И когда откуда-нибудь появлялись деньги, Мандельштам шел к Якову Андреевичу выручать 'старых друзей'. Книги, как ни странно, оказывались непроданными и возвращались к владельцу. Осип Эмильевич, сияя, нес их подмышкой.

Изредка в Воронеж к Осипу Эмильевичу приезжали друзья. Первой из них была Анна Андреевна Ахматова. С ней Осип Эмильевич был знаком с Петербурга, когда они оба были еще молоды. Мандельштам и Ахматова сидели в Петровском сквере, у довоенного памятника Петру I. Впечатления о городе Анна Андреевна выразила в своем стихотворении 'Воронеж'.

Часто Осипа Эмильевича можно было видеть в гостеприимной семье учительницы начальной школы Марии Ивановны Штемпель. Дочь Марии Ивановны Наташа недавно окончила университет и преподавала литературу в техникуме. Наташа любила стихи и, узнав, что в Воронеже живет автор 'Камня', решила с ним познакомиться. Первое знакомство закончилось тем, что Наташа ушла в слезах. Мандельштам накричал на нее, когда девушка, по его просьбе прочитать какое-нибудь его стихотворение, прочла: 'Я потеряла нежную камею'. 'Это самое плохое стихотворение!' — кричал Осип Эмильевич. Но потом, в поисках слушателя, он приходил к проходной техникума, где работала Наташа, вызывал ее, чтобы прочитать только что написанное стихотворение. Стихи О. Мандельштама воронежского периода сохранились в списках Н. Е. Штемпель. В значительной степени по ее воспоминаниям мы восстанавливаем жизнь О. Э. Мандельштама в Воронеже».

Дальше Немировский говорит вкратце о поэзии Мандельштама подчеркивая его обращение к «земле» в воронежский период, говоря о «масштабности» его зрения (и цитируя при этом Юрия Олешу, который был поражен одним образом у Мандельштама) и останавливаясь на теме Рима в поэзии О. Э. Ничего особенно оригинального и ценного в этих замечаниях Немировского нет.

Отметим, что Немировский ни словом не обмолвился о том, что Мандельштам жил в Воронеже в с с ы л к е, и что, говоря о недоступности читателю большинства стихотворений воронежского периода, он игнорирует заграничное издание сочинений Мандельштама и такие издания как «Воздушные Пути», где многие из этих стихотворений были напечатаны еще в 1961 году.

№ 297. **Нереиды мои, нереиды.** Печается впервые по рукописи.

№ 298. **Скрипачка.** Публикуется впервые по Перв. Воронеж. тетр., стр. 112, с исправлениями по другим спискам. Разночтения:

Стих 15. Иль драгой Вены молодой —
„ 16. Вертлявый, в дирижерских фрачках,
„ 18. И вальс, из гроба в колыбель
(15 — Перв. Вор. тетр.; 16, 18 — др. рук.)
В рук. дата — не 1935, а 1934.
Опубликовано в журн. «Подъем», 1966, № 1. Дата в журнале — апрель июль 1935.

№ 299. **Чернозем.** Впервые в «Вестнике Русского Студенческого Христианского Движения», Париж—Нью-Йорк, № 64, янв. 1962. Во вступительной заметке А. Немировского к десяти стихотворениям Мандельштама в воронежском журнале «Подъем», 1966, № 1 (см. об этой заметке в прим. к стих. № 296 в этом томе) приводятся восемь строк из стихотворения «Чернозем» с разночтением по сравнению с нашим текстом:

Стих. 7. Тысячелетия распаханной молвы, —

Опубликовано в журн. «Литературная Грузия», 1967 № 1, стр. 69. Разночтения:

Стих 6. И безоружия в ней зиждется работа —
„ 11. Гниющей флейтою настраивает слух,

№ 300. **Наушники, наушнички мои.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. III, Нью-Йорк, 1963. У нас по Перв. Воронеж. тетр., стр. 102. Разночтения:

Стих 6. Прислушайся, как набухают почки...

Дата в «В. Путях» — май 1935; в рук — май 1935 [1934].

№ 301. **Пусти меня, отдай меня, Воронеж.** Впервые у И. Эренбурга — Люди, годы, жизнь, стр. 496—497 (ранее — в «Новом Мире», 1961, кн. 1, стр. 142; почти одновременно в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961, и в статье Ю. Терапиано — «Мандельштам», стр. 121. «... Летом 1934 г. я искал его в Воронеже ('Пусти меня, отдай меня, Воронеж...')» (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь, стр. 496).

№ 302. **Стрижка детей.** Публикуется впервые по Перв. Воронеж. тетр., стр. 104 (в этом списке стих. без названия), с исправлениями по др. рук., откуда взято

и название стихотворения. Разночтение:

Стих 12. Толковое, лиловое чернило.
„ 12. Толковые лиловые чернила.

(«Толковое, . . .» — Перв. Вор. тетр.)

№ 303. **Эта, какая улица?** Публикуется впервые по Перв. Вор. тетр., стр. 100. Опубликовано почти одновременно с нашим первым изданием (1964) в «Вестнике Русского Студенческого Христианского Движения», Париж—Нью-Йорк, № 72—73, 1964, стр. 62. Затем опубликовано в журн. «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 69, без разночтений.

№ 304. **Я живу на важных огородах.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. Разночтение:

Стих 5. Чернопахотная ночь степных окраин
(Перв. Вор. тетр.)

№ 305. **Я должен жить, хотя я дважды умер.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, 1961. У нас по Перв. Вор. тетр., стр. 98. Разночтения:

в «Возд. Путях» и др. рук. это стихотворение соединено со следующим стих. наш. собр. № 306 в одно произведение. В Перв. Вор. тетр. оно записано так, как оно дано у нас; кроме того, стих. наш. собр. № 306, как видно из примечаний к нему (см. ниже), опубликовано, как самостоятельное произведение, в «Дне Поэзии. 1962», Москва, 1962. Разночтение:

Стих 5. Как степь летит в апрельском провороте —
(В. Пути, др. рук.).

Опубликовано в № 4 за 1965 журнала «Простор». Не разбито на двустишия. Разночтение:

ст. 5: Как степь молчит в апрельском провороте,

№ 306. **Да, я лежу в земле, губами шевеля.** Впервые в «Воздушных Путях», II, 1961, как вторая часть предыдущего стихотворения. Затем в «Дне Поэзии. 1962», Москва, 1962, стр. 286. Разночтения:

Стих 2. И то, что я скажу, заучит каждый школьник
„ 4. И скат ее чернеет добровольный,

(2, 4 — В. Пути, рук).

Дата в рук. — май 1935 (1934).
Перепечатано в журн. «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 79 (в статье Маргвелашвили).

№ 307. **Лишив меня морей, разбега и разлета.** Публикуется впервые по Перв. тетр., стр. 99. Почти одновременно с нашим 1-м изданием (1964) опубликовано в «Вестнике Русского Студенческого Христианского Движения», Париж—Нью-Йорк, № 72—73, 1964, стр. 62. «Юг и море были ему почти так же необходимы, как Надя [жена. — Ред.]. 'На вершок бы мне синего моря, На игольное только ушко'» (Ахматова, стр. 178). В СССР опубликовано в статье Маргвелашвили — «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 79.

№ 308. **Как на Каме-реке глазу темно, когда.** Публикуется впервые по Перв. Вор. тетр., стр. 105. Опубликовано затем в журн. «Простор», 1965, № 4.
См. примечание к стих. наш. собр. № 312. Это стихотворение, как и два следующие за ним и некоторые другие, хотя и написано в Воронеже, связано с переживаниями более ранней ссылки в Чердынь, в верховья Камы. Чердынь входила в систему Вишерских лагерей НКВД (и мест ссылки), а административный центр управления лагерями и местами трудпоселений НКВД по этому району находился в Ивделе, на р. Тоболе, неподалеку от впадения Тобола в Обь.

№ 309. **Как на Каме-реке глазу темно, когда.** (Вариант). Впервые в «В. Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас по Перв. Вор. тетр., стр. 106.

№ 310. **Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток.** Публикуется впервые по Перв. Вор. тетр., стр. 107, с исправлением строки 3-й по другим спискам. В Перв. Вор. тетр. эта строка:

И хотелось бы гору с костром отслонить,

Опубликовано затем в журн. «Простор», 1965, № 4.

№ 311. **От сырой простыни говорящая.** Публикуется впервые по Перв. Вор. тетр., стр. 111, с исправлениями по др. рук. Разночтения:

Стих 1. От сырой простыни говорящей, —

Стих 4. На меня и на всех, и на нас.
„ 6. С папиросой смертельной в зубах
(1, 4, 6 — Перв. Вор. тетр.).
Опубликовано затем: «Возд. Пути», альм. IV, 1965, стр. 164; «Подъем», 1966, № 1.
В звуковом кинофильме Васильевых «Чапаев» одним из самых сильных эпизодов является «психическая атака» офицеров-каппелевцев на конницу Чапаева. Офицеры идут на конницу и пулеметчиков сомкнутым пешим строем, с папиросами в зубах, не обращая внимания на пулеметный огонь, который косит их ряды. На место павших становятся другие, и сомкнутый строй офицеров надвигается грозной силой на полупартизанскую конницу. «...Бритва английская адмиральские щеки скребла» — тут и эпизод бритья полковника белых, одного из героев фильма, и «адмиральские щеки» Верховного Главнокомандующего Колчака.

№ 312. **Стансы.** Впервые в «Воздушных Путях», альман. II, Нью-Йорк, 1961, затем, в сильно сокращенной редакции, в «Дне Поэзии. 1962», Москва, 1962, стр. 185—186: без наших строф 3, 4, 7 и 8-й. У нас — по Перв. Вор. тетр., стр. 108—109. Разночтения:
Стих 1. Я не хочу средь юношей архивных
„ 4. Я в жизнь вхожу, и люди хороши.
„ 5. Люблю шинели я красноармейской складки
„ 12. Нас разделили. А теперь пойми —
„ 24. Когда встречаешь с самолета брата
„ 26. Нежнее моря, путанней солдата —
„ 29. Мирволила незримо, но прочна,
„ 36. Я помню все: германских братьев шеи
„ 41. Как Слово о полку, страна моя туга,
(1 — День Поэз.; 4, 5, 12, 29, 36, 41 — В. Пути, рук; 24 — рук.; 26 — В. Пути, рук.: явная описка).
В статье Маргвелашвили («Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 85 и 86) опубликованы в нашей редакции — в виде цитат — строфы 1, 3, 4, 6—8.
«...'Стансы', в которых есть строчка... повторенная два раза: 'Я должен жить, дыша и большевея'.

Но 'большеветь' не всякому дано...» (В. Вейдле. О последних стихах Мандельштама. «Возд. Пути», альм. II, 1961, стр. 80). Любопытны и сокращение текста и внесенное в первую строчку изменение — в публикации этого стихотворения в московском «Дне поэзии 1962». Изменение первой строчки знаменательно: т е п л и ч н о е поколение советской молодежи, в том числе и литературной, поколение, искусственно отобранное и выращенное в условиях непрерывного попечительства сверху — о его профессиональном образовании, его идеологических взглядах, даже о его, молодого поколения, эстетических вкусах, взглядах на жизнь, — это поколение глубоко чуждо поэту, он не хочет средь этих «юношей тепличных разменивать последний грош души». Но это определение слишком неприкровенно, — и цензура, вопреки рифме («архивных» и «единоличник» никак не рифмуются) решила превратить «юношей тепличных» в юношей а р х и в н ы х», как-то связывая тем самым теплично взращенных в условиях принудительной и всеохватывающей идеологии «новых людей» с любомудрами и романтиками круга Ив. Киреевского, кн. В. Одоевского, Д. Веневитинова, тем кругом русской молодежи конца двадцатых и тридцатых годов, что служила в архиве министерства иностранных дел, увлекалась Шеллингом и немецкими романтиками. Это о них и писал Пушкин в «Евгении Онегине»: «Архивны юноши толпою На Таню чопорно глядят...». Такое отнесение «тепличных юношей» конца 1930 годов к «юношам архивным» 1830 годов — отнюдь не соответствует всем устремлениям Мандельштама. Выброшены строфы 3 и 4-я (первая строфа нашего текста в «Дне Поэзии» разделена на две) ввиду их очень яркой противоположности всей господствующей даже не идеологии, а картине жизни: в этих строфах говорится не только о ссылке или заключении поэта в Чердыни, а и о том, как поэта «разлучили» с жизнью и всем, что ему дорого. «Проклятый шов, нелепая затея»: любопытны обратные, прямо противоположные по окраске и ав-

торскому сочувствию образы первой и второй (пропущенной в московской публикации) строф стихотворения. В первой — «люблю шинель красноармейской складки...»; во второй — эта же шинель, но уже конвойно-чекистская — «проклятый шов, нелепая затея...»; и вот — поэт «должен жить, дыша и большевея, и перед смертью хорошея»... И вот, в ссылке или заточении, где необычайно сложно переплетаются образы чисто бытовые и отнюдь не бытовые: «клевещущих козлов не досмотрел я драки» (тут и клеветники-доносчики, окружающие даже уже репрессированных людей, и шумная игра в «козла» — домино, всегда мешающая спать и просто отдохнуть в бараках для заключенных; а, может быть, и образ козлов нечистой силы, в их кромешной драке), — «харчи да харк», «да враки» — все это неизбежно должно было быть исключено из публикации «Стансов» в «Дне Поэзии». Это ведь шире, чем просто картина жизни репрессированного... В 7 и 8-й строфах, уже после возвращения поэта из чердынской ссылки или заключения, повторяется тот же назойливо-трагический мотив: «Я д о л ж е н жить, дыша и большевея, р а б о т а т ь р е ч ь», — и это в условиях и советской действительности — и возникновения рядом с нею другого режима-с а д о в н и к а, режима-палача, гитлеровского, также выращивающего свое тепличное поколение не самопроизвольно развивающихся, а искусственно выращиваемых людей, причесываемых на один лад «лиловым гребнем Лорелеи». Изумительная черточка — использование старороманти́ческого для новототалитарного... И все-таки поэт духовно уцелел, хотя грандиозность событий могла, казалось бы, раздавить индивидуальное сознание протестующей души: «И не ограблен я и не надломлен, Но только что всего переогромлен»... Любопытна и концовка «Стансов», невольно воскрешающая в памяти мистическое восприятие земли в русских легендах («Китеж») и у Достоевского: в голосе поэта «после удушья звучит з е м л я — последнее оружье...». Из очень боль-

шого поэтического произведения в «Дне Поэзии» напечатан только обедненный до неузнаваемости огрызок... «Где пахнет Обью и Тобол в раструбе» — см. примечание к стих. наш. собр. № 308.

«В феврале 1936 года я была у Мандельштамов в Воронеже и узнала все подробности его 'дела'. Он рассказал мне, как в припадке умоисступления бегал по Чердыни и разыскивал мой расстрелянный труп, о чем громко говорил кому попало, а арки в честь челюскинцев считал поставленными в честь его приезда. Пастернак и я ходили к очередному верховному прокурору просить за Мандельштама, но тогда уже начался террор и все было напрасно. Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появилось в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен: 'И в голосе моем после удушья Звучит земля — последнее оружье'. Вернувшись от Мандельштамов, я написала стихотворение 'Воронеж'. Вот его конец:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и муза в свой черед,
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

О себе в Воронеже Осип говорил: 'Я по природе ожидальщик. Оттого мне здесь еще труднее'. ...Там, в Воронеже, его с не очень чистыми побуждениями заставили прочесть доклад об акмеизме. Не должно быть забыто, что он сказал в 1937 году: 'Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых'. На вопрос, что такое акмеизм, Мандельштам ответил: 'Тоска по мировой культуре'» (Ахматова, стр. 184—185).

Стихотворение Ахматовой «Воронеж» печаталось до издания Inter-Language Literary Associates, 1965, и «Бега Времени», М.—Л., 1965, без того заключительного четверостишия, которое она здесь приводит (см., например, однотомник 1961 г., изд. ГИХЛ, стр. 172).

№ 313. День стоял о пяти головах. Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, 1961. У нас — по Перв. Вор. тетр.,

стр. 110, с исправлениями по др. рук.

«Страшные стихи, тоже помеченные июнем 1935 года, 'День стоял о пяти головах . . .', изображающие в сложных, криптограмматических строках шествие арестантов по этапу: 'Ехала конная, пешая шла черноверхая масса' . . . Что это — поэтическая символика или реальность?» (Ю. Терапиано. Мандельштам, стр. 121). Здесь, как и в следующем стихотворении, много образов из картины Васильевых «Чапаев». Г. Н. (1899—1946) и С. Д. (р. 1900) Васильевы — однофамильцы — известные кинорежиссеры, особенно прославившиеся звуковым фильмом «Чапаев» (1934), в котором заглавную роль играл Б. А. Бабочкин, а роль «белогвардейца»-полковника блестяще играл И. Н. Певцов. Картина чуть ли не впервые в истории советского кино показала белую армию не как трусов и бандитов, а хотя и противников, но героических. Кончается картина гибелью командира красного партизанского отряда Василия Чапаева, который тонет в реке, сраженный пулей. В фильме этом, поставленном по одноименному роману Фурманова, противопоставлены партизанская «стихия» в лице Чапаева — и «организующая сила партии» в лице комиссара Фурманова, причем эта последняя, конечно, побеждает стихию и подчиняет ее своему руководству. Но художественно на первом плане оказалась не «партийная организация», а именно «стихия», именно сам Чапаев — и его белые противники, и этим фильм завоевал симпатии зрителей.

№ 314. Возможна ли женщине мертвой хвала. Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас по Перв. Вор. тетр., стр. 113. Опубликовано в журн. «Подъем», 1966, № 1. Разночтение

Стих. 16. И слышен рожок почтальона.

Дата: 3 июля 1935—14 декабря 1936.

№ 315. На мертвых ресницах Исакий замерз. Впервые в «Воздушных Путях», II, 1961. У нас — по рук.

№ 316. Римских ночей полновесные слитки. Публикуется впервые по Перв. Вор. тетр., стр. 115. Разночтение:

Стих 4. Есть многоденная жизнь вне закона.
(Др. рук.)

№ 317. **Нет, не мигрень.** Публикуется впервые по рук.

№ 318. **Исполню дымчатый обряд.** Публикуется впервые по Перв. Вор тетр., стр. 116.

№ 319. **Бежит волна, волной волне хребет ломая.** Публикуется впервые по Перв. Вор. тетр.

№ 320. **Не мучнистой бабочкою белой.** Впервые (только первая строфа) у И. Эренбурга — Люди, годы, жизнь, «Новый Мир», 1961, кн. 1, стр. 144, и отд. книга, стр. 503. Полностью публикуется впервые по Перв. Вор. тетр., стр. 118. Разночтение:

Стих 6. Сознающее свою длину.
(Перв. Вор. тетр.).

Опубликовано затем в журн. «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 69 с посвящением «Памяти В. Куйбышева» (посвящение в квадратных скобках, следовательно, в рукописи отсутствует...). Стих 6 — как и в нашей редакции. Разночтение в заключительном стихе:

Продолженье зорких тех двоих.

И. Эренбург очень осторожно, процитировав первую строфу, замечает: «Его стихи остались, я их слышу, слышат их другие; мы идем по улице, на которой играют дети. Вероятно, это и есть то, что в торжественные минуты мы именуем 'бессмертием'» (Люди, годы, жизнь, стр. 503). Но как это не вяжется со всем смыслом этого стихотворения, в частности, с последними его двумя строчками! Никакого метампсихоза, а слияние с душой страны-земли: «Люди, люди, люди — кто же будет продолжать за них?»

№ 321. **Улыбнись, ягненок гневный.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 135, с исправл. по рук А, стр. 155. Разночтение:

Стих 6. Складки бурного покроя на коленях разлиты
(Втор. Вор. тетр.).

Весьма вероятно, что имеется в виду находившаяся в Эрмитаже, но проданная около 1936 года (в

коллекции Меллона с 1937 г.) в Америку «Мадонна Альба» Рафаэля. Распродажа лучших картин Эрмитажа советским правительством в 1935—1937 гг. воспринималась в те годы русской интеллигенцией, как национальный позор и национальное бедствие. Отсюда, может быть, и «улыбнись ягненок г н е в н ы й» (Агнец — младенец Христос); он гневается на «воздушный р а з б о й», хотя к картине и прикоснутся после ее продажи «уста вселенной», но картина-то «уже н е т а»... Мы отнюдь не настаиваем, что в этом смысл стихотворения: нет, но непосредственный п о в о д для его написания, может быть, именно таков.

№ 322. **Из-за домов, из-за лесов.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 119. Затем опубликовано в статье Маргвелашвили — «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 85.

№ 323. **Подивлюсь на мир еще немного.** Впервые, в качестве последней строфы стихотворения «Детский рот жует свою мякину» (стих. наш. собр. № 325) — «Возд. Пути», альм. II, 1961, стр. 44. У нас — с исправлением по рукописи.

№ 324. **Мой щегол, я голову закину.** Впервые — «Москва», 1964, кн. 8. Разночтения:

Стих 8. До чего, щегол, ты щегловит?
„ 11. В обе стороны он в оба смотрит — в оба
(8 — рук.; 11 — Втор. Вор. тетр.).

Целиком приводится в статье Маргвелашвили — «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 95.

№ 325. **Детский рот жует свою мякину.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. См примеч. к стих. № 323.

№ 326. **Вариант.** Впервые публикуется по рук. в этом 2-м издании.

№ 327. **Когда щегол в воздушной сдобе.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 122. Опубликовано затем в статье Маргвелашвили — «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 95.

№ 328. **Не у меня, не у тебя — у них.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 125. Опубликовано в журнале «Подъем», 1966, № 1.

№ 329. **Нынче день какой-то желторотый.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 123.

№ 330. **Внутри горы бездействует кумир.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас с исправлениями по Втор. Вор. тетр., стр. 124 и рук.

№ 331. **Внутри горы бездействует кумир.** Вариант предыдущего. Публикуется впервые по рук.

№ 332. **Я в сердце века — путь неясен,** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 126.

Стих 2. А время удаляет цель — (Рук. В).

№ 333. **А мастер пушечного цеха.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 127.

№ 334. **Пластинкой тоненькой жиллета.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 128—129. Опубликовано затем в журн. «Простор», 1966, № 11, стр. 110 (публикация Н. Я. Мандельштам). Разночтение (в журн.):

Стих 19. А тополь как самолюбива!

В написанной, повидимому, несколькими годами раньше автобиографической «Четвертой прозе» (см. во 2-м томе наш. собр.) есть такое место, бросающее свет на образ «пластинки жиллета»: «Пластиночка бритвы жиллет с чуть зазубренным косеньким краем казалась мне одним из благороднейших изделий стальной промышленности. Хорошая бритва жиллет режет как трава-осока, гнется, а не ломается в руке — не то визитная карточка марсианина, не то записка от корректного черта с просверленной дырочкой в середине».

№ 335. **Сосновой рощицы закон.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 127, с исправл. по др. рук. Разночтение:

Стих 9. Виолу с арфой приучил

(Втор. Вор.. тетр.)

№ 336. **Как подарок запоздалый.** Впервые — «Москва», 1964, кн. 8.

Разночтение:

Стих 7. Перед всем безлесым кругом

(Втор. Вор. тетр.).

№ 337. **Оттого все неудачи.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961.

Поэт и литературовед Игорь Чиннов трактует это стихотворение, как политическую лирику:

«(Обратим внимание на выразительность этих щ).

Нет сомнений, что Мандельштама сильно занимала личность Сталина. Это выразилось не только в том, что вскоре он осмелился написать эпиграмму на диктатора. Есть серьезные основания думать, что строки об 'огненных щах' относятся к сталинскому террору. 'Говорящие камни' — это сотрудники Сталина, такие, как Молотов, прозванный 'каменный зад'. 'Камни трогает клещами': трогает при рукопожатии пальцы этих людей своими 'клещами'. 'Щиплет золото гвоздей' — берет их за позолоченные пуговицы мундиров. Дальше говорится:

У него в покоях спящих
Кот живет не для игры:
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих
Шароватых искр пиры...»

(Поздний Мандельштам. «Новый Журнал», № 88, 1967, стр. 127).

№ 338. **Эта область в темноводье.** Впервые, без первой строфы, начиная со строки «Я кружил в полях совхозных», в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961; полностью впервые — «Москва», 1964, кн. 8, Разночтения:

Стих 21. Трудодень земли знакомой
„ 26. Степь безумная гола:
„ 26. Степь беззимняя легла:

(21 — В. Пути, рук.; 26 «...безумная...» — В. Пути, рук.; 26 «...беззимняя...» — рук.)

Нами публикуется по Втор. Вор. тетр., стр. 130—131.

№ 339. **Шло цепочкой в темноводье.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 133.

№ 340. **Вехи дальнего обоза.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. Затем — «Москва», 1964, кн. 8.

№ 341. **Уходят вдаль людских голов бугры.** Публикуется по рукописи впервые в этом 2-м нашем издании.

№ 342. **Рождение улыбки.** Публикуется впервые по рук., с исправлениями по Втор. Вор. тетр., стр. 120. Во Втор. Вор. тетр. только первые 2 строфы; в др. списке все 4 строфы.

Стих. 5. Ему непобедимо хорошо,
„ 12. Под легкий наигрыш хвалы и удивленья.

(2 — явная описка в рук. В; 5 — рук. А, В; 12 — вариант в рук. А).

№ 343. **Я около Кольцова.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 139.

№ 344. **Когда в ветвях понурых.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 138, с исправл. по другим спискам.

№ 345. **Твой зрачок в небесной корке.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 137.

Затем опубликовано в журн. «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 69—70.

№ 346. **Дрожжи мира дорогие.** Публикуется впервые по рук. Разночтение:

Стих 11. Погостят еще немного (Др. рук.).

№ 347. **Дрожжи мира дорогие.** Вариант. Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 143.

№ 348. **Влез бесенок в мокрой шерстке.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 144.

№ 349. **В лицо морозу я гляжу один.** Впервые в «Вестнике Русского Студенческого Христианского Движения», № 64, янв. 1962.

№ 350. **Что делать нам с убитостью равнин.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. Разночтение («В. Пути»):

Стих 8. Пространств несозданных Иуда?

№ 351. **О, этот медленный, одышливый простор.** Впервые в «Воздушных Путях», II, 1961, и, почти одновременно, в статье Ю. Терапиано — «Мандельштам», стр. 121.

№ 352. **Не сравнивай: живущий несравним.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961; затем в

Итальянском сборнике, стр. 613. У нас по Втор. Вор. тетр, стр. 145. Опубликовано и в журн. «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 70.

№ 353. **Как женственное серебро горит.** Публикуется впервые по рук.

№ 354. **Еще не умер я, еще я не один.** Впервые в «Воздушных Путях, альм. II, Нью-Йорк, 1961, и, почти одновременно, в той же редакции, в статье Ю. Терапиано — «Мандельштам», стр. 120. У нас по рукописи. Затем полностью приведено в статье Маргвелашвили в «Литературной Грузии», 1967, № 1, стр. 85.

№ 355. **Я нынче в паутине световой.** Впервые— «Москва», 1964, кн. 8. Разночтения:

Стих 1. Я ныне в паутине световой —
„ 11. И светлорусою каштановой волной
„ 12. Его звучаньем умывался.

(1 — рук.; 11 — Втор. Вор. тетр.; 12 — рук.).

Во Втор. Вор. тетр. дата стихотворения — февраль 1937.

Затем опубликовано: «Возд. Пути», альм. IV, 1965, стр. 162. Разночтение:

Стих 1. Я ныне в паутине световой —

Первая и третья строфы в статье Маргвелашвили, «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 80. Разночтение:

Стих 12. Его звучаньем — умывался.

№ 356. **Где связанный и пригвожденный стон.** Впервые в «Воздушных Путях», II, 1961.

№ 357. **Как землю где-нибудь небесный камень будит.** Впервые в «Воздушных Путях», II, 1961. У нас — по рукописи.

№ 358. **Слышу, слышу ранний лед.** Впервые в Итальянском сборнике, стр. 611—612. У нас — с исправлениями по Втор. Вор. тетр., стр. 150. Разночтения:

Стих 5. С черствых лестниц, площадей
„ 6. С узловатыми дворцами
„ 7. Круп Флоренции своей

(5 — Втор. Вор. тетр.; 6 — вариант в рук. В и Б; 7 — Итальянский сборн., рук. А, В).

В рук. В дата — 22 января 1937.

№ 359. **Люблю морозное дыханье.** Впервые опубликовано в «Вестнике Русского Студенческого Христианского Движения», Париж—Нью-Йорк, № 64, янв. 1962. У нас по Втор. Вор. тетр., стр. 147, с исправлениями по другим спискам.

№ 360. **Куда мне деться в этом январе.** Впервые в «Воздушных Путях», II, 1961; 2-я половина стих. почти одновременно, в статье Ю. Терапиано — «Мандельштам», стр. 122. У нас с исправлениями по Втор. Вор. тетр., стр. 149. Затем опубликовано в статье Маргвелашвили в «Литературной Грузии», 1967, № 1, стр. 84—85.

№ 361. **Средь народного шума и спеха.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас с исправлениями по Втор. Вор. тетр., стр. 153—154. Разночтения («В. Пути»):

Стих 2. На вокзалах и пристанях
„ 6. А потом куда хочешь влеки:

Затем опубликовано в «Литературной Грузии», 1967, № 1, стр. 70. Разночтение:

Стих 1. Средь народного шума и смеха,

«Но 'большеветь' не всякому дано. За месяц до этого было написано стихотворение, где говорится что-то не очень внятно о невольниках, рисовых полях и Красной площади, где 'земля всего круглей'; но разве с большевением совместима его первая строчка: 'Да, я лежу в земле, губами шевеля...' Что же касается других попыток в этом направлении, то самые решительные произведены были уже в Воронеже и едва ли не для того, чтобы вырваться из Воронежа. Но какие слабые это были, с точки зрения целесообразности, попытки! Тогдашний кремлевский самодержец, даже если дошли до него 'покаянные' стихи ('Средь народного шума и спеха'), ничего в них, разумеется, не понял: до Демьяна Бедного им было еще очень далеко...» (В. Вейдле. О посл. стихах Манд., стр. 80—81).

№ 362. **Стихи о неизвестном солдате.** Публикуются впервые по рукописи. Затем опубликовано в «Литера-

турной Грузии», 1967, № 1, стр. 71—72. Разночтения (в журн.):

(1) Стих 14. Убивать, голодать, холодать,

(4) „ 6. Протоптали тропу в пустоте.

„ 10. Небо крупных окопных смертей,

(7) „ 17. Слышишь, мачеха звездного табора —

В третьем разделе стихов 4-я (последняя) строфа в одном из списков стихотворения вычеркнута автором («В глубине черно-мраморной устрицы...»).

№ 363. **Еще он помнит башмаков износ.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 155. Затем опубликовано в «Литературной Грузии», 1967, № 1, стр. 70. «Давид-гора» — в Тбилиси. «Это точная проекция лица и души Тбилиси 1930 года. И этот сон тоже оказался очень похожим на действительность. Его реальность может подтвердить другой поэт, впервые попавший в Грузию весной следующего года и много лет спустя воскресивший его в воспоминаниях: 'Тогда Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным откровением. Все было ново, все удивляло. В глубине всех уличных пролетов Тифлиса нависшие темные каменные громады. Вынесенная из дворов на улицы жизнь беднейшего населения, более смелая, менее прячущаяся, чем на севере, яркая, откровенная. Полная мистики и мессианизма символика народных преданий, располагающая к жизни воображением и... делающая каждого поэтом... Благоустроенные уголки Тифлиса... Гнутые в виде корзин и лир оконные решетки бельэтажей, красивые закоулки. Преследующая по пятам и везде настигающая дробь бубна, отбивающего ритм лезгинки. Наступление южного городского вечера, полного звезд и запахов из садов...'» (Маргвелашвили, стр. 93. Цитата из «Автобиографического очерка» Бориса Пастернака: Сочинения, т. 2, изд. Мичиганского ун-та, Анн-Арбор, 1961, стр. 49).

№ 364. **Как светотени мученик Рембрандт.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 156. Затем опубликовано в журн. «Подъем», 1966, № 1.

№ 365. **Пою, пока гортань сыра, душа суха.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас с исправл. по Втор. Вор. тетр., стр. 159. Затем опубликовано: «Простор», 1965, № 4; «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 70. В журнале «Простор». Разночтения:

Стих 4. Здорово ли в груди Колхиды колыханье?
„ 5: И грудь стесняется без языка тиха —
„ 9: Утеха для друзей, а для врагов смола . . .
„ 10: Песнь бескорыстная, растущая из мха.

№ 366. **Разрывы круглых бухт.** Впервые в «Воздушных Путях», II, 1961. В рук. дата — 4 февраля 1937. Затем опубликовано в журн. «Простор», 1965, № 4.

№ 367. **Вооруженный зреньем узких ос.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961, и, почти одновременно, в статье Ю. Терапиано — «Мандельштам», стр. 118. Затем опубликовано в журн. «Простор», 1965, № 4.

№ 368. **Были очи острее точимой косы.** Публикуется впервые по Втор. Вор. тетр., стр. 158.
по рук. А, стр. 89. Разночтения:

№ 369. **Как дерево и медь Фаворского полет.** Впервые в «Воздушных Путях», II, 1961. У нас с исправлениями по Втор. Вор. тетр., стр. 152.
Художник и график В. А. Фаворский — главным образом, гравер по дереву. См. примечание к стихотв. наш. собр. № 290.

№ 370. **Я в львиный ров и в крепость погружен.** Впервые в «Воздушных Путях», II, 1961. У нас с исправлениями по Втор. Вор. тетр., стр. 162.

№ 371. **Обороняет сон мою донскую сонь.** Публикуется впервые по рук. Б.

№ 372. **Если б меня наши враги взяли.** Публикуется впервые по Тр. Вор. тетр., стр. 164. Полностью опубликовано в статье Маргвелашвили в «Литературной Грузии», 1967, № 1, стр. 77.

№ 373. **Я прошу, как жалости и милости.** Первые 6 строк впервые у И. Эренбурга — Люди, годы, жизнь, «Нов. Мир», 1961, кн. 1, стр. 143; отдельн. издание,

стр. 499. У нас дополнено по Тр. Вор. тетр., стр. 166. При этом в первом издании этого тома (как и в первой публикации этого стихотворения в «Возд. Путях», альм. II, 1961, стр. 16) это стихотворение опубликовано без второй его части («Там, где с розой на груди»...). В первом издании этого тома эта вторая часть, на основе имевшихся у нас списков, была принята за самостоятельное стихотворение. Разночтения:

Стих 1. Я молю, как жалости и милости,
„ 4. Виноградарей в их разговорах марлевых
„ 13. В океанском котелке, с растерянною точностью

(1, 13 — В. Пути, рук.; 4 — Тр. Вор. тетр., — описка).

Позже опубликовано в журн. «Простор», 1965, № 4. Разночтение:

Стих 7: А фиалка и в тюрьме — с ума сойти в безбрежности! —

«Он хорошо знал французскую, итальянскую, немецкую поэзию; понимал страны, где пробыл недолго. 'Я прошу, как жалости и милости...' Я много лет прожил во Франции, лучше, точнее этого не скажешь...» (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь, стр. 499). « С чем же прощается поэт? С Западом, и тем самым со своим прошлым, потому что вся поэзия его всегда была теснейшим образом связана с западными темами, образцами, творениями, славными именами, со всем тем западным, что перестало быть чуждым России, сделалось частью ее собственного достояния, ее собственной духовной жизни, в результате петербургских двух веков ее истории. За две недели до ... прощания с Римом, он там же в Воронеже прощался с Францией: 'Я молю, как жалости и милости...' А раньше, вероятно за несколько лет до того, прощался со всей западной жизнью сразу, и со всем своим в ней, хотя бы воображаемым, участием...» (В. Вейдле. О посл. стихах Манд., стр. 81). Последние четыре строки стихотворения

относятся к фильму Чарли Чаплина "Modern Times". См также стих. наш. собр. № 386, посвященное Чарли Чаплину.

№ 374. Я видел озеро, стоящее отвесно. Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас по Тр. Вор. тетр., Разночтения:

Стих 3. Играли рыбы, дом построив красный,
„ 6. Недуги — недруги других нескрытых дуг,

(3 — В. Пути, — явная описка; 6 — рук).

№ 375. На доске малиновой, червонной. Публикуется впервые по Тр. Вор. тетр., стр. 161, с исправлениями по рук. А, стр. 92. Разночтения:

Стих 2. На кону горы Крутопреклонной,
„ 3. Втридорога снегом напоенный,
„ 4. Высоко занесся сонный, сонный
„ 5. Полуголод, полуберег конный,
„ 8. И перегоревший сахар жженный.
„ 14. Срежь рисунок мой, в дорогу крепкую влюбленный,

(2 — Тр. Вор. тетр. — описка; 3, 14 — рук., 4 — рук.; 5 — рук. — явная описка; 8 — Тр. Вор. тетр.). Опубликовано позднее в «Возд. Путях», альм. IV, 1965, стр. 165. Разночтение:

Стих 4: Высоко занесся сонный, сонный

Затем опубликовано (в той же редакции, что и у нас) в журн. «Подъем», 1966, № 1.

№ 376. Я скажу это начерно — шепотом. Впервые в «Воздушных Путях», II, 1961. У нас — с исправлениями по Тр. Вор. тетр., стр. 174. Разночтение:

Стих 1. Я скажу тебе начерно — шепотом,
(В. Пути, рук.).

Опубликовано в журн. «Подъем», 1966, № 1, и в статье Маргвелашвили в «Литературной Грузии», 1967, № 1, стр. 80. «'Шепот' и 'лепет', столь часто упоминаемые в стихах Мандельштама, а еще чаще слышные в них и, как правило, 'батюшковским' вздохом облегчения звучащие вслед за сложными циклопическими стихообразованиями, вслед зе девятым бушующим валом стиха, когда 'бежит волна волной волне хребет ломая, кидаясь на луну в не-

вольничьей тоске...', — даже этот шепот и лепет, это вдохновенное и, казалось бы, вполне самопроизвольное и непреднамеренное поэтическое бормотание и почти шаманское стиходейство у Мандельштама и впрямь достигаются невидимыми нам 'пóтом и опытом'. Говоря его же словами, 'он опыт из лепета лепит и лепет из опыта пьет.' Безотчетная игра звездного неба и жизнью и поэзией отражается лишь как итог и венец терпеливого труда и расчетливого созиданья: 'Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда...'». (Маргвелашвили, стр. 80).

№ 377. Тайная вечеря. Публикуется впервые по Тр. Вор. тетр., стр. 177. Почти одновременно с нашей публикацией в первом издании (1964) этого тома, оно было опубликовано в «Вестнике Русского Студенческого Христианского Движения», Париж—Нью-Йорк, № 72—73, 1964, стр. 62. Разночтение, вернее, опечатка в 1 строке:

Небо вечера в стену влюбилось,

№ 378. Заблудился я в небе... Что делать. Публикуется впервые по Тр. Вор. тетр., стр. 178. Разночтение:

Стих 3. Легче было вам, дантовских девять
(Рук.).

Опубликовано затем в журн. «Простор», 1965, № 4. Кроме последней строфы — в статье Маргвелашвили — «Литературная Грузия», 1967, № 1, стр. 95.

№ 379. Заблудился я в небе... Что делать. Вариант предыдущего. Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас по Тр. Вор. тетр., стр. 179, с исправлениями по другим спискам. Разночтения:

Стих 3. Легче было вам, дантовских девять
„ 6. Если я не вчерашний, не здешний,
„ 12. Голубятни, черноты, скворешни,
„ 12. Голубятни, скворешни, прорехи
„ 14. Лед весенний, лед внешний, лед вешний,

(3 — рук.; 6, 12 «... черноты, ...» — В. Пути, рук.;

«... прорехи»,; 14 «... внешний, ...» — В. Пути, рук.).

№ 380. Может быть, это точка безумия. Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас с исправлениями по Тр. Вор. тетр., стр. 176, и рук. Разночтения:

Стих 6. Добросовестный свет-паучок,
„ 10. Направляемы тихим лучом,
„ 17. То, что я говорю, мне прочти,

(6, 10, 17 — В. Пути, рук.).

Затем опубликовано в «Литературной Грузии» 1967, № 1, стр. 72 (в нашей редакции).

№ 381. Рим. Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961; затем в Итальянском сборнике, стр. 613—614. У нас по Тр. Вор. тетр., стр. 167—168, и рук. Разночтения:

Стих 7. Древность легкая, летняя, пагубная,
„ 7. Древность легкая, летняя, наглая,
„ 8. С жадным взглядом и плоской ступней
„ 12. В барабанном наросте домов,
„ 17. Итальянские чернорубашечники,
„ 22. Молодой легкоплечий Давид,
„ 31. И не для искалеченных ног,
„ 34. И открыты ворота для Ирода,

(7 «... пагубная,», 22, 31 — В. Пути, рук.; 7 «... наглая,» — Итал. сборн., рук; 8, 34 — В. Пути, Итал. сборн., рук.; 12 — В. Пути, Итал. сборн., рук.; 17 — В. Пути, рук.).

Опубликовано затем в «Литературной Грузии», 1967, № 1, стр. 72.

«Оно опять наводит на мысль: 'А не бывал ли все-таки Мандельштам в Риме?' Но с конкретными римскими мотивами (лягушки фонтанов, мост Ангела, желтая вода Тибра, лестницы, статуи Микель-Анджело) в нем переплетается политическая тема обличения Муссолини и его чернорубашечников» (Г. Струве. Итальянский сборник, стр. 613).

№ 382. Чтоб приятель и ветра и капель. Полностью публикуется в этом втором издании 1-го тома впервые

по рук. 2 и 5 строфы опубликованы впервые в «Мостах», Мюнхен, № 10, 1963, стр. 159, и в первом издании этого тома. Разночтение:

Стих 17. Ладил с готикой, жил озоруючи

№ 383. **Кувшин.** Публикуется впервые по Тр. Вор. тетр., стр. 180, с восстановлением названия по рук., стр. 159. Опубликовано в «Литературной Грузии», 1967, № 1, стр. 73 (в нашей редакции).

№ 384. **О, как же я хочу..** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. У нас — по рукописи. Затем опубликовано в «Литературной Грузии», 1967, № 1, стр. 72 — в нашей редакции.

№ 385. **Гончарами велик остров синий.** Публикуется впервые по Тр. Вор. тетр., стр. 183.

№ 386. **Чарли Чаплин.** Публикуется впервые по рукописи.

№ 387. **Флейты греческой тэта и йота.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961. Разночтения:

Стих 13. Жестким шепотом честолюбивым,
„ 14. Вспоминающих шепотом губ
„ 20. Морем стала мне мера моя.

(13 — В. Пути, рук.; 14 — Тр. Вор. тетр.; 20 — рук.).

№ 388. **Я к губам подношу эту зелень.** Впервые в «Вестнике Русского Студенческого Христианского Движения», Париж—Нью-Йорк, № 64, янв. 1962. У нас по авторитетному списку с рукописи автора. Затем опубликовано в журн. «Подъем», 1966, № 1, (в нашей редакции 2-го изд. первого тома).

№ 389. **Клейкой клятвой пахнут почки.** Публикуется впервые по Тр. Вор. тетр., стр. 184—185. В нашем первом издании этого тома вторая половина этого стихотворения (начиная со строки: «Спросит гром своих знакомых») ошибочно была принята за отдельное стихотворение (на основании ряда списков). «Наташа» этого и других стихов Мандельштама — Н. Е. Штемпель, о которой говорилось ранее, в примеч. к стихам наш. собр. №№ 295, 296. Стихотворение опубликовано в журн. «Простор», 1965, № 4.

№ 390—392. Черновые наброски из Второй Воронежской Тетради. Публикуются впервые по рук.

«Наташа» — см. примеч. к стих. №№295, 296, 389.

ИТР — инженерно-технические работники; относительно более благополучный слой населения СССР.

№ 393. На меня нацелилась груша. Публикуется впервые по Тр. Вор. тетр., стр. 187. Опубликована затем в журнале «Подъем», 1966, № 1, стр. 94 (публикации по спискам — авторизованным — Н. Е. Штемпель).

№ 394. К пустой земле невольно припадая. Впервые опубликована только вторая строфа в «Воздушных Путях», альм. II, Нью-Йорк, 1961 (начиная со строки «Есть женщины сырой земле родные»). Полностью публикуется впервые в наш. собр. — по Тр. Вор. тетр., стр. 186, с исправлениями по другим спискам. Опубликовано в «Литературной Грузии», 1967, № 1, стр. 73. Разночтения:

Стих 14. Сопровождать воскресших и впервые
„ 15. Приветствовать умерших — их призванье.

№ 395. Как по улицам Киева-Вия. Вторая и третья строфы опубликованы впервые у И. Эренбурга — Люди, годы, жизнь. «Новый Мир», 1961, кн. 1, стр. 141—142; и отдельн. книгой, стр. 496. Впервые публикуется полностью в наш. собр. по Тр. Вор. тетр., стр. 189. Опубликовано затем в журн. «Простор», 1965, № 4 (в нашей редакции).

«...Видел я его в тот день (1919 г.), когда Красная Армия оставляла Киев. (Потом он об этом рассказал: 'Не гадают цыганочки кралям...'). Вместе с ним пережили ночь погрома» (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь, стр. 496). И по времени написания это, может быть, последнее из известных стихотворений поэта.

КНИГИ СТИХОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

№№ 396—405. **Примус.** Опубликованы в книге: О. Мандельштам. Примус. Детские стихотворения. Рисунки М. Добужинского. Изд. «Время», Ленинград, 1925. На обороте титульного листа-обложки заставка М. В. Добужинского с датой: 1924 — и посвящением: "A mes petites amies Grethe et Rutti".

№ 406. **Два трамвая.** Опубликованы в книге: О. Мандельштам. 2 трамвая. Рисунки Б. Эдера, ГИЗ, Ленинград, 1925.

№№ 407—414. Стихи опубликованы в книжке: О. Мандельштам. Шары. Рисунки Н. Лапшина. ГИЗ, Ленинград, 1926.

№ 415. **Кухня.** Опубликовано в книжке: О. Мандельштам. Кухня. Стихи для детей. Рисунки В. Изенберга, изд. «Радуга», Ленинград, 1926.

ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

№№ 416—418. **Из неизвестного поэта Каюса Стультициуса.** Впервые опубликованы в «Воздушных Путях», альм. III, Нью-Йорк, 1963, стр. 24. «Григорий Семенович Рабинович, ныне здравствующий в Аргентине, в молодости, в Петербурге, дружил с Осипом Эмильевичем Мандельштамом. Он сообщает следующее: в декабре 1911 г. Мандельштам явился в 'Бродячую Собаку' и сказал экспромтом: 'Господа, я нашел за границей, в Италии, пергаменты неизвестного поэта Кайюса Стультициуса и перевел их; они отличаются закругленной античной глупостью; вот они: — («Воздушные Пути», III, 1963, стр. 24). Стих. наш. собр. № 418 опубликовано также у И. Одоевцевой — На бер. Невы, 72, стр. 66. Разночтение:

Стих 1. — Ливия, где ты была? — Я лежала в объятьях Морфея.

«Все события нашей жизни сейчас же воспеваются в стихах, как воспевались и события прежних лет.

Существовала и особая разновидность их — 'Античная глупость'...» (И. Одоевцева. На бер. Невы, 72, стр. 66).

№ 419. И глагольных окончаний колокол. Впервые во «Встрече», сборн. 2, Париж, 1945, в статье К. Мочульского «О. Э. Мандельштам»: «В 1912 г. Осип Эмильевич поступил на историко-филологический факультет Петербургского Университета. Ему нужно было сдать экзамен по греческому языку, и я предложил ему свою помощь. Он приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывавшимися ему тайнами греческой грамматики.... Когда он узнал, что причастие прошедшего времени от глагола 'пайдево' (воспитывать) звучит 'пепайдевкос', он задохнулся от восторга и в этот день не мог больше заниматься. На следующий урок он пришел с виноватой улыбкой и сказал: 'Я ничего не приготовил, но написал стихи'... Мне вспомнились две строфы: —»

№ 420. Ах! Матовый ангел на льду голубом. Сообщено В. В. Вейдле.

№ 421. В девятьсот тринадцатом, как яблоко румян. Впервые в «Воздушных Путях», альм. III, Нью-Йорк, 1963, стр. 25. «В ноябре-декабре 1913 г. Осип Эмильевич поссорился с родителями и поехал гостить в санаторию моего отца, доктора Рабиновича, в Мустамяки. Вернувшись, посетил меня: 'Гриша, я написал стихи': — « (Воздушные Пути, III, 1963, стр. 25).

№ 422. Строки Мандельштама из коллективного послания А. А. Блоку. В книге: В. Пяст. Встречи. Москва, 1929, стр. 257. Коллективное послание Блоку было написано, как говорит Пяст, «по случаю первых по времени выборов 'короля поэтов'», имевших место в ресторане «Вена» в Петербурге. В «выборах» принимали участие, кроме самого Пяста, супруги Кузьмины-Караваевы (поэтесса, член Цеха Поэтов, Е. Д. Кузьмина-Караваева, урожд. Пиленко, впоследствии в замужестве Скобцова, а потом, в монашестве, мать Мария, пользовалась в эмиграции, в Париже,

большой известностью благодаря своей религиозно-церковной и благотворительной деятельности; погибла в газовой камере у немцев во время оккупации Франции; о ее месте в зарубежной русской литературе — ею в эмиграции было выпущено несколько сборников стихов — см. в книге: Г. Струве. Русская литература в изгнании. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1956; ее тогдашний муж, юрист, к литературе прямого отношения не имевший, стал католическим священником восточного обряда и тоже оказался в эмиграции), Василий Васильевич Гиппиус (1890—1942; псевдоним — Вас. Галахов; известный поэт и литературовед, автор интересной книги о Гоголе) и Мандельштам. Пяст пишет: «После того как в первый раз голоса разделились (были поданы два за Федора Сологуба, два за Блока, а пятый — за одну поэтессу), назначили перевыборы. Пятый присоединил свой голос к сторонникам Блока, которому и было сооружено следующее письмо:

ДИАЛОГ. МЫ И БЛОК

Мы. После Цеха,
После Академии
Мы без смеха
Раздавали премии.

Блок. Вот потеха!
---- Избран вами всеми я!

А вот после такого не совсем складного вступления шли четыре грациозные строчки, в которых по почерку я узнал, проглядывая не так давно сохраненную Блоком в тщательном порядке корреспонденцию, — Мандельштама в качестве автора их — («Встречи», стр. 256). Кто была предложенная «пятым» из голосовавших поэтесса и кто за кого голосовал, Пяст не раскрывает. Более, чем вероятно, что поэтессой, предложенной в «королевы поэтов», была Анна Андреевна Ахматова, и что выдвинул ее Мандельштам.

№ 423. **Не унывай.** В книге: Георгий Иванов. Петербургские зимы. Париж, 1928, стр. 118: «...я встретил его в

'Бродячей Собаке'. Давясь от смеха, он читал кому-то четверостишие, только что им сочиненное: — »

№ 424. **Вуйажор арбуз украл.** В книге: В. Пяст. Встречи. Москва, 1929, стр. 291: «...еще в 1915 я написал поэмку, в которую вставил сочиненную мною, в содружестве с Б. С. Мосоловым, 'Жору Петербургскую', иными — не удержусь от хвастовства, — величаемую 'Жорой величайшей'. Форма 'жоры', как равно и 'хаки', как и 'беранаут' — все родилось в 'Собаке' ... Конечно неистощимый Мандельштам был автором и изобрел ее ...»

№ 425. **Отрывки из коллективно написанной пьесы «Кофейня разбитых сердец».** Публикуются впервые. Сообщены нам С. Н. Андрониковой-Гальперн, которой редакторы приносят за сообщение благодарность.

№ 426. **Это есть художник Альтман.** В статье А[дамовича Г.] «По поводу Собр. соч. О. Мандельштама», «Опыты», Нью-Йорк, кн. 6, 1956, стр. 93—94: «К шуточным стихам могу добавить восьмистишие, которое помнят, вероятно, все друзья и приятели Мандельштама. Посвящено оно художнику Натану Альтману, в тогдашних петербургских богемно-литературных кружках очень популярному: — Мандельштам читал эти стихи сотни раз, давясь от смеха, но с напускной важностью и с сильным немецким акцентом: 'ошэн стари шэловэк ...'» Н. И. Альтман (р. 1889) — известный художник, автор знаменитого портрета Анны Ахматовой, использовавший принципы конструктивизма и кубизма как некий орнаментальный соус к исконному традиционному реализму. «Левизна Альтмана есть именно перец на традиционности его искусства. Альтман всегда держится на линии з о л о т о г о разреза движения: все у него очень современно — но не слишком современно, очень крайне — но не слишком крайне; это вполне левые вещи, выставленные для вполне передового зрителя, но ... не в 'салоне отверженных', а в музее» (Абрам Эфрос. Портрет Натана Альтмана. Изд. «Шиповник», Москва, 1922, стр. 50).

Мандельштам задолго до Эфроса понял сущность альтмановской «левизны»: «Он художник старой школы...»

№ 427. **Газелла.** У Эренбурга — Люди, годы, жизнь. «Новый Мир», 1961, кн. 1, стр. 142, и отдельн. издание — стр. 497: «В самые трагические минуты он смешил нас газеллами...»

№ 428. **Ассириологу и поэту Шилейко.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. III, Нью-Йорк, 1963, стр. 24—25, в сноске. Владимир Казимирович Шилейко (1891—1930) — ассириолог, специалист по культурам древней Передней Азии, переводчик, поэт. Профессор Ленинградского университета. Второй муж А. А. Ахматовой. Жил в 20-х гг. на Четвертой Рождественской улице в Петербурге.

«Этот Мандельштам был щедрым сотрудником, если не соавтором 'Антологии 'Античной Глупости', которую члены Цеха Поэтов сочиняли (почти все, кроме меня) за ужином:

Лесбия, где ты была...
Сын Леонида был скуп...
Странник, откуда идешь? Я был в гостях у Шилейки.
Дивно живет человек, за обедом кушает гуся,
Кнопки коснется рукой, сам зажигается свет.
Если такие живут на Четвертой Рождественской люди,
Странник, ответствуй, молю, кто же живет на Восьмой?..

Помнится, это работа Осипа. Зенкевич того же мнения. Эпиграмма на Осипа:

Пепел на левом плече и молчи —
Ужас друзей — Златозуб».

(Ахматова, стр. 168).

№ 429. **Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей принимая.** В «Воздушных Путях», III, 1963, стр. 25, в сноске. Михаил Леонидович Лозинский (1886—1955) — поэт, переводчик, участник Цеха Поэтов; переводил французских парнасцев, в послереволюционные годы прославился переводами Данте, Шекспи-

ра, Лопе де Вега и др. Всеволод Рождественский, вспоминая поэтическое собрание акмеистического Цеха Поэтов в аудитории проф. Д. К. Петрова, на романо-германском отделении Петербургского университета, рассказывает, как некая тщеславная надменность или непоседливость и юркость ряда участников Цеха, — все больше молодых людей, — «уравновешивалась соседством с монументальной спокойной фигурой М. Л. Лозинского, добродушно поглядывавшего поверх пенсне на все еще шумную аудиторию. Это были члены поэтической корпорации, аккуратно выпускавшие тонкие стихотворные тетради, законодатели литературного вкуса, уже широко известные в эстетских кружках и салонах. Некоторая надменность позы, подчеркнутая корректность и равнодушие к окружающим были для них типичны. Держались они очень дружно, всегда обособленным кружком, и между ними обнаруживалось таинственное, почти масонское согласие» (Страницы жизни, стр. 132—133) «Соль этого двустишья заключалась в том, что Лозинский, к которому оно относилось, славился гостеприимством» (И. Одоевцева. На бер. Невы, 72, стр. 66).

№ 430. Сын Леонида был скуп, и когда он с гостем прощался. В книге: В. Пяст. Встречи. Москва, 1929, стр. 261. Всегда остро нуждавшийся, Мандельштам часто прибегал к мелким займам. «В зиму 1917—18 года в Москве Цетлины собирали у себя поэтов, кормили, поили; время было трудное... Вот только Осип Эмильевич Мандельштам несколько озадачивал хозяина: приходя, он говорил: 'Простите, я забыл дома бумажник, а у подъезда ждет извозчик'...» (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь, стр. 187—188).

№ 431. Ванну, хозяин, прими. В кн.: В. Пяст. Встречи. Москва, 1929, стр. 261: «...При приходе гостя, в квартире сына Леонида были разверсты широкошумные краны. В назидание ему говорилось: —»

№№ 432—433. В альбом спекулянтке Розе. Опубликованы впервые у И. Одоевцевой — На берегах Невы. «Но-

вый Журнал», Нью-Йорк, кн. 71, 1963, стр. 34. У нас — по рук. Д. Разночтение у Одоевцевой в эпиграмме I:

Стих 2. Помни, что двадцать одну мог тебе задолжать я.

Вторую эпиграмму И. В. Одоевцева приписывает не Мандельштаму, а Г. В. Иванову. «В нашем издательстве... («Всемирная Литература». — Ред.) существовал свой 'хозяйственник', занимавшийся мелкими бытовыми вопросами — статьей, для полуголодных 1919—1920 годов немаловажной. Это место занимала многим памятная Роза Васильевна, существо неопределенного возраста и необъятных размеров. Закутанная в добрый десяток платков, завязанных толстым узлом на пояснице, седая и краснощекая, торжественно восседала она за небольшим столиком, на котором были соблазнительно разложены папиросы, мелкая галантерея и немудреные сласти той поры. В своей частной торговой политике она была тверда и непреклонна, произвольно и неожиданно вздувая при этом и без того немалые цены. Она же выполняла по ею же самой установленной таксе мелкие поручения и выдавала небольшие ссуды, как правило — только за неделю до общеиздательского выплатного дня. ... Она проявляла своеобразное уважение к литераторам и литературе. На всех литературных вечерах ее неизменно можно было видеть в первом ряду, в шуршащем шелковом платье с огромной мопсообразной брошью на груди. Блаженное и бессмысленное выражение не сходило с ее лица... Эта Роза Васильевна упомянута Блоком в обширной 'оде' с чрезвычайно искусно проведенной монорифмой...:

Нет, клянусь, довольно Роза
Истощала кошелек!
Верь, безумный, он — не проза,
Свыше данный нам паек, —
Без него теперь и Поза
Прострелил бы свой висок,

Вялой прозой стала роза,
Соловьиный сад поблек...
Пропитанию угроза —
Уж железных нет дорог.
Даже (вследствие мороза?)
Прекращен трамвайный ток,
Ввоза, вывоза, подвоза —
Ни на юг, ни на восток...»

(Вс. Рождественский. Страницы жизни, стр. 227—228). «... Она завела альбом в черном кожаном переплете, куда заставляла всех своих клиентов-писателей написать ей 'какой-нибудь хорошенький стишок на память'. И все со смехом соглашались и превозносили Розу в стихах и в прозе. Роза благодарила и любезно объясняла: — «Ох и подумать страшно, сколько мой альбом будет стоить, когда вы все, с позволения сказать, перемрете. Я его завещаю своему внуку! ... Узнав, что Мандельштам, ее новый клиент, уже успевший набрать у нее в кредит и сахар, и варенье, — 'поэт стоющий', она протянула и ему свой альбом. И, должно быть, чтобы возбудить в нем благодарность, напомнила ему с кокетством: — 'Вы мне, господин Мандельштам, одиннадцать тысяч уже должны. Мне грустно, а я вас не тороплю. Напишите хорошенький стишок'. И Мандельштам, решительно обмакнув перо в чернильницу, не задумываясь написал: 'Если грустишь, что тебе задолжал я...' И подписался с несвойственным ему дерзко-улетающим росчерком. Роза, надев очки, с улыбкой нагнулась над альбомом, ...но вдруг побагровела, и грудь ее стала биться, как волны о берег... Она дрожащей от волнения рукой вырвала гнусную страницу и, скомкав, бросила ее в лицо Мандельштама с криком: — 'Отдайте мне мои деньги! Сейчас же, слышите, отдайте!' ... Одиннадцать тысяч в те времена были довольно ничтожная сумма...» (И. Одоевцева. На бер. Невы, стр. 33—34). См. также в кн.: К. Чуковский. Современники. Портреты и этюды. Изд. «Молодая Гвардия», серия «Жизнь замечательных людей», Мос-

ква, 1962, статья «Александр Блок», стр. 476—477.

№№ 434—435. Маргулису. Опубликованы в статье Н. Осипова — «Внутренняя эмиграция в СССР», «Грани», Лимбург, кн. 5, 1949, стр. 85, а также в кн.: Очерки большевизмоведения. Институт изучения СССР при НТС. Изд. «Посев», 1956, стр. 137—138: «У него была ненависть к типу преуспевающего советского дельца. Типичным дельцом был некий Маргулис, хорошо известный в литературном мире, сотрудник Наркомпроса и разных издательств ... Он посвятил ему множество четверостиший, знаменитых, не напечатанных и даже не записанных, 'маргулет'. Каждое из этих четверостиший, взятое отдельно, рисовало образ Маргулиса еле уловимыми намеками и имело вид безобидной эпиграммы. Например: 'Маргулис — он из Наркомпроса ...'. Т и г р — сокращенное название какого-то отдела в одном из обслуживаемых Маргулисом учреждений. Эфрос — видный коммунист в Наркомпросе, с которым Маргулис умел ладить. Или: — 'Старик Маргулис зачастую ...'. Безобидные четверостишия сочинялись Мандельштамом от случая к случаю с видом величайшей наивности. Но вместе они давали жуткий образ».

Стихотворения №№ 436—448 публикуются нами впервые. «Н а П о с т у» (Москва, 1923—1925), затем, под несколько измененным названием, «На Литературном Посту» (Москва, 1926—1932) — журнал наиболее ярко выраженной и воинствующей группировки советской коммунистической литературы — РАПП — Российской Ассоциации Пролетарских Писателей. По названию их органа их и именовали «напостовцами». Напостовцы были в большинстве своем крайне бездарны, писали невероятно скучно, но отличались предельной агрессивностью: травили даже М. Горького, А. Толстого и В. Маяковского, как «несозвучных» пролетарской коммунистической идеологии. И все-таки в 1937—1938 гг. большая часть «напостовцев» была уничтожена органами НКВД в качестве контрреволюционеров ...

Павел Николаевич Васильев (1910—1937), талантливый поэт, погибший в застенках ГПУ-НКВД. Выходец из семиреченского казачества, писал ярким народным сказовым языком. «Казак еврею подражал», — т. е. Исааку Эммануиловичу Бабелю (1886—1940).

В. Пяст — псевдоним поэта и переводчика Владимира Александровича Пестовского. Отсюда игра слов: «Пяст» «пестовал» и т. д.

Мария Сергеевна Петровых — см. примечание к стих. № 295.

«Пяста в Бруссоны возьми, Франс без халата сбежит». В 20-х гг. пользовалась популярностью книга воспоминаний об интимной жизни Анатоля Франса, написанная после смерти Франса его секретарем Бруссоном: «Анатоль Франс в туфлях и халате».

Георгий Аркадьевич Шенгели (1894—1956) — поэт, литературовед, переводчик, в частности, поэтов народов СССР.

Наташа — Н. Е. Штемпель, см. примеч. к стих. №№ 295 и 296.

№ 449. **Девочку в деве щадя.** Публикуется впервые по рук. Д. Пародирует пушкинские стихи:

Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила;

К ней на плечо преклонен, юноша вдруг задремал.

Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея,
И улыбалась ему, тихие слезы лия.

Одновременно пародируется известный анекдот о человеке, до глубокой старости затаившем мечту отомстить. Встретив, наконец, своего давнего обидчика, мститель размахнулся, чтобы дать ему пощечину, и умер.

Стихотворения №№ 450—457 публикуются в этом издании впервые.

«Поганый промысел его — продажа личного архива». В 1933—1938 гг., опасаясь обысков при арестах, ставших тогда обыденным явлением, русские

писатели старались продать свои личные архивы — творческие и эпистолярные — государственным литературным хранилищам: Пушкинскому дому в Ленинграде, рукописному отделению Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде же, Институту мировой литературы в Москве и т. д. Организатор и возглавитель литературного архива в Москве, старый большевик В. Д. Бонч-Бруевич, охотно скупал литературные личные архивы, но платил, как об этом пишут многие, невероятно скупо... В частности, свой архив продала и А. А. Ахматова, а большую часть архива просто сожгла, опасаясь ареста.

№ 458. **Кушает сено корова.** Публикуется впервые по письму Р. Н. Гринберга к Г. П. Струве. В письме этом Р. Н. Гринберг приводит выдержку из воспоминаний Г. С. Рабиновича: «Из серии анекдотов о графе, написанных Мандельштамом совместно с Г. В. Ивановым и мной: граф посетил вечер Игоря Северянина, пришел в восторг и написал следующие стихи: —»

№ 459. **Поэма об издательстве.** Публикуется полностью впервые (одновременно — во 2-м томе сочинений Гумилева). Частично опубликована в статье Ю. Офросимова — «О Гумилеве, Кузмине, Мандельштаме...», «Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 13 декабря 1953. Дополнена и исправлена по списку этой коллективной поэмы, восстановленной по памяти И. В. Одоевцевой и Г. В. Адамовичем — специально для нашего издания. Оба текста контаминированы Г. П. Струве. Разночтения:

Стих 4. Назывался он
„ 10. Фронтиспис очень любил
„ 15. А тут еще титул, концовка, шмутцтитул и титульный лист.
„ 16. Книгу за книгою Блох посылает в печать,
„ 17. Издал десяток и стал безнадежно скучать.
„ 18. Добужинский, Митрохин не радуют взора его,

„ 19. На Чехонина смотрит (конец строки по И. В. Одоевцевой и Г. В. Адамовичу; у Ю. В. Офросимова: ... и сердце как камень черно).

Стих 20. И шепнул ему дьявол, когда он ложился в постель:

„ 21. Яков Ноевич, есть еще Врубель, Рембрандт, Серов, Рафаель!..

„ 22—23 даны по списку И. В. Одоевцевой и Г. В. Адамовича; у Ю. В. Офросимова они только пересказаны.

„ 35. Нож вонзил в зад Кузмину,

„ 37. Выпил тот и упал на диван,

„ 40—44 у Ю. В. Офросимова этих строк нет.

„ 45. Ничто не сравнится отныне с фирмой моей! (Офросимов).

Яков Ноевич Блох — в 20-х годах владелец известного издательства «Петрополис», брат поэтессы Раисы Блох, погибшей во время войны вместе со своим мужем, молодым поэтом и ученым Михаилом Горлиным, в газовой камере гитлеровского кацета.

ПЕРЕВОДЫ И ПОДРАЖАНИЯ

Из раздела переводов нами исключены помещенные в 1-м издании переводы стихов Детлефа фон Лилиенкрона и «Диспута» Г. Гейне, подписанные переводчиком «И. Мандельштам» и очевидно принадлежащие не О. Э. Мандельштаму, а И. Б. Мандельштаму.

№ 460. **Расин. Начало «Федры».** Нами публикуется по кн. «Камень», изд. 3-е, ГИЗ, Москва—Петроград, 1923.

№ 461. **Сыновья Аймона.** Впервые опубликовано в «России», 1923, кн. 5, стр. 3, и, почти одновременно, в «Наших Днях», кн. 3, 1923. В заметке в хронике в кн. 7-й журн. «Россия», за 1923 г. сообщалось, между прочим, о том, что Мандельштам готовит к печати, для издательства «Всемирная Литература», книгу пере-

водов «Антология старофранцузского эпоса» (стр. 32). В альм. «Наши Дни» иное распределение строк: каждая наша строка разделена надвое; кроме того, в альманахе пропущены в тексте 6 строк: начиная от слов: «Илья почуял лошадь, кубарем летит», и кончая строкою: «Для ваших лошадей у нас найдется корм».

№ 462. **Жизнь святого Алексея.** Это — переложение, довольно близкое, отрывка из старо-французского стихотворения «Житие святого Алексия». См. текст этого жития (XI века) в издании Гастона Пари (Paris) „La Vie de Saint Alexis, poème du XIe siècle. Texte critique." Есть много изданий; мы сличали текст Мандельштама с изданием 1903 г. (Paris, librairie Emile Bouillon). Мандельштам перевел строфы (во французском тексте пятистишия) LXXVIII—XCVII, стихи 386—495 на стр. 24—28 означенного издания.

Св. Алексий Человек Божий — герой многих русских духовных стихов. Жил при императоре Гонории в Риме, сын знатных родителей, ушел после венца и свадебного пира в Сирию, где и спасался. В новейшей русской литературе житие св. Алексия нашло себе отражение в рассказе Бориса Зайцева «Алексей человек Божий», вошедшем в книгу «Странное путешествие».

Публикуется нами впервые по списку с рукописи.

№ 463. **Алисканс.** Публикуется впервые по рукописи. Это — отрывок из одной из песен старофранцузского эпического цикла о Guillaume d'Orange (Вильгельме Оранском или Оранийском, от города Оранж и герцогства Орания на юге Франции). Старофранцузский текст см. в издании Aliscans. Kritischer Text von Erich Weinbeck, Wilhelm Hartnacke, Paul Rasch. Halle a. d. S., 1903. Aliscans (пишется также Aliscamps) — место битвы Вильгельма с сарацинами. Там же, около гор. Арль, известное галльское кладбище, и название восходит, видимо, к латинскому Elysii campi, т. е. «Елисейские поля». «Алисканс» публикуется впервые.

№ 464. **Валериан Гаприндашвили (1880—1941). Пятый закат.** Нами публикуется по тексту «Литературной Грузии», 1967, № 1, стр. 73—74. Вероятно, этот перевод был ранее опубликован в сборнике, изданном в Тифлисе Николаем Мицишвили (1921). «Кстати, Мандельштам ... был — еще в 1920 году — первым русским переводчиком новой грузинской поэзии — его переводы стихов 'голубороговцев' вошли год спустя в сборник ... Мицишвили (1921)». (Маргвелашвили, стр. 92).

№ 465. **Георгий Леонидзе (1899). Автопортрет.** Публикуется по тексту «Литературной Грузии», 1967, № 1, стр. 74. См предыдущее примечание.

№ 466. **Важа Пшавела. Гоготур и Апшина.** Впервые, в сокращенной редакции, приводимой нами дальше, в журн. «Пламя», Тифлис, № 1, май 1923. Полностью в журн. «Восток», 1923, кн. 3, стр. 3—13 (принятая нами редакция перевода). Перепечатано в кн.: Важа Пшавела. Поэмы. ГИХЛ, Москва, 1935, причем в качестве переводчика «Гоготура» указан Мандельштам только инициалами: О. М. — поэт был тогда уже в опале. 2 отрывка из III и IV главок поэмы перепечатаны в «Литературной Грузии», 1967, № 1, стр. 73. «... Осенью 1920 года ... дружба Осипа Мандельштама с грузинскими поэтами завершилась довольно своеобразным конфликтом: Мандельштам, восхищенный неповторимым колоритом Тифлиса и ярким своеобразием жизни грузинской столицы, искренне недоумевал, почему друзья его, щедро населяя свои стихи образами, навеянными европейской литературой, и славословя Париж, недостаточно пристально вглядывались стихом в образы родной земли. ... И Мандельштам, уже выехав из Грузии, написал и опубликовал очерк, в котором, быть может, слишком заострил эту тему, вызвав обиду друзей, выступивших даже с ответной полемической статьей. ... Эта первая встреча Мандельштама с Грузией увенчалась в 1923 году блистательным переводом поэмы Важа Пшавела 'Гоготур и Апшина', в работе над которым большую помощь оказал Мандельштаму за-

мечательный грузинский ученый-лингвист, профессор Ленинградского университета Карпез Дариспанович Дондуа, с небольшим послесловием которого и была в свое время опубликована работа Мандельштама, ставшая, к сожалению, ныне библиографической редкостью. А она, как мы уже говорили, была первой и прекрасно удавшейся попыткой иноязычного перевыражения творений титана грузинской поэзии» (Маргвелашвили, стр. 92).

В одном из своих писем, опубликованных в 1914 г., Важа Пшавела так характеризует связь своей поэмы с народным преданием: «Поэма 'Гоготур и Апшина' почти лишена характера народной легенды. Этот Гоготур действительно жил в XIX столетии в селе Копча. Был богатырского телосложения, красив и обладал огромной силой, но был кроток и миролюбив. Без крайней необходимости не проявлял своей силы. Был одиноким, но воевал ли когда-либо в своей жизни — неизвестно. Плоская каменная глыба, подобная могильной плите, которую он притащил, до сих пор валяется у ниши Копалы и настолько тяжела, что двум мужчинам трудно ее перевернуть. В пору своей юности я часто тягался с этой Гоготурской глыбой, пытаясь обнаружить в себе еще бóльшую силу. Попытка, разумеется, была тщетной. Никакого столкновения у Гоготура с хевсуром Апшина не было. По преданию, Гоготур поймал в воровстве двух хевсуров. Обоих связал и привел к себе домой. Крикнул жене, чтобы она поставила греть воду и готовила собачью похлебку. По этому поводу он вступает в пререкания с женой, но наконец она исполняет приказание мужа — согревает воду и сыплет туда отруби. Гоготур эту похлебку выливает в собачье корыто, ставит перед хевсурами и говорит им: 'Лакайте эту собачью похлебку'. Вот все, что говорит предание, и отсюда родилась та поэма 'Гоготур и Апшина', которую вы читаете в книгах» (цит. по статье Ал. Абашели в книге: Важа Пшавела. Поэмы. Москва, 1935, стр. 113—114). Пояснительные примечания взяты нами, главным образом, из

примечаний Симона Чиковани в кн. Важа Пшавела. Стихотворения и поэмы. Перевод Н. Заболоцкого. «Библиотека Поэта», Большая серия, изд. «Советский Писатель», Ленинград, 1957, стр. 311, 312, 314, а также из заметки «Важа Пшавела» в «Краткой Литературной Энциклопедии», том 1, Москва, 1962, столбцы 823—824, и др. Важа Пшавела, в переводе «муж пшавский» — псевдоним Луки Павловича Разикашвили, 1861— 1915, знаменитого грузинского поэта. Пшавы — племя грузин-горцев. Живут, главным образом, в горах, в верховьях реки Иоры. Часть пшавов во второй половине XIX века переселилась в Кахетию. Блой или Бло — селение в северной Хевсуретии. Хевсуры — грузины-горцы, считающие себя потомками готов-крестоносцев. Хевсуретия расположена на обоих склонах главного Кавказского хребта. Бандура, вернее, пандури — грузинский народный струнный инструмент. Арагва — река в Восточной Грузии; большинство рек ее бассейна также называются Арагвами: Пшавская Арагва, Хевсурская Арагва, Белая Арагва, Черная Арагва и т. д. Копала, Копальская церковь — одно из главных и древнейших полуязыческих святилищ в Пшавии, воздвигнутых в честь мифического богатыря Копалы, прозванного «Стариком», который, по народному преданию, вместе со своими друзьями Яхсартаном и Пиркушем, истребил злых чудовищ-дэвов. Души убитых богатырями дэвов превратились в чертей, а сами богатыри — в ангелов. Дашна — имя меча; на Кавказе, как и у рыцарей Запада, мечи, особенно прославленные подвигами своих хозяев, носили имена. Лурджа — распространенная в Грузии кличка коня сизой масти (лурджи — по-грузински: синий). Хохматский крест (Хахматский) — почитаемая хевсурами церковь во имя св. Георгия Победоносца в селении Хахмати. Для правильного понимания верований грузин-горцев важно учесть следующее. Крест для них, как правило, это не крест в нашем понимании, а икона («хати»). Так же называется и церковь или часов-

ня, в которой помещена икона. Так как у грузин-горцев сильны пережитки язычества, иконы подчас наделяются свойствами древних идолов. В представлении горцев каждая икона — это отдельное высшее существо. Так, например, в Пшаво-Хевсуретии было много икон св. Георгия, и все они действовали независимо друг от друга и зачастую вопреки друг другу. Общее наименование крестов-икон и часовен, в которых они помещались, — «сыны Господни». Среди них существовала своеобразная иерархия. Главными святынями считались так называемые общие иконы: для пшавов — Л о ш а р с к и й (Лашарский) крест и икона св. Тамары, для хевсуров — Гуданский крест. Горцы считали себя подданными вассалами своих племенных, родовых или местных икон, приносили им жертвы, так, например, Лошарскому кресту приносили овес для коней. «С о с к о б л и л и, в в и н о б р о с и л и с р у к о я т и й п ы л ь с е р е б р я н у ю»: один из обрядов побратимства среди горцев. М а м у к а, М и н д и [я]. Х и р ч л е й (Хирчла) — хевсурские распространенные мужские имена. Приводим краткую редакцию мандельштамовского перевода:

ГОГОТУР И АПШИНА

Отрывок из поэмы

О ту пору, о весеннюю,
Как фиалка заневестилась,
Как нагорьями зелеными
Гор окружность закурчавилась,
Снег в ложбинах стаял пятнами,
И земля набухла влагою,
К зеленям прозрачным тянутся
Бычьи и оленьи головы...
Как Арагва черно-талая
Воет, роется и прядает,
И с ресниц дремоту стряхивают
Пробужденные окрестности, —

Показался из-за выступа
Человек, как глыба кряжистый.
Он ползет, как тяжкий оползень,
Лицо каменное, хмурое...
А другой — с горы спускается,
Он поет и ржет — гора в ответ,
Кулики пищат болотные.
Гоготура видит Апшина
И смеется тихо в бороду.
Вскачь пустился, переводит дух
И ругается невежливо.
Далеко кремневка Апшины
Заиграла острым лучиком.
«Дай мне, пшав, оружье бранное —
Что глядишь ты вопросительно?
Говорит с тобою Апшина...
А не то, гляди, потребую
У меча службу горячую»...
Гоготур решил — не следует
Мне казаться жалким Апшине, —
Стану унижаться, кланяться,
Этим я немного выгадаю —
Втопчет он меня из милости
В пыль горячую, дорожную...
И меня мать в люди вывела, —
Не в навозной куче няньчила.
— Почему ты хочешь, Апшина,
Снять с меня орудье бранное?
Или в Бога ты не веруешь?
Брат, зачем тебе мой черный стыд?..
Сбить папаху — пустить по миру
И позор скормить молве людской...
«Пшав, довольно, я замешкался!..
Подавай меч, не улещивай,
Подавай кремневку крепкую —
У меня пускай погреется...
За неделю пути горного
Даже очи обезлюдели...
Подавай убранство бранное,
А не то изволь песок лизать —
И трепать Арагве каменной

На порогах твои косточки».
Дал он меч ему, кремневку дал
И последним дал щит выпуклый.
До уздечки добирается...
Понукает коня Апшина, —
Конь глотнул, как птица, воздуха...
Гоготур-герой не выдержал,
Зароптал, преобразился весь,
Повалил, бьет, вяжет Апшину...
Гоготур ведет речь умную:
— Ты хорош ездок — да я строптив —
Я просил, а ты был черств и глух,
А теперь твоя кривая шашка мне
Приглянулась, с ней твой Лурджа конь,
И с ним твой круглый, твой червленый
щит,
Зря пыхтел ты под доспехами...
«Пощади, — взмолился Апшина, —
Соблазнился я, запутался...
О тебе слыхал сторонкою,
Думал — ты ограда ветхая,
Из камней трухлявых хижина.
По заслугам ты захвален, пшав,
Побратаемся — помиримся.
Брат, верни мне облик воина.
А не то, спать уложи навек!»
— Поумнел ты поздно, Апшина:
Вот когда ты образумился.
Заикнись о том, что голоден,
Я б тебя утешил досыта.
Ты ж на братский меч позарился, —
Гоготур-герой гнушается
Взять оружье обесчещенное,
Шашки и мечи тяжелые
У него утварь домашняя.
— На, бери коня, бери доспех,
Иди с миром, по хорошему,
Да прошу в похвальбы винные
Мое имя вставить в очередь! —
Обнялись, упрочили союз.
Апшина бурдюк развязывает,

Гоготуру указует честь.
Им палаткой служит дерево.
Апшина друг пенит рог,
Мощно родича приветствует:
«Ты живи, Гоготур, не век, не два,
А живи, пока роса течет,
А роса течет, пока солнце горит...
Живи утром, живи вечером,
Ты живи, покуда лес шумит,
И земля пирует зеленью»...
Соскоблили, в вино бросили
С рукоятки пыль серебряную.
С порошком заветным, дружеским
Рог совместно опорожнили,
Присягнули в братской верности
Сыновья единой матери,
Друг для друга пели сладостно
Песни важные, приятные
А потом в разные стороны
Расходились одиночками...

№№ 467—471. **Переводы из Огюста Барбье** (Henri-Auguste Barbier, 1805—1882) — знаменитого французского сатирического поэта, в один день прославившегося своими политическими стихами после Июльской революции 1830 г. Особенно популярны были его «Ямбы», вышедшие отдельной книгой в 1831 г. В России Барбье много переводили в сороковых, пятидесятых и шестидесятых годах (Бенедиктов, Курочкин, Минаев, Вейнберг, Плещеев, поэты-петрашевцы), в 1922 г. вышел почти полный перевод «Ямбов и поэм» Барбье в Одессе (переводчик — Алексеев). Переводили Барбье в первые десятилетия нашего века — кроме Мандельштама — В. Я. Брюсов, П. Г. Антокольский и др.

№ 467. **Это зыбь.** Опубликовано одновременно в «Звезде», 1924, кн. 2, и Литературной Неделе, прилож. к газ. «Накануне», Берлин, 9 марта 1924.

Это — перевод части (последние 24 стиха из 128) стихотворения из «Ямбов», озаглавленного "La Popularité" и разделенного на четыре части.

№ 468. **Кобыла.** Опубликовано в Литературной Неделе, прилож. к газ. «Накануне», Берлин, 17 февраля 1924.

У Барбье стихотворение озаглавлено "L'Idole". Направленное против Наполеона и вошедшее в «Ямбы», оно разделено на пять частей и содержит 176 стихов. Мандельштам перевел только третью часть, начинающуюся строками: O Corse à cheveux plats! que ta France était belle / Au grand soleil de messidor!

№ 469. **Джин.** Опубликовано в «Звезде», 1924, кн. 2.

Это — часть длинной поэмы — а точнее цикла стихотворений об Англии под общим названием "Lazare" («Лазарь»). В оригинале — то же название ("Le Gin"). Мандельштам перевел только 52 из 86 стихов, выпустив стихи 17—30, 33—36, 45—52, 73—76, 83—86.

№ 470. **Мятеж.** Опубликовано в «Звезде», 1924, кн. 3.

Соответствует первым 16 (из 46) стихам стихотворения "L'Emeute", датированного «Февраль 1831» и вошедшего в «Ямбы».

№ 471. **1793.** Опубликовано в «Наших Днях», кн. 4, 1924.

Перевод стихотворения из «Ямбов» под тем же заглавием ("Quatre-vingt-treize"). У Барбье стихотворение разделено на две части; в первой три шестистишия, во второй — два.

№ 472. **Макс Бартель. Клич.** Опубликовано в «Звезде», 1924, кн. 5. Макс Бартель — малозначительный немецкий пролетарский поэт, коммунист (род. в 1893 г. в Ловшице, близ Дрездена). Был рабочим на заводах, бродяжил по Германии, Италии, Бельгии, Швейцарии. Работал в Советской России — там и вступил в Коммунистическую партию. Около 1927 г. ушел из компартии, примкнул к социал-демократам. Дальнейшая судьба его нам неизвестна. Переводили его на русский язык — кроме Мандельштама — А. Эфрос, В. Нейштадт, некоторые второстепенные переводчики.

№№ 473—477. **Макс Бартель: Карл Либкнехт. — Молодой рабочий. — Май месяц. — Птица. — Мученики.** Опубликованы в книге: Молодая Германия. Анто-

логия современной немецкой поэзии. Под редакцией Г. Петникова. УкрГИЗ, Харьков, 1926, стр. 13—16, 24—26, 29—30.

№ 478. **Макс Бартель. Семь златоустских скрипачей.** Опубликовано в «Красной Ниве», 1924, № 26, 29 июля. Наш отдел «Переводов и подражаний» весьма неполно представляет Мандельштама, как переводчика. Мы не думаем, что нами разысканы все переводы в стихах Мандельштама. Многие, несомненно, затеряны в трудно доступных нам сборниках, антологиях, журналах и газетах. Но особенно неполно представлены переводы из Макса Бартеля, немецкого пролетарского поэта. Нами не включен в наше собр. целый сборник переводов Мандельштама: М. Бартель. З а в о ю е м м и р! Избранные стихи. Пер. О. Мандельштама. ГИЗ, Москва, 1925, 106 страниц. Эта книга, переведенная поэтом только для заработка, не представляет никакого интереса — ни художественного, ни «документального». Помещаемые нами несколько переводов из М. Бартеля показывают достаточно ясно и невысокий уровень поэтического дарования этого немецкого поэта, и недостойный Мандельштама художественный уровень его переводов стихов Бартеля.

№ 479—480. **Переводы из Э. Толлера.** Опубликованы в «Звезде», 1925, кн. 2. Эрнст Толлер (1893—1939) — известный немецкий поэт и драматург, одно время — коммунист и министр Баварской советской республики, затем резко порвавший с коммунизмом. По своему литературному направлению примыкал к экспрессионистам. В СССР в 1923—1930 гг. с большим успехом шли драмы Толлера «Эуген Несчастный» и «Гоп-ля, мы живем!» Приезжал в СССР. В 1933 г. эмигрировал в Америку, и в 1939 г. покончил самоубийством. В России Толлера — кроме Мандельштама — переводили А. Эфрос, В. Нейштадт, Б. Горнунг; стихи в его пьесах переводил Мих. Кузмин (он же написал музыку к «Эугену Несчастному», для постановки этой пьесы в б. Михайловском театре, в Ленинграде, в 1923—24 гг.).

№ 481. **Франц Верфель. Прекрасный, сияющий человек.** Франц Верфель (1890—1945) — известный австрийский писатель. Родился в Праге в богатой еврейской семье. Учился в немецком университете в Праге. Дружил с Францем Кафкой и Максом Бродом. В 1933 году эмигрировал из оккупированной Гитлером Австрии во Францию, откуда — в 1940 году — в США, где и умер (в Беверли-Хиллс, Калифорния). Поэт, драматург, прозаик. Перевод О.Э.М. опубликован в «Молодой Германии» (см. выше), стр. 106.

№ 482. **Альфред Лихтенштейн. Прогулка.** Альфред Лихтенштейн (1889—1914) — поэт-экспрессионист, погибший на фронте в 1914 г. Перевод О.Э.М. опубликован в «Молодой Германии» (см. выше), стр. 238.

№№ 483—486. **Ренэ Шикеле: Троица. — Телохранители. — Три тысячи людей... — Мальчик в саду.** — Ренэ Шикеле (р. 1883) – эльзасский писатель, родившийся в Оборенхайме, Эльзас. Учился в Цаберне и Страсбурге, жил в Париже и Берлине. Поэт и прозаик. Переводы О.Э.М. опубликованы в «Молодой Германии» (см. выше), стр. 321, 324—329.

№ 487. **Ф. Петрарка. Как соловей сиротствующий славит.** Впервые в «Воздушных Путях», альм. III, Нью-Йорк, 1963. У нас с исправлениями по Втор. тетр., стр. 82. Это — перевод сонета 311-го. Дата перевода в некоторых списках — декабрь 1933. «В начале 1952 года ко мне пришел брянский агроном В. Меркулов, рассказал о том, как в 1938 году Осип Эмильевич умер за десять тысяч километров от родного города; больной, у костра он читал сонеты Петрарки. Да, Осип Эмильевич боялся выпить стакан некипяченной воды, но в нем жило настоящее мужество, прошло через всю его жизнь — до сонетов у костра...» (И. Эренбург, Люди, годы, жизнь, стр. 503).

Приводим этот же сонет в переводе Вячеслава Иванова:

О чем так сладко плачет соловей
И летний мрак живит волшебной силой?

По милой ли тоскует он своей?
По чадам ли? Ни милых нет, ни милой.
Всю ночь он будит грусть мою живей,
Ответствуя один мечте унылой...
Так, вижу я: самих богинь сильней
Царица Смерть! И тем грозит могилой!
О, как легко чарует нас обман!
Не верил я, чтоб тех очей светила,
Те солнца два живых, затмил туман, —
Но черная Земля их поглотила.
«Все тлен! — поет нам боль сердечных ран —
Все, чем бы жизнь тебя ни обольстила».

(Петрарка. Автобиография. Исповедь. Сонеты. Перевод М. Гершензона и Вяч. Иванова. Изд. М. и С. Сабашниковых, Москва, 1915, стр. 262).

№ 488. **Река, разбухшая от слез соленых.** Впервые в «Воздушных Путях», III, 1963. Перевод сонета 301-го. Разночтения (явные описки в списках нами не указываются):

Стих 5. Дол полночных клятв и шепотов каленых, (Рук.).

» 11. Гнездится скорбь в гнезде былых веселий, (Рук.).

В «В. Путях» и рук. В дата — январь 1934.

Приводим этот же сонет в переводе Ю. Н. Верховского:

Дол, полный звуков пеней повторенных,
Река, где токи есть моей слезницы;
Лесные звери, стаи вольной птицы
И рыбок, пленниц берегов зеленых;
Струи моих вздыханий воспаленных;
Мест, милых мне, обидные границы;
Холмов, теперь досадных, вереницы,
Где ждет Амур, как прежде, дум влюбленных, —
Ваш вид все тот же, что давно мне ведом,
Но я не тот: где радостью все было,

Живут во мне безмерные страданья.
Тут счастье зрел воочью. Прежним следом —
Туда, где бестелесной воспарила,
Отдав земле всю роскошь одеянья.

(Франческо Петрарка. Книга песен. ГИХЛ. Москва, 1963, стр. 123).

№ 489. **Когда уснет земля и жар отпышет.** Опубликовано в «Вестнике Русского Студенческого Христианского Движения», Париж—Нью-Йорк, № 64, янв. 1962; перепечатано в «Воздушных Путях», III, 1963. Это — перевод сонета 164-го.

Приводим этот же сонет в переводе А. М. Эфроса:

Когда и высь, и дол, и ветр молчит,
И хищный зверь, и птица отдыхает,
В квадриге звездной ночь объезд свершает,
И, без волны, на ложе море спит, —
Брожу, томлюсь, пылаю: мысль бежит
Все к ней одной, кем сладко жизнь сгорает;
В груди раздор; покорность гнев сменяет;
Лишь краткий миг забвение дарит.
Так сладкую и горькую струю
Из одного источника вкушаю,
Одна рука несет мне жизнь и тьму;
И я терплю без срока казнь свою,
Стократно в день рождаюсь, умираю
И нет пути к спасенью моему.

(Франческо Петрарка. Избранная лирика. Перевод А. Эфроса. ГИХЛ, Москва, 1953, стр. 100).

№ 490. **Промчались дни мои, как бы оленей.** Публикуется впервые по Втор. тетр., стр. 85, с исправлениями по списку В.

Это перевод сонета 319-го, входящего, как и сонеты 301-й и 311-й, в цикл сонетов «На смерть госпожи Лауры». Начальный образ «бега оленей» заимствован Петраркой из одной из од Горация. У Петрарки этот образ сочетается с образом «бегущей тени» из псалма 101-го. Мандельштам этого не перенял, но горацианский образ развил по-своему.

Другой русский перевод этого сонета нам неизвестен.

№ 491. **Вариант предыдущего.** Публикуется впервые по рукописи.

ПЕРВЫЕ РЕДАКЦИИ НЕКОТОРЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

№ 27 а. **Качает ветер тоненькие прутья.** «Северные Записки», сентябрь 1913.

№ 51 а. **Теннис.** «Журнал за 7 Дней», 1913, № 20, 20 июня.

№ 58 б. **Приглашение на луну** (вариант). Впервые — по рукописи — во втором томе нашего Собрания сочин. О. Мандельштама, 1966, стр. 9—10.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СТИХОТВОРЕНИЙ МАНДЕЛЬШТАМА

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
А мастер пушечного цеха . . .	333	228	530
А небо будущим беременно (Опять войны разноголосица)	197	145	482
А посреди толпы — задумчивый, брадатый (Вариант)	290	205	515
А то уведи, да прошу — поскорей .	231		494
Аббат (О спутник вечного романа) . .	74	46	424
Автомобилище (Мне, автомобилищу, чего бы не забыть еще?)	409	282	543
Автопортрет (В поднятьи головы крылатый)	164	128	477
Автопортрет (Я варвар, я хазар, я сарацин. Г. Леонидзе) . . .	465	320	556
Адмиралтейство (В столице северной томится пыльный тополь)	48	29	416
Айя-София (Айя-София — здесь остановиться)	38	23	413
Актер и рабочий (Здесь, на твердой площадке яхт-клуба)	195	144	482
Алисканс (Вильгельм-государь круто спешит. Старо-французский эпос)	463	316	555
Американ-бар (Еще девиц не видно в баре)	174	135	480

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Американка (Американка в двадцать лет)	52	32	
Ангелы матерей (Ренэ Шикеле. I. Троица)	483	354	565
Ариост (Во всей Италии приятнейший, умнейший)	267	192	507
Ариост (Вариант: В Европе холодно. В Италии темно)	268	193	507
Армения:			
I. Как бык шестикрылый и грозный	203	150	484
II. Ты розу Гафиза колышешь	204	151	484
III. Ты красок себе не пожелала	205	151	484
IV. Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло	206	152	484
V. Закутав рот, как влажную розу	207	152	484
VI. Руку платком обмотай	208	152	484
VII. Орущих камней государство	209	153	484
VIII. Не развалины — нет	210	153	484
IX. Холодно розе в снегу	211	154	484
X. О порфирные цокая граниты	212	154	484
XI. Какая роскошь в нищенском селенье	213	155	484
XII. Я тебя никогда не увижу	214	155	484
XIII. Лазурь да глина, глина да лазурь	215	155	484
Архистратиг вошел в иконостас			516
Ах! матовый ангел на льду голубом	420	292	544
Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло (Армения, IV)	206	152	484
Ахматова (В пол-оборота, о печаль)	59	37	420
Барбье О.:			
I. Это зыбь (Это зыбь, это зыбь — спокойная моряна)	467	334	562
II. Кобыла (О, корсиканский зверь с прямыми волосами)	468	335	563
III. Джин (Сумрачный гений, бог наших веселий)	469	337	563

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
IV. Мятеж (Как будто ураган верхи деревнагнув)	470	338	563
V. 1793 (Когда корабль столетний государства)	471	339	563
Бартель Макс:			
I. Клич (Вставайте с мрачного ночлега)	472	341	563
II. Карл Либкнехт (И был среди них молодой паладин)	473	343	563
III. Молодой рабочий (Мой шаг звучит)	474	345	563
IV. Май месяц (Май месяц к каторжным пришел)	475	345	563
V. Птица (Как дерево сердце в ночной тишине)	476	346	563
VI. Мученики (С необъятного, вожделенного неба)	477	347	563
VII. Семь златоустских скрипачей	478	348	564
Батюшков (Словно гуляка с волшебною тростью)	261	185	504
Бах (Здесь прихожане дети праха)	46	28	
Бежит волна — волной волне хребет ломая	319	222	528
Бессонница. Гомер. Тугие паруса	78	48	
Блок — король (Строки из коллективного послания Блоку)	422	292	544
Бывает сердце так сурово (Ода Бетховену)	72	44	423
Был старик, застенчивый как мальчик (Ламарк)	254	177	499
Были очи острее точимой косы	368	251	536
Быть может, я тебе не нужен (Раковина)	26	15	
В аллее колокольчик медный	170	131	479
В год тридцать первый от рожденья века (Отрывки из уничтоженных стихов, I)	237	168	496
В девятьсот тринадцатом, как яблоко румян	421	292	544
В душном баре иностранец	45		416

	№№ стихотворений	Страницы текста	примечаний
В Европе холодно. В Италии темно (Ариост. Вариант)	268	193	507
В игольчатых, чумных бокалах (Восьмистишия, X)	284	201	511
В лазури месяц новый	155	124	476
В лицо морозу я гляжу один	349	237	532
В морозном воздухе растаял легкий дым	183	139	481
В нашем кооперативе (Кооператив)	413	283	543
В огромном омуте прозрачно и темно	18	11	409
В Петербурге мы сойдемся снова	118	85	454
В Петрополе прозрачном мы умрем	89	61	432
В поднятьи головы крылатый (Автопортрет)	164	128	477
В пол-оборота, о печаль (Ахматова)	59	37	420
В разноголосице девического хора	84	57	429
В самоваре и в стакане (Примус, VI)	401	274	543
В самом себе, как змей, таясь	162	127	476
В спокойных пригородах снег	47	28	416
В столице северной томится пыльный тополь (Адмиралтейство)	48	29	416
В таверне воровская шайка	49	29	417
В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа	96	67	439
В хрустальном омуте какая крутизна!	106	75	447
Ванну хозяин прими, но принимай и гостей (Эпиграммы на М. Л. Лозинского, III)	431	295	548
Век (Век мой, зверь мой, кто сумеет)	135	102	466
Венецейской жизни, мрачной и бесплодной	110	78	448
Вернись в смесительное лоно	109	77	
Верфель Франц:			
Прекрасный, сияющий человек (Друзья, со мной беседуя, сияют)	481	352	565
Веселая скороговорка	168	130	479
Ветер нам утешенье принес	133	101	465

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Ветер с высоких дерев (Из неизвестного поэта Кайюса Стультицицуса, II)	417	291	543
Вехи дальнего обоза	340	233	531
Вильгельм-государь круто спешит (Старо-французский эпос: Алисканс)	463	316	555
Влез бесенок в мокрой шерстке (Вариант)	348	237	532
Внутри горы бездействует кумир	330	227	530
Внутри горы бездействует кумир (Вариант)	331	227	530
Во всей Италии приятнейший, умнейший (Ариост)	267	192	507
Воздух пасмурный влажен и гулок	22	13	409
Возможна ли женщине мертвой хвала?	314	220	527
Возьми на радость из моих ладоней	116	84	451
Война. Опять разноголосица	197		483
Вооруженный зреньем узких ос	367	251	536
Восьмистишия:			
I. Люблю появление ткани	275	198	509
II. Люблю появление ткани (Вариант)	276	198	510
III. О бабочка, о мусульманка	277	198	510
IV. Шестого чувства крохотный придаток	278	199	510
V. Преодолев затверженность природы	279	199	510
VI. Когда, уничтожив набросок	280	199	510
VII. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме	281	200	510
VIII. И клена зубчатая лапа	282	200	511
IX. Скажи мне, чертежник пустыни	283	201	511
X. В игольчатых, чумных бокалах	284	201	511
XI. И я выхожу из пространства	285	201	511
Вот вечер с лунным светом и шелковый дымок (Альфред Лихтенштейн. Прогулка)	482	353	568
Вот дароносица, как солнце золотое	117	85	453

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Вставайте с мрачного ночлега (Макс Бартель. I. Клич)	472	341	563
Вуйажор арбуз украл	424	293	546
Вы помните, как бегуны (Новеллино)	256	179	501
Вы помните, как бегуны (Вариант)	257	180	502
Вы, с квадратными окошками невысокие дома	142	114	471
Вы хотите быть игрушечной	153	123	476
Газелла (Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек?)	427	294	547
Гаприндашвили Валериан: Пятый закат (На закате столики для баккара расставлены)	464	319	556
Где вырывается из плена	149	121	474
Где лягушки фонтанов, раскваквавшись	381	259	540
Где римский судия судил чужой народ (Notre Dame)	39	24	414
Где связанный и пригвожденный стон	356	240	533
Германская каска. Священный трофей	179		480
Глядим на лес и говорим (Нашедший подкову)	136	103	466
Говорят, из Блоя Апшина (Важа Пшавела. Гоготур и Апшина)	466	321	556
Гоготур и Апшина (Говорят, из Блоя Апшина. Важа Пшавела)	466	321	556
Голубые глаза и горящая лобная кость	288	203	513
Гончарами велик остров синий	385	263	541
Грифельная ода (Звезда с звездой — могучий стык)	137	107	467
Гром живет своим накатом (Стихи о русской поэзии, II)	263	187	505
Гудит и пляшет розовый (Кухня)	415	284	543
Да, я лежу в земле, губами шевеля	306	214	521
Дайте Тютчеву стрекозу	259	182	503
Дано мне тело — что мне делать с ним	8	6	405
Два трамвая — Клик и Трам (Жили в парке два трамвая)	406	276	543

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Дворцовая площадь (Императорский виссон)	189	141	481
...Дев полуночных отвага	45	27	416
Девочку в деве щадя	449	299	552
Декабрист (Тому свидетельство языческий сенат)	94	66	436
Делия, где ты была? (Из неизвестного поэта Кайюса Стультициуса, III)	418	291	543
День стоял о пяти головах	313	219	526
Детский рот жует свою мякину (Вариант)	325	225	529
Детский рот жует свою мякину (Вариант)	326	225	529
Джин (Сумрачный гений, бог наших веселий. О. Барбье, III)	469	337	563
Дикая кошка — армянская речь	218	156	486
Длинной жажды должник виноватый (Кувшин)	383	262	541
Для резиновой калоши (Калоша)	411	283	543
Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем	247	171	497
Домби и сын (Когда, пронзительнее свиста)	53	33	417
Дрожжи мира дорогие	346	236	532
Дрожжи мира дорогие (Вариант)	347	236	532
Друг Ариоста, друг Петрарки, Тассо друг (Вариант)	269	194	507
Друзья, со мной беседуя, сияют (Франц Верфель. Прекрасный, сияющий человек)	481	352	565
Дутые-надутые шары-пустомели (Шары)	407	279	543
Душа устала от усилий	15		409
Душный сумрак кроет ложе	19	11	
Душу от внешних условий	156	124	476
Европа (Как средиземный краб или звезда морская)	68	41	423
Египтянин (Я выстроил себе благополучья дом)	172	133	479

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Египтянин (Я избежал суровой пени)	171	132	479
Ему кавказские кричали горы	292	206	515
Если б меня наши враги взяли	372	253	536
Если бы услышал Бог	448	299	551
Если грустишь, что тебе задолжал я	432	295	548
Если хочешь, тронь (Примус, VIII)	403	275	543
Есть иволги в лесах, и гласных долгота	62	38	
Есть обитаемая духом (К энциклике папы Бенедикта XV)	71	43	423
Есть целомудренные чары	7	5	
Есть ценностей незыблемая скала	64	39	
Еще далеко асфоделей	93	64	436
Еще далеко мне до патриарха	251	174	498
Еще девиц не видно в баре (Американбар)	174	135	480
Еще мы жизнью полны в высшей мере (Стрижка детей)	302	212	520
Еще не умер ты, еще ты не один	354а	368	
Еще не умер я, еще я не один	354	239	533
Еще он помнит башмаков износ	363	249	535
Жизнь святого Алексея (Как прочел письмо родитель. Старо-французский эпос)	462	312	555
Жизнь упала как зарница	198	147	483
Жил Александр Герцович	228	162	492
Жили в парке два трамвая (Два трамвая — Клик и Трам)	406	276	543
За высокую доблесть грядущих веков	227		490
За гремучую доблесть грядущих веков	227	162	490
За Паганини длиннопалым (Скрипачка)	298	209	519
За то, что я руки твои не сумел удержать	119	86	455
Заблудился я в небе... Что делать?	378	257	539
Заблудился я в небе... Что делать? (Вариант)	379	258	539
Закутав рот, как влажную розу (Армения, V)	207	152	484
Заманили охотники в капкан	165	129	477

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Замолчи! Ни о чем, никогда, никому (Отрывки из уничтоженных стихов, IX)	245	170	496
Замолчи! Я не верю уже ничему (Отрывки из уничтоженных стихов, X)	246	170	496
Заснула чернь. Зияет площадь аркой	163	128	477
Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой (Отрывки из уничтоженных стихов, III)	239	169	496
Звезда с звездой — могучий стык (Грифельная ода)	137	107	467
Звенигородский князь в четырнадцатом веке	454	300	552
Зверинец (Отверженное слово «мир»)	83	56	426
Звук осторожный и глухой	1	3	
Здесь, на твердой площадке яхт-клуба (Актер и рабочий)	195	144	482
Здесь отвратительные жабы	146	119	472
Здесь прихожане дети праха (Бах)	46	28	
Здесь я стою — я не могу иначе	43	26	415
Зевес всех должностей лишил Гефеста	446	299	551
Золотилась черешня московских торцов (Отрывки из уничтоженных стихов, VII)	243	170	496
Золотистого меда струя из бутылки текла	92	63	434
Золотой (Целый день сырой осенний воздух)	36	21	
И был среди них молодой паладин (Макс Бартель: II. Карл Либкнехт)	473	343	563
...И глагольных окончаний колокол	419	291	544
И клена зубчатая лапа (Восьмистишия, VIII)	282	200	511
И Моцарт на воде, и Шуберт в птичьем гаме	281		510
И по-звериному воет людье	220	158	486
И поныне на Афоне	75	47	424

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме (Восьмистишия, VII) . . .	281	200	510
И я выхожу из пространства (Восьмистишия, XI)	285	201	511
И я подчас иду сторонкой, смят, убит (Ренэ Шикеле: II. Телохранители)	484	354	565
Из-за домов, из-за лесов	322	224	529
Из коллективной трагикомедии «Кофейня разбитых сердец» (Мне дан желудок, что мне делать с ним) . . .	425	293	546
Из неизвестного поэта Кайюса Стультициуса:			
I. Катится по небу Феб . . .	416	291	543
II. Ветер с высоких дерев . . .	417	291	543
III. Делия, где ты была? . . .	418	291	543
Из омута злого и вязкого	17	10	409
Из полутемной залы, вдруг . . .	3	3	
Имею тело — что мне делать с ним .	8		405
Императорский виссон (Дворцовая площадь)	189	141	481
Импрессионизм (Художник нам изобразил)	258	181	502
Исакий под фатой молочной белизны .	124		458
Искусств веселых хоровода . . .	447	299	551
Исполню дымчатый обряд . . .	318	222	528
Истончается тонкий тлен	147	120	473
К немецкой речи (Себя губя, себе противореча)	266	190	506
К пустой земле невольно припадая .	394	269	542
К энциклике папы Бенедикта XV (Есть обитаемая духом)	71	43	423
Казино (Я не поклонник радости предвзятой)	33	19	412
Как будто ураган верхи дерев нагнув О. Барбье: IV. Мятеж) . . .	470	338	563
Как бык шестикрылый и грозный (Армения, I)	203	150	484
Как дерево и медь — Фаворского полет	369	252	536

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Как дерево сердце в ночной тишине (Макс Бартель: V. Птица)	476	346	563
Как женственное серебро горит	353	239	533
Как землю где-нибудь небесный камень будит	357	241	533
Как из одной высокогорной щели	287	203	513
Как кони медленно ступают	20	12	
Как люб мне натугой живущий	217	156	486
Как на Каме-реке глазу темно, когда (Кама. I)	308	214	522
Как на Каме-реке глазу темно, когда (Кама. II. Вариант)	309	215	522
Как народная громада	249	173	498
Как некий исполин с Синая до Фавора (Писателю)	438	297	551
Как овцы, жалкою толпой	178	137	480
Как парламент, жующий фронду (Рояль)	234	166	496
Как пахнут тополя! Мы пьяны	191	141	481
Как по улиам Киева-Вия	395	270	542
Как подарок запоздалый	336	230	530
Как прочел письмо родитель (Старофранцузский эпос: Жизнь святого Алексея)	462	312	555
Как растет хлебов опара	130	98	465
Как светотени мученик Рембрандт	364	249	535
Как соловей сиротствующий славит (Франческо Петрарка, I)	487	360	565
Как средиземный краб или звезда морская (Европа)	68	41	423
Как тельце маленькое крылышком	139	110	468
Как тень внезапных облаков	16	10	409
Как Черный ангел на снегу	151	122	474
Как этих покрывал и этого убора	82	55	426
Какая вещая Кассандра (Отрывок)	180	137	480
Какая роскошь в нищенском селенье (Армения, XI)	213	155	484
Какое лето! Молодых рабочих	250	173	498

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Какой-то гражданин, наверное попович	450	299	552
Калоша (Для резиновой калоши)	411	283	543
Кама:			
I. Как на Каме-реке глазу темно, когда	308	214	522
II. Как на Каме-реке глазу темно, когда (Вариант)	309	215	522
III. Я смотрел, отдаляясь на хвойный восток	310	215	522
Канцона (Неужели я увижу завтра)	236	167	496
Карл Либкнехт (И был среди них молодой паладин. Макс Бартель, II)	473	343	563
Кассандре (Я не искал в цветущие мгновенья)	95	67	439
Катится по небу Феб (Из неизвестного поэта Кайюса Стультициуса, I)	416	291	543
Качает ветер тоненькие прутья	27а	366	568
Квартира тиха, как бумага	272	196	508
Кинематограф (Кинематограф. Три скамейки)	50	30	417
Кирпичный корабль (Под дымным вымпелом корабль кирпичный. Эрнст Толлер, II)	480	351	564
Клейкой клятвой пахнут почки	389	266	541
Клич (Вставайте с мрачного ночлега. Макс Бартель, I)	472	341	563
Кобыла (О, корсиканский зверь с прямыми волосами. О. Барбье, II)	468	335	563
Когда б женился я на египтянке (Решенье)	456	301	552
Когда в ветвях понурых	344	235	532
Когда в далекую Корею	255	178	501
Когда в темной ночи замирает	102	71	443
Когда городская выходит на стогны луна	121	88	
Когда душе и торопкой и робкой (Вариант)	291	206	515

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Когда заулыбается дитя (Рождение улыбки)	342	234	532
Когда корабль столетний государства О. Барбье: V. 1793)	471	339	563
Когда мозаик никнут травы	152	122	476
Когда на площадях и в тишине келейной	99	69	441
Когда октябрьский нам готовил временщик	192	142	482
Когда показывают восемь	160	126	476
Когда, пронзительнее свиста (Домби и сын)	53	33	417
Когда Психея-жизнь спускается к теням	112	80	449
Когда пылают веймарские свечи	266		506
Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне (Соломинка)	86	59	430
Когда удар с ударами встречается	12	8	407
Когда, уничтожив набросок (Восьмистишия, VI)	280	199	510
Когда уснет земля и жар отпышет (Франческо Петрарка, III)	489	361	567
Когда щегол в воздушной сдобе	327	226	529
Колют ресницы. В груди прикипела слеза	229	163	493
Колючая речь араратской долины	216	156	486
Кому зима, арак и пунш голубоглазый	127	96	464
Концерт на вокзале (Нельзя дышать, и твердь кишит червями)	125	95	462
Кооператив (В нашем кооперативе)	413	283	543
Кофейня разбитых сердец (Отрывки: Мне дан желудок...)	425	293	546
Кто время целовал в измученное темя (1 января 1924)	140	111	468
Кто знает, может быть, не хватит мне свечи	193	143	482
Кувшин (Длинной жажды должник виноватый)	383	262	541
Куда как страшно нам с тобой	202	150	484
Куда как тетушка моя была богата	199	149	484

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Куда мне деться в этом январе?	360	242	534
Курицы-красавицы пришли к спесивым павам (Примус, I)	396	273	543
Кухня (Гудит и пляшет розовый)	415	284	543
Кушает сено корова	458	303	553
Лазурь да глина, глина да лазурь (Армения, XIII)	215	155	484
Ламарк (Был старик, застенчивый как мальчик)	254	177	499
Ленинград (Я вернулся в мой город, знакомый до слез)	221	158	486
Леонидзе Георгий:			
Автопортрет (Я варвар, я хазар, я сарацин)	465	320	556
Летают Валькирии, поют смычки	55	34	
Лихтенштейн Альфред:			
Прогулка (Вот вечер с лунным светом и шелковый дымок)	482	353	565
Лишив меня морей, разбега и разлета	307	214	522
Люблю внимать средь грохота и теми (Эрнст Толлер: I. Утопия)	479	350	564
Люблю морозное дыханье	359	242	534
Люблю под сводами седыя тишины	124	91	457
Люблю появление ткани (Восьмистишия, I)	275	198	509
Люблю появление ткани (Восьмистишия, II. Вариант)	276	198	510
Лютеранин (Я на прогулке похороны встретил)	37	22	413
Мадригал (Нет, не поднять волшебного фрегата)	187	140	481
Май месяц (Май месяц к каторжным пришел. Макс Бартель, IV)	475	345	563
Мальчик в саду (Я сжимаю и перекладываю свои руки. Ренэ Шикеле, IV)	486	359	565

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Маргулис — он из Наркомпроса (Маргулису, I)	434	296	551
Маргулису:			
I. Маргулис — он из Наркомпроса	434	296	551
II. Старик Маргулис зачастую	435	296	551
Марья Сергеевна, мне ужасно хочется	445	298	551
Мастерица виноватых взоров	295	208	516
Медлительнее снежный улей	13	8	407
Меня преследуют две-три случайных фразы (10 января 1934)	289	204	514
Мне, автомобилищу, чего бы не забыть еще? (Автомобилище)	409	282	543
Мне вспомнился старинный апокриф (Сонет)	441	297	551
Мне дан желудок, что мне делать с ним (Из коллективной трагикомедии «Кофейня разбитых сердец»)	425	293	546
Мне жалко, что теперь зима	120	87	455
Мне сырому, неученому (Примус, V)	400	274	543
Мне Тифлис горбатый снится	115	83	450
Мне холодно. Прозрачная весна	88	61	432
Может быть, это точка безумия	380	258	540
Мой тихий сон, мой сон ежеминутный	145	119	472
Мой шаг звучит (Макс Бартель: III. Молодой рабочий)	474	345	563
Мой щегол, я голову закину	324	224	529
Молодой рабочий (Мой шаг звучит. Макс Бартель, III)	474	345	563
«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит	63	39	422
Московский дождик (...Он подает, куда как скупо)	134	101	466
Муха (Ты куда попала, муха?)	414	284	543
Мученики (С необъятного вожделенного неба. Макс Бартель, VI)	477	347	563
Мы живем, под собою не чуя страны	286	202	511
Мы напряженного молчанья не выносим	40	24	414

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Мы с тобой на кухне посидим	224	160	488
Мы сегодня увидали (Рояль)	412	283	543
Мятеж (Как будто ураган верхи дерев нагнув. О. Барбье, IV)	470	338	563
Мяукнул конь и кот заржал (Павлу Васильеву)	439	297	551
На берегу Эгейских вод	457	301	552
На бледно-голубой эмали	6	5	405
На высоком перевале (Фаэтонщик)	248	171	497
На доске малиновой, червонной	375	256	538
На закате столики для баккара расставлены (Валериан Гаприндашвили: Пятый закат)	464	319	556
На каменных отрогах Пиерии	105	74	445
...На луне не растет	58	36	419
На меня нацелилась груша да черемуха	393	268	542
На мертвых ресницах Исакий замерз	315	220	527
На Надеждинской улице (Поэма об издательстве)	459	303	553
На перламутровый челнок	10	7	
На площадь выбежав, свободен	61	38	421
На полицейской бумаге верже	219	157	486
На розвальнях, уложенных соломой	85	58	430
На страшной высоте блуждающий огонь	101	70	443
На этом диком страшном свете (Телефон)	194	143	482
Над алтарем дымящихся зыбей	150	121	474
Над желтизной правительственных зданий (Петербургские строфы)	42	26	415
Наташа, как писать — балда? (Черновые наброски во 2-й Воронежской тетради, II)	391	268	542
Наушники, наушнички мои	300	211	520
Начало «Федры» (Решенье принято, час перемены пробил! Жан Расин)	460	309	554
Нашедший подкову (Глядим на лес и говорим)	136	103	466
Не веря воскресенья чуду	90	62	432
Не говори никому	201	149	484

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть	270	195	507
Не мучнистой бабочкою белой	320	222	528
Не развалины — нет (Армения, VIII)	210	153	484
Не сравнивай: живущий несравним	352	239	532
Не табачною кровью заката пишу (Отрывки из уничтоженных стихов, VI)	242	170	496
Не у меня, не у тебя — у них	328	226	529
Не унывай	423	292	545
Не фонари сияли нам, а свечи	188	141	481
Небо вечери в стену влюбилось (Тайная вечеря)	377	257	539
Невыразимая печаль	9	6	406
Негодованье старческой кифары	184	139	481
Нежнее нежного	5	4	
Нельзя дышать, и твердь кишит червями (Концерт на вокзале)	125	95	462
Немецкая каска — священный трофей	179	137	480
Нереиды мои, нереиды	297	209	519
Нет, не луна, а светлый циферблат	31	18	
Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый	317	221	528
Нет, не поднять волшебного фрегата (Мадригал)	187	140	481
Нет, не спрятаться мне от великой муры	232	165	494
Нет, никогда ничей я не был современник	141	113	470
Неужели я увижу завтра (Канцона)	236	167	496
Неутолимые слова	182	138	481
Ни о чем не нужно говорить	11	7	406
Ни триумфа, ни войны (1913)	57	35	419
...Но в старом Кельне тоже есть собор (Реймс и Кельн)	181	138	480
Новеллино (Вы помните, как бегуны)	256	179	501
Ночь на дворе. Барская лжа!	230	164	493
Нынче день какой-то желторотый	329	226	530
О, бабочка, о мусульманка (Восьмистишия, III)	277	198	510

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
О временах простых и грубых	60	37	420
О государстве слишком раннем	190	141	481
О, как же я хочу	384	262	541
О, как мы любим лицемерить	253	176	499
О, корсиканский зверь с прямыми волосами (О. Барбье: II. Кобыла)	468	335	563
О небо, небо, ты мне будешь сниться	27	16	410
О порфирные цокая граниты (Армения, X)	212	154	484
О свободе небывалой	77	48	
О спутник вечного романа (Аббат)	74	46	424
О, эта Лена, эта Нора (Черновые наброски во 2-й Воронежской тетради, III)	392	268	542
О этот воздух, смутно пьяный	107	76	
О, этот медленный, одышливый простор	351	238	532
Обиженно уходят на холмы	79	49	
Обороняет сон мою донскую сонь	371	253	536
Образ твой, мучительный и зыбкий	30	17	412
Ода Бетховену (Бывает сердце так сурово)	72	44	423
Один еврей, должно быть комсомолец	437	296	551
Однажды из далекого кишлака	452	300	552
Однажды, некогда какой-то подполковник	436	296	551
Окружена высокими холмами (Феодосия)	111	79	449
Он дирижировал кавказскими горами (Вариант)	293	207	516
...Он подает, куда как скупо (Московковский дождик)	134	101	466
Она еще не родилась (Silentium)	14	9	408
Опять войны разноголосица (А небо будущим беременно)	197	145	482
Орущих камней государство (Армения, VII)	209	153	484
Осенний сумрак — ржавое железо	161	127	476
От вторника до субботы	76	47	
От легкой жизни мы сошли с ума	44	27	416
От сырой простыни говорящая	311	216	522

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Отверженное слово «мир» (Зверинец)	83	56	426
Откуда привезли? Кого? Который умер?	294	207	516
Отравлен хлеб и воздух выпит . .	54	34	418
Отрывки из уничтоженных стихов:			
I. В год тридцать первый от рожденья века	237	168	496
II. Уж я люблю московские законы	238	169	496
III. Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой	239	169	496
IV. Я больше не ребенок	240	169	496
V. Язык-медведь ворочается глухо .	241	170	496
VI. Не табачною кровью заката пишу	242	170	496
VII. Золотилась черешня московских торцов	243	170	496
VIII. ... шли труда чернецы . .	244	170	496
IX. Замолчи! Ни о чем, никогда никому	245	170	496
X. Замолчи! Я не верю уже ничему	246	170	496
Отрывок (Какая вещая Кассандра) .	180	137	480
Оттого все неудачи	337	231	531
Отчего душа так певуча	25	15	410
Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович	455	301	552
Очень люблю я белье (Примус, IV)	399	274	543
Павлу Васильеву (Мяукнул конь и кот заржал)	439	297	551
Паденье — неизменный спутник страха	34	19	412
Переуважена, перечерна, вся в холе (Чернозем)	299	210	520
Петербургские строфы (Над желтизной правительственных зданий) . .	42	26	415
Петрарка Франческо:			
I. Как соловей сиротствующий славит	487	360	565
II. Река, разбухшая от слез соленых	488	360	566

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
III. Когда уснет земля и жар отпышет	489	361	567
IV. Промчались дни мои, как бы оленей	490	362	567
V. Промчались дни мои, как бы олени (Вариант)	491	363	568
Печален мир. Все суета и проза	433	295	548
Пешеход (Я чувствую непобедимый страх)	32	18	412
Писателю (Как некий исполин с Синая до Фавора)	438	297	551
Пластинкой тоненькой жиллета	334	229	530
Плачет телефон в квартире (Примус, VII)	402	275	543
Плещут волны Флегетона	443	298	551
Поговорим о Риме — дивный град!	56	35	418
Под грозовыми облаками	148	120	474
Под дымным вымпелом корабль кирпичный (Эрнст Толлер: II. Кирпичный корабль)	480	351	564
Подивлюсь на мир еще немного	323	224	529
Подойди ко мне поближе (Чистильщик)	408	281	543
Подшипник с шариком	440	297	551
Поедем в Царское Село! (Царское Село)	35	20	412
Покупали скрипачи (Примус, X)	405	276	543
Полночь в Москве (Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето)	260	182	503
Полотеры (Полотер руками машет)	410	282	543
Полюбил я лес прекрасный (Стихи о русской поэзии, III)	264	188	505
Поляки! Я не вижу смысла (Polacy!)	176	136	480
Помоги, Господь, эту ночь прожить	223	160	488
Помпоныч, римский гражданин	451	300	552
После полуночи сердце ворует	225	160	488
Посоветовала кормилица	186	140	481
Посох (Посох мой, моя свобода)	69	42	423
Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек (Газелла)	427	294	547

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Поэма об издательстве (На Надеждинской улице)	459	303	553
Пою, пока гортань сыра, душа суха	365	250	536
Прекрасный, сияющий человек (Друзья, со мной беседуя, сияют. Франц Верфель)	481	352	565
Преодолев затверженность природы (Восьмистишия, V)	279	199	510
Привыкают к пчеловоду пчелы	200	149	484
Приглашение на луну (У меня на луне)	586	367	568
Примус:			
I. Курицы-красавицы пришли к спесивым павам	396	273	543
II. Сахарная голова	397	273	543
III. Чтобы вылечить и вымыть	398	273	543
IV. Очень люблю я белье	399	274	543
V. Мне сырому, неученому	400	274	543
VI. В самоваре и в стакане	401	274	543
VII. Плачет телефон в квартире	402	275	543
VIII. Если хочешь, тронь	403	275	543
IX. Что ты прячешься, фотограф	404	275	543
X. Покупали скрипачи	405	276	543
Природа — тот же Рим и отразилась в нем	65	40	422
Пришла Наташа. Где была? (Черновые наброски из 2-й Воронежской тетради, I)	390	268	542
Пришли четыре брата, несхожие лицом (Старо-французский эпос: Сыновья Аймона)	461	310	554
Прогулка (Вот вечер с лунным светом и шелковый дымок. Альфред Лихтенштейн)	482	353	565
Промчались дни мои, как бы оленей (Франческо Петрарка, IV)	490	362	567
Промчались дни мои, как бы оленей (Франческо Петрарка, V. Вариант)	491	363	568

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Прославим, братья, сумерки свободы (Сумерки свободы)	103	72	443
Птица (Как дерево сердце в ночной тишине. Макс Бартель, V)	476	346	563
Пусти меня, отдай меня, Воронеж	301	211	520
Пусть в душной комнате, где клочья серой ваты	173	134	480
Пусть имена цветущих городов	66	40	
Путник, откуда идешь? Я был в гостях у Шилейки	428	294	547
Пшавела Важа:			
Гототур и Апшина (Говорят, из Блоя Апшина)	466	321	556
Пылает за окном звезда	196	145	482
Пятый закат (На закате столики для баккара расставлены. Валериан Гаприндашвили)	464	319	556
Разве подумать я мог, что так легковерна Мария	444	298	551
Развеселился наконец	177	136	480
Разрывы круглых бухт и хрящ и синева	366	250	536
Раковина (Быть может, я тебе не нужен)	26	15	
Расин Жан:			
Начало «Федры» (Решенье принято, час перемены пробил!)	460	309	554
Рассеян утренник тяжелый (Футбол второй)	167	129	477
Реймс и Кельн (...Но в старом Кельне тоже есть собор)	181	138	480
Река, разбухшая от слез соленых (Франческо Петрарка, II)	488	360	566
Решенье (Когда б женился я на египтянке)	456	301	552
Решенье принято, час перемены пробил! (Жан Расин. Начало «Федры»)	460	309	554

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Рим (Где лягушки фонтанов, расквакавшись)	381	259	540
Римских ночей полновесные слитки	316	221	527
Рождение улыбки (Когда заулыбается дитя)	342	234	532
Рояль (Как парламент, жующий фронду)	234	166	496
Рояль (Мы сегодня увидали)	412	283	543
Руку платком обмотай (Армения, VI)	208	152	484
Румяный шкипер бросил мяч тяжелый (Спорт)	166	129	477
С веселым ржанием пасутся табуны	80	49	425
С миром державным я был лишь ребячески связан	222	159	487
С необъятного вожделенного неба (Макс Бартель: VI. Мученики)	477	347	563
С розовой пеной усталости у мягких губ	128	97	465
Сахарная голова (Примус, II)	397	273	543
Себя губя, себе противореча (К немецкой речи)	266	190	506
Сегодня дурной день	23	13	409
Сегодня можно снять декалькомани	265	189	505
Сегодня ночью, не солгу	143	115	471
Семь златоустских скрипачей (Макс Бартель, VII)	478	348	564
Сестры — тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы	108	76	447
Скажи мне, чертежник пустыни (Восьмистишия, IX)	283	201	511
Скрипачка (За Паганини длиннопалым)	298	209	519
Скудный луч холодной мерою	21	12	409
Словно гуляка с волшебною тростью (Батюшков)	261	185	504
Слух чуткий парус напрягает	15	9	409
Слышу на лестнице шум быстро идущего Пяста	442	298	551
Слышу, слышу ранний лед	358	241	533
Смутно дышащими листьями	24	14	
Собирались эллины войною (1914)	70	43	423

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Соломинка (Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне)	86	59	430
Сонет (Мне вспомнился старинный апокриф)	441	297	551
Сосновой рощицы закон	335	230	530
Сохрани мою речь навсегда за привкус ненастья и дыма	235	167	496
Спорт (Румяный шкипер бросил мяч тяжелый)	166	129	477
Среди священников левитом молодым	100	70	441
Средь аляповатых дач (Теннис)	51	31	417 и 568
Средь народного шума и спеха	361	243	534
Стансы (Я не хочу средь юношей теплличных)	312	217	523
Старик (Уже светло, поет сирена)	41	25	414
Старик Маргулис зачастую (Маргулису, II)	435	296	551
Старо-французский эпос:			
Сыновья Аймона (Пришли четыре брата, несхожие лицом)	461	310	554
Жизнь святого Алексея (Как прочел письмо родитель)	462	312	555
Алисканс (Вильгельм-государь круто спешит)	463	316	555
Стихи о неизвестном солдате (Этот воздух будет свидетелем)	362	244	534
Стихи о русской поэзии:			
I. Сядь, Державин, развалися	262	186	505
II. Гром живет своим накатом	263	187	505
III. Полюбил я лес прекрасный	264	188	505
Стрижка детей (Еще мы жизнью полны в высшей мере)	302	212	520
Строки Мандельштама из коллективного послания А. А. Блоку (Блок — король)	422	292	544
Сумерки свободы (Прославим, братья, сумерки свободы)	103	72	443

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Сумрачный гений, бог наших веселий (О. Барбье: III. Джин) . . .	469	337	563
Сусальным золотом горят . . .	2	3	405
Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей принимая (Эпиграммы на М. Л. Лозинского, I)	429	295	547
Сын Леонида был скуп, и когда он с гостем прощался (Эпиграммы на М. Л. Лозинского, II)	430	295	548
Сыновья Аймона (Пришли четыре брата, несхожие лицом. Старо-французский эпос)	461	310	554
Сядь, Державин, развалися (Стихи о русской поэзии, I)	262	186	505
Тайная вечеря (Небо вечери в стену влюбилось)	377	257	539
Там, где край был дик	453	300	552
Там, где купальни-бумагопрядильни .	252	176	499
Татары, узбеки и ненцы	273	197	509
Твое чудесное произношенье . . .	97	68	441
Твоим узким плечам под бичами краснеть	296	209	517
Твой зрачок в небесной корке . .	345	235	532
Телефон (На этом диком страшном свете)	194	143	482
Телохранители (И я подчас иду сторонкой. Ренэ Шикеле, II) . . .	484	354	565
Темных уз земного заточенья . .	158	125	476
Теннис (Средь аляповатых дач) . .	51	31	417 и 568
Толлер Эрнст:			
I. Утопия (Люблю внимать средь грохота и теми)	479	350	564
II. Кирпичный корабль (Под дымным вымпелом корабль кирпичный) .	480	351	564
Только детские книги читать . . .	4	3	405
Тому свидетельство языческий сенат (Декабрист)	94	66	436
Торжественное слово «мир» . . .	83		426

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Три тысячи людей стояли плечом к плечу (Ренэ Шикеле, III)	485	356	565
Троица (Ангелы матерей. Ренэ Шикеле, I)	433	354	565
Ты красок себе не пожелала (Армения, III)	205	151	484
Ты куда попала, муха? (Муха)	414	284	543
Ты прошла сквозь облако тумана	175	136	480
Ты розу Гафиза колышешь (Армения, II)	204	151	484
Тысячеструйный поток	157	125	476
У меня на луне (Приглашение на луну)	586	367	568
У меня немного денег	169	131	479
У нашей святой молодежи	274	197	509
Уж я люблю московские законы (Отрывки из уничтоженных стихов, II)	238	169	496
Уже светло, поет сирена (Старик)	41	25	414
Улыбнись, ягненок гневный, с рафаэлева холста	321	223	528
Умывался ночью на дворе	126	96	463
Уничтожает пламень	73	45	424
Утопия (Люблю внимать средь грохота и теми. Эрнст Толлер, I)	479	350	564
Уходят вдаль людских голов бугры	341	233	532
Фаэтонщик (На высоком перевале)	248	171	497
Феодосия (Окружена высокими холмами)	111	79	449
Флейты греческой тэта и йота	387	265	541
Футбол второй (Рассеян утренник тяжелый)	167	129	477
Холодная весна. Голодный Старый Крым	271	195	507
Холодно розе в снегу (Армения, IX)	211	154	484
Холодок щекочет темя	129	98	465
Художник нам изобразил (Импрессионизм)	258	181	502
Царское Село (Поедем в Царское Село!)	35	20	412
Целый день сырой осенний воздух (Золотой)	36	21	

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Чарли Чаплин	386	263	541
Черновые наброски во второй Воронежской тетради:			
I. Пришла Наташа. Где была?	390	268	542
II. Наташа, как писать — балда?	391	268	542
III. О, эта Лена, эта Нора	392	268	542
Чернозем (Переуважена, перечерна, вся в холе)	299	210	520
Черты лица искажены	185	139	481
Чистильщик (Подойди ко мне поближе)	408	281	543
Что делать нам с убитостью равнин	350	238	532
Что поют часы-кузнечик	98	69	441
Что ты прячешься, фотограф (Примус, IX)	404	275	543
Чтоб приятель и ветра и капель	382	261	540
Чтобы вылечить и вымыть (Примус, III)	398	273	543
Чуть мерцает призрачная сцена	114	82	450
Шарманка (Шарманка — жалобное пенье)	159	126	476
Шары (Дутые-надутые шары-пустомели)	407	279	543
Шестого чувства крохотный придаток (Восьмистишия, IV)	278	199	510
Шикеле Ренэ:			
I. Троица (Ангелы матерей)	483	354	565
II. Телохранители (И я подчас иду сторонкой, смят, убит)	484	354	565
III. Три тысячи людей стояли плечом к плечу	485	356	565
IV. Мальчик в саду (Я сжимаю и перекладываю свои руки)	486	359	565
...шли труда чернецы (Отрывки из уничтоженных стихов, VIII)	244	170	496
Шло цепочкой в темноводье (Вариант)	339	233	531
Эпиграммы на М. Л. Лозинского:			
I. Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей принимая	429	295	547

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
II. Сын Леонида был скуп, и когда он с гостем прощался	430	295	548
III. Ванну хозяин прими, но принимай и гостей	431	295	548
Эта, какая улица?	303	212	521
Эта ночь непоправима	91	63	433
Эта область в темноводье	338	231	531
Это все о луне только небылица (Вариант)	58а	36	420
Это есть художник Альтман	426	294	546
Это зыбь (Это зыбь, это зыбь — спокойная моряна. О. Барбье, I)	467	334	562
Этот воздух будет свидетелем (Стихи о неизвестном солдате)	362	244	534
Я больше не ребенок (Отрывки из уничтоженных стихов, IV)	240	169	496
Я буду метаться по табору улицы темной	144	116	472
Я в львиный ров и в крепость погружен	370	252	536
Я в сердце века — путь неясен	332	228	530
Я в хоровод теней, топтавших нежный луг	123	90	457
Я варвар, я хазар, я сарацин (Георгий Леонидзе. Автопортрет)	465	320	556
Я вернулся в мой город, знакомый до слез (Ленинград)	221	158	486
Я вздрагиваю от холода	28	16	410
Я видел озеро, стоящее отвесно	374	255	538
Я выстроил себе благополучья дом (Египтянин)	172	133	479
Я давно полюбил нищету	154	123	476
Я должен жить, хотя я дважды умер	305	213	521
Я живу на важных огородах	304	213	521
Я избежал суровой пени (Египтянин)	171	132	479
Я изучил науку расставанья (Tristia)	104	73	444
Я к губам подношу эту зелень	388	266	541
Я молю как жалости и милости	373		537
Я на прогулке похороны встретил (Лютеранин)	37	22	413

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
Я наравне с другими хочу тебе служить	122	89	457
Я не знаю, с каких пор	131	99	465
Я не искал в цветущие мгновенья (Кассандре)	95	67	439
Я не поклонник радости предвзятой (Казино)	33	19	412
Я не слыхал рассказов Оссиана	67	41	
Я не увижу знаменитой «Федры»	81	50	425
Я не хочу средь юношей тепличных (Стансы)	312	217	523
Я ненавижу свет	29	17	411
Я нынче в паутине световой	355	240	533
Я около Кольцова	343	234	532
Я по лесенке приставной	132	100	465
Я потеряла нежную камею	87	60	432
Я прошу, как жалости и милости	373	254	536
Я пью за военные астры, за все, чем корили меня	233	165	494
Я с дымящей лучиной вхожу	231	164	493
Я сжимаю и перекладываю свои руки (Ренэ Шикеле: IV. Мальчик в саду)	486	359	565
Я скажу тебе с последней прямотой	226	161	488
Я скажу это начерно — шепотом	376	256	538
Я слово позабыл, что я хотел сказать	113	81	450
Я смотрел, отдаляясь на хвойный восток (Кама, III)	310	215	522
Я тебя никогда не увижу (Армения, XII)	214	155	484
Я чувствую непобедимый страх (Пешеход)	32	18	412
Язык булыжника мне голубя понятней	138	109	468
Язык-медведь ворочается глухо (Отрывки из уничтоженных стихов, V)	241	170	496
Notre Dame (Где римский судия судил чужой народ)	39	24	414
Polacy! (Поляки! я не вижу смысла)	176	136	480
Silentium (Она еще не родилась)	14	9	408
Tristia (Я изучил науку расставанья)	104	73	444

	№№ стихотворений	Страницы текста	Страницы примечаний
1793 (Когда корабль столетний государства. О. Барбье, V)	471	339	563
1913 (Ни триумфа, ни войны) . . .	57	35	419
1914 (Собирались эллины войною) .	70	43	423
1 января 1924 (Кто время целовал в измученное темя)	140	111	468
10 января 1934 (Меня преследуют две-три случайных фразы) . . .	289	204	514

СОДЕРЖАНИЕ

Глеб Струве. О. Э. Мандельштам. Опыт биографии и критического комментария V

Эммануил Райс. Творчество Осипа Мандельштама LXI

От редакторов LXXXIII

Осип Мандельштам

Камень 1

Tristia 53

Стихотворения. Книга 1928: 1921—1925 93

Стихотворения, не собранные в книги стихов автора, и неопубликованные 117

Книги стихов для детей 271

Шуточные стихотворения 289

Переводы и подражания 307

Первые редакции некоторых стихотворений О. Э. Мандельштама 365

Примечания. Варианты. Разночтения 369

Алфавитный указатель 569

ББК 84 Р7
М 23

О. Мандельштам
М 23 Собрание сочинений в четырех томах. Том I. – М.: ТЕРРА, 1991. – 684 с.

ISBN 5-85255-044-2 общ.
ISBN 5-85255-045-0 ББК 84Р7

О. МАНДЕЛЬШТАМ
Собрание сочинений в четырех томах
Том I
Репринтное воспроизведение издания 1967 г.

Художественный редактор *И. Сайко*
Технический редактор *Г. Смирнова*

Подписано к печати 12.3.91. Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.печ.л. 36,12. Усл. кр.-отт. 36,12. Уч.-изд.л. 27,35. Тираж 100 000 экз. Заказ 345 . Цена 14 руб.

Ассоциация совместных предприятий, международных объединений и организаций. Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская ул., 10, а/я 73.
Отпечатано на Можайском полиграфическом комбинате В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

ISBN 5-85255-044-2 общ.
ISBN 5-85255-045-0

©Международное литературное содружество, 1967
©Оформление. Издательский центр «ТЕРРА», 1991